



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

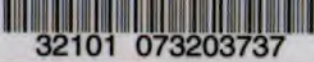
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



32101 073203737

Л К Г
Магазин № 51
ц. 7р. 50к.
кв. Ю



№ 142/25

ОПЫТЪ

ИСТОРИЧЕСКАГО ОБЗОРА ГЛАВНЫХЪ СИСТЕМЪ

ФИЛОСОФІИ ИСТОРИИ.

M. M. Stasjulevich

О П Ы Т Ъ

ИСТОРИЧЕСКАГО ОБЗОРА ГЛАВНЫХЪ СИСТЕМЪ

ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ.

М. СТАСЮЛЕВИЧА.

Rebus ipso dictantibus regna condita.

POMPONIUS.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ Ф. С. СУЩИНСКАГО.

На углу Могилевской и Калюперской улицъ, № 7/2.

—
1866.

17

1914-1915

D16
.8
\$72

Handwritten: 1914
Stamp: NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION
Stamp: U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
Stamp: WASHINGTON, D.C.
Handwritten: 1914 R

ОТЪ АВТОРА.

Философія исторіи стоитъ гораздо ближе ко всѣмъ самымъ практическимъ интересамъ нашей ежедневной жизни, нежели какъ то можно предполагать, судя по отвлеченному характеру вопросовъ, которые составляютъ ея главную задачу, и той терминологіи, которую можно встрѣтить въ такихъ произведеніяхъ, какъ, на примѣръ, лекціи Гегеля. Мы пользуемся ежеминутно, не всегда впрочемъ отдавая себѣ въ томъ ясный отчетъ, и существенными основами, и результатами философіи исторіи, всякій разъ, когда хотимъ произнести свой судъ о значеніи того или другого совершившагося факта, о его вліяніи на судьбу народовъ; или когда, имѣя власть въ извѣстномъ кругу дѣятельности, думаемъ направлять общественныя силы къ той или другой дѣли, и такимъ образомъ представляемъ самихъ себя тѣми механизмами, предъ которыми общество стоитъ, какъ локомотивъ, имѣющій подъ собою рельсы и устроенный по из-

108440

1133(188)

вѣстнымъ непреложнымъ законамъ: стѣбитъ придавить, на примѣръ, такой-то рычагъ, и машина сдѣлаетъ соотвѣтствующее тому движеніе; приподнять клапанъ, машина остановится и т. д. Справедливы ли, или несправедливы такія воззрѣнія, выражаемыя практикою жизни, но во всякомъ случаѣ они свидѣтельствуютъ о томъ, что мы постоянно выходимъ изъ какаго-то внутренняго убѣжденія, что человѣческое общество въ большихъ и въ малыхъ размѣрахъ есть нѣчто цѣлое, живое, одаренное извѣстными качествами и движущееся по извѣстнымъ законамъ. Утверждать же все это на научныхъ основаніяхъ составляетъ именно одну изъ главныхъ задачъ философіи исторіи; и мы, даже не будучи знакомы близко съ ея системами, всегда дѣйствуемъ однако какъ бы въ предположеніи, что за нами находится наука, которая уже доказала намъ, что дѣйствительно всякое общество есть одушевленное цѣлое, что кромѣ отдѣльныхъ цѣлей, преслѣдуемыхъ отдѣльными людьми, есть еще цѣли, которыя достигаются обществомъ людей. Даже и тѣ изъ насъ, которые отозвались бы о подобныхъ представленіяхъ, какъ о продуктѣ нашего воображенія, въ своихъ отдѣльныхъ взглядахъ, въ своихъ отдѣльныхъ поступкахъ, всегда измѣняютъ себѣ и выходятъ изъ такихъ управленій, которыя подтверждаютъ въ ихъ дѣйствіяхъ то, что ими опровергается на словахъ. Между тѣмъ наши познанія о свойствахъ этого удивительнаго механизма, называемаго *человѣческимъ обществомъ*, на практикѣ такъ отрывочны и случайны, такъ шатки въ своихъ основаніяхъ, что въ управленіи обществомъ или въ нашихъ разсужденіяхъ о такомъ

управленіи мы часто можемъ очутиться въ положеніи чело-
вѣка, который не разъ видалъ локомотивъ, еще чаще поль-
зовался имъ, и которому предложили бы вдругъ вступить
на машину и начать маневрировать ею. Но при всей огра-
ниченности нашихъ познаній по этому предмету, тѣмъ не
менѣ эти познанія и въ своей ограниченности служатъ до-
казательствомъ возможности и необходимости историческаго
исслѣдованія вопросовъ о механизмѣ исторіи человѣчества;
и по той же причинѣ можно сказать, что философія исто-
ріи не заключаетъ въ себѣ ничего такого, что предвари-
тельно уже не занимало человѣческаго духа и рѣшалось
болѣе или менѣ основательно, но всегда отрывочно и по
отношенію къ извѣстному данному факту.

Впрочемъ то же самое можно замѣтить вообще о всѣхъ
наукахъ: какъ бы ни было высоко ихъ настоящее разви-
тіе, но начатки наукъ лежатъ въ самомъ духѣ чело-
вѣка, и научныя истины, хотя и въ грубой формѣ, встрѣчаются
рано разсѣянными по жизни; такъ называемая «житейская
опытность», или «поэтическая мудрость», какъ ее назы-
ваетъ Вико, является всегда началомъ всѣхъ наукъ. Въ
этомъ обстоятельствѣ заключается причина тѣсной связи
науки съ жизнью; наука имѣетъ въ жизни свои отдален-
ныя корни, хотя въ то же время нерѣдко вступаетъ въ пол-
ный разрывъ съ нею: измѣнчивость, чрезмѣрная подвиж-
ность, непрерывныя противорѣчія житейской опытности—
послѣдствія случайности ея выводовъ — вызвали чело-
вѣка давно къ открытію законовъ всего существующаго болѣе
общихъ и менѣе измѣнчивыхъ, если нельзя дойти до все-

объемлющихъ и вѣчныхъ законовъ; и на этомъ пути, науки иногда подтверждали на болѣе широкихъ и разумныхъ основаніяхъ наблюденія житейской опытности, а иногда вступали съ ними въ противорѣчіе и опровергали ихъ. Съ этой точки зрѣнія, философія исторіи можетъ быть разсматриваема вмѣстѣ какъ одна изъ древнѣйшихъ наукъ, и въ то же время какъ самая молодая. Ея исторія древна, потому что человѣкъ давно уже созналъ необходимость подвести подъ общіе законы разнообразіе случайныхъ событій; и она весьма молода, ибо не далѣе какъ въ началѣ прошедшаго столѣтія была сдѣлана первая строгая попытка къ методическому рѣшенію подобной задачи, и только въ концѣ XVIII вѣка явилось новѣйшее имя этой науки на сочиненіи Гердера, вышедшемъ въ Ригѣ, 1784 года.

Въ своемъ опытѣ историческаго изложенія развитія идей философіи исторіи, мы были бы подавлены множествомъ матеріаловъ, если бы не ограничили своей задачи болѣе узкими предѣлами. Прослѣдить судьбу идей философіи исторіи во всѣхъ проявленіяхъ человѣческаго духа, начиная даже съ пословицъ, пѣсенъ, легендъ, и восходя такимъ образомъ до волоссальныхъ религіозныхъ и философскихъ системъ, понимавшихъ и рѣшавшихъ по-своему важные вопросы о назначеніи жизни человѣчества, о періодичности ея развитія и т. д. — все это составляетъ задачу, которая далеко превысила бы наши силы. Вотъ, потому мы ограничились, въ своемъ историческомъ изложеніи философіи исторіи, только тѣми главными системами, которыя имѣли самое широкое и далекое вліяніе на судьбу исторической мысли въ ту или

другую эпоху, и въ то же время представляли между собою нѣкоторую связь, передавая свою задачу изъ рукъ одного поколѣнія въ руки другого.

Самая задача философіи исторіи, какъ мы замѣтили выше, была признана гораздо прежде нежели явилось въ свѣтъ самое названіе науки; и даже Вико, котораго считаютъ отцомъ философіи исторіи, назвалъ свой знаменитый трудъ «*Новою наукою*»; вслѣдствіе того мы также въ своемъ историческомъ обзорѣ обращались и къ такимъ произведеніямъ, которыя, хотя и подъ другими заглавіями, но занимались рѣшеніемъ тѣхъ же задачъ; особенно важны въ этомъ отношеніи различныя «Теодицеи» — терминъ, который можно сказать предшествовалъ и во многихъ случаяхъ замѣнялъ новѣйшее названіе нашего предмета, какъ философіи исторіи. Впрочемъ, даже и въ наше время, Гегель, включая свой курсъ по этому предмету, выразилъ ту мысль, что, собственно говоря, «сама всемірная исторіи есть истинная Теодицея, оправданіе божества въ исторіи» *).

Другія школы философіи исторіи выражаютъ, можетъ быть, иначе, но ту же самую идею, или, лучше сказать, онѣ опредѣляютъ задачу философіи исторіи, обращая преимущественное вниманіе на другое дѣйствующее лице въ судьбахъ міра, а именно на человѣка, и потому дѣлаютъ изъ философіи исторіи «Антроподицею». Всѣ могутъ быть согласны однако въ одномъ, что человѣческіе порядки, какъ

*) Die Weltgeschichte ist die wahrhafte Theodicee, die Rechtfertigung Gottes in der Geschichte. *Hegel's Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*. Herausg. v. Ed. Gans. Berlin, 1848. 3-е изд. 547 стр.

выразился одинъ изъ древнихъ юристовъ, *созидаются rebus distantibus*, подъ диктовку вещей, а слѣдовательно, внимательное изученіе этихъ «вещей» должно служить главнымъ путемъ къ познанію того, что устраивается подъ ихъ диктовку.

Болѣе близкое опредѣленіе задачи нашей науки и указаніе порядка, котораго мы намѣрены держаться въ развитіи избраннаго нами предмета, помѣщены въ послѣдующемъ за симъ введеніи къ нашему опыту.

М. С.

Трувилль, 17/20 сентября 1865.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Отъ автора	Стр. V
Введеніе	3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Теорія вѣчнаго историческаго круговращенія.

ГЛАВА I. Предшественники Вико	39
ГЛАВА II. Вико и его «Новая Наука»	52

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Теорія вѣчнаго историческаго прогресса.

ГЛАВА I. Древнѣйшій ея періодъ	151
ГЛАВА II. Физиологическая школа	162
ГЛАВА III. Метафизическая школа:	
§ 1. Ея двойное направленіе	254
§ 2. Сенсуалисты	257
§ 3. Идеалисты	308

ВВЕДЕНИЕ.

Малебраншъ, во время утреннихъ прогулокъ, имѣлъ обычай заходить иногда къ своему другу Дагессо, тогда еще молодому человѣку, который въ послѣдствіи сдѣлался извѣстнымъ административнымъ дѣятелемъ Франціи прошедшаго столѣтія, въ званіи канцлера. Философъ засталъ однажды юношу за чтеніемъ Оукидида, и, не скрывая своего неудовольствія, обратился къ нему съ упреками за то, что онъ теряетъ свое время на чтеніе описаній случайныхъ событій, которыя могли бы случиться и не случиться, вмѣсто того, чтобы предаться размышленіямъ вообще о судьбахъ человѣка на землѣ и о его послѣднемъ назначеніи.

Въ этомъ упрекѣ Малебранша скрывается самое первое и простое опредѣленіе философіи исторіи, разсматриваемой въ ея противоположности съ фактической исторіею. Конечно нельзя остановиться на такомъ опредѣленіи, какъ нельзя съ другой стороны допустить того, чтобы кто нибудь могъ приступать прямо къ размышленіямъ объ общихъ судьбахъ чело- вѣчества и его послѣднемъ назначеніи, не изучивъ глу-

боко совершившихся фактовъ; но, дѣйствительно, совершившійся фактъ очень часто является случайностью, или бываетъ объясняемъ съ такимъ трудомъ и съ такими противорѣчїями, что мы выигрываемъ не много, думая вывести его изъ области случая; а потому всегда останется необходимою наука, которая взяла бы на себя рѣшить, во-первыхъ, вопросъ: *существуютъ ли положительные и неизмѣнные законы историческаго развитїя человѣческихъ обществъ?* и, если существуютъ, то, во-вторыхъ: *каковы эти законы?*

Но прежде нежели совершится какойнибудь историческій фактъ, онъ испытываетъ на себѣ два процесса: исторїю, такъ сказать, дѣлаетъ не только жизнь и дѣятельность людей, но и мыслящая способность писателя, который приводитъ въ сознаніе совершившееся и облакаетъ его въ форму мысли и слова. Такъ называемая достопримѣчательность факта лежитъ не только въ немъ самомъ, а еще болѣе въ томъ, что онъ успѣлъ сдѣлаться предметомъ человѣческаго познанїя, что онъ, такъ сказать, прошелъ чрезъ голову мысливаго человѣка, и въ ея способности познавать нашель себѣ новое и вѣчное существованіе. Какое значеніе имѣла бы осада Трои, еслибы она осталась безъ такого великаго историка-поэта, какимъ былъ Гомеръ? Мы могли бы найти и безъ Гомера, въ какойнибудь хроникѣ, годъ троянскаго похода, имена участвовавшихъ лицъ, число убитыхъ, и т. п.; но безъ Гомера осада Трои лишилась бы своего внутренняго

содержанія и жизни; такъ что въ исторіи Гомеръ сдѣлалъ даже больше для историческаго существованія самаго факта, чѣмъ тѣ, которые проливали свою кровь и совершали геройскіе подвиги. Такимъ образомъ, самъ историкъ является какъ бы однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ исторіи и творить наравнѣ, если не болѣе тѣхъ, которые своею жизнью и дѣятельностью доставляли факту его первичное существованіе.

Съ этой точки зрѣнія, философія исторіи можетъ быть разсматриваема какъ продуктъ извѣстной силы нашего разума, которая одарена способностью овладѣвать фактомъ во всей его цѣлости и законченности. Возьмемъ примѣръ изъ другой области и посмотримъ, какъ въ этомъ случаѣ дѣйствуетъ разумъ человѣка. Положимъ, что кто нибудь былъ внезапно поставленъ въ какую нибудь мѣстность. Случай можетъ сдѣлать то, что такой человѣкъ увидитъ предъ собою рядъ высокихъ домовъ, и улица для него есть нѣчто цѣлое. Съ перваго возвышенія, онъ замѣтитъ, что эта улица только часть города; съ сосѣдней горы, самъ городъ представится небольшою точкою на плоскости, замыкаемой отвсюду горизонтомъ. Тутъ предѣлъ нашему непосредственному наблюденію глазомъ; но наше познаніе имѣетъ для себя средства идти далѣе кругозора и сознать видимую земную плоскость частью громадной земной возвышенности, и такъ далѣе до представленія земного Шара, какъ извѣстнаго тѣла среди

другихъ небесныхъ тѣлъ, вмѣстѣ съ которыми земля составляетъ цѣлую систему. И такъ, начиная съ улицы, въ которой мы родились, мы доходимъ до познанія вселенной. Никто не видалъ земного Шара такимъ, каковъ онъ есть въ дѣйствительности, и тѣмъ не менѣе мы говоримъ о земномъ Шарѣ съ такимъ же внутреннимъ убѣжденіемъ въ реальности своего познанія, съ какимъ смотримъ на лежащее предъ нами яблоко. Въ историческомъ познаніи случается нѣчто подобное. Нѣтъ человѣка, предъ глазами котораго прошла бы вся судьба человѣчества, какъ нѣтъ человѣка, который своими глазами могъ бы видѣть земной Шаръ во всемъ его объемѣ; а между тѣмъ мы дошли до познанія, что одинъ и тотъ же фактъ въ минуту своего происхожденія и потомъ съ точки зрѣнія цѣлаго столѣтія представляется намъ съ различнымъ характеромъ. Мы сознаемъ каждую мѣстность частицею земного Шара, и движеніе земного Шара примыкаемъ къ общему движенію небесныхъ тѣлъ; мы думаемъ, что рѣка, протекающая подъ нашими окнами есть результатъ наклонности цѣлой страны, что вѣтеръ, пролетающій надъ нашею крышею, порождается отъ такихъ переворотовъ, которые совершились вдали отъ насъ, и только въ силу цѣлости земного Шара мы также почувствовали на себѣ новое теченіе воздуха. Конечно, могло быть время и дѣйствительно было, когда метеорологическія познанія людей ограничивались представленіемъ какого нибудь

чудовища, изъ пасти котораго вытекала родная рѣка, или сѣдого старца съ мѣхами, откуда онъ выпускалъ тотъ или другой вѣтеръ. Исторія могла также имѣть для себя подобныя же періоды въ своемъ развитіи, и только мало по малу человѣкъ дошелъ до сознанія, что перевороты въ его тѣсномъ кругу совершаются въ силу огромныхъ переворотовъ, обнимающихъ собою цѣлую страну или даже цѣлое человечество; что есть какая-то связь между отрывочными явленіями, что, однимъ словомъ, всѣ мѣстные событія того или другаго общества суть звѣнья одной исторіи одного огромнаго существа, называемаго человечествомъ. Формы, въ которыхъ человѣкъ выразилъ такое сознаніе, поднявшись отъ фактовъ обыденной жизни до высоты вѣковъ и представленія человечества, какъ чего-то цѣлаго, находятъ свое осуществленіе въ *философіи исторіи*. Какъ умъ человѣка дошелъ до такихъ формъ, въ которыхъ онъ отпечатлѣлъ свои воззрѣнія на прошедшее съ высоты вѣковъ, и подъ какіе общіе законы подвелъ отдѣльные факты обыденной и частной жизни человѣческихъ обществъ — вотъ, тѣ вопросы, которые составляютъ содержаніе нашего труда. Въ своемъ опытѣ, какъ замѣчено нами выше, мы ограничимся одними крупными явленіями философіи исторіи, которые производили эпоху и имѣли вліяніе на судьбу исторической мысли. Но для того намъ необходимо предварительно условиться въ томъ, что мы будемъ разумѣть подъ историческимъ

познаніємъ вообще, что составляетъ его органъ, какіе законы признаются главнѣйшими законами этого органа, и наконецъ, мы постараемся распределить по классамъ тѣ великія всемірныя системы, въ которыхъ выражалась до сихъ поръ цѣлость историческаго познанія.

Вопросъ о томъ, что должно составить содержаніе исторіи, предметъ историческаго познанія, при всей своей краткости остается однимъ изъ самыхъ обширныхъ вопросовъ. Какія познанія заслуживаютъ названія историческихъ? Что нужно знать, чтобы быть историкомъ, а главное, какъ нужно знать? Однимъ словомъ, что такое исторія? Рѣшеніемъ этого вопроса начинается послѣдній учебникъ, и изслѣдованіемъ его не пренебрегали замѣчательнѣйшіе умы и опытнѣйшіе ученые, какъ на примѣръ Гизо. Въ своей 11-й лекціи „Исторіи цивилизаціи во Франціи“, онъ помѣстилъ обстоятельный отвѣтъ на вышепредложенные вопросы:

„Всякая эпоха, говорилъ Гизо, всякое историческое содержаніе, если позволите такъ выразиться, могутъ быть разсматриваемы съ трехъ различныхъ точекъ зрѣнія и налагаютъ на историка тройкую обязанность“.

И такъ, наше познаніе можетъ быть возвышено до степени историческаго при выполненіи *трехъ* условій; на историкѣ лежатъ *три* обязанности, если онъ желаетъ быть вполне достойнымъ своего имени. Въ

чемъ же состоятъ эти три великія условія историческаго, эти три обязанности историка?

Вотъ первыя двѣ изъ нихъ:

1. Историкъ долженъ собрать факты, поставить ихъ въ настоящемъ свѣтѣ, преслѣдуя при этомъ одну только точность собранія и истинность окраски. Гдѣ нѣтъ точныхъ фактовъ, гдѣ факты утратили безвозвратно свой колоритъ, тамъ нѣтъ исторіи; кто не собралъ всѣхъ фактовъ, кто не успѣлъ возратить имъ ихъ настоящаго цвѣта, тотъ не историкъ. Но есть и другая обязанность у историка.

2. Когда факты собраны, поставлены каждый на своемъ мѣстѣ, тогда предстоитъ постигнуть ихъ взаимную связь, причины, вызывавшія тѣ явленія, которыя составляютъ жизнь общества, и которыя заставляютъ его идти извѣстными путями, къ извѣстнымъ цѣлямъ.

Но вотъ собственныя слова Гизо:

„Событіе въ собственномъ смыслѣ, внѣшнія явленія, видимыя, осязаемыя, составляютъ тѣло исторіи; это — члены, кости, мускулы, органы, вещественныя элементы былого; ихъ знаніе и ихъ описаніе составляютъ то, что можно бы назвать исторической анатоміею. Но для исторіи общества, какъ и для недѣлимаго, анатомія не составляетъ всей науки. Факты не только существуютъ, но они касаются одинъ другого, слѣдуютъ другъ за другомъ и порождаютъ другъ друга въ слѣдствіе извѣстныхъ силъ, которыя дѣй-

ствуютъ подъ вліяніемъ извѣстныхъ законовъ. Однимъ словомъ, общество и недѣлимое имѣютъ свой механизмъ, свою жизнь. Изученіе такого механизма составляетъ опять отдѣльную науку, науку о скрытыхъ законахъ, которые управляютъ ходомъ событій. Это — фізіологія исторіи.“

Итакъ, быть анатомомъ, фізіологомъ — вотъ два первыя условія, выполненіе которыхъ составляетъ обязанность историка.

Но это далеко еще не все.

„Ни историческая анатомія, ни фізіологія, продолжаетъ Гизо, не составляютъ исторіи полной, истинной. Положимъ, вы перечислили событія, вы даже поняли, по какимъ общимъ и внутреннимъ законамъ они произошли. Но знаете-ли вы ихъ наружную и живую фізіономію? Представляются-ли они вашимъ глазамъ въ опредѣленныхъ и одушевленныхъ чертахъ? Присутствуете-ли вы при самомъ зрѣлищѣ судебъ и дѣятельности человѣческой? Однако, все это необходимо нужно, ибо событія, которыя умерли, были нѣкогда живыми; прошедшее было настоящимъ; если они опять не возстанутъ для васъ, вы ихъ не знаете; вы не знаете исторіи. Анатомъ и фізіологъ, работая каждый въ своемъ углу анатомическаго театра, могли-ли бы они догадаться о живомъ существованіи человѣка, если бы они никогда не видали его живымъ?“

Вотъ, въ чемъ состоитъ третья обязанность историка, какъ ее представляетъ себѣ Гизо; историкъ

долженъ — позволимъ себѣ библейское выраженіе — вдохнуть въ прошедшее дыханіе жизни. Первые два требованія, названныя у Гизо историческою анатоміею и фізіологіею, составляютъ предметъ исторической критики; третье и послѣднее должно быть названо историческимъ искусствомъ.

На этомъ останавливается Гизо; но едва-ли должно на этомъ остановиться? Онъ довелъ своего историка только до половины дороги. Положимъ, историкъ удовлетворилъ всѣмъ требованіямъ, выставленнымъ у Гизо: онъ разобралъ критически факты въ ихъ причинной связи, и даже, не довольствуясь этимъ, воскресилъ событія предъ нашими глазами. Работа анатома, фізіолога и художника совершенно окончена, и прошедшее оживило, какъ нѣкогда оно дѣйствительно жило: благодаря ту тройную работу, мы сдѣлались современниками прошедшихъ вѣковъ, и знаемъ прошедшее, какъ могли его знать тѣ, которые его пережили собственной жизнью. Но всего этого еще очень мало, и наше познаніе прошедшаго крайне ограничено, если оно не превышаетъ знанія современниковъ: историку именно предстоитъ послѣдняя и, сознаемся, самая опасная работа, возвыситься надъ точкою зрѣнія современниковъ, и быть не только анатомомъ, фізіологомъ и художникомъ, но вмѣстѣ и *философомъ исторіи*. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, исторія является, такъ сказать, продуктомъ человѣческаго разума. Мы не хотимъ этимъ выразить, что самъ нашъ разумъ дѣлается источ-

никомъ исторіи, творить факты, которые на дѣлѣ не существовали; но, безъ участія разума, совершившіеся факты не могли бы составить изъ себя исторіи. При такой связи историческаго творчества съ дѣятельностью разума, очевидно, развитіе и усовершенствованіе всего историческаго тѣсно связано съ законами развитія разума. Только сквозь эту призму мы можемъ достигать полноты историческаго познанія, и законы разума, его логика, составляютъ послѣднюю форму, въ которую отливается историческій матеріаль. Потому всякій успѣхъ въ наукѣ философіи сильнѣе всего дѣйствовалъ на историческія убѣжденія той или другой эпохи, на ея способы и средства къ оцѣнкѣ и воспріятію прошедшаго. Такъ что исторія прошедшаго, какъ она понимается въ данную эпоху, есть всегда самое лучшее мѣрило философскаго образованія той эпохи, и по той же причинѣ прогрессъ въ чистой философіи, какъ наукѣ о законахъ развитія разума, производилъ соотвѣтствующее преобразованіе въ историческихъ взглядахъ. На этомъ явленіи основана возможность исторіи *философіи исторіи*, и съ другой стороны невозможность такой философіи исторіи, которая была бы пригодна для всѣхъ временъ и народовъ, ибо невозможно такое нормальное развитіе разума, которое не допускало бы никакого дальнѣйшаго прогресса. Такимъ образомъ, для философіи исторіи, какъ и для чистой философіи, возможно только историко-критическое существованіе, но не догматическое: возмо-

жно излагать и анализировать способы воззрѣнія нашего разума въ различныя эпохи его развитія, но нельзя остановиться ни на одной точкѣ, какъ на догматѣ ученія. Можетъ явиться и въ наше время, какъ то бывало въ прежнія времена, высокій геній, который возведетъ до общихъ началъ существующее на практикѣ врознь: и на это время, намъ, современникамъ, новое ученіе представится догматомъ, составитъ школу, но въ послѣдствіи его постигнетъ общая судьба: это ученіе, какъ и предъидущія, образуетъ только ступень въ историко-критическомъ изложеніи философіи или философіи исторіи. Въ подтвержденіе вышесказаннаго сошлемся на происхождение первой и ясной формы философіи исторіи въ началѣ XVIII столѣтія. Это происхождение не было дѣломъ случая, и явилось какъ слѣдствіе весьма определенной причины. Въ XVII столѣтіи произошла одна изъ самыхъ замѣчательныхъ революцій въ области чистаго мышленія, въ области философіи. Мы не думаемъ утверждать, что до того времени философіи исторіи не существовало: но до XVII столѣтія, для философіи исторіи не доставало научнаго начала, именно потому, что было невозможно относить къ разуму причины прогресса. Пока эти причины искались внѣ разума, выше или ниже его, пока идеи разума принадлежали не ему самому, философія исторіи приводилась къ теологіи или граничила съ поэзією, какъ-то было въ средніе вѣка и въ древнемъ мірѣ.

Декартъ, въ XVII столѣтіи, произвелъ рѣшительный переворотъ, открывъ въ разумѣ источникъ и причину всякаго прогресса; опираясь на разумъ, онъ думалъ доказать и свое собственное существованіе, и существованіе всего, что выше и ниже человѣка. Его ученіе не могло остаться безъ послѣдствій для философіи исторіи, и дѣйствительно, едва былъ сдѣланъ имъ проломъ въ области человѣческаго мышленія вообще, какъ вслѣдъ за тѣмъ явилась первая полная система философіи исторіи съ своимъ творцемъ Жанъ-Батистомъ Вико. Безъ такого признанія высокой и самостоятельной роли разума въ человѣческихъ дѣяніяхъ невозможна была философія исторіи, какъ изслѣдованіе ея законовъ въ законахъ нашего разума.

Такимъ образомъ, допустивъ однажды, что существенную часть своего содержанія исторія получаетъ отъ разума, что даже исторія человѣчества въ извѣстномъ смыслѣ есть ни что иное, какъ исторія этого разума, намъ не трудно будетъ указать въ общихъ чертахъ тотъ путь, которому слѣдовали къ уразумѣнію законовъ историческаго развитія человѣческихъ обществъ: во всякомъ случаѣ, этотъ путь не можетъ лежать внѣ законовъ развитія чистаго разума, разсматриваемаго въ своемъ абстрактѣ, какъ голая сила.

Никто не изобразилъ такъ наглядно и вмѣстѣ картинно процесса высшаго мышленія, какъ Аристотель. По его словамъ, мысли человѣка, рождаясь подъ вліяніемъ на нихъ тысячи разнообразныхъ внѣшнихъ пред-

метовъ, представляютъ собою армію, обращенную въ бѣгство непріателемъ; внезапно останавливается одинъ воинъ, за нимъ другой, третій, и армія снова приходитъ въ порядокъ, чтобы дать отпоръ тѣснившему ее непріателю. Этотъ первый остановившійся воинъ и есть нашъ разумъ; безъ него всѣ наши опытные познанія растекались бы во всѣ стороны, какъ весенняя вода, ищущая своихъ береговъ; берега же, которые, подобно плотинѣ, сдерживаютъ наши опытные познанія, и дѣлаютъ ихъ такимъ образомъ добычею разума, называются его *идеями*. Самая крайняя идея, обнимающая собою все существующее, есть *идея бытія*, которая дѣлаетъ возможными всѣ остальные идеи.

Получивъ этимъ путемъ множество разнообразныхъ идей, человѣческій разумъ начинаетъ съизнова свою работу: ему необходимо привести ихъ въ порядокъ, какъ нужно было остановиться на томъ или другомъ чувственномъ воспріятіи, чтобы привести разнообразныя впечатлѣнія внѣшняго міра къ одной идеѣ. Такой порядокъ въ идеяхъ называется извѣстною *системою* разума; система такимъ образомъ составляетъ второй и заключительный продуктъ нашего разума. Всякая новая идея, всякое болѣе точное опредѣленіе въ прежнихъ идеяхъ влечетъ за собою измѣненіе цѣлой системы и замѣненіе ея новою системою. На этомъ основана такъ называемая теорія человѣческихъ заблужденій. На этомъ же основаніи полагаютъ, что наши чувственныя воспріятія и вытекающія изъ нихъ опредѣ-

ленія воли сами по себѣ не могутъ быть ни истинны, ни ложны; глазъ можетъ видѣть такъ, какъ только то ему возможно при условіяхъ, въ которыя поставленъ органъ зрѣнія. Заблужденія принадлежать разуму и въ то же время часто служатъ главнымъ основаніемъ его прогресса; причина заблужденій лежитъ въ безконечномъ разстояніи между ограниченностью, мелочью ежедневныхъ задачъ разума и безпредѣльностью его послѣдней задачи постигнуть истину во всемъ ея объемѣ. Такъ изображена теорія заблужденій у Канта, который выражаетъ ее въ формѣ противоположности вообще конечнаго и безконечнаго, божескаго и человѣческаго.

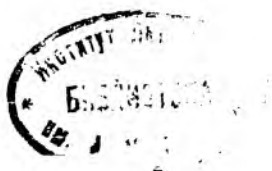
Вышеупомянутый процессъ измѣненія въ идеяхъ, влекущаго за собою измѣненіе и самыхъ системъ, или теорія заблужденій, есть конечно самый любопытный вопросъ философіи, и на него обращали вниманіе лучшіе умы всѣхъ вѣковъ и народовъ. При всей своей видимой отвлеченности, этотъ вопросъ тревожитъ насъ во всѣхъ мелочахъ жизни, и весь драматизмъ исторіи основанъ главнымъ образомъ на немъ: сколько мучительныхъ періодовъ переживаетъ и отдѣльный человѣкъ, и цѣлыя общества, въ эпоху преобразованія идей и системъ! сколько ошибокъ, сколько невѣрныхъ шаговъ, сколько ложныхъ притязаній дѣлаются и старою и новою системой, прежде нежели придетъ къ концу ихъ однажды зародившійся споръ!

Ближайшее разсмотрѣніе вопроса, какъ совершается въ чистомъ разумѣ измѣненіе въ идеяхъ и системахъ,

покажетъ намъ, на сколько тѣ притязанія могутъ быть справедливы, и на чемъ основывается главнымъ образомъ споръ стараго съ новымъ, обусловливающій всякое движеніе въ исторической жизни человѣческихъ обществъ.

Никто, какому бы мнѣнію онъ ни принадлежалъ въ эту минуту, не станетъ оспаривать возможности, ни для себя лично, ни для цѣлаго общества, встрѣтиться съ новыми предметами, или отъ тѣхъ же предметовъ получить новыя впечатлѣнія. Допустивъ же разъ такую простую возможность, мы должны будемъ допустить и возможность измѣненія въ нашихъ чувственныхъ воспріятіяхъ, нашихъ идеяхъ и системахъ. И такъ, появленіе новой идеи, дѣйствительное появленіе, вызванное реальною потребностью, а не игрою фантазіи, составляетъ самое первое и вмѣстѣ самое естественное, самое простое условіе и законъ измѣненія нашихъ идей и системъ. Но это еще не всё.

Второе условіе, второй законъ развитія разума и прочнаго его прогресса, менѣе доступенъ съ перваго взгляда и менѣе потому обращаетъ на себя вниманіе, хотя это второе условіе не менѣе настоятельно, какъ и первое. Мало того, чтобы новая идея заявила о своемъ существованіи; необходимо, чтобы она развилась до *прямой* противоположности съ предшествовавшей ей идеею. Въ формальныхъ наукахъ, какъ на примѣръ въ математикѣ, это второе условіе можетъ быть выражено точно также просто, какъ и первое: всякая но-



вая единица самымъ яснымъ и неоспоримымъ образомъ измѣняетъ прежнюю математическую формулу и влечетъ одинаковыя послѣдствія во всѣхъ дальнѣйшихъ вычисленіяхъ. Чтобы перейти отъ 1 къ 2, мы имѣемъ только одну дорогу, и всѣ, безъ различія во мнѣніяхъ, скажутъ: $1+1=2$. Точно также въ умственномъ и въ нравственномъ порядкѣ вещей необходимо для полученія новой суммы, чтобы новая идея достигла самостоятельнаго значенія, какъ новая единица, и могла бы стать въ полную противоположность съ прежнею единицею. Для болѣе яснаго уразумѣнія этого второго закона развитія идей чистаго разума, лучше всего обратиться къ примѣрамъ обыденной жизни какъ отдѣльнаго человѣка, такъ и цѣлаго общества. Въ обыденной жизни, прогрессъ идей совершается въ формѣ спора, борьбы мнѣній и т. п. Чѣмъ болѣе развиты противники, тѣмъ споръ ихъ спокойнѣе, проще, и съ каждымъ новымъ оборотомъ мысли для свидѣтеля становится ясно, какъ изъ борьбы мнѣній рождается истина, такъ сказать, безъ болѣзни и агоніи: наконецъ, старое какъ будто само радо уступить мѣсто новому, и новое овладѣваетъ полемъ битвы безъ дикаго торжества, безъ самозабвенія. Тоже самое мы видимъ при зрѣлищѣ правильно развивающагося общества: старое борется съ новымъ, но каждое сознаетъ взаимно свое значеніе, и побѣдитель можетъ гордиться своимъ торжествомъ столько же, сколько побѣжденный—своимъ пораженіемъ. Другую картину представляютъ

отдѣльные люди и цѣлыя общества, въ которыхъ ни старыя, ни новыя идеи не перешли въ полное убѣжденіе, или, какъ мы выразились выше, не достигли прямой противоположности: ихъ споръ и борьба не представляютъ ни начала, ни конца; люди мучатся, убѣждая другъ друга въ томъ, въ чемъ никто самъ не убѣжденъ глубоко; слабость разумныхъ доводовъ подкрѣпляется озлобленіемъ чувства, но споръ остается бесплоднымъ, и обѣ стороны считаютъ себя побѣдителями: вѣрный признакъ того, что люди не дошли до прямой противоположности въ своихъ идеяхъ, и при всемъ своемъ ожесточеніи они не подвинутся ни на шагъ впередъ. Исторія указываетъ намъ часто примѣры такого печальнаго состоянія обществъ: обѣ стороны дѣйствуютъ, какъ во снѣ; противникъ представляется чѣмъ-то въ родѣ кошмара, и никто не чувствуетъ возможности ни побѣдить, ни быть побѣжденнымъ.

Мы указали на два самыя существенныя условія, при которыхъ совершается переворотъ въ идеяхъ. Но есть еще третье условіе, которое можно весьма удобно наблюдать въ борьбѣ идей религіозныхъ, политическихъ, національныхъ, даже научныхъ, артистическихъ и т. п. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, для полного торжества новой идеи, какъ мы то видимъ безпрестанно, недостаточно одного простого ея появленія и прямого противорѣчія съ господствовавшюю идеею: ни очевидность чувства, ни доводы разума

не въ состояніи разъяснить дѣла, и противники долгое время съ ожесточеніемъ пятнають другъ друга названіями еретиковъ, революціонеровъ, людей безъ таланта, невѣждъ, людей безъ вкуса и т. д. Остановимся на величайшемъ событіи въ исторіи, на идеи, которая давно уже окончательно восторжествовала — мы говоримъ о судьбѣ христіанской идеи при первомъ ея выступленіи противъ старой идеи язычества. Неужели человѣческому смыслу той эпохи чего нибудь недоставало, чтобы понять все величіе христіанской идеи, которое такъ понятно теперь намъ? Не забудемъ при этомъ, что въ ту эпоху христіанская идея явилась во всей своей чистотѣ и простотѣ, и тѣмъ не менѣе она была встрѣчена съ величайшею враждою. Безъ сомнѣнія, въ томъ обществѣ было много людей, которые вооружились противъ христіанъ по одной причинѣ съ дѣлателями истукановъ въ Эфесѣ: многіе должны были пострадать въ своихъ матеріальныхъ интересахъ вмѣстѣ съ принятіемъ христіанства. Но такіе враги не были бы опасны для христіанства: въ числѣ противниковъ христіанства были не одни погибшіе люди, но также и такіе, умъ и сердце которыхъ могутъ служить украшеніемъ всякаго общества. Это были искренніе враги, враги по убѣжденію, и вмѣстѣ люди несомнѣннаго таланта, высокаго образованія — какъ напримѣръ самъ ап. Павелъ до своего обращенія — люди, которые, повидимому, могли бы понять то, что теперь понятно самому простому смыслу. Какъ объяснить себѣ это

явленіе, столь часто повторяющееся въ исторіи многихъ переворотовъ? Очевидно, что для торжества какой нибудь идеи недостаточно первыхъ двухъ вышеуказанныхъ условій, что должно быть еще одно условіе, которому должны подчиняться всѣ идеи во время своего развитія. Это третье условіе не такъ легко поддается точному опредѣленію; оно неуловимо, неосязательно: его называютъ сантиментальнымъ, поэтическимъ, даже мистическимъ настроеніемъ общества. Въ самыхъ ничтожныхъ случаяхъ жизни и доступныхъ для наблюденія каждому, мы видимъ постоянно, что, для измѣненія въ обществѣ понятій о чести, о приличіи и т. п., необходимо, чтобы въ немъ измѣнилось прежнее его настроеніе; безъ того, оно найдетъ болѣе удобнымъ для себя самую дикія идеи, лишь бы онѣ гармонивали съ его общимъ настроеніемъ. Двѣсти лѣтъ сряду мы слѣдимъ въ литературѣ среднихъ вѣковъ за насмѣшками надъ идеями рыцарства, но оно продолжаетъ благополучно существовать, и нельзя даже думать, чтобы Донъ-Кихоть убилъ ихъ окончательно.

То, что мы говорили до сихъ поръ о развитіи идей въ чистомъ разумѣ, можетъ быть примѣнено къ общественному разуму, представителемъ котораго служитъ человѣческое общество, называемое превосходно на языкѣ нашего простолюдина *міромъ*. Самое существованіе того или другого человѣческаго общества есть само по себѣ свидѣтельство о существованіи извѣст-

ной идеи, которая служитъ вмѣстѣ и цѣлью. Каждое общество потому имѣетъ непремѣнно въ своемъ основаніи какую-нибудь идею, и въ то же время на своей поверхности представляетъ опредѣленную, замкнутую систему. Это явленіе всего проще наблюдается въ эпоху борьбы двухъ обществъ; война двухъ народностей есть въ то же самое время борьба какихъ-нибудь двухъ системъ. Чѣмъ правильнѣе идея общества, чѣмъ его система полнѣе и ѣмче, тѣмъ болѣе прочна и разумна его жизнь. Самые законы зарожденія общества, какъ извѣстной идеи, и дальнѣйшаго его развитія въ формѣ опредѣленной системы, должны оставаться неизмѣнными и повторить въ себѣ вышесказанное нами о развитіи идей и системъ чистаго разума.

Обобщеніе внѣшнихъ впечатлѣній создаетъ первую идею общества; люди, поставленные въ одинаковыя условія выгодъ и невыгодъ, соединяютъ свои силы для одной цѣли и кладутъ въ основаніе всей общественной жизни одну общую всѣмъ идею. Дальнѣйшее очищеніе идей, обогащеніе ими, усовершенствованіе системы, составляютъ дальнѣйшую картину общественной жизни; затемнѣніе идей, сбивчивость ихъ, неопредѣленность, ослабленіе системы называется паденіемъ, смертью общества. Всякій шагъ въ общественной жизни, переходъ отъ старой идеи къ новой, отъ прежней системы къ послѣдующей, подчиняются тѣмъ же условіямъ, какъ и въ чистомъ ра-

зумѣ: теорія заблужденій чистаго разума остается вѣрною и для теоріи общественныхъ заблужденій, потому что всякое общество есть ни что иное, какъ извѣстная идея и извѣстная система. Различіе въ этомъ случаѣ состоитъ только въ томъ, что самый актъ физическаго рожденія человѣка ставитъ его въ необходимость сдѣлаться членомъ готовой системы, т. е. готоваго семейства или общества, въ созданіи котораго онъ не участвовалъ. Но воспитаніе, привычка, примѣръ, такъ сказать, рождаютъ вторично человѣка и тѣсно связываютъ новаго члена съ своимъ бытомъ, и онъ кончаетъ обыкновенно тѣмъ, что признаетъ чужую волю своею волею. Въ самомъ дѣлѣ, никто изъ насъ не считаетъ неудобствомъ того, что онъ не долженъ снова изобрѣтать азбуки, и остается довольнымъ прежнимъ изобрѣтеніемъ, какъ своимъ собственнымъ; даже видитъ въ этомъ обстоятельствѣ большую выгоду для сообщенія съ своимъ обществомъ и для связи съ нимъ. Одна кровная связь людей была бы недостаточна сама по себѣ, если бы она несопровождалась общеніемъ идей, нравовъ, интересовъ и т. д. Но общество, какъ и отдѣльный человѣкъ, не можетъ перенести въ себѣ противорѣчія идей. Потому-то въ обществѣ, будетъ ли то небольшое семейство, или цѣлая община, какъ скоро является новая идея, новая система, борьба дѣлается неизбежною. Мы видѣли выше, при какихъ условіяхъ смѣняются идеи и системы въ чистомъ разумѣ; тѣмъ же путемъ и при

тѣхъ же условіяхъ смѣняютъ другъ друга цѣлыя общества, разсматриваемыя, какъ извѣстныя системы. Для того чтобы одно общество пало и утвердилось другое, нужно также чтобы это послѣднее могло стать въ прямую противоположность съ первымъ, чтобы оно было дѣйствительною системою, обнимающею всѣ вопросы жизни, и чтобы наконецъ поэтическое настроеніе времени объявило себя въ пользу новой системы. Возьмемъ примѣръ изъ жизни искусства: въ какую нибудь данную эпоху существуетъ извѣстная система архитектуры; всѣ дома строятся окошками на дворъ и выводятся глухими стѣнами на наружу, какъ то и было въ средніе вѣка и на Востокѣ. Дѣйствительныя причины, вызвавшія такую архитектуру, могутъ пройти, но не такъ скоро произойдетъ перемѣна въ архитектурныхъ вѣсахъ.

Но такой взглядъ на полное тождество законовъ развитія чистаго разума и общественнаго разума нашель себѣ, какъ мы увидимъ ниже, сильнаго противника въ томъ же самомъ Декартѣ, который придалъ такое огромное значеніе человѣческому разуму. Въ своемъ „Разсужденіи о методѣ“, онъ положительно отвергаетъ тождество въ законахъ развитія чистаго разума и общества; онъ допускаетъ, правда, что чистый разумъ управляетъ нами по законамъ очевидности всякій разъ, когда воля направляется имъ къ выполненію его требованій; что то же самое дѣлаетъ и общественный разумъ; но чистый разумъ признаетъ

очевидность только въ случаѣ тождественности, т. е., чистый разумъ повелѣваетъ только тогда, когда вопросъ очевиденъ, какъ $2 \times 2 = 4$. Между тѣмъ, продолжаетъ Декартъ, общественный разумъ всегда имѣетъ дѣло только съ *вроятнымъ*, правдоподобнымъ; для него нѣтъ цифръ, и потому онъ вынужденъ дѣйствовать внѣ законовъ чистаго разума и даже подчиняться капризамъ воли. Потому, заключаетъ Декартъ, общество не можетъ развиваться иначе, какъ подъ вліяніемъ сильнаго авторитета съ одной стороны, и историческихъ традицій — съ другой. Это мнѣніе Декарта вооружило противъ себя еще Вико: „Мы много обязаны Декарту, писалъ онъ въ 1711 г., за то, что онъ сдѣлалъ индивидуальный умъ мѣриломъ истины; противное мнѣніе, основывавшее все на внѣшнемъ авторитетѣ, было слишкомъ уже унижительно. Мы обязаны ему также за приведеніе законовъ мышленія къ одному методу: порядокъ схоластики былъ хуже всякаго безпорядка. Но утверждать опять, что индивидуальное сужденіе одно можетъ управлять, подчинить все геометрическому методу, это значитъ впасть въ противоположное увеличеніе. Теперь настаетъ время держаться середины между двумя крайностями, слѣдовать индивидуальному сужденію, но съ уваженіемъ къ авторитету; держаться метода, но различнаго, смотря по природѣ самыхъ вещей“ *).

*) Отвѣтъ Вико на нападенія одного журнала противъ его сочиненія: *De antiquissima Italorum sapientia* etc. 1711.

По мнѣнію Декарта, чистый разумъ имѣетъ въ себѣ всѣ свойства геометрическихъ фигуръ: въ немъ всѣ прямые углы равны; но разумъ общественный не представляетъ такой правильности и непрерывно видоизмѣняется подѣ впечатлѣніемъ страстей. Потому Декартъ сравниваетъ каждую цивилизацію, каждую степень общественной образованности, съ тѣми старыми городами, которые разрослись столѣтіями, и которые потому заключаютъ въ себѣ самыя фантастическія зданія, кривыя, неровныя улицы, и всякій, смотря на такой городъ, скажетъ, что не разумъ челоуѣка, а случай былъ архитекторомъ при этой работѣ *).

Идеи Декарта, очевидно, клонятся къ тому, чтобы доказать, что общественный разумъ, т. е. исторія, находится въ полномъ разногласіи съ развитіемъ чистаго разума; что послѣднее правильно и неизмѣнно, какъ законы математики, а первое своевольно, какъ игривый случай, выведшій улицы и дома среднеувѣковыхъ городовъ, стоявшихъ еще на глазахъ Декарта; что наконецъ авторитетъ недѣлимаго ума необходимъ, чтобы управлять обществомъ; что общество, какъ и недѣлимый въ своемъ дѣтствѣ, не имѣетъ своего разума и воспитывается чужимъ умомъ, и при томъ не всегда правильнымъ и безошибочнымъ.

Ученіе Декарта стоитъ въ слишкомъ очевидной связи съ тѣмъ временемъ, которое переживалось обще-

*) См. собственные слова Декарта ниже въ гл. II, ч. втор.

ством XVII столѣтія. Европейское общество только-что выходило изъ того средневѣкового порядка, который оставилъ намъ поговорку о правѣ каждаго барона имѣть свою фантазію; оно еще жило среди развалинъ падавшаго феодализма и въ то же время было уже готово принять въ себя идеи о государственной жизни Ришелье, разчищавшаго дорогу для вѣка Людовика XIV. Восторгъ Декарта, стоявшаго на рубежѣ среднихъ вѣковъ и эпохи Людовика XIV понятенъ и вмѣстѣ служить опроверженіемъ его новой доктрины о значеніи великаго ума, который отливаетъ въ одну форму всю общественную жизнь. Взглядъ Декарта на роль геніевъ въ судьбѣ народа имѣлъ много приверженцевъ, и недавно, въ „Исторіи Юлія Цезаря“, написанной императоромъ французовъ Наполеономъ III, мы встрѣтили въ другой формѣ ту же самую идею.

Мы упомянули, что доктрина Декарта заключаетъ въ себѣ и опроверженіе себя. Развѣ сама философія Декарта, этого геніальнаго мыслителя, вышла изъ его недѣлимаго разума, какъ совершенно отрѣшеннаго отъ общественнаго разума? Во французскомъ обществѣ временъ Ришелье, идеи Декарта имѣли уже свою жизнь въ практикѣ, и геніальность философа состояла только въ томъ, что онъ отвлекъ то, сѣмена чего лежали безсознательно въ самой общественной жизни, и возвелъ отвлеченное имъ къ общимъ началамъ. Что случилось съ Декартомъ, то бываетъ съ авторитетомъ каждаго

генія, перестраивающаго общество по одной идеѣ. Только по одной наружности, геній отдѣльнаго лица или авторитетъ стоитъ отдѣльно отъ общественнаго разума и надъ нимъ; но въ дѣйствительности геній есть первый рабъ и должникъ своего общества; вся его удача или неудача основана на томъ, въ какой мѣрѣ онъ постигъ потребности своего общества; эти потребности предшествуютъ генію и тяготѣютъ надъ нимъ. Съ системами геніальныхъ людей бываетъ тоже самое, что и съ великими изобрѣтеніями: быть способнымъ принять какое нибудь изобрѣтеніе, воспользоваться имъ, такая же заслуга для общества, какъ для генія — сдѣлать это изобрѣтеніе. Великіе люди могутъ являться только у великихъ народовъ, или по крайней мѣрѣ въ великія минуты его существованія; и нѣтъ народа, который не имѣлъ бы своихъ великихъ минутъ. Если Спарта приняла законы Ликурга, о чемъ говоритъ Декартъ, то только потому, что она одна была способна ихъ принять и нуждалась въ нихъ: общественный разумъ Спарты диктовалъ недѣлимому генію Ликурга. Дѣло не въ геніѣ законодателя, ни даже въ самомъ содержаніи его законовъ: законы Ликурга не были секретомъ для другихъ греческихъ городовъ-государствъ и лежали предъ ними, также какъ и передъ Спартой; но одна Спарта могла воспользоваться ими. Если бы было достаточно одного знанія, что хорошо и что худо, то тогда жизнь историческая не представляла бы затрудненій: стоитъ взять хоро-

шее тамъ, гдѣ оно установилось, и перенести его на всякую другую почву. Но такая операція осталась бы безъ послѣдствій: мы видимъ, что законодательство Ликурга существовало и позже, а между тѣмъ сама Спарта падаетъ, и законодательство, служившее источникомъ ея благосостоянія, оказывается безсильнымъ даже въ самомъ мѣстѣ своего рожденія.

Справедливо-ли послѣ того утверждать, что общество въ своемъ развитіи опирается исключительно на авторитетъ недѣлимаго ума, генія, который творитъ все изъ одной идеи; что безъ такого авторитета общественный разумъ растетъ криво, случайно, куда потянетъ его то или другое обстоятельство? Не будетъ-ли справедливѣе утверждать обратное, а именно, что авторитетъ нуждается въ извѣстной степени общественнаго развитія, что онъ служитъ не больше, какъ его толкователемъ? А въ такомъ случаѣ, для философіи исторіи мало сослаться на вліяніе великой личности; главнымъ предметомъ ея останется всегда общественный разумъ и законы его развитія, которые не только не противоположны чистому разуму, но даже служатъ его нагляднымъ выраженіемъ.

Если же мы допустимъ однажды, 1) что общественный разумъ развивается по одному закону и пути съ чистымъ разумомъ; 2) что каждое общество, какъ и недѣлимый умъ, начинаетъ свою внутреннюю жизнь подъ вліяніемъ безчисленнаго множества внѣшнихъ обстоятельствъ; 3) что, подобно чистому разуму, оно

полагаетъ своею основою идеи, приводимыя опять къ извѣстной системѣ; и 4) что, однимъ словомъ, каждое общество въ своемъ началѣ есть идея, и, въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, вырабатываетъ изъ себя цѣлую систему; допустивъ все это, мы можемъ примѣнить къ исторіи человѣческихъ обществъ всѣ тѣ законы, по которымъ развиваются и слѣдуютъ другъ за другомъ системы чистаго разума.

Внутренняя жизнь чистаго разума вызывается внѣшними впечатлѣніями; эти послѣднія опредѣляютъ волю и чрезъ нее дѣйствуютъ на разумъ; въ свою очередь, разумъ, въ силу своей внутренней природы, превращаетъ отдѣльныя впечатлѣнія въ идеалъ, подчиняетъ этому идеалу волю и чрезъ нее воздѣйствуетъ на внѣшній міръ. Потому во внутренней жизни отдѣльнаго человѣка мы должны видѣть два постоянные тока, приливъ и отливъ: одинъ идетъ отъ внѣшняго міра и восходитъ до идеала разума; другой — отъ идеала разума возвращается къ внѣшнему міру. Тоже можно сказать о собирательномъ разумѣ общества, состоящаго изъ множества недѣлимыхъ лицъ: каждое общество, при своемъ рожденіи, видитъ себя окруженнымъ матеріальными условіями климата, почвы, близости или отдаленности воды и т. п.; все это поражаетъ органы чувственного воспріятія и опредѣляетъ волю общества; на основаніи внушеній воли, разумъ создаетъ свои идеалы. За тѣмъ начинается обратный процессъ: идеалы разума даютъ новое опредѣленіе воли, и чрезъ

нее воздѣйствуютъ на внѣшній міръ, на самый климатъ, почву, даже на физическую природу самого человѣка. Этотъ процессъ взаимодѣйствія внѣшняго міра и разума идетъ въ безконечность: матеріальный міръ, испытавъ на себѣ силу идеаловъ разума, производитъ рядъ новыхъ впечатлѣній на общественную волю, а чрезъ нее и на самый разумъ; разумъ создаетъ новые идеалы и производитъ новое совершенствованіе въ матеріальномъ порядкѣ вещей.

Возьмемъ для примѣра общество пастуховъ, какъ ближайшее къ первобытному порядку вещей; первая воля этого общества родилась подъ вліяніемъ матеріальнаго богатства окружающей его природы, которая породила первыя впечатлѣнія воли. Разумъ на основаніи этихъ впечатлѣній создалъ идеалы, и въ нихъ почерпнулъ новыя средства къ искусственному разведенію и сбереженію скота чрезъ предохраненіе его отъ вліянія зимы, голода, падежа; быстро размножившееся стадо произвело новое дѣйствіе на волю общества, породило въ немъ рядъ новыхъ чувствованій, дало понятіе о комфортѣ богатства, вызвало необходимую мысль о защитѣ собственности; общество стремится къ новымъ идеаламъ, которые побуждаютъ его овладѣть землею болѣе прочно и найти въ ней новый источникъ богатства: общество переходитъ отъ пастушескаго быта къ земледѣльческому. За тѣмъ повторяются прежнія явленія: благосостояніе земледѣльца влечетъ человѣка къ новымъ идеаламъ, и подъ ихъ

вліяніемъ онъ строить города, занимается торговлею, мореплаваніемъ, искусствами; такимъ образомъ, и въ самыхъ улучшеніяхъ, въ самомъ благосостояніи, даже наконецъ въ самомъ покоѣ, общество находитъ новыя побужденія къ вѣчной тревогѣ, къ вѣчному движенію, къ непрерывной дѣятельности; и это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока не истощится способность разума восходить до идеаловъ.

Условія такого развитія общественнаго разума, какъ перехода отъ одной идеи къ другой, и отъ старой системы къ новой, остаются тѣже, какъ и для чистаго разума. Но въ общественномъ разумѣ, естественно, такой переходъ долженъ совершаться съ гораздо бѣльшими затрудненіями, особенно въ отношеніи приведеннаго нами выше третьяго условія для успѣха новой системы, которое заключается именно въ неуловимомъ, мистическомъ настроеніи общества. Потому-то общественные перевороты нуждаются въ десяткахъ лѣтъ, и даже въ цѣломъ столѣтіи, прежде нежели новая система достигнетъ своего осуществленія, хотя ея очевидность и разумность была ясна съ перваго раза.

Разсматривая такимъ образомъ судьбу человѣческихъ обществъ, какъ отраженіе судьбы человѣческаго разума, мы должны представлять себѣ самую исторію не только какъ рядъ событій, но, что гораздо важнѣе, какъ рядъ системъ общественнаго разума, слѣдующихъ одна за другою и быстро смѣняющихся

взаимно. Даже можно сказать, что въ исторіи рода человѣческаго идутъ другъ за другомъ не столько народы, сколько тѣ системы, которыхъ они были временными представителями.

Разсматриваемая только съ такой точки зрѣнія, исторія можетъ дѣлаться предметомъ работы и задачей для философіи. Если исторія человечества есть рядъ системъ и идей, лежащихъ въ основѣ каждаго общества, то философія исторіи должна объяснить, въ чемъ можетъ состоять послѣдній и высшій идеаль общественнаго разума, его самая широкая и всеобъемлющая система.

Намъ оставалось бы теперь въ заключеніе нашего введенія указать, какъ рѣшался въ различныя времена этотъ основной вопросъ философіи исторіи, какими путями думали достигнуть его точнаго выраженія, и какъ одна теорія смѣняла собою другую; но мы должны предварительно упомянуть о тѣхъ возраженіяхъ, которыя дѣлаются противъ самой возможности философіи исторіи, на томъ основаніи, что въ судьбѣ какъ недѣлимаго человѣка, такъ и цѣлаго общества, весьма часто господствуетъ случай, недопускающій никакихъ законовъ, никакого научнаго опредѣленія. Говорятъ, что мы находимся безпрестанно подъ вліяніемъ самыхъ случайныхъ обстоятельствъ, что общество въ своемъ развитіи можетъ иногда зависѣть даже отъ смерти или жизни одного лица, и чего не можетъ предвидѣть никакая философія исторія. Но, разсуждая подобнымъ об-

разомъ, мы должны поспѣшить выйти не только изъ области философіи исторіи, гдѣ одинъ простой случай можетъ опрокинуть всѣ подмостки той или другой теоріи, но бѣжать также изъ нашего дома на томъ столько же справедливомъ основаніи, что случай можетъ посмѣяться надъ всѣми законами архитектуры; архитекторъ не можетъ проникнуть въ глубину почвы и предвидѣть, что чрезъ 10 лѣтъ она осадеть, и съ нею обрушатся стѣны; въ Амстердамѣ, какъ ни были прочны постройки, но явился внезапно небывалый до того времени червь и подточилъ сваи: все разрушилось. Надъ нашей головой виситъ и подъ нашими ногами копошится множество случаевъ, начиная съ удара молніи до того амстердамскаго червя, но мы тѣмъ не менѣе продолжаемъ строить дома и жить въ нихъ, имѣя увѣренность, что сумма уже извѣданныхъ нами законовъ природы достаточна, чтобы не бояться случаевъ; даже каждый новый враждебный намъ случай вызываетъ нашъ духъ къ новымъ изслѣдованіямъ: въ новомъ случаѣ мы открываемъ опять законъ, и ставимъ громоотводъ надъ кровлею своего дома. Теоріи наукъ суть такія же жилища нашего духа, какъ домъ служитъ убѣжищемъ для тѣла; быть можетъ эти теоріи шатки, но шатки и наши дома; а между тѣмъ нельзя перестать ихъ строить.

Мы съ своей стороны предприняли именно сдѣлать опытъ къ послѣдовательному изложенію тѣхъ главнѣйшихъ теорій философіи исторіи, которыя стреми-

лись, такъ сказать, покрыть однимъ навѣсомъ всю судьбу человѣческаго рода. Каждый вѣкъ приступалъ къ этой работѣ, вооруженный ему доступными средствами, и теоріи философіи исторіи, какъ и дома людей, имѣли потому для себя различныя матеріалы и весьма разнообразную архитектуру.

При всемъ томъ однако мы имѣемъ возможность найти въ этомъ разнообразіи такія общія черты, которыя позволяютъ намъ подвести всѣ теоріи философіи исторіи подъ два главные класса и, сообразно съ тѣмъ, изложить свой опытъ въ двухъ частяхъ.

Какъ бы ни были разнообразны приемы и точки зрѣнія различныхъ теорій въ философіи исторіи, но всѣ онѣ слѣдуютъ главнымъ образомъ двумъ методамъ: однѣ обращаются къ прошедшему, какъ къ чему-то законченному и изъ него выводятъ идеаль будущаго; другія смотрятъ на прошедшее, только какъ на ступени въ развитіи человѣчества, и ставятъ потому идеаль этого развитія въ далекомъ будущемъ. Отсюда двѣ главныя школы философіи исторіи.

Приемы первой изъ нихъ состоятъ въ томъ, что обыкновенно берется какая-нибудь данная эпоха, слѣдовательно извѣстная существовавшая система, за норму, и по ней судится не только все остальное прошедшее, но и предчувствуется будущее.

Другая школа ищетъ свой идеаль на основаніи требованій чистаго разума, прямо ставитъ его въ будущемъ, и имъ объясняетъ цѣль исторической жизни

всѣхъ народовъ. Такъ какъ, по ученію первой школы, въ исторіи народа, избраннаго за норму, должны совершиться всѣ періоды развитія, отъ рожденія до смерти общества, и такъ какъ всѣ другіе народы только повторяютъ на себѣ исторію этого народа, то и эта школа можетъ быть названа *теорією вѣчнаго историческаго круговращенія*.

По взглядамъ другой школы, прошедшее въ исторіи человѣчества есть только постепенное поднятіе его на новую высоту, и потому мы назовемъ ея ученіе *теорією вѣчнаго историческаго прогресса*.

Соотвѣтственно такимъ двумъ преобладающимъ токамъ въ философіи исторіи мы раздѣлимъ и нашъ опытъ на двѣ главныя части, и, начавъ съ изложенія *теоріи круговращенія*, заключимъ *теорією прогресса*, которая притомъ представляетъ и наибольшее число послѣдователей.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



ТЕОРІЯ •

ВЪЧНАГО ИСТОРИЧЕСКАГО КРУГОВРАЩЕНІЯ.

ГЛАВА I.

Предшественники Вико.

Теорія вѣчнаго историческаго *круговращенія*, въ хронологическомъ порядкѣ, можетъ быть названа болѣе новою; при всей своей наглядности и простотѣ она могла поразить воображеніе человѣка и подчинить его умъ своему влѣянію только тогда, когда люди уже успѣли оставить за собою большое прошедшее, когда нѣсколько человѣческихъ порядковъ смѣнились одинъ другимъ, и когда мыслящему человѣку все прошедшее представилось по необходимости само собою грудою развалинъ, на которыхъ продолжаютъ жизнь свою современники. Для происхожденія такой теоріи надобно было, чтобы успѣли явиться цѣлые народы, чтобы они имѣли время прожить, возрасти и пасть, уступивъ свое мѣсто новымъ языкамъ, новымъ обычаямъ и привычкамъ. Вотъ почему мы считаемъ теорію круговращенія болѣе новою системою философіи исторіи, ибо она предполагаетъ большую историческую опытность въ той эпохѣ, когда она могла сложиться въ первый

разъ. Главный, основной пріемъ этой теоріи весьма простъ и вытекаетъ самъ собою изъ первыхъ законовъ человѣческаго мышленія. Дѣйствительно, что могло быть естественнѣе для мыслителя какой нибудь позднѣйшей образованности, оставившей за собою нѣсколько падшихъ цивилизацій, какъ впасть въ историческій *антропоморфизмъ*, подобный религіозному антропорфизму, который изображаетъ божество со всеми внѣшними атрибутами физическаго человѣка? Что могло быть легче, какъ увидѣть въ постоянной смѣнѣ народовъ ту же самую смѣну, которая совершается съ отдѣльными людьми: человѣкъ рождается, пробѣгаетъ свою юность, достигаетъ зрѣлыхъ лѣтъ и путемъ старости входитъ въ могилу; между тѣмъ рождается новый человѣкъ и повторяетъ на себѣ ту же исторію, слѣдуетъ тѣмъ же законамъ и передаетъ другимъ ту же задачу, которую онъ наслѣдовалъ отъ своихъ предшественниковъ. Такое перенесеніе судьбы отдѣльнаго человѣка на судьбу націй съ его дѣтствомъ, юностью и дряхлостью имѣетъ для себя въ прошедшемъ нѣкоторыя опытыныя основы, и потому теорія круговращенія весьма часто приводила своихъ послѣдователей тѣмъ къ большимъ заблужденіямъ, чѣмъ прочнѣе и незыблемѣе казались ея доводы. Тема ея чрезвычайно обширна, неопредѣльна, благодарна и увлекательна! Кромѣ того, она такъ проста и естественна съ перваго взгляда, что мы можемъ оспаривать ее, сколько угодно, но она никогда не прекратитъ своего существованія, и каждый

изъ насъ, опровергая всѣми силами самую теорію, можетъ часто говорить и размышлять о судьбѣ націй въ духѣ этой теоріи. Всякій разъ, когда, для объясненія развитія какой нибудь живущей народности, прибѣгаютъ къ указанію на судьбу другого государства, Рима, Англїи или Франціи, невольно отправляются изъ этой же теоріи круговращенія и, не называя ее по имени, слѣдуютъ ея аксіомамъ. Всего чаще эта теорія служитъ основою въ публицистикѣ, хотя, быть можетъ, мыслитель, пользующійся этою теоріею, по тому или другому отдѣльному случаю, будетъ самъ оспаривать это ученіе во всей его послѣдовательности. Такъ называемая *система намековъ* вся построена на теоріи круговращенія, и писатель республиканской партіи, равно какъ и монархической, черпаютъ свои доводы изъ одного и того же источника: анализируя судьбу римской республики, хотятъ показать, къ чему приводитъ вообще республиканская форма правленія; противники этого мнѣнія предпочитаютъ останавливаться на эпохѣ Калигуль, Нероновъ, и высказываютъ свое мнѣніе о началѣ цезаризма. Но обратимся къ историческому изложенію этой теоріи круговращенія.

Мы сказали, что она не самая древняя, но на ея сторонѣ стояли первоклассные ученые, начиная отъ великихъ мыслителей Греціи, Аристотеля и Платона, и до новѣйшаго времени, гдѣ въ числѣ ея послѣдователей мы встрѣтимъ такія имена, какъ Макиавель, Ж. Б. Вико, Монтескьё и многіе другіе изъ совре-

менных намъ знаменитостей, Гизо, Тьерри и т. д. Главный научный приемъ этой теоріи состоитъ въ общеніи разнообразныхъ историческихъ явленій той или другой великой націи, причемъ мыслитель дѣйствуетъ не только на основаніи опыта, но и опираясь на силу воображенія; такимъ образомъ составляется идеаль націи, который прикладывается ко всѣмъ остальнымъ. Иногда избирають, и всего чаще, Римъ, Италію, Францію, Англию; иногда даже останавливаются на воображаемомъ государствѣ.

Первые, но еще темные слѣды теоріи круговращенія встрѣчаются разсѣянно у *Аристотеля* (род. 384, ум. 322), въ его сочиненіяхъ политическихъ и метафизическихъ. Философъ стремится открыть въ исторіи различныхъ націй самыя общія явленія, обращаетъ ихъ въ законы, и этимъ законамъ подчиняетъ развитіе каждаго народа. Къ числу такихъ общихъ законовъ принадлежитъ прохожденіе каждаго народа чрезъ бытъ семейный; далѣе слѣдуетъ городская жизнь, государственная, въ которомъ общество достигаетъ народнаго сознанія. Не трудно понять, что Аристотель заимствовалъ свой общій законъ изъ того, что совершалось въ Греціи до него и на его глазахъ: при Аристотелѣ Греція заключала свое историческое шествіе всемірною монархіею, созданной ученикомъ самого Аристотеля, Александромъ Великимъ. Но въ этой теоріи, вызванной совершившимся фактомъ, важна первая попытка философа освободить

исторію отъ господства случая: „случай, по словамъ Аристотеля, отдѣляетъ матерію отъ ея сущности, но не измѣняетъ законовъ самой жизни“. Впрочемъ этою абстрактною мыслію, чисто догматическаго характера, и выраженнаго притомъ весьма темно, Аристотель и ограничивается въ своихъ разсужденіяхъ. У *Платона*, его наставника и предшественника, въ его „Законахъ“ мы встрѣчаемся съ тѣми же воззрѣніями, но съ характеромъ еще болѣе поэтическимъ.

Идеи Аристотеля сохраняли свою власть весьма долгое время, и потому мы можемъ въ нашемъ историческомъ обзорѣ теоріи круговращенія перешагнуть отъ IV столѣтія до Р. Х. прямо къ эпохѣ „Возрожденія“ къ XV столѣтію нашей эры. Что лежало темно въ сознаніи древности, то было высказано тогда съ полною ясностью и достигло наконецъ въ ученіи Вико совершенной законченности стройной системы. Въ новое время первымъ блестящимъ представителемъ историческаго круговращенія явился *Макиавелль*, итальянскій историкъ. Для него представлялось поле болѣе обширное, нежели для Аристотеля: предъ Макиавелемъ лежали въ развалинахъ три цивилизаціи: греческая, римская и средневѣковая. Смотри на судьбу своего собственнаго отечества, Италіи, онъ полагалъ, что этой странѣ предстоитъ выборъ между средневѣковыми аристократическими вольностями или новѣйшимъ монархическимъ и вмѣстѣ демократическимъ единствомъ. Макиавелль рисовалъ свою теорію съ натуры, точно также какъ и

Аристотель: предъ глазами Макиавеля съ одной стороны стлались развалины феодализма съ его привилегіями, городами свободными до анархіи, съ другой стороны, стояла величественная фигура Косьмы Медичи, этого Виктора-Эммануила XV столѣтія. Макиавель, какъ и Аристотель, невольно видѣлъ въ современномъ ему порядкѣ вещей и въ современныхъ стремленіяхъ общій законъ развитія всякой націи, а потому въ его глазахъ вся исторія является ни чѣмъ инымъ, какъ непрерывною борьбою республики съ монархіею. Все его „Разсужденіе о Титѣ-Ливіѣ“ направлено къ этой идеѣ. Послѣ того нисколько не удивительно, что и политическая сторона сочиненій Макиавеля представляетъ въ себѣ двѣ стороны: одна даетъ совѣты народамъ противъ преувеличеній деспотизма; другая указываетъ монархіи на средства къ борьбѣ съ стремленіями демократовъ. Выходя изъ своей точки зрѣнія, Макиавель раздѣляетъ всю исторію на двѣ эпохи: 1) возрастанія доблести, и 2) паденія ея или испорченности. Италія и всѣ другія современные ему государства были, по его убѣжденію, во второй эпохѣ и достигли полнѣйшей деморализаціи: въ Италіи колебалась и падала республиканская свобода; во Франціи, Англии, Германіи и Испаніи зарождалась монархическая власть: наступало время Людовика XI, Генриха VIII и Карла V. Насиліе и вмѣстѣ разслабленіе власти въ социальномъ порядкѣ, невѣріе въ дѣлѣ религіи, безсодержательность въ лите-

ратурѣ, своекорыстіе въ частной жизни, анархическое безначаліе въ феодализмѣ, все призывало тираннію, какъ единственное спасеніе для цивилизаціи въ эпоху паденія доблести. Этому времени предшествовала эпоха могучей доблести, образецъ чего, по воззрѣнію Макиавеля, представляли старинныя республики среднихъ вѣковъ въ Италіи, древняя Греція, древній Римъ, и вольные города Германіи. Въ нихъ, говоритъ онъ, сила закона, суровость нравовъ и самое религіозное суевѣріе обуздывали общество и дѣлали излишнюю всякую тираннію. Такимъ образомъ, весь міръ у Макиавеля представлялъ одно постоянное повтореніе одного и того же закона: исторія челоуѣчества въ Ассиріи, Греціи, Римѣ, Италіи, и наконецъ въ цѣлой Европѣ, нѣсколько разъ, какъ школьникъ, повторяла свой вѣчный урокъ въ двухъ его частяхъ: отъ доблести она переходила къ упадку и подчинялась тиранніи; необузданность тиранніи и ея злоупотребленія производили новое возстаніе и порождали новый вѣкъ доблести, и т. д. Макиавель, оставаясь послѣдовательнымъ, подчиняетъ и самое христіанство, враждебное по своему универсальному характеру всякой теоріи круговращенія, тому же самому закону и утверждаетъ, что оно опрокинуло *многобожіе*, точно также, какъ монархія ниспровергла *многовластіе*, и на основаніи того проводитъ параллель между политическими и религіозными судьбами народовъ. Но Макиавель не ограничивается этимъ, и, увлеченный широтою своихъ воз-

зрѣній, ищетъ связать политическіе и религіозные перевороты съ періодами въ расположеніи звѣзднаго неба. Это чисто-мистическая сторона ученія Макиавеля; но судьба всѣхъ геніевъ такова, что она находитъ всего болѣе подражателей для своихъ недостатковъ. Быть можетъ по этой же причинѣ, именно самая слабая сторона въ ученіи Макиавеля, гдѣ онъ впадаетъ въ мистицизмъ, обратила на себя наибольшее вниманіе его ближайшихъ послѣдователей. Изъ такихъ его послѣдователей составили себѣ извѣстность, какъ своими увлеченіями, такъ и страданіями за эти увлеченія, въ XVI ст., *Помпонатъ* и *Ваннини*: послѣдному изъ нихъ вырѣзали языкъ и потомъ сожгли его самого; и въ XVII столѣтіи, въ особенноти *Кампанелла*. Кампанелла представляетъ въ своихъ идеяхъ большое сходство съ Макиавелемъ; но Макиавель остановился на единствѣ Испаніи и орудіемъ къ достиженію того считалъ Косму Медичи; Кампанелла шелъ дальше и, не смотря на свои республиканскія стремленія, обнаруживалъ привязанность къ Филиппу II, королю Испаніи, подъ властью котораго онъ мечталъ соединить весь міръ. Его идеи стоили ему 27 лѣтъ заключенія въ темницѣ; семь разъ онъ подвергался пыткѣ, и потомъ, убѣжавъ во Францію, получилъ пансіонъ отъ Ришелье. Отложивъ политическую сторону ученія Кампанеллы, остановимся на однѣхъ его философско-историческихъ идеяхъ. Онѣ представляютъ самое крайнее развитіе теоріи, уста-

новленной Макиавелемъ, и притомъ именно той ея стороны, которая, какъ мы видѣли, впадаетъ въ мистицизмъ. Кампанелла развилъ до конца ту мысль, что два періода развитія націй, указанные у Макиавеля, варварства и цивилизаціи, вѣры и сомнѣнія, совершенно совпадаютъ съ великими періодами явленій звѣзднаго неба, такъ что исторія человѣчества обращается около самой себя, какъ то бываетъ съ огромными небесными тѣлами. Онъ говоритъ, что, при извѣстномъ сочетаніи звѣздъ, возмущается весь порядокъ физической природы, и люди, привыкнувъ къ извѣстному распорядку явленій внѣшней природы, смотрятъ на всякое новое измѣненіе, какъ на чудо, и видятъ себя окруженнымъ отовсюду одними чудесами. Въ такіе моменты общественной жизни являются профеты, тавматурги, которые, успѣвъ одни постигнуть законы новыхъ переворотовъ физическаго міра, приписываютъ себѣ чудесную силу распоряжаться явленіями природы. Такіе люди создаютъ новыя религіи, новые законы, полагаютъ начало новому порядку вещей. Послѣ того физическая природа продолжаетъ свое новое теченіе; настаетъ по прежнему обыкновенный порядокъ вещей; чудеса прекращаются или становятся рѣже; но еще долго міромъ управляетъ старый ужасъ, который поддерживаютъ въ людяхъ преемники первыхъ профетовъ, извлекая изъ того личную выгоду для себя. Наконецъ, чудеса совершенно прекращаются; люди дѣлаются смѣлѣе и смѣлѣе; они

начинають возставать противъ древняго террора, такъ сказать, выползають изъ норы суетвѣрія, и вслѣдствіе того появляются первыя ереси и расколы. Когда, при подобныхъ стремленіяхъ, люди дойдутъ до того, что почти каждый человѣкъ составитъ отдѣльный по себѣ міръ и станетъ во вражду со всѣмъ, что будетъ *не-я*, эгоизмъ овладѣетъ обществомъ, и къ тому же времени обнаружится переворотъ въ расположеніи небесныхъ тѣлъ. Снова люди поразятся ужасомъ, и прежняя историческая работа начнетъ съизнова. Такова главная основная идея, на которой построена *Philosophia realis* Кампанеллы.

Прослѣдимъ теперь за ея ближайшимъ примѣненіемъ къ исторіи человѣческихъ обществъ. По словамъ Кампанеллы человѣческое общество проходитъ постепенно всѣ формы монархіи, аристократіи, олигархіи и заключается демократіей, чтобы снова возвратиться къ монархіи и повторить свой прежній путь. Тѣже самыя станціи проходитъ и религіозная форма общества: она начинается съ единства, за тѣмъ слѣдуютъ ереси, потомъ жизнь и новое возвращеніе къ единству. При началѣ астрономическаго періода, обнаруживающагося чудесами, является *панство*, т. е. единство религіозное и монархическое; за тѣмъ начинаются ереси, и власть политическая отдѣляется отъ религіозной: вмѣсто одной вѣры множество вѣрованій; монархія распадается на отдѣльныя государства. Ереси заключаются атеизмомъ, многовластіе без-

властиемъ; древнее общество падаетъ, пока не настанетъ новый астрономическій порядокъ и не явится новый законодатель, который приведетъ за собою новое религиозное и политическое единство. Такимъ образомъ, папизмъ, ереси и атеизмъ съ одной стороны, и съ другой—единовластiе, многовластiе и безвластiе, вотъ тѣ три оборота историческаго круговращенiя, которые, по теорiи Кампанеллы, совершаются внутри человѣческихъ обществъ. Чтобы поддержать свою теорiю примѣромъ, Кампанелла ссылается на христiанство, которое появилось именно въ эпоху цезаризма, атеизма и нравственнаго паденiя римскаго общества, и на ту эпоху въ исторiи Китая, когда, при разложенiи политической власти, секта Тао отрицала существованiе Бога и безсмертiе души.

Все это ученiе Кампанеллы поражаетъ прежде всего своего грандиозностью, какъ какая нибудь индѣйская пагода; хотя оно точно также, какъ та пагода, не представляетъ ничего пригоднаго для обыденной дѣйствительной жизни. Все могущество генiя Кампанеллы сосредоточивалось въ силѣ его воображенiя; но при всемъ томъ въ этомъ воображенiи нельзя не остановиться на томъ, конечно преувеличенномъ и поэтическомъ инстинктѣ, съ которымъ философъ устанавливаетъ связь между жизнью человѣка и жизнью матеріальной природы; но онъ доходитъ до совершеннаго олицетворенiя послѣдней и подозреваетъ въ ней, до самыхъ послѣднихъ ступеней развитiя, присутствiе

какой-то общей жизни; все небо и звѣзды въ его глазахъ — одушевленные существа, которыя передачею лучей свѣта сообщаются другъ съ другомъ; онѣ населены живыми существами; каждый лучъ исполненъ радости своего существованія и играетъ въ неистощимомъ сіяніи свѣтила. У Шекспира, современника Кампанеллы, въ одномъ монологѣ „Венеціанскаго купца“, мы встрѣчаемъ поэтическое возсозданіе той же самой теоріи философіи исторіи, связующей тѣсно жизнь человѣка съ остальною жизнью природы:

„Посмотри, Жессика, на этотъ небосклонъ съ инкрустированными въ него безчисленными золотыми блестящими кружками. .

„Изъ всѣхъ этихъ кружковъ, какъ бы ни былъ онъ малъ, нѣтъ ни одного, который не пѣлъ бы пѣсни ангеловъ, составляя хоръ херувимовъ съ блестящими глазами дитяти. Но, пока мы заключены въ эту массу грязи, называемую тѣломъ, мы не можемъ внимать этой пѣсни“.

По ученію Кампанеллы, міръ также наполненъ живыми существами; жизнь человѣка тѣсно связана съ громадною и невидимою жизнью природы, и на этомъ основаны вѣчныя повторенія однихъ и тѣхъ же законовъ въ жизни человѣка, какъ непрерывно и периодически повторяется жизнь физическаго міра, съ своею весною, лѣтомъ, осенью и зимою.

Безъ сомнѣнія, поэзія еще долго будетъ искать вдохновеній въ воззрѣніяхъ Кампанеллы на таинственную

связь человека съ природой; но еще весьма недавно, лѣтъ пять тому назадъ, одинъ изъ извѣстныхъ итальянскихъ публицистовъ *) напалъ на мысль о возможности воспользоваться ученіемъ Кампанеллы и привести его къ точнымъ математическимъ вычисленіямъ. Феррари не только опредѣляетъ предѣлы астрономическихъ періодовъ, но дѣлаетъ еще болѣе и подраздѣляетъ ихъ на опредѣленныя эпохи. По его мнѣнію, всякая такая эпоха есть именно время достаточное для утвержденія или паденія какой-нибудь общественной идеи. По его соображеніямъ, эпоха состоитъ изъ 6 лустровъ, т. е. 30 лѣтъ, или средней жизни каждаго поколѣнія. Феррари подбираетъ всевозможные факты для подтвержденія своего положенія: такъ, *Тридцатилѣтняя* война, борьба съ идеею реакціи противъ Лутера; само ученіе Лутера также нуждалось въ 30 годахъ для своего утвержденія; борьба папъ съ императорами продолжалась 30 лѣтъ; Магометъ употребилъ 30 лѣтъ для торжества своей идеи; Карлъ Великій въ то же пространство времени основалъ новую имперію, какъ и Оттонъ Великій. Затѣмъ Феррари переходитъ въ древнюю исторію: война троянская вмѣстѣ съ временемъ странствованія своихъ героев обнимаетъ собою 30 лѣтъ; персидская и целопоннезская войны продолжались по 30 лѣтъ. То же явленіе въ римской исторіи: эпоха римскихъ царей представляетъ семь именъ, какъ семь сту-

*) *Ferrari: Essai sur le principe et les limites de la Philosophie de l'histoire.*
Par. 1843.

пеней въ развитіи древняго римскаго общества, и на каждое царствованіе приходится съ небольшимъ 30 лѣтъ; отъ диктаторства Цезаря до Августа 30 лѣтъ и т. д. Въ заключеніе приводятся многочисленные примѣры тридцатилѣтій изъ исторіи Италиі — отечества автора.

Таковы были первыя попытки новаго времени, послѣ возрожденія наукъ и искусствъ въ XV столѣтіи, къ дальнѣйшему развитію теоріи круговращенія, начало которой положено было еще великими умами классической древности. Достоинства и недостатки ея очевидны: предчувствованіе существованія общихъ законовъ въ развитіи человѣческихъ обществъ составляетъ главную заслугу первыхъ попытокъ; легкость, съ которою рѣшалась самая задача, и произволь въ самыхъ посылкахъ и заключеніяхъ составляютъ главныя ея недостатки.

ГЛАВА II.

Вико и его „Новая Наука“.

Наконецъ, въ послѣдніе годы XVII столѣтія и въ началѣ прошедшаго вѣка, является геній, который искусно овладѣваетъ теоріею историческаго круговращенія, довершаетъ начатое предшественниками, и, что самое важное, кладетъ прочное основаніе тому, что оставалось до него на степени гаданія. Это былъ

Жанъ - Батистъ Вико (р. 1668 г. ум. 1744 г.), котораго справедливо называютъ отцомъ философіи исторіи. Конечно, идеи этой науки существовали до него, но съ мистическимъ характеромъ и чисто богословскими оттѣнками. Онъ первый создалъ планъ идеальной и вѣчной исторіи, указавъ въ ней мѣсто для каждой исторической націи. Нѣтъ сомнѣнія, что тяжесть задачи превысила средства новаго метода, указаннаго Вико; Вико довѣрчиво беретъ Тацита для того, чтобы судить дѣянія Карла V или Филиппа IV, испанскаго короля; исторія венеціанской республики объясняется у него событіями исторіи Аѳинъ или Спарты; реформація, совершившаяся не задолго предъ нимъ, въ его глазахъ служитъ повтореніемъ расколовъ древней Александрійской школы. Всякій легко пойметъ, что, слѣдуя этому методу, мыслитель подвергаетъ себя возможности легко впасть въ ошибку; но тѣмъ не менѣе методъ самъ по себѣ совершенно правиленъ; Вико позаботился указать его приемы и такимъ образомъ ввелъ въ гуманныя науки тотъ сравнительный методъ, которому онѣ обязаны послѣдними своими успѣхами: сравнительная исторія, сравнительная филологія и сравнительное законодательство обязаны ему своимъ существованіемъ. До Вико искали причину историческаго круговращенія въ природѣ вещественнаго міра и доходили до предположеній о связи судьбы человѣка съ расположеніемъ небесныхъ тѣлъ. Вико указалъ на природу нашего собственнаго

духа, какъ на главную виновницу историческаго круговращенія; изученіе законовъ чловѣческаго духа, чловѣческаго разума, и двухъ главныхъ его твореній, языка и права, т. е. филологіи и юриспруденціи, сдѣлалось съ того времени основою гуманной науки. Мы слишкомъ привыкли къ этой идеѣ, чтобы вполне оцѣнить всю важность открытія сдѣланнаго Вико въ исторіи чловѣческой мысли, и надобно перенестись воображеніемъ въ ту эпоху, когда онъ жилъ, представить себѣ тѣ основы, на которыхъ зиждилось историческое знаніе до него, чтобы быть поражену силою генія одного изъ замѣчательнѣйшихъ подвижниковъ мысли прошедшаго столѣтія. Вико оставилъ намъ собственную біографію, изъ которой видно, какой внутренней борьбы стоятъ генію его открытія, и съ какимъ озлобленіемъ и завистью встрѣчаются они приверженцами стараго порядка идей.

Приступимъ прямо къ самому ученію Вико, какъ оно изложено въ „*Началахъ новой науки о природѣ народовъ*“ *); такой обзоръ доставитъ намъ въ послѣдствіи возможность легко дать себѣ отчетъ о той общей идеѣ, которая лежитъ въ основаніи всего произведенія.

„Новая Наука“ у Вико раздѣляется на шесть *книгъ*. Слово *книга* употреблено въ томъ смыслѣ, которое ему придавали древніе авторы, т. е. *отдѣлъ* или *часть*.

*) Principi d'una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni. Napoli. Mosca. 1725, 12.

Первая книга, подраздѣленная на четыре главы, открывается хронологическою таблицею для нагляднаго распредѣленія той послѣдовательности, въ которой шли древнѣйшіе народы другъ за другомъ, съ указаніемъ главныхъ переворотовъ, которыми обозначалась ихъ внутренняя судьба, начиная отъ всемірнаго потопа въ 1656 г. отъ С. М. и до второй пунической войны въ 3849 г. отъ С. М., или въ 552 г. отъ основанія Рима*). Вико останавливается на второй пунической войнѣ, какъ на событіи, о которомъ мы въ первый разъ имѣемъ болѣе или менѣе достовѣрныя извѣстія. „Да и объ этой войнѣ, замѣчаетъ ниже Вико, Титъ-Ливій откровенно сознается, что въ ея исторіи онъ *не зналъ трехъ весьма важныхъ событий*: во-первыхъ, при какихъ консулахъ, Аннибаль, завоевавъ Сагунтъ, началъ походъ изъ Испаніи въ Италію; во-вторыхъ, чрезъ какія Альпы онъ прошелъ, чрезъ Коттійскія или чрезъ Апеннинскія; въ третьихъ, какъ были велики его силы, относительно чего римскій историкъ нашель въ древнихъ лѣтописяхъ весьма различныя показанія: въ однихъ отмѣчено шесть-тысячъ конницы и 20 тысячъ пѣхоты, въ другихъ же 20 тысячъ конницы и 80 тысячъ пѣхоты.“

Вико распредѣляетъ древніе народы въ семи колоннахъ соотвѣтственно ихъ древности: евреи, халдеи, скионы, финикіяне, египтяне, греки и римляне. Вну-

*) Т. е. лѣтъ за 200 до Р. Х.

тренняя же ихъ исторія отмѣчена на основаніи трехъ эпохъ, принимаемыхъ египтянами, а именно; 1) эпоха боговъ, 2) героевъ и 3) человѣческая эпоха.

Первая глава первой книги занимается объясненіемъ вышеприведенной синхронистической таблицы. Вико начинаетъ разборомъ притязаній различныхъ народовъ на древность своего происхожденія и заключаетъ въ пользу евреевъ. Сверхъ того онъ указываетъ на одно обстоятельство, вытекающее изъ тѣхъ притязаній языческихъ народовъ на исключительную древность: „Очевидно также, говоритъ Вико, что первая наука историка есть *миѿлогия* или изложеніе басенъ, ибо всякая языческая исторія имѣетъ баснословные начатки, и миѿы были первоначально исторіею языческихъ народовъ. Только такимъ методомъ можно отыскать начало *народовъ* и *наукъ*; эти же послѣднія проистекли изъ народовъ, и ни откуда не могли иначе явиться, какъ то будетъ доказано всѣмъ этимъ трудомъ, ибо онѣ, получивъ свое начало въ минуты общественныхъ бѣдствій или благополучія, въ послѣдствіи усовершенствовались, когда отдѣльные мудрые мужи избрали ихъ предметомъ своего размышленія. Тогда только началась *всеобщая исторія*, о которой ученые говорятъ, что она неудовлетворительна по своимъ началамъ“.

Послѣ такихъ общихъ разсужденій, Вико разбираетъ по вышеозначеннымъ колоннамъ судьбу древнихъ народовъ, указывая постоянно на шаткость познаній самихъ древнихъ о ближайшихъ къ нимъ вре-

менахъ. „Фукидидъ, восклицаетъ Вико, былъ юношею въ то время, когда Геродотъ считался старцемъ, ибо послѣдній могъ бы быть его отцемъ: притомъ Фукидидъ жилъ въ блестящую эпоху Греціи, а именно во время пелопоннесской войны, которой онъ былъ современникомъ, и исторію которой онъ писалъ съ тѣмъ, чтобы сообщать достовѣрное. Между тѣмъ до насъ дошелъ отзывъ Фукидида, что „Греки до самаго времени его отца, которое было вмѣстѣ временемъ Геродота, ничего не знали о собственной древности“. Какъ же можно имъ вѣрить въ томъ, что они говорятъ о чужеземныхъ событіяхъ? а мы знаемъ о варварской и языческой древности на столько, на сколько намъ то сообщили Греки. Чтò послѣ этого нужно думать о древнѣйшихъ событіяхъ римской исторіи до войны съ карфагенянами, тогда какъ римляне до этого времени ни на что не обращали вниманія, кромѣ земледѣлія и военнаго искусства, если Фукидидъ утверждаетъ вышеприведенное о грекахъ, которые съ такою быстротою дозрѣли до философовъ? Намъ останется только сказать, что Богъ надѣлилъ римлянъ особыми преимуществами“.

Не смотря на такой отзывъ, Вико старается вслѣдъ за тѣмъ разъяснить важнѣйшіе моменты въ жизни исторіи римскаго народа до начала второй пунической войны, и заключаетъ вышеприведеннымъ размышленіемъ о недостаткахъ въ познаніи самого Тита-Ливія относительно войны римлянъ къ Аннибаломъ.

„Изъ всего приведеннаго мною, говоритъ Вико въ концѣ первой главы, по поводу замѣчаній (т. е. къ таблицѣ), ясно, что даже и то, что дошло до насъ о древнихъ языческихъ народахъ до времени, указаннаго таблицею, остается совершенно и вполнѣ неизвѣстнымъ: почему мы признаемъ всю эту эпоху тѣмъ, что называется *res nullius* (ничьи вещи), и о чемъ въ правѣ сказано *occupanti conceduntur* (принадлежать овладѣвающему). Такимъ образомъ, мы не думаемъ оскорбить ничьего права, если мы объ этой эпохѣ будемъ отзываться отступая отъ господствующаго мнѣнiя и даже иногда становясь въ прямую противоположность съ тѣмъ, что до настоящаго времени утверждалось относительно начатковъ человѣчества въ народахъ, и если мы постараемся основать эти начатки на научныхъ принципахъ, силою которыхъ достовѣрная исторiя будетъ возведена до своихъ древнѣйшихъ источниковъ, утвердится на нихъ и приведется въ порядокъ; до настоящаго же времени ей недоставало ни общихъ основъ, ни строгой послѣдовательности, ни тѣсной связи“.

Такъ заключается первая глава первой книги; авторъ смѣло вызываетъ на бой старыя теорiи, но еще не высказываетъ вполнѣ своей задушевной мысли, и только даетъ ее предчувствовать. Онъ недоволенъ тѣмъ воззрѣнiемъ на общую судьбу человѣчества, на связь событiй, на основы достовѣрной исторiи, которыя господствовали до него; онъ выбрасываетъ изъ

достоверной исторіи всю первую эпоху отъ всемірнаго потопа до начала второй пунической войны, называя ее *общимъ достояніемъ*, которымъ каждый распоряжался какъ хотѣлъ, и выражая желаніе для себя воспользоваться тѣмъ же правомъ.

Во второй главѣ, авторъ еще съ большею отвагою мысли и съ большею ясностью возвращается къ тому же самому предмету, и въ отдѣльныхъ положеніяхъ, названныхъ имъ *аксіомами*, старается облечь въ опредѣленную форму то, что имъ было выше изложено въ таблицѣ, какъ матеріаль. Вико приводитъ 114 такихъ аксіомъ, раздѣляя ихъ на философскія и филологическія; подъ филологіею у Вико разумѣтся, въ противоположность философіи, наукъ о безусловномъ, наука о всѣхъ тѣхъ явленіяхъ человѣческаго духа, которыя предоставлены *произволу* человѣка, какъ-то: языкъ, обычаи и различныя дѣянія во время войны и мира. Между отдѣльными аксіомами, или положеніями, нѣтъ строгой связи, и часто въ различной формѣ они повторяютъ одно и то же. Но въ нихъ авторъ успѣлъ включить большую часть главныхъ своихъ идей, дальнѣйшее развитіе которыхъ составляетъ содержаніе остальныхъ четырехъ книгъ его произведенія, и которыя, какъ выражается онъ самъ, „должны будутъ пройти черезъ всю *науку*, какъ кровь расходится по тѣлу и воодушевляетъ его“. Однако эти аксіомы, при всей своей разбросанности, направлены къ одной цѣли, которая составляетъ существенную задачу труда,

а именно доказать, что *все народы имютъ одинаковую природу*. Этотъ отдѣлъ у Вико представляетъ множество образчиковъ его необыкновеннаго остроумія и проницательности и вмѣстѣ приготавливаетъ читателя къ воспринятію его новаго ученія. Многіе изъ такихъ аксіомъ или положеній успѣли уже теперь войти въ науку, даже часто служили темою для дальнѣйшаго развитія ихъ позднѣйшими учеными, а потому онѣ не поразятъ насъ новизною; но въ эпоху, когда жилъ Вико, онѣ были открытіемъ новаго міра мысли, и должны были вызвать или удивленіе къ своему автору, или преслѣдованіе его.

Приведемъ нѣкоторыя изъ такихъ аксіомъ, и преимущественно тѣ, которыя именно должны были пройти чрезъ все его произведеніе. Остановимся на первыхъ четырехъ.

„1. *Человѣкъ, въ силу безпредѣльной природы своего духа, избираетъ самого себя масштабомъ для вселенной тамъ, гдѣ его духъ теряется въ неизвѣстности.*

„Это положеніе, продолжаетъ Вико, служитъ основою двухъ обычныхъ явленій человѣческаго духа: въ первыхъ, *fama crescit eundo* (молва растетъ на ходу); во вторыхъ, *minuit præsentia famam* (присутствіе уменьшаетъ молву). Эта молва, проходя безконечный путь отъ начала міра, сдѣлалась неистощимымъ источникомъ всѣхъ тѣхъ высокихъ мнѣній, которыя до настоящаго времени составлялись о неизвѣстной и отдаленной древности; къ этому присоединилось то свойство человѣче-

сваго духа, на которое указывает Тацитъ въ *Жизни Агриколы*, говоря: *omne ignotum pro magifico est* (все неизвѣстное считается великимъ).

„2. Другое свойство человеческого духа состоитъ въ томъ, что, когда люди не могутъ составить себѣ никакого понятія объ отдаленныхъ и неизвѣстныхъ предметахъ, то они судятъ ихъ на основаніи того, что имъ присуще и извѣстно.

„Это положеніе указываетъ на неисчерпаемый источникъ всѣхъ заблужденій, въ которыя впадали цѣлыя народы и всѣ ученые, по отношенію вопроса о начаткахъ человѣчества, ибо они судили объ этихъ начаткахъ человѣчества по тому блестящему, образованному и свѣтлому времени, когда они въ первый разъ обратили вниманіе на прошедшее, которое, по самой природѣ вещей, было ничтожно, грубо и чрезвычайно темно.

„На этомъ пути породились двоякаго рода ошибки, изъ которыхъ однѣ принадлежатъ цѣлымъ народамъ, а другія — ученымъ.

„3. Относительно ошибокъ цѣлыхъ народовъ мы имѣемъ золотое изреченіе Діодора Сицилійскаго, а именно, что греческіе и варварскіе народы воображали себѣ, что каждый изъ нихъ первый открылъ средства къ удобствамъ человеческой жизни, и сохранилъ память о своей исторіи отъ начала міра.

„Это положеніе однимъ ударомъ разбиваетъ тщеславіе халдеевъ, скивовъ, египтянъ, китайцевъ, съ ко-

торымъ они считаютъ себя основателями челоѣчества древняго міра. Напротивъ того, еврей Іосифъ Флавій очищаетъ свой народъ отъ такого упрека великодушнымъ признаніемъ въ томъ, что „евреи жили въ неизвѣстности для всѣхъ язычниковъ“. И библейская исторія убѣждаетъ насъ, что продолжительность міра гораздо болѣе юна того возраста, который приписываютъ ему халдеи, скибы, египтяне и въ настоящее время китайцы. Вотъ главное доказательство въ пользу истинности библейской исторіи.

„А. Къ этому увлеченію народовъ присоединяется увлеченіе ученыхъ, которые хотятъ думать, что извѣстное имъ также древне, какъ и міръ.“

„Это положеніе разрушаетъ всѣ мнѣнія ученыхъ о недостижимой мудрости древнихъ“, и т. д.

Далѣе слѣдуетъ цѣлый рядъ положеній полуфилософскаго и полуюридическаго содержанія; изъ нихъ обращаютъ на себя особенное вниманіе по своему отношенію къ главной идеѣ автора слѣдующія положенія:

„10. Философія устремляетъ свой взоръ на разумъ, изъ котораго исходитъ наука объ истинѣ; филология изслѣдуетъ вліяніе челоѣческаго произвола, изъ котораго вырабатывается сознаніе совѣсти.“

„Это положеніе, въ своей послѣдней части, относитъ къ филологамъ всѣхъ грамматиковъ, историковъ, критиковъ, которые занимаются изученіемъ языковъ и дѣяній народовъ, какъ во внутренней жизни, а именно нравовъ и законовъ, такъ и во внѣшней, а именно,

войны, мирныхъ договоровъ, союзовъ, странствованій и торговыхъ сношеній.

„Изъ этого же положенія явствуетъ, что ни философы не достигаютъ своей цѣли, если ихъ разсужденія не провѣрены авторитетомъ филологовъ; ни филологи, если они не озабочиваются поддерѣплять свой авторитетъ разумными началами философіи. Если бы обѣ стороны дѣйствовали такимъ образомъ, то онѣ были бы полезнѣе государству, и предупредили бы насъ въ основаніи этой науки“.

„13. Одинаковость идей у цѣлыхъ народовъ, которые вовсе не были знакомы другъ съ другомъ, должна предполагать общность мотивовъ истиннаго.“

„Это положеніе составляетъ важное начало, которое утверждаетъ, что смыслъ общій всему человѣчеству составляетъ критерій (основаніе для сужденія), который божественнымъ промысломъ врожденъ всѣмъ націямъ, съ тѣмъ чтобы дать имъ понятіе о естественномъ правѣ народовъ....

„Этимъ же положеніемъ опровергаются всѣ идеи, которыя составлялись до сихъ поръ относительно естественнаго права народовъ; думали, что оно происходитъ отъ какого-нибудь древняго народа, у котораго оно было заимствовано другими націями: такъ заблуждались египтяне и греки, которые тщеславнымъ образомъ гордились тѣмъ, что они распространили цивилизацію по всему міру; такимъ же заблужденіемъ было производить римскій законъ Двѣнадцати таблицъ отъ

грековъ.... Всѣ усилія этого труда будутъ направлены къ тому, чтобы доказать, что естественное право народовъ у каждаго народа возникаетъ само по себѣ, безъ заимствованій у другихъ народовъ. При случаѣ будетъ доказано, что войны, посольства, союзы, торговыя сношенія имѣютъ общій характеръ для всего человѣчества“.

„14. Подъ природою вещей разумется ни что другое, какъ появленіе ихъ въ извѣстное время и въ извѣстной формѣ, въ силу чего вещи въ данное время существуютъ такъ, какъ онѣ существуютъ, и не могутъ иначе существовать“.

„17. Простонародные языки должны служить важнѣйшими памятниками древнихъ народныхъ обычаевъ, которые господствовали въ эпоху образованія тѣхъ языковъ“.

„18. Языкъ древняго народа, удержавшій за собою господство, долженъ, до самой эпохи своего полнаго развитія, свидѣтельствовать объ обычаяхъ первыхъ временъ существованія міра“.

„19. Такъ какъ тѣсни Гомера составляютъ гражданскую исторію древнихъ греческихъ обычаевъ, то потому онѣ и служатъ двумя великими сокровищами естественнаго права народовъ Греціи“.

„Это положеніе здѣсь только выставляется, но ниже оно будетъ изслѣдовано глубже“).

*) Оно составляетъ содержаніе всей второй и третьей книги труда.

„21. Греческіе философы ускорили ходъ развитія своего народа, явившись посреди его въ то время, когда его варварство еще не отцвѣло; вслѣдствіе того, греки достигли вдругъ высшей утонченности нравовъ и въ то же время продолжали сохранять свои баснословные рассказы о богахъ и герояхъ. Напротивъ, римляне, подвигаясь въ своихъ нравахъ шагъ за шагомъ, совершенно потеряли изъ виду басни о своихъ богахъ, и потому Варронъ считаетъ темнымъ временемъ ту эпоху римской исторіи, которую египтяне называли эпохою боговъ; легенды о герояхъ сохранились въ простонародномъ языкѣ и продолжались отъ Ромула до публіліевскаго и пѣтеліевскаго законовъ. Эти легенды будутъ указаны ниже, какъ продолженіе исторической мифологіи геройскаго возраста Греціи.

„Такая природа гражданско-человѣческаго порядка вещей представляется намъ въ исторіи французской націи; въ ней точно также, посреди варварства одиннадцатаго вѣка, возникла знаменитая парижская школа, гдѣ Петръ Ломбардь, этотъ прославленный *magister sententiarum*, употребилъ все усилія къ преподаванію самой утонченной схоластической теологіи; появилась исторія епископа Парижскаго (Реймскаго) Турпина, подобная гомерической поэмѣ, и преисполненная всякихъ сказокъ о французскихъ герояхъ, носившихъ названіе Паладиновъ, откуда впослѣдствіи заимствовали свое содержаніе многіе романсы и пѣсни. Вслѣдствіе этого преждевременнаго перехода отъ варвар-

ства къ утонченностямъ наукъ, французскій языкъ достигъ такой обработки, что, посреди всѣхъ живыхъ языковъ нашего времени, онъ одинъ напоминаетъ собою антицизмъ грековъ, и болѣе другихъ годенъ къ научной бесѣдѣ, какъ и греческій языкъ. У французовъ, какъ и у грековъ, осталось много двугласныхъ, составляющихъ принадлежность варварскихъ языковъ, которые бывають тверды и мало приспособлены къ соединенію согласныхъ съ гласными. Къ подтвержденію того, что мы сказали о тѣхъ двухъ языкахъ, присоединимъ одно замѣчаніе, которое дѣлають ежедневно по поводу молодыхъ людей, находящихся въ томъ возрастѣ, когда ихъ память сильна, воображеніе живо и душа пламенна: ихъ упражняютъ съ пользою изученіемъ языковъ и чистой геометріи, и такія упражненія не причиняють насилія тому качеству духа, которое можно назвать варварствомъ умственныхъ силъ; но если молодой человѣкъ, не достигнувъ зрѣлости, переходитъ къ величайшимъ утонченностямъ критической метафизики и алгебры, то онъ на всю жизнь дѣлается неспособнымъ ни къ какому великому предпріятію“ и т. д.

„22. Необходимо думать, что въ самой природѣ человечества заключенъ духовный языкъ, который общъ всѣмъ народамъ, и обозначаетъ одинаково сущность всѣхъ вещей, встречающихся въ обыденной жизни, и притомъ съ такими видоизмѣненіями, какія называются различными точками зрѣнія на вещи. Спра-

ведливость такого положенія доказывается пословицами, которыя у всѣхъ древнихъ и новыхъ народовъ выражаютъ общенародную мудрость, хотя и съ различныхъ точекъ зрѣнiя“.

Въ концѣ 22 положенiя, Вико замѣчаетъ, что всѣ тѣ положенiя носятъ на себѣ *общій* характеръ и служатъ главною основою его науки. За тѣмъ онъ переходитъ къ *спеціальнымъ* положенiямъ, которыя, при всемъ своемъ разнообразiи и отрывочности, представляютъ однако нѣкоторый внутреннiй порядокъ, и могутъ быть раздѣлены на три главныя группы. Сначала авторъ выставляетъ свои новые принципы 1) исторической миѳологiи, и 2) исторической филологiи, принимая это послѣднее выраженiе въ извѣстномъ уже намъ смыслѣ (см. выше стр. 59); въ этихъ двухъ отдѣлахъ, онъ старается показать, какимъ образомъ миѳологiя и филологiя могутъ служить для насъ вѣрными руководителями къ изученiю начатковъ человѣчества, для чего мы не имѣемъ никакихъ другихъ вѣрныхъ источниковъ. Третiй и послѣднiй отдѣлъ можетъ быть названъ чисто политическимъ, ибо авторъ въ этомъ отдѣлѣ излагаетъ въ краткихъ формулахъ основоположенiя *идеальной или вѣчной исторiи*, какъ онъ выражается самъ, разумѣя подъ этими словами науку о тѣхъ вѣчныхъ законахъ, которымъ слѣдуютъ неуклонно всѣ народы въ своемъ развитiи.

Начнемъ съ перваго отдѣла, а именно съ положенiй исторической миѳологiи и приведемъ главнѣйшiя

изъ нихъ. Послѣ нѣсколькихъ маловажныхъ положеній относительно еврейскаго народа, потопа и гигантовъ, авторъ останавливается на трехъ обстоятельствахъ, особенно поразившихъ его вниманіе:

„28. До насъ дошли два большія отрывка изъ египетскихъ древностей; въ одномъ изъ нихъ говорится, что египтяне раздѣляли все время существованія міра до насъ на три возраста, боговъ, героевъ и людей; въ другомъ отрывкѣ сказано, что каждому изъ этихъ трехъ возрастовъ соответствовали три языка, а именно: іероглифическій или священный языкъ, символическій или фигуральный*), соответствующій героическому вѣку, и письменный или общечеловѣческій, въ которомъ извѣстные знаки выражали обыкновенныя потребности жизни“.

„29. Гомеръ въ пяти мѣстахъ своихъ поэмъ упоминаетъ о какомъ-то языкѣ болѣе древнемъ, чѣмъ его собственный языкъ, и который былъ очевидно языкомъ героической эпохи; этотъ языкъ онъ называетъ языкомъ боговъ“.

„30. Варронъ далъ себѣ трудъ собрать 30,000 именъ боговъ, и притомъ однихъ греческихъ; всѣ эти имена указываютъ на столько же потребностей естественной, или нравственной, или экономической, или наконецъ гражданской жизни перваго времени“.

„Эти три положенія утверждаютъ, что начало на-

*) Наприм. жатва выражала юды; золото — златное зерно и т. п.

родовъ скрывается въ религіи, которая потому составляетъ первую изъ трехъ основъ этой науки“.

„32. Когда людямъ неизвѣстны естественныя причины, породившія вещь, и они не могутъ объяснить ея происхожденія ничѣмъ подобнымъ, тогда они впадаютъ въ эту вещь свою собственную природу: такъ, народъ говоритъ наприм., что магнитъ влюбленъ въ желѣзо“.

„33. Физика невѣжества составляетъ протсторонародную метафизику, въ силу которой происхожденіе невѣдомыхъ вещей приписывается Богу, безъ того чтобы подумать о тѣхъ средствахъ, которыя служатъ божественной волѣ.

„34. Подмѣченное Тацитомъ въ его словахъ: *tobiles ad superstitionem percussae semel mentes* (умъ, однажды пораженный, склоненъ къ суевѣрію), составляетъ истинное качество человеческой природы; ибо люди, поддавшись впечатлѣнію суевѣрія, относятъ къ нему все, что они думаютъ, видятъ и даже дѣлаютъ“.

„35. Чудесное есть дитя невѣжества, и чѣмъ удивительнѣе явленіе, тѣмъ въ большихъ размѣрахъ является чудесное“.

„36. Воображеніе тѣмъ сильнѣе, чѣмъ слабѣе умственныя силы“.

„Это филологическо-философское положеніе указываетъ на то, что люди дѣтской эпохи міра были отъ природы возвышенные поэты“.

Перейдемъ теперь къ главнѣйшимъ положеніямъ исторической филологіи:

„52. Дети обладают преимущественным даром подражанія, а потому мы видимъ, что ихъ игры состоятъ въ копированіи того, что они способны понять“.

„Это положеніе доказываетъ, что міръ въ свою дѣтскую эпоху состоялъ изъ поэтическихъ народовъ, ибо искусство поэзіи есть ни что иное, какъ подражаніе.

„И это же положеніе приводитъ насъ къ началу, что всѣ искусства необходимаго, полезнаго, удобнаго и по большей части пріятнаго, были изобрѣтены въ вѣка поэзіи, прежде нежели наступила эпоха философовъ; ибо искусства есть ни что иное, какъ подражаніе природѣ, и до извѣстной степени они составляютъ реальную поэзію“.

„53. Прежде всего человекъ чувствуетъ, не замѣчая; потомъ онъ замѣчаетъ, поражается и волнуется; и наконецъ, размышляетъ, по проясненіи духа“.

„Это положеніе составляетъ начало поэтическихъ изрѣченій, возникшихъ изъ чувствованій страсти, въ противность философскимъ изрѣченіямъ, которыя образовались изъ размышленія и умозаключеній; посему послѣднія бывають тѣмъ ближе къ истинѣ, чѣмъ они болѣе возвышаются до общаго; и первыя— тѣмъ точнѣе, чѣмъ они ближе примыкають къ особенному“.

„57. Нѣмые даютъ себя понимать гримасами или указаніемъ на предметы, имѣющіе естественное отношеніе къ идеямъ, которыя они желаютъ выразить“.

„Это положеніе служитъ основаніемъ іероглифовъ,

которыми очевидно выражались все народы в своемъ первобытномъ варварствѣ.

„Это же положеніе служить основою мысли о существованіи *натуральнаго языка*, относительно котораго дѣлаетъ свои догадки Платонъ въ „Кратилѣ“, и послѣ него Ямблихій въ *De mysteriis Aegyptiorum*.... За этимъ натуральнымъ языкомъ слѣдуетъ языкъ поэтической, выражавшійся при помощи образовъ, сближеній, сравненій и естественныхъ качествъ“.

„58. *Нѣмые издаютъ свои неопредѣленные звуки тннѣмъ; точно также звуки могутъ выговаривать только на распѣвъ.*

„59. *Люди выражаютъ тннѣмъ сильное движеніе страсти, какъ то случается съ тѣми, которые бываютъ поражены необыкновеннымъ горемъ или необыкновенною радостью“.*

„Эти два положенія наводятъ на мысль, что основатели языческихъ народовъ прошли дикое состояніе нѣмыхъ существъ, и такъ какъ одно сильное движеніе страсти могло вывести ихъ изъ такого состоянія, то первые языки сложились въ пѣсняхъ“.

„60. *Языки начались съ односложныхъ словъ, какъ то бываетъ и теперь съ новорожденными.*

„61. *Героическій стихъ есть древнѣйшій между всеми, и спондей—самый тяжелый; ниже будетъ доказано, что первоначально героическій стихъ шелъ спондеемъ.*

„62. Ямбъ болѣе всего похожъ на прозу, какъ-то выразилъ Гораций.

„Эти два послѣднія положенія наводятъ на мысль, что *идеи* и *языки* идутъ однимъ шагомъ въ своемъ развитіи“.

„64. Порядокъ въ идеяхъ обуславливается порядкомъ предметовъ.

„65. Порядокъ человеческихъ предметовъ состоитъ въ томъ, что первоначально были *лѣса*, потомъ *жилища*, далѣе *деревни*, послѣ *города* и наконецъ *академіи*.

„Это положеніе составляетъ важный принципъ этимологіи, и въ этомъ порядкѣ человѣческихъ предметовъ должна излагаться исторія выраженій первобытныхъ языковъ. Мы видимъ именно въ латинскомъ языкѣ, что его слова заимствовали свое начало изъ жизни лѣсовъ и полей. Напримѣръ *Lex* обозначало *собираніе желудей*; откуда произошло, какъ мы полагаемъ, *Лех* и *Шех*, *дубъ*; *Aquilex* значитъ *собиратель воды*. Дубъ производитъ желуди, около которыхъ собираются свиньи: потому подъ словомъ *lex* разумѣли вообще *собираніе овощей*, откуда произошло слово *legumina*. Позже, когда еще не были изобрѣтены буквы, которыми могли быть написаны законы, *lex* обозначало *собраніе гражданъ* и народное совѣщаніе.... Наконецъ, искусство соединять буквы и дѣлать изъ нихъ слова называлось *legere*“.

„66. Люди чувствуютъ сначала *необходимое*; потомъ они думаютъ о *полезномъ*; далѣе, объ *удобномъ*;

послѣ переходятъ къ пріятному, стремятся къ роскоши, и наконецъ падаютъ отъ безмысленнаго злоупотребленія вѣтшиимъ міромъ“.

„67. Природа народовъ была первоначально груба, потомъ сурова, кротка, мягка, и наконецъ дѣлалась распущенной“.

Послѣдующія за тѣмъ положенія Вико составляютъ третью группу и относятся къ развитію общественной жизни; вмѣстѣ взятыя, эти положенія составляютъ рядъ законовъ *идеальной исторіи*, которая, по его мнѣнію, должна повторяться въ судьбѣ каждаго человѣческаго общества.

Вотъ первое положеніе, въ которомъ Вико думаетъ охарактеризовать главнѣйшіе перевороты общественной жизни по значенію лицъ, которыя служатъ ея представителями:

„68. Сначала въ человеческомъ родѣ возвышаются чудовища, подобныя Полифемамъ (одинъ изъ циклоповъ, упоминаемый въ Одиссеѣ); дальѣ великодушные и горделивые, какъ Ахиллесы; за ними храбрые и справедливые, какъ Аристиды, Циціоны Африканскіе; ближе къ намъ стоятъ люди, прославившіеся великими доблестями, соединяемыми впрочемъ съ великими пороками, и возбуждавшіе въ толпахъ говоръ объ истинной славѣ, какъ Александры и Цезари; еще дальше, идутъ обдуманые тираны, какъ Тиверій; наконецъ—необузданные и свирпые безумцы, какъ Калигулы, Нероны и Домиціаны“.

„Это положеніе доказываетъ, что *первые* изъ нихъ были принуждены къ тому, чтобы довести человѣка до повиновенія человѣку въ состояніи семейства и склонить его къ повиновенію законамъ въ томъ состояніи, которое должно возникнуть въ городахъ; *вторые*, естественно не имѣвшіе себѣ подобныхъ, стремились къ тому, чтобы на семейномъ бытѣ основать вольныя государства съ аристократическою формою; *третьи* хотѣли въ этихъ государствахъ открыть дорогу къ народной свободѣ; *четвертые* заботились о томъ, чтобы ввести въ нихъ единодержавіе; *пятые*—чтобы укоренить его; *шестые*—чтобы ниспровергнуть. Это положеніе, вмѣстѣ съ предъидущими, составляетъ часть законовъ вѣчной идеальной исторіи, въ силу которыхъ проходятъ во времени всѣ народы въ своихъ начаткахъ, успѣхахъ, въ своемъ существованіи, паденіи и упадкѣ“.

„69. *Формы правленія должны соответствовать характеру управляемыхъ“.*

„Это положеніе доказываетъ, что, по природѣ человѣчески-гражданскаго порядка вещей, публичною школою для правителей служить нравственное состояніе народовъ“.

Послѣдующія положенія о семейномъ бытѣ и древнѣйшемъ образѣ правленія Вико заимствуетъ большею частью изъ Аристотеля, съ цѣлью объяснить ими спеціально древнѣйшую римскую исторію, и въ заключе-

ніе съ тою же цѣлью выставляетъ слѣдующее положеніе:

„92. Слабѣйшіе желаютъ законовъ; сильнѣйшіе возстаютъ противъ нихъ; честолюбивѣйшіе требуютъ законовъ, чтобы расположить къ себѣ; князья защищаютъ законы, чтобы сравнить сильныхъ съ слабыми“.

За тѣмъ Вико представляетъ обширное прижѣненіе этого положенія къ римской исторіи, называя первую и вторую часть этого положенія „факеломъ героической борьбы въ аристократическихъ республикахъ“. Въ ближайшей связи съ этимъ положеніемъ стоятъ 95 и 96 положенія:

„95. Люди сначала стремятся выйти изъ подчиненія и требуютъ равенства: такъ дѣйствуютъ плебеи въ аристократическихъ государствахъ, которыя наконецъ превращаются въ народныя. После того они опять стараются стать выше тѣхъ, съ которыми они сравнились: такъ дѣйствуютъ плебеи въ народныхъ республикахъ. Наконецъ, они хотятъ попраить законы: такъ рождается анархія или необузданныя народныя республики, которыя составляютъ худшую изъ самыхъ худшихъ тиранній, какаѣ когда либо существовала, ибо въ ней столько тиранновъ, сколько находится въ государствѣ распутныхъ и безнравственныхъ гражданъ. Достигнувъ этого пункта, и образумившись въ несчастіи, народы спѣшатъ спастись подъ покровомъ монархій, что составляетъ естественный монархическій законъ, которымъ Тацитъ (Annal. I, 1) оправдываетъ рим-

скую монархію при Августѣ, qui cuncta bellis civilibus fessa nomine Principis sub imperium accepit (т. е. который, съ титуломъ государя, взялъ подъ свою власть все, что было истомлено гражданскими войнами).

„96. Въ силу естественной, необузданной законами свободы, патриціи, послѣ перехода изъ семейнаго быта въ городскую, воспротивились всякому ограниченію и всякой тягости; такъ бывало въ аристократическихъ государствахъ, гдѣ патриціи являются повелителями; вполѣдствіи, плебеи, возростя числомъ и привыкнувъ къ оружію, принудили ихъ подчиниться законамъ и нести тягости вмѣстѣ съ ними: таково положеніе патриціевъ въ народныхъ республикахъ. Наконецъ, и тѣ и другіе, для обезпеченія жизни, подчинились одному: такъ патриціи подчиняются единовластію“.

„Оба эти положенія, вмѣстѣ съ предъидущими, служатъ основами вѣчной идеальной исторіи, о которой упоминалось еще выше“.

За тѣмъ слѣдуютъ отрывочныя положенія о колоніяхъ и о происхожденіи естественнаго права; послѣднія положенія направлены главнымъ образомъ противъ господствовавшихъ въ то время системъ трехъ первоклассныхъ авторитетовъ по естественному праву, Гроція, Сельдена и Пуффендорфа.

Мы остановились дольше на второмъ отдѣлѣ первой книги, именно потому, что въ этомъ отдѣлѣ авторъ сократилъ главнѣйшіе мотивы, которые должны будутъ пройти по всему его труду, какъ основа, и на

этой основѣ онъ построить все колоссальное зданіе своей идеальной исторіи и вмѣстѣ вѣчной, неизмѣнной, не смотря на кажущееся разнообразіе фактовъ и впечательство случая въ человѣческія дѣла.

Но Вико, начертавъ таблицу древнѣйшей исторіи человечества и разбросавъ въ 114 положеніяхъ тѣ мотивы, которые должны будутъ имъ руководить въ дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ, не перешелъ прямо къ главному предмету, а присоединилъ къ первымъ двумъ главамъ еще двѣ главы.

Въ третьей главѣ авторъ старается изъ всего разнообразія своихъ положеній извлечь самыя *общія черты*, которыя доказали бы, что, какъ ни различна исторія древнихъ и новыхъ народовъ, но у нихъ одна и та же общая и вѣчная природа; а безъ такой общей природы, исторія была бы невозможна, какъ наука, ибо наука можетъ имѣть предметомъ одно вѣчное, т. е. подчиненное разъ навсегда общимъ и неизмѣннымъ законамъ.

На чемъ же останавливается Вико въ этомъ отношеніи? Какія находитъ онъ неизмѣнныя черты въ исторіи всѣхъ народовъ, которые доказывали бы общность и вѣчность ихъ природы?

„Мы замѣчаемъ, говоритъ авторъ въ отвѣтъ на эти вопросы, что всѣ народы, какъ варварскіе, такъ и образованные, какое бы пространство и время ихъ не раздѣляло, какъ бы различно ни было ихъ происхождение, постоянно соблюдаютъ *три человѣческіе обычая*:

1) всѣ имѣютъ какую нибудь *религію*; 2) всѣ торжественно заключаютъ *бракъ*; 3) всѣ даютъ своимъ умершимъ *погребеніе*... А потому мы принимаемъ эти три вѣчные и общіе обычая за три первыя основоположенія этой *науки*“.

Вотъ тѣ три краеугольные камня, которые полагаетъ Вико въ основу жизни народовъ, какъ неизмѣнныя и неизбѣжныя идеи, безъ которыхъ человѣчество никогда не вышло бы изъ животнаго состоянія; такъ что человѣка въ отличіе отъ прочихъ неразумныхъ тварей можно назвать существомъ имѣющимъ идею о Богѣ, вступающимъ въ бракъ и погребающимъ своихъ умершихъ. Безъ брака, продолжаетъ Вико, невозможенъ семейный порядокъ вещей, который въ свою очередь лежитъ въ основаніи государственнаго. Однимъ словомъ, государство не мыслимо, если ему не предшествуетъ зерно, изъ котораго оно можетъ взойти, а именно семейство. Въ продолженіи своего труда, Вико безпрестанно указываетъ, въ доказательство справедливости своей идеи, на ту крайнюю заботу, съ которою государство охраняетъ право брака, видя въ немъ первую основу своего существованія. Въ исторіи борьбы римскихъ патриціевъ съ плебеями, которые требовали себѣ права брака, какъ средства сдѣлаться членами государства, представляется также указаніе на ту идею брака, которая врождена людямъ. Наконецъ, погребеніе умершихъ составляетъ такую необходимую и отличительную черту человѣческой жизни,

что по замѣчанію Вико, въ латинскомъ языкѣ слово *humanitas* (человѣчество) производится отъ глагола *humare* (погребать, предавать землѣ). Въ актѣ погребенія заключены двѣ идеи: одна полагаетъ цѣль человѣческой жизни, а другая рождаетъ понятіе объ отечествѣ. Погребеніе указываетъ на безсмертіе человѣка и на его загробную жизнь; въ то же время, могилы отцовъ и дѣдовъ привязываютъ человѣка къ определенной территоріи, и кладбище есть первая точка, около которой разводится деревня и городъ. Таковы причины, побудившія Вико остановиться на тѣхъ трехъ пунктахъ и избрать ихъ источникомъ всякой общественной жизни.

Послѣдняя и четвертая глава первой книги трактуетъ о *методѣ* изслѣдованія, которому намѣренъ слѣдовать Вико въ своемъ трудѣ. Вико избираетъ исходною точкою въ историческомъ изслѣдованіи „познаніе Бога, какъ такое, котораго не лишены люди, какъ бы они ни были дики, свирѣпы и безчеловѣчны.“ Съ другой стороны, Вико намѣренъ руководиться законами природы человѣческаго духа. „Люди, замѣчаетъ философъ, по испорченности своей природы, мучатся всегда себялюбіемъ, а потому они прежде всего стремятся къ достиженію собственныхъ выгодъ, ищутъ всякихъ выгодъ только для себя, нимало не думаютъ о ближнемъ и не могутъ направить своихъ страстей къ справедливому. Вслѣдствіе того мы утверждаемъ, что человѣкъ въ животномъ состояніи заботится исключи-

тельно о своемъ благѣ; но потомъ онъ избираетъ жену, у него родятся дѣти, и тогда онъ начинаетъ любить свое благо вмѣстѣ съ благомъ семьи; достигнувъ гражданскаго быта, онъ любитъ свое благо вмѣстѣ съ благомъ своей общины; когда распространяется однавласть надъ многими народами, онъ любитъ свое благо вмѣстѣ съ благомъ народовъ; народы сближаются между собой войною, мирными договорами, союзами, торговлею, и тогда человѣкъ любитъ свое благо вмѣстѣ съ благомъ всего человѣческаго рода. Однако во всѣхъ этихъ обстоятельствахъ, человѣкъ ищетъ главнымъ образомъ своихъ собственныхъ выгодъ: а потому онъ можетъ быть сдержанъ однимъ божественнымъ Провидѣнiемъ, чтобы соблюсти справедливость въ своемъ союзѣ семейномъ, гражданскомъ и человѣческомъ. Вслѣдствiе такой воли Провидѣнiя, человѣкъ, видя, что онъ не можетъ достигнуть того, чего онъ *хочетъ*, научается тому, что *можетъ* составлять его выгоду, а это-то именно и есть справедливое. Такая справедливость, направляющая человѣка къ правдѣ, называется божественнымъ правосудiемъ; оно управляетъ нами по божественному Провидѣнiю, и поддерживаетъ человѣческое общество. А потому эта „Наука“, съ одной изъ своихъ главныхъ точекъ зрѣнiя, должна быть ни что иное какъ *гражданственная теологiя божественнаго Провидѣнiя, основанная на разумѣ....* Или она должна, такъ сказать, сдѣлаться историческо-фактическимъ доказательствомъ Провидѣнiя; она должна

быть исторіею тѣхъ порядковъ, которые, безъ всякаго содѣйствія со стороны людей, и даже часто въ противоположность ихъ планамъ, руководятъ великою общиною человѣческаго рода. Ибо, хотя этотъ міръ созданъ во времени, и какъ нѣчто само по себѣ отдѣльное, но порядки, которые вложены въ него, тѣмъ не менѣе общи и вѣчны.“

Но авторъ не довольствовался одною первою книгою „Новой Науки“ для введенія читателя въ свой кругъ идей. Собственно говоря, только четвертая и пятая книги относятся къ самому предмету изслѣдованія; вторая же и третья, подобно первой, останавливаются на специальныхъ вопросахъ, рѣшеніе которыхъ однако весьма важно для главной задачи автора. Вторая книга трактуетъ *О поэтической мудрости*; а третья—*Объ открытіи истиннаго Гомера*. Послѣдуемъ за авторомъ, и рассмотримъ, въ какой связи находится сущность содержанія этихъ двухъ книгъ со всѣмъ остальнымъ.

Во второй книгѣ, авторъ останавливается на первобытной *мудрости* человѣчества, а подъ мудростью онъ понимаетъ тоже самое, что мы нынѣ разумѣемъ подъ словами: *цивилизация, образованность*, т. е. сумму и вмѣстѣ известную степень развитія всѣхъ силъ человѣческаго духа. „Мудрость, говоритъ Вико, есть напряженіе способностей (*facultá*), прилагаемыхъ ко всякому труду, силою которой изучаются науки и искусства, рождающія человѣчность.“ У древнихъ мудрость по самой ихъ природѣ носила на себѣ исклю-

чительно поэтической характеръ; но тѣмъ не менѣе изученіе ея чрезвычайно важно, ибо послѣдующая за нею цивилизація, или мудрость, называемая философскою, не сдѣлала ничего другого, какъ только оправдала разумомъ то, что было постигнуто въ эпоху поэтической мудрости силою чувственнаго воспріятія. Въ оправданіе такого мнѣнія, Вико приводитъ выраженіе Аристотеля: *Nihil est in intellectu, quin prius fuerit in sensu* (т. е. въ разумѣ нѣтъ ничего, что не было бы прежде въ чувствѣ). Такимъ образомъ, анализъ эпохи поэтической мудрости, или цивилизаціи, заключаетъ въ себѣ, какъ въ сѣмени, то, что позже развивается до конца въ эпоху философской мудрости. Дѣйствительно, поэтическая мудрость имѣла въ себѣ зачатки всѣхъ отраслей человѣческаго знанія: она имѣла поэтическую метафизику или богословіе, поэтическую логику, мораль, экономію, политику, космографію и астрономію, наконецъ поэтическую хронологію и географію. За тѣмъ, задача Вико состояла въ томъ, чтобы ясно и опредѣленно показать, какимъ образомъ основатели языческой человѣчности, посредствомъ *естественной теологіи* или *метафизики*, выдумали боговъ; посредствомъ *логики*, изобрѣли языки; посредствомъ *экономіи*, основали семью; посредствомъ *политики*—государство; *физика* дала имъ возможность установить божественныя начала всѣхъ вещей, а посредствомъ спеціальной *физики человека* они воспитывали самихъ себя; *космографія* наполнила богами всю вселенную; *астроно-*

мія перенесла съ земли на небо планеты и созвѣздія; *хронологія* опредѣлила начало времени; и наконецъ, *географія*, какъ напримѣръ у грековъ, помѣщала весь свѣтъ въ предѣлахъ Греціи. „Такимъ образомъ, наша „Наука“ явится *исторією идей, нравовъ и дѣяній рода человеческого*; изъ этихъ трехъ отдѣловъ могутъ быть извлечены главнѣйшія черты исторіи человѣческой природы, составляющія принципы *всеобщей исторіи*, которой до сихъ поръ именно недоставало общихъ началъ.“ Очевидно, у Вико *всеобщая исторія* должна называться такъ именно потому, что она должна изслѣдовать и соединить въ себѣ все, что должно быть признано *общимъ* въ природѣ всѣхъ народовъ, и потому задача его состоитъ въ томъ, чтобы отыскать это общее, неизмѣнное, и на основаніи его составить планъ идеальной, вѣчной исторіи.

Онъ находитъ у всѣхъ народовъ одинаковыя преданія о всемірномъ потопѣ и о первомъ населеніи земли *гигантами*, а потому съ нихъ начинается исторію человечества. Не испытавъ страха предъ богами, не зная фамилныхъ и гражданскихъ связей, первые люди, по выраженію Вико, „росли мясомъ и костями“, развивали въ себѣ одну физическую силу и такимъ образомъ внѣшность ихъ достигала гигантскихъ размѣровъ. Одни евреи составили исключеніе: не терявъ никогда страха божія и стѣсняемые условіями семейной и гражданской жизни, они не могли пойти въ одно мясо и кости, и сохранили ту пропорцію тѣла, кото-

рую имѣлъ Адамъ и Ной. Но когда земля обсохла послѣ потопа и изъ ея испареній въ первый разъ блеснула молнія, гиганты обратили въ первый разъ взглядъ на небо и почувствовали первый страхъ; ихъ любопытство пробудилось, и такимъ образомъ это любопытство сдѣлалось „сыномъ невѣжества и вмѣстѣ отцомъ всякаго знанія:“ первыя сказки родились отъ невѣжества и въ то же время сами породили начатки наукъ. Гиганты, пораженные страхомъ, потеряли прежнюю свободу, разгуль физической жизни; экономія ихъ тѣла уменьшилась, они начали приближаться къ обыкновеннымъ размѣрамъ человѣческаго тѣла; прежнее приволье смѣнилось заботами объ охраненіи жизни искусственными мѣрами; гиганты познакомились съ необходимостью чистоты тѣла, и въ языкѣ осталось навсегда воспоминаніе о томъ до-историческомъ переломѣ въ жизни гигантовъ: а именно, слово *politica*, *жизнь политическая*, происходитъ отъ *politus*, *вычищенный, чистый*. Такимъ образомъ, мы увидимъ часто, Вико, постоянно разсматривая языкъ, какъ древнѣйшій историческій памятникъ, старается путемъ филологіи составить понятіе о древнемъ бытѣ первыхъ народовъ, и латинскій языкъ руководить имъ въ тѣ времена, которыя не представляютъ никакихъ другихъ положительныхъ свидѣтельствъ. Нѣкоторый порядокъ въ собственномъ тѣлѣ былъ первою идеею гражданской жизни, и потому въ послѣдствіи, когда государственность сложилась окончательно, въ на-

званіи ея уцѣлѣло указаніе на первый ея источникъ: греческое *поліτεια* и латинское *politica* удерживаются на всѣхъ языкахъ въ смыслѣ государственности, хотя по своему корнесловію имѣютъ совершенно другое значеніе.

Но филологія ведетъ Вико и къ другимъ соображеніямъ относительно значенія эпохи гигантовъ въ дальнѣйшей судьбѣ человѣчества. Въ древнихъ преданіяхъ гиганты являются *дѣтьми Земли*, а потому у грековъ ихъ называютъ *άντοχρόνες*, и у римлянъ *indigenae*, т. е. рожденные изъ той земли, на которой они живутъ. Впослѣдствіи, когда гиганты подчинили себѣ другихъ людей, болѣе слабыхъ, и сами потеряли свой ростъ, названіе ихъ сохранилось, но получило другой смыслъ: отъ *indigenae* произошло слово *ingenii*, что значило *благородный* и вмѣстѣ *свободный*; такъ какъ первоначально одни благородные и свободные знали искусства, то искусства также получили названіе *artes ingeniae*, или *artes liberales*, благородныя или свободныя искусства, въ томъ смыслѣ, что ими могутъ заниматься одни благородные и свободные люди.

Къ числу такихъ первыхъ свободныхъ искусствъ относится поэтическая метафизика или теологія, которая оставалась долго секретомъ благороднаго сословія. Вико видитъ первые ея письменные слѣды въ гомерическихъ произведеніяхъ, куда попали древнѣйшія воззрѣнія человѣка на божество: въ ту эпоху люди, по выраженію Цицерона, приводимому нашимъ авто-

ромъ, *fiunt et credunt*, т. е. выдумываютъ и вѣрятъ; а потому первые люди видѣли боговъ на землѣ, жили съ ними; Юпитеръ возсѣдалъ даже не на небѣ, а на сосѣднихъ пригоркахъ, какъ на Олимпѣ, Пеліонѣ, Оссеѣ и т. д., или въ ближней рощѣ, въ рѣкѣ и т. п. Таковы были теологическія понятія древнѣйшаго человѣка о божествѣ, свидѣтельствующія о самой близости ихъ происхожденія отъ ближайшихъ предметовъ окружающей природы. Это воображаемое сожительство боговъ и людей побудило египтянъ начинать исторію эпохою боговъ, т. е. временемъ, когда боги жили вмѣстѣ съ людьми, или другими словами, когда въ каждомъ предметѣ природы люди видѣли божество, и, живя съ этою природою, думали такимъ образомъ жить вмѣстѣ съ богами.

Поэтическая метафизика потому составила первую науку о всѣхъ видахъ *бытія* вещей; каждое бытіе являлось божествомъ, и боговъ было столько же, сколько вещей. Рядомъ съ этою наукою должна была слѣдовать другая наука, которая разсматривала всѣ виды *понятій* существующаго въ формѣ слова (*λόγος*), и которую Вико называетъ потому *поэтическою логикою* (словословіе). „Слово *λόγος* значило первоначально *fabula*, что можно перевести на итальянскій языкъ *favella*; а у грековъ *fabula* значило тоже, что и *μῦθος* (миѳъ), откуда происходитъ латинское слово *mitus* (нѣмой), ибо древнѣйшій языкъ былъ *нѣмой*, безъ звука, и возникъ духовнымъ образомъ“. Говоря такъ, Вико

выходить изъ высказаннаго имъ выше въ положеніяхъ: первый человѣкъ выражалъ свои мысли тѣлодвиженіями безъ звука, слѣдовательно говорилъ, такъ сказать, нѣмымъ языкомъ; указать на небо, на землю, на море, значило сказать: Юпитеръ, Цибела, Нептунъ и т. д. Слѣды такого нѣмого языка сохранялись и тогда, когда человѣкъ избралъ звукъ средствомъ къ выраженію своихъ мыслей: всѣ древніе языки состояли изъ множества троповъ, синекдохъ, метафоръ, которые удерживаются во многихъ случаяхъ и до настоящаго времени. Первый человѣкъ могъ избрать одно собственное тѣло для составленія понятій о прочихъ неодушевленныхъ тѣлахъ, и доказательствомъ тому служить названія предметовъ, сохраняющіяся до сихъ норъ: наприм., человѣкъ имѣетъ *око*, и мѣсто срѣзаннаго на деревѣ сучка, по своему сходству съ глазомъ, называется также *очко*; *уста* человѣка дали названіе той части морского берега, которая какъ бы отърывается для пріема въ себя рѣки и потому носить названіе *устья*. *Зубы, горло, жилы, носъ, подошва* — всѣ эти выраженія заимствованы человѣкомъ у собственнаго тѣла и перенесены на внѣшнюю природу, что служитъ указаніемъ на то, какъ первоначально относился человѣкъ къ природѣ. *Небо улыбается, вѣтеръ свиститъ* и тысячи другихъ подобныхъ выраженій свидѣтельствуютъ также о томъ, что въ глазахъ древняго человѣка то, что мы нынѣ называемъ риторическимъ выраженіемъ, было настоящимъ и прямымъ языкомъ, который родился изъ срав-

ненія жизни природы съ жизнью человѣка. Вико полагаетъ, что „Атлантскій языкъ“ (*lingua Atlantica*), упоминаемый древними писателями, именно и есть тотъ первоначальный, нѣмой языкъ, который состоялъ изъ однихъ тѣлодвиженій и указаній на предметы, долженствовавшіе возбудить въ собесѣдникѣ ту или другую идею.

Пользуясь вышеупомянутымъ египетскимъ преданіемъ о трехъ возрастахъ древняго человѣчества, Вико приводитъ три языка, которымъ люди выражались соответственно каждому изъ этихъ трехъ возрастовъ; а именно, божеской эпохѣ принадлежитъ *іероглифическій языкъ*; геройская эпоха говорила языкомъ *символическимъ*; и наконецъ *народный языкъ* характеризуетъ человѣческую эпоху. Въ подтвержденіе такой египетской теоріи, Вико ссылается на то мѣсто (I, 250) въ гомеровской Иліадѣ, гдѣ поэтъ извѣщаетъ, что „Несторъ прожилъ *три* возраста различно говорящихъ людей; такимъ образомъ, Несторъ былъ извѣстнымъ выраженіемъ въ героической хронологіи грековъ, которая принимала, подобно египетской, три возраста и три языка; отсюда произошла поговорка: „прожить годы Нестора“, т. е. прожить отъ начала существованія міра. Въ позднѣйшія эпохи люди сохранили однако привычку говорить языкомъ божеской эпохи, т. е. нѣмымъ, іероглифическимъ языкомъ, и Вико находитъ такое указаніе у Діодора Сицилійскаго, который приводитъ вещественный іероглифическій отвѣтъ,

данный скиским царем Идантуромъ Дарію Древнему, персидскому царю. Дарій напалъ на него и требовалъ повиненія; Идантуръ послалъ ему пять *словъ*, но каждое слово было живой или вещественный предметъ: лягушка, мышь, птица, соха и лукъ. *Лягушкою* Идантуръ выражалъ то, что онъ родился самъ на этой землѣ, какъ рождаются лягушки изъ земли послѣ дождя; *мышь* указывала на то, что онъ, подобно мыши, устроилъ на своей землѣ себѣ жилище; *птица* говорила о томъ, что онъ признаетъ выше себя только бога; *соха* — что онъ воздѣлалъ землю и укротилъ ее; наконецъ, *лукъ* выражаетъ его власть надъ страной и обязанность защищать ее отъ внѣшняго врага. Другой примѣръ подобнаго языка божеской эпохи Вико находитъ у Тита-Ливія, гдѣ Тарквиній Гордый плетъ нѣмой отвѣтъ своему сыну въ Габіи, сбивая маковыя головки въ саду. Извѣстное мѣсто Тацита о *Германцахъ*, гдѣ историкъ говоритъ, что они не знали *literarum secreta*, Вико толкуетъ также въ пользу своей теоріи: древніе германцы не могли писать на своемъ секретномъ, т. е. іероглифическомъ языкѣ. Но особенно долго останавливается нашъ философъ на Гомерѣ, почерпая у него доказательства того, что у всѣхъ народовъ языки прошли въ своемъ развитіи три эпохи, божескую, геройскую и человѣческую. Гомеръ во многихъ мѣстахъ, а именно въ пяти, говоритъ самымъ определеннымъ образомъ о различіи, существовавшемъ еще при немъ между языкомъ боговъ и лю-

дей, хотя при Гомерѣ, замѣчаетъ Вико, языкомъ боговъ продолжаетъ называться языкъ героевъ, такъ какъ они считались потомками боговъ; слѣдовательно при Гомерѣ подъ божескимъ языкомъ разумѣлся языкъ высшаго сословія. Въ Иліадѣ мы читаемъ, что Бриарей называемый такъ *у боговъ*, извѣстенъ *у людей* подъ именемъ Егеона (I, 403); птица, называемая *у боговъ* *χαλκίς*, называется *у людей* *χρυσίδις* (XIV, 291); рѣка, на которой лежитъ Троя, *у боговъ* — Ксантъ, а *у людей* — Скамандръ (XX, 74); въ Одиссеѣ есть два мѣста; *люди* говорятъ: Сцилла и Харибда, а *боги* называютъ то же самое *πλαγκτὰς πέτρας* (XII, 61)*; въ другомъ мѣстѣ (X, 305) поэтъ говоритъ, что Меркурій далъ Улиссу талисманъ противъ чаръ Цирцеи, который *у боговъ* называется *μῶλυ*, а *у людей* не имѣеть для себя никакого слова. Такимъ образомъ, Гомеръ какъ бы сохранилъ намъ не только свидѣтельство о трехъ эпохахъ греческаго языка, но даже оставилъ, такъ сказать, лексиконъ, изъ котораго Вико приводитъ пять мѣстъ, хотя у Гомера можно найти много и другихъ подобныхъ примѣровъ: такъ, въ Иліадѣ, II, 811, гдѣ говорится о названіи одного изъ холмовъ въ долинѣ Трои.

При своемъ взглядѣ на значеніе іероглифовъ, какъ на нѣмой языкъ древнѣйшей эпохи человѣчества, Вико

*) Т. е. *блуждающія скалы*; но что онѣ соотвѣтствуютъ Сциллѣ и Харибдѣ, это одна догадка самого Вико.

считаетъ ложнымъ мнѣніемъ то убѣжденіе ученыхъ, что іероглифы были изобрѣтеніемъ позднѣйшей эпохи, называемой у него философскою, и которое было сдѣлано съ цѣлью держать въ секретѣ отъ толпы изобрѣтенія тайной мудрости. Живые іероглифы, отправленные Идантуромъ Дарію, и мимика Тарквинія Гордаго не могли имѣть цѣлью тайны, потому что они могли быть понятны каждому.

Въ языкѣ героической эпохи начинаютъ въ первый разъ являться членораздѣльные звуки, такъ что героическій языкъ представляетъ переходъ къ народному языку, но съ значительнымъ перевѣсомъ божескаго языка. Наконецъ, въ народномъ языкѣ членораздѣльные звуки получаютъ полное господство.

„Но, восклицаетъ Вико, остается еще весьма трудный вопросъ, *какимъ образомъ могло житься столько народныхъ языковъ, сколько существуетъ народовъ?* Чтобы разрѣшить его, мы должны предпослать весьма важную истину: какъ въ каждомъ народѣ образовалась различная природа соотвѣтственно различію климата, откуда произошло различіе и въ самыхъ нравахъ; точно также изъ различія природы и нравовъ явилось различіе въ языкахъ. Различіе природы принудило людей составить различные взгляды на удобства и неудобства человѣческой жизни, и породило въ народахъ различныя и часто противоположныя привычки; этимъ же самымъ путемъ, а не иначе, разошлись между собою различные языки. Это можно усмотрѣть съ оче-

видностью въ народныхъ поговоркахъ: начала чело-
вѣческой жизни у всѣхъ одни и тѣ же, но они выра-
жены съ столькихъ точекъ зрѣнія, сколько существо-
вало или существуетъ народовъ, какъ о томъ было
упомянуто въ положеніяхъ (аксіом. 22). Слова героиче-
ской эпохи, удержавшись въ сокращеніяхъ, произвели
въ народныхъ языкахъ тѣ трудности, съ которыми
пришлось такъ много бороться ученымъ, занимавшимся
критикою библіи, а именно, имена однихъ и тѣхъ
же царей въ священномъ писаніи называются такъ,
а въ языческой исторіи совершенно иначе; ибо въ
священномъ писаніи они названы по физическимъ ка-
чествамъ или могуществу, а у языческихъ писателей
по правамъ, дѣяніямъ, или по чему нибудь другому.
И теперь мы видимъ, что города Венгріи называются
такъ у венгровъ, иначе у грековъ, иначе у нѣмцевъ,
и иначе у турокъ. Нѣмецкій языкъ, этотъ живой языкъ
героической эпохи, обращаетъ почти всѣ иностран-
ныя названія въ свои собственныя. Надобно думать,
что римляне и греки поступали точно также, когда
они варварскія выраженія передавали въ превосход-
ной греческой или латинской формѣ. Отсюда происхо-
дитъ та темнота, которую мы встрѣчаемъ въ древней
географіи и естественной исторіи. На основаніи того,
при первомъ изданіи этого труда (т. е. 1725 г.), въ
насъ зародилась мысль составить *духовный словарь*,
который долженъ былъ дать ключъ ко всѣмъ различно
произносимымъ языкамъ; идея одна и та же, но по

различнымъ внѣшнимъ впечатлѣніямъ она получала въ словѣ различную оболочку. Въ построеніи этой „Науки“ мы безпрестанно пользовались этимъ словаремъ, и сдѣлали въ четвертой *) главѣ довольно полный опытъ, въ которомъ мы указали до пятнадцати различныхъ точекъ зрѣнія, которыя представлялись въ фамильномъ и государственномъ быту того времени...

„Изъ всего сказаннаго вытекаетъ слѣдующее по-

*) Т. е. перваго изданія. Въ нашемъ изданіи эта мысль составляетъ 22-ую аксіому или положеніе (см. выше на стр. 66). Вотъ извлеченіе изъ того мѣста перваго изданія, на которое ссылается Вико, и гдѣ онъ дѣлалъ опытъ составленія *духовнаго словаря* для различныхъ наименованій *отца семейства*: «Точки зрѣнія, на основаніи которыхъ различные народы называли первыхъ отцовъ семействъ, суть слѣдующія: 1) выдумка боговъ силою фантазіи; 2) рожденіе дѣтей въ законномъ бракѣ, при благословеніи свыше; 3) протекающее отсюда героическое происхожденіе; 4) знакомство съ наукою гаданій; 5) учрежденіе семейныхъ жертвоприношеній; 6) неограниченная отцовская власть; 7) истребленіе двѣихъ звѣрей и разбойниковъ и обработка земли; 8) принятіе въ свою среду заблудшихся безбожниковъ и ихъ защита противъ насильственныхъ людей *Θομι Гоббеса*; 9) слава, пріобрѣтенная всѣми тѣми добродѣтелями; 10) верховная власть въ своихъ владѣніяхъ; 11) протекающая отсюда военная власть; и 12) связанная съ тѣми законодательная и карательная власть. На основаніи того, у евреевъ отцы семействъ назывались *левитами*, отъ слова ед, сильный; у ассирянъ — *халдеями* или *мудрыми*; у персовъ — *магами*, или *отцами*; у египтянъ — *жрецами*, т. е. жертвоприносителями; у грековъ — то *героическими постами*, по дару предвидѣнія, то *геролами*, по происхожденію отъ боговъ, то *царями*, по неограниченной власти, и въ этомъ смыслѣ носы Пирра называли римскій сенатъ собраніемъ царей; далѣе, *Аристои* или *martiales* отъ *Ареса* или *Марса*; въ Спартѣ — *Гераклиды*, въ Римѣ — *Кеириты*; власть надъ семьею и права отца выражались въ названіи *heri* или господа, отсюда слово *hereditas*, отцовское наслѣдіе; *viri, patres* (въ Аоннахъ *Εὐλατρίδαι*); въ средніе вѣка *barones*, въ отличіе отъ *homines* или *крѣпостные*, откуда новѣйшее испанское слово *varon*».

ложеіе: чѣмъ богаче языки подобными сокращенными героическими выраженіями, тѣмъ они прекраснѣе, и прекраснѣе потому что они нагляднѣе, и чѣмъ нагляднѣе, тѣмъ справедливѣе и вѣрнѣе; и наоборотъ, чѣмъ языки болѣе насыщены выраженіями темнаго происхожденія, тѣмъ они непріятнѣе, ибо тѣмъ они сбивчивѣе и темнѣе, и подаютъ поводъ къ двусмыслію и недоумѣнію; такъ бываетъ съ языками, происшедшими изъ смѣшенія многихъ варварскихъ языковъ, исторія происхожденія которыхъ до насъ не дошла.

„Чтобы приступить теперь къ разрѣшенію въ высшей степени затруднительнаго вопроса объ образованіи тѣхъ трехъ родовъ, какъ въ языкахъ, такъ и въ письмѣ, необходимо установить слѣдующее начало: боги, герои и люди начали свои языки въ одно и тоже время, ибо тѣ, которые создавали боговъ въ своей фантазіи и производили потомъ отъ боговъ свою героическую природу, были также люди. А потому всѣ три языка, а вмѣстѣ съ ними и письмена, начались въ одно время, но съ слѣдующими тремя важными различіями: *языкъ боговъ* былъ совершенно безъ звука и представлялъ весьма мало членораздѣльности; *языкъ героев* былъ смѣшанъ изъ беззвучнаго языка и членораздѣльнаго, а слѣдовательно изъ народной рѣчи и героическихъ знаковъ, которые Гомеръ называетъ *σῆματα*; *языкъ людей* былъ почти весь членораздѣльный, и весьма рѣдко беззвучный, ибо нѣтъ столь полнаго народнаго языка, въ которомъ число предметовъ

не превышало бы числа словъ. А потому необходимо думать, что героическій языкъ въ своемъ началѣ былъ въ высшей степени безпорядоченъ, что послужило главнымъ источникомъ смутности мифовъ. Примѣромъ того служить мифъ о Кадмѣ: *Кадмъ убиваетъ большихъ змѣвъ; съѣтъ ихъ зубы; изъ борозды выходятъ вооруженные люди; онъ бросаетъ въ ихъ среду огромный камень; они борются другъ съ другомъ на смерть; и наконецъ самъ Кадмъ обращается въ змѣя.* Такимъ искусникомъ былъ тотъ Кадмъ, который принесъ къ грекамъ искусство письма; и о немъ сохранился этотъ мифъ, который, какъ мы объяснимъ, ниже, заключалъ въ себѣ нѣсколько столѣтій поэтической исторіи.“

Говоря такъ, Вико выразилъ опредѣленно свой взглядъ на значеніе мифа, какъ источника первобытной исторіи человѣческихъ обществъ. Мифъ, по его идеѣ, есть ни что иное, какъ слѣды іероглифическаго языка, сохранившіеся въ позднѣйшую эпоху; для насъ мифъ имѣетъ значеніе иносказательной сказки, басни, между тѣмъ, какъ въ эпоху своего рожденія онъ былъ прямымъ и настоящимъ языкомъ, въ которомъ знаки употреблялись для выраженія мысли, какъ нынѣ употребляются нами для той же цѣли членораздѣльные звуки. Вико дѣлаетъ ниже (26-я гл. II-й книги) опытъ, такъ сказать, перевода мифа о Кадмѣ съ іероглифическаго языка на нашъ языкъ. *Кадмъ убиваетъ змѣвъ* т. е. вырубаютъ первобытные лѣса на землѣ; *онъ съѣтъ ихъ зубы*, т. е. дѣлаетъ изъ вырубленнаго дерева

зубья, и такую деревянную сохою, которая употреблялась до открытія желѣза, вспахиваетъ поле; эта метафора сохранилась и въ народныхъ языкахъ, на которыхъ два острія сохи заимствуютъ и до сихъ поръ свое названіе отъ одной изъ частей человѣческаго тѣла: *dentes, зубы и зубья. Изъ бороздъ вырастаютъ вооруженные люди*; этимъ іероглифомъ выражается та тѣсная связь, въ которую ставилъ себя древній человѣкъ съ почвою, основывая на владѣніи землю свое благородство и право защищать ее противъ безземельнаго плебея; эта часть іероглифа, вмѣстѣ съ его продолженіемъ: *и они вступили въ борьбу другъ съ другомъ* — выражаетъ борьбу за аграрные законы патриціевъ съ плебеями. *Борозды* указываютъ на сословное начало. Наконецъ: *Каждъ превращается самъ въ змѣя*, т. е. въ обществѣ является авторитетъ власти; а потому, замѣчаетъ Вико, у грековъ подобная же эпоха выразилась совершенно подобнымъ же іероглифомъ, а именно *Дракономъ*, написавшимъ свои законы кровью: такимъ образомъ, Драконъ не былъ историческою личностью, но іероглифическимъ словомъ, скрывавшимъ въ себѣ цѣлую исторію переворота, совершившагося въ древнемъ обществѣ.

Вико указываетъ на другой слѣдъ, еще болѣе важный, того же іероглифическаго языка у Гомера (Ил. XVIII, 483 и слѣд.), который на щитѣ Ахиллеса приводитъ всю исторію міра отъ его начала до позднѣйшихъ временъ, рассказанную такими же іероглифа-

ми, какъ и мнѣ Кадма. Эти іероглифы выражали не только политическую исторію древнихъ обществъ, но говорили и о постепенномъ развитіи культуры. Такъ, на плитѣ была написана іероглифами исторія искусствъ и всей цивилизаціи, которую поэтъ начинаетъ эпохою семейнаго быта, и ставитъ потому на первомъ мѣстѣ царя-отца, который, держа въ рукахъ скипетръ, раздѣляетъ жертвенное мясо. Далѣе слѣдуютъ виноградники, потомъ стадо, пастухи и хижины, и все это заключается танцами. Эта картина, говоритъ Вико, представляетъ естественную послѣдовательность человѣческихъ изобрѣтеній: сначала искусство необходимаго, сельской жизни и прежде всего пищи, а потомъ полезное, и именно скотоводство; далѣе, удобное, гражданская постройка; наконецъ, пріятное, танцы.

Приступая къ ближайшему разсмотрѣнію вопроса о происхожденіи членораздѣльнаго языка, Вико указываетъ на звукоподражаніе, какъ на первый источникъ слова. Юпитеръ получилъ свое названіе у латинъ отъ перекатовъ грома, который вызвалъ идею божества, и такъ явился звукъ *Jous*, который въ соединеніи съ другимъ словомъ *pater* образовалъ сокращенную форму *Jupiter* (*Jouspater*); шипѣніе молніи вырвало у грековъ звукъ *Zeús*; ударъ грома, за которымъ иногда вспыхиваетъ пламя, породилъ у восточныхъ народовъ другой звукъ для обозначенія божества: *Урз*, откуда явилась слово *шет*, *огонь*; греки заимствовали изъ того же источника названіе для неба: *οὐρανός*, и римляне —

глаголь *уго, сожигаю*. Слово *pater* явилось отъ изумленія, которое вызывали небесныя явленія, и состояло въ междометіи: *ра!* Въ старыхъ выраженіяхъ латинскаго языка встрѣчается глаголь *ripare, жаловаться*, который могъ произойти отъ восклицанія общаго всѣмъ дѣтямъ, когда они жалуются на боль: *pi-ri!* По мнѣнію Вико, всѣ древніе языки состояли изъ односложныхъ словъ, и то, что мы въ грамматикахъ называемъ мѣстоименіями, было одною изъ старѣйшихъ частей рѣчи: мѣстоименія у всѣхъ народовъ односложны, и у древнѣйшихъ латинскихъ писателей можно видѣть, какимъ образомъ иногда мѣстоименіе употреблялось какъ имя существительное; Вико указываетъ для примѣра на Плавта (*Amphitr. I, 3, 45*): *Lucescit hoc jam*, гдѣ *hoc* поставлено вмѣсто *coelum*. Замѣчательно также то, что всѣ имена, которыя могли явиться въ эпоху лѣсной и полевой жизни, у всѣхъ народовъ являются односложными: *Voŭs, cŭs, mŭs* etc. Глаголы должны были явиться послѣдними, и въ подтвержденіе того Вико приводитъ, что одинъ изъ его соотечественниковъ, вслѣдствіе удара, позабылъ всѣ глаголы, но сохранилъ въ памяти имена существительныя. Притомъ глаголы явились въ языкѣ прежде всего въ повелительномъ наклоненіи, гдѣ они въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ жизни всегда односложны: *es, sta, i, da, dic, fac* *).

*) Мы имѣемъ въ своемъ разговорномъ языкѣ такое древнее повелительное, которое со сѣмъ не представляетъ другихъ формъ глагола, и тѣмъ какъ бы

Соотвѣтственно тому, Вико полагаетъ, что первая форма человѣческой рѣчи была не проза, которая требуетъ полнаго развитія всѣхъ частей рѣчи, но *стихи*; и нѣнне предшествовало разговорной рѣчи. Первые люди, какъ наши глухонѣмые, ограничивались сначала одними гласными буквами и добывали ихъ изъ себя на расцѣвъ. Китайскій языкъ, имѣющій не болѣе трехсотъ членораздѣльныхъ словъ, разнообразить слова нѣннемъ гласныхъ, и потому изъ всѣхъ существующихъ языковъ стоитъ ближе всѣхъ къ первобытному языку человечества. Всѣ изрѣченія сибиллъ и оракуловъ въ стихахъ, именно потому что форма всего древняго языка заключалась въ стихѣ. Стихотворная рѣчь предшествовала грамматическому сложенію языка, и до нашего времени поэтамъ предоставлена ихъ древняя привилегія, называемая *licentia poetica*, которая въ извѣстныхъ предѣлахъ можетъ нарушать правила грамматики.

Таково въ главныхъ чертахъ содержаніе первыхъ 12 главъ второй книги. Въ послѣдующихъ 14 главахъ, авторъ останавливается на поэтической *морали*, *экономіи* и *политикѣ* первобытныхъ обществъ, какъ онѣ развивались соотвѣтственно тѣмъ же тремъ эпохамъ, а именно божеской, героической и человѣческой. Слѣдующая прежней методѣ руководиться анализомъ мифовъ

служить подтвержденіемъ теоріи Вико: *на*, мысль *возьми*; употребляется даже во множественномъ числѣ: *на - те*.

и древнихъ изрѣченій языка, какъ они сохранились преимущественно у Гомера и въ XII таблицахъ римскаго законодательства, авторъ приходитъ къ заключенію, что поэтическая мораль происходила главнымъ образомъ изъ идеи брака, и что единобрачіе предшествовало многобрачію. Въ свою очередь, семейство разившееся изъ брака, сдѣлалось основою поэтической экономіи и политики. Семейство было первообразомъ для жизни общественной и государственной, что выразилось и въ самой семейной терминологіи. Гомеръ говоритъ, что Юпитеръ и Юнона, вступивъ въ бракъ, заключили между собою *дружбу*, что у грековъ называется *φιλία* — одного происхожденія съ глаголомъ *φιλέω*, *люблю*; отсюда же явилось въ латинскомъ языкѣ слово *filius*, *сынъ*, т. е. тотъ, кого любятъ; у грековъ — *φιλία*, колѣно, какъ соединеніе родственниковъ или любящихъ взаимно людей. На подобіе семейству, происходившему естественно отъ брака, явились въ древнемъ обществѣ союзы, которые получили названіе *φамилій*, что въ новѣйшихъ языкахъ употребляется потому для обозначенія естественнаго семейства. Когда люди свободные или гиганты, вслѣдствіе междоусобій, физическихъ бѣдствій, теряли свое значеніе, они старались поступить въ свиту какого-нибудь героя, и получали въ такомъ случаѣ названіе *familii*, *славные*, какъ люди *славы* (*fama*); по ихъ имени самый союзъ назывался *familia*, *союзъ славныхъ*. Или они назывались *кlientами* (*clientes*) отъ другого корня *κλῆς*

(слава), откуда произошло старинное слово *cluere*, *блм-стать*, сохранившееся въ формѣ *incluti* или *includi*, *знаменитые*. Впослѣдствіи, преобладаніе одного лишило этихъ *famuli* ихъ независимости, и они, сохраняя звукъ своего имени, обратились въ *слуги*— послѣднее значеніе слова *famulus*. Мифы о Танталѣ, который видѣлъ воду и не могъ ею воспользоваться; объ Иксионѣ, вѣчно обращающемъ колесо, или о Сизифѣ, который напрасно старался вскатить камень на гору, служили іероглифическимъ выраженіемъ того состоянія, въ которое были приведены *famuli*, знаменитые люди, осужденные своими прежними покровителями на вѣчную работу, такъ что ихъ имя, не смотря на свое происхожденіе отъ *fama* (слава), сдѣлалось тождественнымъ съ понятіемъ *слуги*. Вслѣдствіе того, въ *фамилии* должна была открыться борьба между *отцами* (*patres*) фамилій и ихъ членами. Отцы семействъ, *patres*, составившіе *патриціевъ*, соединились вмѣстѣ и образовали *сенатъ* (собраніе старѣйшинъ), избравъ изъ своей среды царя или предводителя для борьбы съ возмущившимися кліентами. Такое соединеніе патриціевъ было названо по ихъ имени *patria* (т. е. *res*), *отечество*. И такъ, подъ отечествомъ въ поэтической исторіи древнихъ обществъ разумѣется достояніе одного высшаго сословія, патриціевъ.

„Этотъ великій и важный эпизодъ поэтической исторіи, говоритъ Вико, сохранился въ слѣдующемъ мифѣ о Сатурнѣ: Сатурнъ хочетъ пожрать свое дѣ-

тище, Юпитера; жрецы Цибеллы прячутъ младенца, и шумомъ оружія заглушаютъ его крики. Въ этомъ мигѣ Сатурнъ представляетъ собою типъ тѣхъ фамуловъ, которые обрабатываютъ поля патриціевъ и хотятъ ѣсть плоды трудовъ своихъ.... Жрецы Цибеллы (т. е. патриціи) прячутъ Юпитера, т. е. полагаютъ начало монархическому управленію. Латинскіе филологи думаютъ, что отъ *скрытія* (*latere*) Юпитера получила свое названіе самая страна Лацій (*Latium*). Жрецы прибѣгнули къ шуму оружія; на это намекаетъ и Платонъ, говоря, что „государства были порождены оружіемъ.“ Съ этимъ же въ связи стоятъ слова Аристотеля: „въ республикахъ героической эпохи патриціи клялись быть вѣчными врагами плебеевъ.“ На этомъ же основана та вѣчная особенность, въ силу которой мы говоримъ, что слуги — враги господина, состоящіе на его же жалованьи. Греки подтвердили справедливость того словопроизводствомъ, и у нихъ *πόλεμος, война*, происходитъ отъ *πόλις, городъ*.“

Авторъ видитъ въ происхожденіи городовъ враждебное явленіе фамильному быту, носившему на себѣ исключительно поземельный, сельскій характеръ. Не ограничиваясь вышеприведеннымъ греческимъ словопроизводствомъ, по которому въ самой идеѣ города заключалась идея войны, борьбы патриціевъ съ клиентами, Вико ссылается для подтвержденія своего взгляда на мифъ о рожденіи Минервы.

„Высшее сословіе у грековъ создало относительно

рожденія Минервы грубую и непріятную фантастическую картину, а именно патриціи говорили, что Вулканъ разрубилъ сѣкирою голову Юпитеру, и изъ нея вышла Минерва; этимъ они хотѣли сказать, что масса кліентовъ (*famuli*), занятая рабскими трудами и олицетворенная въ плебейскомъ Вулканѣ, разбила царство Юпитера, то-есть ослабила его власть или ограничила, какъ то сохранилось у латинъ въ ихъ выраженіи *minuere caput* (уменьшить власть); въ ту эпоху не умѣли говорить абстрактно: *ослабить правительство*, и потому выражались конкретно: *ослабить голову*. А переворотъ въ монархическомъ устройствѣ фамиліи и состоялъ именно въ томъ, что его замѣнили аристократическія формы *въ городахъ*. То предположеніе, что у латинъ имя *Minerva* произошло отъ *minuere*, не лишено основанія; и въ юридическомъ языкѣ римлянъ сохранилось выраженіе *capitis deminutio*, *перемѣна формы правленія*; а Минерва именно произвела перемѣну въ фамильномъ быту, приведя его въ городское состояніе.

„Впослѣдствіи, этотъ миѳъ сдѣлался предметомъ самыхъ высокопарныхъ соображеній философовъ; говорили, что въ этомъ миѳѣ видно, какъ вѣчная идея въ Богѣ произошла изъ Бога, а почему всѣ заключающіяся въ насъ идеи порождены Богомъ. Но теологическіе поэты видѣли въ Минервѣ одну идею гражданскаго порядка.... У Гомера, Минерва имѣетъ постояннымъ предикатомъ: *воительница, ищущая добычи*;

и только въ двухъ мѣстахъ, сколько помнимъ, мы нашли при ея имени эпитетъ: *совѣтница*; если же ей посвящали *сову* и *оливку*, то вовсе не потому что она занималась по ночамъ и писала и читала при свѣтѣ лампы, а чтобы показать, что образованность чelовѣчества выходить изъ мрака ночи; а можетъ быть и потому что сенатъ героической эпохи составлялъ свои опредѣленія по ночамъ.“

Изъ такого отношенія лицъ первобытнаго общества и изъ его видоизмѣненій, основанныхъ на самой природѣ вещей, Вико выводитъ общія и вѣчныя начала происхожденія собственности и вытекающія отсюда различныя формы государственныхъ учрежденій. По его идеѣ, всякая собственность и каждое государственное учрежденіе имѣетъ въ своемъ основаніи *бенефицию*, *дареніе*. Собственность сама по себѣ предполагаетъ въ собственникѣ необходимую силу для своего приобрѣтенія; но чтобы воспользоваться приобрѣтенною собственностью, чelовѣкъ не можетъ доволствоваться собственными силами, и потому онъ *уступаетъ* ее на извѣстныхъ условіяхъ тѣмъ, которые имѣли средство сдѣлать приобрѣтеніе, или отдаетъ какъ *даръ*, *бенефицию*, *ленъ*. А потому ленная система господствовала одинаково, какъ въ древнѣйшій періодъ исторіи грековъ и римлянъ, такъ и въ древнѣйшую эпоху европейской исторіи. Вико допускаетъ только троякаго рода лены, и на томъ основаніи говорить, что всѣ государства представляютъ только

тroyкаго рода *право владѣнія* (*dominium*), тroyкаго рода *состояніе лицъ*, и тroyкаго рода *состояніе вещей*.

„Первое право владѣнія называется *dominium bonitarium* (право пользованія): оно предоставляется земледѣльцамъ и простому народу; этотъ простой народъ, *люди*, (*homines*), какъ называли въ эпоху возвратившагося варварства *) *васалловъ*, то-есть плеbei, пользовались плодами земли своихъ героевъ (т. е. сузереновъ). Второй родъ владѣній называется *dominium quitarium*, и составляетъ благородные, героическіе или вооруженные лены, называемые и до сихъ поръ *feuda militaria*. Такіе лены принадлежали героямъ, соединеннымъ въ одно вооруженное сословіе; право подобнаго владѣнія называлось также *dominium optatum*; о немъ, хотя и въ другое время, говоритъ Цицеронъ въ своей рѣчи *De Haruspicum responsis*, по поводу нѣкоторыхъ домовъ, существовавшихъ въ Римѣ до его эпохи, и называетъ ихъ такимъ недвижимымъ имуществомъ, которое освобождалось не только отъ частныхъ, но и отъ общественныхъ повинностей. Другое классическое мѣсто о томъ же читается въ Пятокнижии Моисея, гдѣ говорится, что при Іосифѣ египетскіе жрецы не вносили царю никакихъ податей за свои владѣнія; а всѣ монархіи героической эпохи были жреческими го-

*) Какъ мы увидимъ ниже, Вико, по своей теоріи, называетъ начало среднихъ вѣковъ *возвратившимся варварствомъ* и потому повторившимъ въ себѣ всѣ явленія древняго варварства съ его тремя эпохами, божескою, геройскою и человѣческою.

сударствами, и ниже мы увидимъ, что римскіе патриціи также не платили податей въ государственную казну. Всѣ эти частныя лены съ верховными правами были весьма естественно подчинены въ героическую эпоху высшему правительственному мѣсту, образованному изъ высшаго сословія; общее дѣло этого высшаго сословія называлось *отечествомъ*, *patria*, при семъ подразумѣвается опущенное слово *res*, то-есть *интересъ отцовъ* или патриціевъ, который они обязаны защищать и поддерживать, ибо этотъ интересъ предоставленъ всѣмъ отцамъ фамилій, раздѣленъ между ними по-ровну, и служитъ основою ихъ владѣльческой свободы. Третій родъ владѣнія назывался *dominium civile*, которымъ пользовались героическія общины, состоявшія первоначально изъ однихъ героевъ, и которое они получили въ качествѣ *лена отъ божества*.... Когда такія общины превратились въ гражданскія монархіи, это происхожденіе власти выразилось наглядно въ титулѣ: *божію милостію* (*per la grazia di Dio*).“

Далѣе, авторъ дѣлаетъ обширное примѣненіе всѣхъ высказанныхъ имъ началъ къ первымъ временамъ римской исторіи, и въ заключеніи второй книги говоритъ о состояніи поэтической физики, космографіи, хронологіи и географіи, у народовъ, которые проходили постепенно въ своемъ развитіи чрезъ вышеуказанныя имъ три эпохи.

Какъ мы могли замѣтить, Вико во всѣхъ своихъ изслѣдованіяхъ главнымъ образомъ опирается на го-

мерическихъ поэмахъ, Иліадѣ и Одиссеи, какъ на единственномъ памятникѣ, указанія котораго входятъ глубоко въ первобытную жизнь народовъ. Потому авторъ, заключивъ вторую книгу, рѣшился подвергнуть самого Гомера исторической критикѣ, чтобы оправдать себя въ пользованіи его произведеніями. Эта критика Гомера и составила особую третью книгу „Новой Науки“. Хотя эта часть труда Вико не имѣетъ прямого отношенія къ философіи исторіи, и вставлена въ его произведеніе эпизодически, но тѣмъ не менѣе она заняла видное мѣсто въ „Новой Наукѣ“, и составила эпоху въ исторіи критики. Вико, если не рѣшилъ своего вопроса совершенно удовлетворительно, то во всякомъ случаѣ онъ далъ первый толчокъ и поставилъ на настоящую дорогу вопросъ о значеніи Гомера и вообще древнихъ памятниковъ народной литературы. Вольфъ въ своихъ изслѣдованіяхъ о Гомерѣ только утвердилъ на научныхъ основаніяхъ то, что было уже ясно и положительно высказано у Вико.

Точка отправленія Вико въ этомъ вопросѣ понятна сама собою, и важность его рѣшенія для судьбы всей „Новой Науки“ очевидна. „Былъ-ли Гомеръ *философъ*?“ вотъ вопросъ, который предлагаетъ себѣ Вико; на его языкѣ это значить: принадлежитъ-ли Гомеръ къ числу писателей, жившихъ въ позднѣйшую эпоху развитія человѣческихъ обществъ, которую Вико называетъ философскою, въ отличіе отъ поэтической, гдѣ всѣ лица суть ни что иное, какъ іероглифы, миѳы,

олицетворявшие ту или другую идею? Если Гомеръ былъ *философъ*, т. е. писатель въ томъ смыслѣ, какъ мы понимаемъ это слово въ настоящее время, конкретное историческое лице, въ такомъ случаѣ его произведенія не могутъ служить тѣмъ источникомъ, какимъ признаетъ ихъ Вико. Отвѣтъ на заданный себѣ вопросъ, нашъ авторъ выразилъ въ самомъ оглавленіи третьей книги: „Объ открытіи *истиннаго* Гомера.“ Указавъ на сомнѣніе древнихъ относительно личности Гомера, Вико съ большимъ остроуміемъ анализируетъ, сравниваетъ различныя мѣста Иліады и Одиссеи, приводитъ, по его выраженію, философскія и филологическія доказательства, и останавливается на положительномъ убѣжденіи, что „Гомеръ никогда не существовалъ какъ дѣйствительный конкретный человѣкъ;“ что самое его имя есть только нарицательное названіе: *δμοῦ*, *вмѣстѣ* и *ἕρετιν*, *сплетать*, откуда *δμηρος*, т. е. *соединитель мифовъ*. Такимъ образомъ, Иліада и Одиссея являются въ глазахъ Вико произведеніемъ литературы іероглифическаго языка, когда *миѳъ* служилъ *нѣмымъ* *) словомъ къ выраженію идей, какъ Вико то старался объяснить выше почти на каждый страницѣ своего труда. Въ позднѣйшую эпоху забыли о такомъ значеніи мифа и составили ложную идею о Гомерѣ, какъ о писателѣ, не обративъ вниманія на то, что въ Иліадѣ и Одиссеѣ нигдѣ даже не упоминается

*) См. выше на стр. 88.

объ искусствѣ письма: постоянно говорится о *тѣни*, какъ о средствѣ изложенія мыслей. Вико особенно обвиняетъ Плутарха въ распространеніи такого ложнаго взгляда на Гомера, и прибавляетъ, что „всѣ философы (т. е. писатели) послѣдовали за Плутархомъ на всѣхъ парусахъ“ *).

Мы достигли теперь тѣхъ двухъ послѣднихъ книгъ „Новой Науки“, которыя собственно составляютъ главное ея содержаніе, и въ отношеніи къ которымъ первыя три книги служили однимъ приготовленіемъ.

Третья книга носитъ заглавіе: „*О пути, которому слѣдуютъ народы въ своемъ развитіи*“; и вотъ какимъ образомъ самъ авторъ приступаетъ къ рѣшенію своей

*) Пользуюсь настоящимъ случаемъ, чтобы выразить свою признательность памяти того, кто первый познакомилъ меня съ Вико и указалъ на его важное значеніе въ исторіи критическаго искусства. Лѣтъ двадцать тому назадъ, въ 1846 г., покойный профессоръ греческой словесности въ Спб. университетѣ, *Грефе*, предложилъ намъ задачу для конкурса на медаль вопросъ о Гомерѣ, поставивъ необходимымъ условіемъ изучить приемы Вико. Какъ ни отдаленно это вродѣе, но я живо помню то необыкновенное впечатлѣніе, которое произвела на меня «Новая Наука». Она, какъ извѣстно, исполнена весьма тяжелыхъ мѣстъ, читается не безъ труда, но не смотря на то для молодого человека она представляетъ необыкновенную пріимчивость, именно, быть можетъ, потому, что научный характеръ самого Вико, носить на себѣ всѣ принадлежности юношеской силы, которая всегда готова разсѣчь узелъ тамъ, гдѣ недостало бы средствъ и терпѣнія развязать его. Притомъ Вико говорить о юношествѣ человечества и создаетъ его повѣстическую исторію; а потому, помимо своего научнаго интереса, его «Новая Наука» будетъ еще не разъ вдохновлять собою, и вызоветъ не разъ творческую дѣятельность воображенія, какъ она уже подарила намъ «Филанжіери» устами Гёте, почерпнувшего свой идеалъ въ «Новой Наукѣ».

существенной задачи и объясняет тотъ порядокъ, въ которомъ онъ намѣренъ излагать свои идеи:

„Въ силу основныхъ началъ этой науки, какъ они установлены въ *первой книгѣ*, и въ силу происхожденія всего божескаго и человѣческаго въ язычествѣ, какъ то мы изслѣдовали и открыли во *второй книгѣ*, говоря объ эпохѣ поэтической мудрости (т. е. образованности); равно и въ силу сдѣланнаго нами открытiя въ *третьей книгѣ*, изъ котораго слѣдуетъ, что пѣсни Гомера составляютъ двѣ великія сокровищницы естественнаго права народовъ Греціи, какъ законъ XII таблицъ служитъ важнѣйшимъ свидѣтельствомъ естественнаго права народовъ Лаціи; мы приступаемъ нынѣ съ помощью этихъ свѣточей, заимствованныхъ изъ философіи и филологіи, къ *четвертой книгѣ*; она укажетъ намъ тотъ путь, которому слѣдуютъ народы въ своемъ развитіи, проходя три извѣстныхъ египтянамъ эпохи боговъ, героевъ и людей. Какъ мы увидимъ, народы твердо стоятъ въ этой вѣрной и непрерывной послѣдовательности причинъ и дѣйствій, которая производитъ въ нихъ три рода *природы*, три рода *нравовъ*, вытекающихъ изъ каждой природы; три рода *естественнаго права* народовъ, соотвѣтственно тремъ родамъ нравовъ; и три рода *гражданскаго* порядка или государственности, соотвѣтственно тремъ видамъ естественнаго права. А чтобы люди могли общать другъ другу тѣ вышеупомянутыя и пріобрѣтенныя ими преимущества, они образовали три рода

языка и столько же *письменъ*; для упроченія же за собою тѣхъ преимуществъ они установили три рода *науки о правѣ*, съ тремя родами *власти*, *понятій о правѣ*, и съ тремя родами *суда*. Но эти три рода особеннаго единства, вмѣстѣ съ прочими другими, которые вытекаютъ изъ нихъ и будутъ исчислены въ этой книгѣ, взятыя вмѣстѣ исходятъ изъ одного общаго единства, которое и есть единство религiи божественнаго провидѣнiя; это — единство духовное; оно управляетъ мiръ народовъ и даетъ имъ жизнь. Прочее же, что было выше изложено подробно, здѣсь будетъ снова подтверждено“.

Читая четвертую книгу „Новой Науки“ мы можемъ легко замѣтить съ перваго раза, что автору почти ничего не осталось сказать, послѣ тѣхъ изслѣдованiй, которые были представлены въ трехъ предъидущихъ книгахъ. Авторъ или говорить коротко, ссылаясь на вышесказанное, или безпрестанно повторяется; многія изъ 23 главъ, составляющихъ четвертую книгу, заключаютъ въ себѣ не болѣе десяти строчекъ. Въ первыхъ десяти главахъ самаго краткаго содержанiя, оны ограничиваются одними перифразами вышеизложеннаго имъ и характеризируетъ тѣ три рода природы, нравовъ, естественнаго права, языка письменъ, науки права, власти, и понятiя о правѣ, которые соотвѣтствовали тремъ эпохамъ первобытныхъ обществъ. Мысль вездѣ одна и та же: грубая природа, суровые нравы, нѣмой иероглифическiй языкъ и такiя же пись-

мена; страхъ и насиліе въ понятіяхъ о правѣ и власти характеризуютъ первую эпоху боговъ; смягченіе, усовершенствованіе, справедливость идутъ впередъ въ эпоху героевъ и эпоху людей. Нѣсколько подробнѣе останавливается Вико на трехъ родахъ суда, и по этому поводу присоединяетъ разсужденіе о трехъ родахъ наказанія, о войнѣ, которая въ сущности есть тотъ же судъ, и о послѣдующемъ за нимъ наказаніи для побѣжденнаго: о смертной казни и военныхъ экзекуціяхъ, которыя характеризуютъ эпоху боговъ и героевъ; въ человѣческую эпоху смертная казнь замѣняется болѣе мягкими наказаніями, и война завершается сліяніемъ народовъ. Въ заключеніе, авторъ перечисляетъ весьма коротко три рода государствъ, соотвѣтствующихъ различнымъ эпохамъ первобытнаго общества, а именно онъ говоритъ, что государства въ этомъ отношеніи слѣдуютъ закону цифръ, и, исходя изъ единицы, заключаются единицей. *Одинъ, немногіе, многіе, все* и снова *одинъ* — таковъ порядокъ въ числахъ, и таковъ же порядокъ въ государственномъ управленіи; въ патриархальномъ государствѣ власть принадлежитъ *одному*; въ аристократіи — *немногимъ*; въ народныхъ республикахъ — *многимъ*; эпоха паденія послѣднихъ предоставляетъ власть *всѣмъ*, и тогда дѣлается необходимымъ для спасенія общества передать ее снова *одному*, какъ то было при самомъ началѣ общества.

Но въ четвертой книгѣ авторъ имѣетъ предъ своими глазами почти исключительно римскую исторію,

и въ ней почерпаетъ какъ доводы для своихъ разсужденій, такъ и доказательства въ подтвержденіе своихъ идей. Проводя въ своемъ трудѣ постоянно одну и ту же мысль, а именно, что открытые имъ законы развитія націй вѣчны и неизмѣнны, ему оставалось потому въ заключеніе „Новой Науки“ показать, что все сказанное имъ о ходѣ древней цивилизаціи повторилось въ новой исторіи европейскихъ народовъ; съ этою цѣлью онъ посвятилъ всю *пятую* книгу характеристикъ и очерку новѣйшей исторіи, желая доказать, что она была ничѣмъ инымъ, какъ буквальный повтореніемъ исторіи древнихъ народовъ, а потому прошла тѣ же три эпохи: божескую, геройскую и человѣческую, и, подобно древней исторіи, началась глубокимъ и темнымъ временемъ варварства. Сообразно съ тѣмъ, Вико ставитъ слѣдующее заглавіе пятой книги: *„О возвращеніи общаго человѣческаго порядка въ томъ воскрешеніи, которое испытали народы.“*

„Изъ безчисленныхъ мѣстъ, говоритъ авторъ въ самомъ началѣ пятой книги, разсѣянныхъ по всему этому труду, по поводу безчисленныхъ предметовъ, и которыя свидѣтельствуютъ объ изумительномъ сходствѣ временъ древняго варварства (т. е. греко-римскаго міра) съ новымъ варварствомъ (т. е. среднихъ вѣковъ), можно легко заключить о *возвратѣ* человѣческаго порядка вещей въ томъ воскрешеніи, которое переживаютъ народы. Но, чтобы подтвердить это явленіе на широкомъ основаніи, мы сочли за лучшее дать

этому предмету особое мѣсто въ этой послѣдней книгѣ, и освѣтитъ болѣе ярко времена *вторичнаго* варварства, покрытаго бѣльшимъ мракомъ, нежели первое, и которое величайшій знатокъ древности, М. Т. Варронъ, называетъ темнымъ. При этомъ мы будемъ имѣть случай показать, какъ всеблагій и всемогущій Богъ направляетъ предназначенія своего провидѣнія, руководящаго всѣми человѣческими дѣлами народовъ, къ невыразимымъ опредѣленіямъ своей благодати.

„Открывъ истину христіанской религіи сверхъестественными средствами и утвердивъ ее доблестью мучениковъ противъ усилій римскаго могущества, и ученостью отцовъ церкви и чудесами противъ суетности грековъ, Богъ поднялъ за тѣмъ вооруженные народы, явившіеся со всѣхъ сторонъ сражаться за истинную божественность своего основателя; установилъ среди народовъ новый порядокъ человѣчности, и пустилъ его по тому же самому *естественному пути* дальнѣйшаго развитія. Въ силу такого вѣчнаго предопредѣленія, Богъ возвратилъ людей къ прежней истинной *божеской эпохѣ*, когда повсюду католическіе короли, въ знакъ защиты христіанской религіи, которой они служатъ покровителями, облеклись въ далматику и освятили свою царственную личность, откуда они и до сихъ поръ сохраняютъ титулъ священнаго королевскаго величества. Они принимали на себя церковныя должности, какъ рассказываетъ Симфоріанъ Камперій въ своей „Генеалогіи королей Франціи“ о Гуго Капетѣ, кото-

рый назывался графомъ и *аббатомъ* Парижа, и Парадинъ въ „Бургундскихъ анналахъ“ приводитъ древніе документы, гдѣ князья Франціи называются смѣшанно герцогами и аббатами, или графами и аббатами. Такъ, первые христіанскіе короли положили начало вооруженной религіи, при помощи которой они возстановляли христіанскую католическую религію въ борьбѣ съ аріанами, которыми, по словамъ св. Іеронима, былъ зараженъ весь христіанскій міръ, и въ борьбѣ съ сарацинами и съ безчисленнымъ множествомъ другихъ невѣрныхъ. Въ тѣ времена, можно по справедливости сказать, наступили такъ называемыя *pura et pia bella* (чистыя и благочестивыя войны) героическихъ народовъ: отчего и до сихъ поръ у всѣхъ христіанскихъ государей на коронахъ надъ шаромъ помѣщается крестъ; прежде его изображали на знаменахъ, отправляясь на войну, называемую крестовыми походами. И изумительно видѣть этотъ возвратъ гражданскихъ явленій во временахъ новаго варварства; въ древнемъ варварствѣ, при объявленіи войны, глашатаи *evocabant deos* (вызывали боговъ) изъ того города, которому объявлялась война, и при этомъ употребляли многозначительную и торжественную формулу, сохранившуюся у Макробія: они полагали, что такимъ образомъ побѣжденные народы останутся безъ боговъ, а слѣдовательно и безъ религіозныхъ гаданій. На этомъ основаніи мы высказали въ своемъ трудѣ положеніе, что по праву побѣдителя, въ героическую эпоху, побѣжденный лишался всѣхъ

общественныхъ и другихъ особенныхъ преимуществъ; ибо такія преимущества, какъ то видно изъ римской исторіи, были тѣсно связаны, въ героическую эпоху, съ религіозными гаданіями; это видно въ формулѣ сдачи города Коллаціи Тарквинію Древнему: сдавшіеся должны были отказаться отъ всѣхъ божескихъ и человѣческихъ правъ въ пользу побѣдителя (*debebant divina et humana omnia*. Лив. I, 38). Точно такимъ же образомъ, новѣйшіе варвары, при взятіи городовъ, устремляли всѣ свои усилія къ тому, чтобы отыскать у побѣжденныхъ и унести съ собою сокровища и мощи, вслѣдствіе чего всѣ народы въ то же самое время заботились о томъ, чтобы зарывать ихъ и прятать. Для сохраненія ихъ избирали самыя далекія и затаенныя мѣста въ церквахъ. По той же причинѣ, въ завоеванныхъ городахъ побѣжденные были вынуждены покупать у побѣдителя колокола.

„Такъ какъ Европа, Азія и Африка были наводнены варварскими народами, и побѣдители не могли понимать побѣжденныхъ, то, вслѣдствіе варварства враговъ католической церкви, произошло то, что въ желѣзное время не могла явиться никакая письменность на народномъ языкѣ, ни на итальянскомъ, ни на французскомъ или испанскомъ, ни даже на нѣмецкомъ; на послѣднемъ языкѣ, какъ говоритъ Авентинъ *De Annalibus Bojorum*, лѣтописи начали излагаться только со временъ Фридриха Швабскаго (т. е. Барбаруссы, XII вѣка), а по другимъ только съ правленія импе-

ратора Рудольфа Австрійскаго (XIII в.)*). И всѣ вышеупомянутые народы не имѣли другой литературы, кромѣ *варварской латыни*, которую понимали немногіе изъ высшаго сословія, да и тѣ были духовные. Посему ничего не остается, какъ представить себѣ, что въ тѣ несчастные вѣка народы были вынуждены говорить другъ съ другомъ на *безсловесномъ языкѣ*. Вслѣдствіе такого отсутствія народныхъ письменъ, долженъ былъ повсюду возвратиться іероглифическій языкъ, выражавшійся образами, и который долженъ былъ служить къ обозначенію правъ на собственность въ отношеніи домовъ, могилъ, полей и стадъ. Возвратился также *божій судъ*, названный *каноническимъ очищеніемъ***); этотъ судъ былъ тѣмъ же, чѣмъ были *поединки* въ эпоху перваго варварства, которые не были извѣстны святымъ канонамъ. Возвратились и *героическіе разбои*; мы выше сказали, что герои вмѣняли себѣ въ честь называться разбойниками; потому же самому и названіе *корсара* въ позднѣйшее время было чѣмъ-то въ родѣ владѣтельнаго титула. Возвратилось и героическое *кулачное право*, которое, какъ мы замѣтили выше, продолжалось до временъ Бартоло (т. е. изобрѣтеніе пороха), и равнымъ образомъ***) войны послѣдняго

*) Первые документы на нѣмецкомъ языкѣ не ранѣе 1260 г., когда Рудольфъ былъ еще графомъ Габсбургскимъ.

***) См. *Du Cange: Purgationes canonice.*

***) *E perchè etc.* т. е. и почему; по послѣдующее не имѣетъ связи съ предъидущимъ, и потому Орелли ставитъ: *e parimente.*

варварства, какъ и перваго, были всѣ религіозными войнами. Возвратилось и *героическое рабство*, которое сохранялось долго даже между христіанскими народами, ибо при тогдашнемъ обычаѣ поединковъ побѣдитель вѣрилъ, что побѣжденный оставленъ божествомъ, какъ то объяснено выше по поводу поединковъ. И съ рабами обращались не лучше, какъ и съ животными. Такой взглядъ существуетъ и теперь въ отношеніяхъ христіанъ съ турками: христіане, обращаясь съ турками, называютъ ихъ мусульманами, что значить: правовѣрные; а турки называютъ христіанъ свиньями. Вслѣдствіе того обѣ стороны ведутъ войну съ цѣлью рабства, хотя христіане дѣйствуютъ съ большимъ человѣколюбіемъ. Но всего удивительнѣе то, что въ эпоху вторичнаго варварства возвратилось изъ древняго варварства *право убійства*, на основаніи котораго, какъ мы узнаемъ изъ Тита-Ливія, возникли всѣ первобытные города*). Такъ какъ вслѣдствіе необузданной дикости и жестокости тѣхъ варварскихъ вѣковъ, повсюду производились насилія, грабежи и убійства, и, какъ то выражено въ положеніяхъ, не было никакого другого средства къ укрощенію людей, кромѣ религіи, то, весьма естественно, люди, въ страхѣ притѣсненія и истребленія, обращались къ епископамъ и аббатамъ, какъ въ первое варварство они отдавали

*) Авторъ имѣетъ въ виду вышесказанное имъ объ основаніи Рима, который былъ первоначально убійщемъ притѣсненныхъ.

себя подъ покровительство болѣе челоуѣколюбивыхъ героевъ; они ставили себя, свое семейство и имущество подъ ихъ защиту, и такое подчиненіе подъ условіемъ покровительства составило сущность ленной системы. Такимъ образомъ произошло то, что въ Германіи, гдѣ было болѣе варварства, чѣмъ въ какой либо другой странѣ Европы, осталось болѣе духовныхъ князей, епископовъ, аббатовъ, нежели свѣтскихъ владѣтелей; и во Франціи, князья, при всемъ своемъ всемогуществѣ, назывались не только графами и герцогами, но и аббатами. По той же причинѣ въ Европѣ существуетъ безчисленное множество городовъ, сель и замковъ съ именами святыхъ: первоначально часовни строились на высокихъ и неприступныхъ мѣстахъ, и тамъ отправлялось богослуженіе; это были первыя вольныя мѣстечки христіанъ. Въ сосѣдствѣ съ ними строились дома; и потому, въ эпоху вторичнаго варварства, мы видимъ въ старыхъ поселеніяхъ развалины часовень. Мы (итальянцы) имѣемъ у себя примѣръ подобнаго явленія въ аббатствѣ св. Лоренцо въ Аверсѣ, съ которымъ соединено аббатство св. Лоренцо въ Капуѣ. Отъ него зависѣли въ Кампаніи, Самніѣ, Апуліи и въ древней Калабріи, отъ рѣки Вултурна до Тарентскаго моря, 110 церквей, и онѣ подчинялись ему; аббаты же св. Лоренцо считались *баронами* всѣхъ вышеупомянутыхъ мѣсть.

Продолжая свое сравненіе вторичнаго или возвратившагося варварства съ первымъ варварствомъ древ-

ности, Вико останавливается долго на сходствѣ ихъ въ государственныхъ учрежденіяхъ и посвящаетъ этому предмету всю вторую главу пятой книги. По замѣчанію Вико, феодализмъ среднихъ вѣковъ есть самая вѣрная конія древнихъ римскихъ учреждений, не потому чтобы западная Европа заимствовала свои государственныйя понятія у древняго Рима, но именно вслѣдствіе того, что и феодализмъ и римскій порядокъ были результатомъ природы общей всѣмъ народамъ. Такимъ образомъ, варварство среднихъ вѣковъ и римское варварство начинаются преданіями о герояхъ, которые были въ Римѣ родоначальниками патриціевъ, и въ западной Европѣ — бароновъ. Какъ римскіе патриціи окружили себя младшими героями (*famuli*) или кліентами, такъ бароны имѣли подлѣ себя васалловъ. Въ послѣдующемъ, исторія обоихъ варварствъ представляетъ одинаковыя явленія: кліенты и васаллы возстаютъ противъ аристократіи патриціевъ и бароновъ, которые въ Римѣ составили изъ своей среды сенатъ, а въ западной Европѣ — парламентъ. Аристократическая республика въ Римѣ и въ западной Европѣ заключается монархіей. Всѣ основы феодальнаго права находятъ у Вико подобную же параллель для себя съ XII таблицами римскаго законодательства.

Какую же эпоху переживалъ историческій міръ, когда авторъ писалъ свою теорію вѣчнаго круговращенія, то-есть, въ началѣ прошедшаго столѣтія? Вико

не оставилъ этого вопроса безъ рѣшенія, и посвятилъ цѣлую главу на „*Описаніе древнихъ и новыхъ народовъ, составленное по указанію началъ этой Науки.*“

Эту заключительную главу „Новой Науки“ должно разсматривать какъ практическій выводъ изъ всей теоріи Вико, сдѣланный самимъ авторомъ, и вмѣстѣ какъ объясненіе всего предъидущаго на примѣрѣ, заимствованномъ изъ дѣйствительной жизни, какъ она представлялась философу въ началѣ XVIII вѣка. Видя предъ собою огромныя монархіи, Вико, сообразно съ своимъ взглядомъ на путь, совершаемый народами въ своемъ развитіи, полагалъ, что современное ему чело-вѣчество, вышедши изъ вторичнаго варварства, и, пройдя эпоху божескую и геройскую, достигло верха чело-вѣчности.

„Только Карфагенъ, Капуа и Нуманція, говоритъ Вико, не прошли всего пути чело-вѣческихъ и гражданскихъ явленій, и Римъ наслѣдовалъ отъ этихъ трехъ городовъ свое всемірное господство: карфагеняне были погублены своимъ прирожденнымъ африканскимъ коварствомъ, которое изошрилось въ нихъ морскою торговлею; капуанцы погибли отъ роскоши своего неба и изобилія счастливой Кампаніи; наконецъ, нумантинцы не устояли потому, что были подавлены въ первую эпоху своего героическаго существованія римскою силою, которою руководилъ Сципіонъ Африканскій, побѣдитель Карфагена, а за нимъ слѣдовали боевыя силы всего міра. Но римляне, не прерывае-

мые ничѣмъ, подвигались мѣрнымъ шагомъ, руководимые провидѣніемъ, и вслѣдствіе своей человѣчной цивилизаціи, пройдя всѣ три формы гражданскаго быта, какъ то многократно было доказано въ этой книгѣ, они пережили каждую изъ нихъ; у нихъ, по естественному ходу вещей, каждая форма послѣдовательно мѣнялась другою: римляне удерживали *аристократію* до публиліевскаго и пѣтеліевскаго закона; они сохраняли *народную свободу* до Августа; они утвердили *монархію*, и стояли за всѣ эти формы правленія, пока могли сопротивляться человѣческими средствами ихъ разрушенію.

„Въ настоящее время (авторъ писалъ въ началѣ XVIII столѣтія), повидимому, распространилась между всѣми націями *полнѣйшая челоѣчность*: вслѣдствіе чего современный міръ народовъ управляется немногими великими монархами; и если между такими государствами нѣкоторыя сохраняютъ варварскій характеръ, то причина того заключается въ томъ, что одни изъ нихъ сохранили фантастическую и грубую религію, перейдя даже въ эпоху человѣчной цивилизаціи, другія же были задержаны неблагоприятными физическими условіями. Начиная съ желѣзнаго Сѣвера, мы встрѣтимъ тамъ *царя Московскаго*, который, будучи христіаниномъ, господствуетъ надъ людьми довольно грубыхъ и терпѣливыхъ нравовъ *). *Князь*, или

*) Таково мѣсто, которое отдѣляло нашему отечеству Вико въ своемъ

Ханъ Татаріи повелѣваетъ изнѣженнымъ населеніемъ, какимъ являются древніе китайцы; они составляютъ бѣольшую часть его великой монархіи, которая нынѣ соединена съ Китаемъ. *Несъ Эвѣотскій* и могущественные *короли Феса и Марокко* властвуютъ надъ слабымъ и малочисленнымъ народомъ. По срединѣ, въ умѣренномъ поясѣ, гдѣ люди рождаются съ нормальнымъ характеромъ, живутъ, начиная съ отдаленнаго Востока, народы повинующіеся *Японскому императору*, образованность которыхъ походитъ на римскую во времена пуническихъ войнъ; японцы напоминаютъ собою римлянъ по своему вооруженію, и самый языкъ ихъ, какъ замѣчаютъ ученые путешественники, представляетъ сходство съ латинскимъ языкомъ. Но вслѣдствіе своей дикой и грубой фантастической религіи и ужасныхъ божествъ, снабженныхъ воинскимъ оружіемъ, японцы сохраняютъ въ себѣ многое изъ героической *) эпохи; отцы миссіонеры, ходившіе туда, рассказываютъ, что главнымъ препятствіемъ къ обращенію японцевъ въ христіанство служитъ то, что высшее сословіе не можетъ никакъ убѣдиться въ томъ, чтобы простой народъ имѣлъ одинаковую че-

плавъ философской исторіи; оно служитъ выраженіемъ взгляда его современниковъ на значеніе тогдашней Россіи, въ концѣ правленія Петра Великаго.

*) Слово *героической* употреблено и здѣсь не въ смыслѣ храбрости, но какъ указаніе на внутренній характеръ образованности, принадлежащей ко второй эпохѣ развитія общественнаго, которую авторъ вездѣ называлъ героическою.

ловѣческую природу съ знатными. *Государство китайцевъ*, управляемое кроткою религіею и почитающее науки, въ высшей степени гуманно. *Государство индійцевъ* было гуманно прежде всѣхъ и по большей части предается мирнымъ занятіямъ. Персы и турки слили съ грубыми ученіями своей религіи всю изнѣженность Азіи; и въ особенности турки гордятся своею роскошью, пышностью, щедростью и благодарностью. Но въ *Европѣ*, гдѣ повсюду господствуетъ христіанская религія, которая поучаетъ идеѣ Бога въ ея безконечной чистотѣ и совершенствѣ и проповѣдуетъ любовь ко всему человѣчеству, существуютъ великія *монархіи*, которыя по своимъ нравамъ въ высшей степени человѣчны; только страны, лежащія въ холодномъ сѣверѣ, а именно *Польша* и даже *Англія*, хотя по своей внѣшности монархическія государства, но подобно тому, какъ то было за 150 лѣтъ въ Швеціи и Норвегіи, продолжаютъ собственно управляться аристократически *): но еслибы чрезвычайныя причины **) не измѣнили въ нихъ естествен-

*) По теоріи Вико, аристократическое управленіе есть принадлежность героической эпохи, такъ какъ монархія является въ человѣческую эпоху; а потому Польша и Англія того времени отставали въ своемъ развитіи отъ остальной Европы и не совсѣмъ еще вышли изъ времени героизма.

**) Вико указалъ выше чрезвычайныя причины, удержавшія Польшу отъ монархическаго развитія; въ Польшѣ, какъ въ Японіи, высшее сословіе сохраняло чисто героическій характеръ, отличительную черту котораго составляло рабство; кметы, говоритъ Вико, въ глазахъ высшаго сословія Польши, не имѣли человѣческой природы, и необходимость удержатъ ихъ въ животномъ состояніи

наго развитія человѣческихъ и гражданскихъ порядковъ, то и они успѣли бы достигнуть совершенной монархіи. Только въ этой одной части свѣта (т. е. въ Европѣ), такъ какъ она почитаетъ науки, сохранились въ большомъ числѣ народныя республики. Съ возвращеніемъ тѣхъ же самыхъ причинъ, въ Европѣ появились тѣ же самыя республики, какими были Этольскій и Ахейскій союзы въ Греціи, и которые образовались вслѣдствіе необходимости обезпечить себя противъ страшнаго могущества римлянъ; такъ составились *Швейцарскіе кантоны* и *Соединенныя провинціи* или *Штаты Голландіи*; образовавъ изъ многихъ свободныхъ городовъ аристократическія государства, они соединились въ вѣчный союзъ войны и мира. *Нѣмецкая имперія* представляетъ систему многихъ свободныхъ городовъ и верховныхъ князей, во главѣ которыхъ стоитъ императоръ; во всѣхъ обстоятельствахъ, касающихся общихъ дѣлъ имперіи, она управляется аристократически. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что самостоятельныя государства, составляя союзъ на вѣчныя времена или на опредѣленную эпоху, естественно приходятъ къ тому, чтобы управляться аристократически; потому въ такихъ союзахъ всегда замѣчается боязливая нерѣшительность, отличительный характеръ аристократіи.... Возвращаясь къ главному предмету,

заставила сохранять всѣми силами аристократію и противиться появленію человѣческой эпохи, которая влечетъ за собою чистую монархію.

скажемъ, что въ Европѣ, въ настоящую эпоху, имѣется 5 аристократическихъ государствъ, а именно: Венеція, Генуя, Лукка въ Италіи *), Рагуза въ Далмаціи, и Нюренбергъ въ Германіи; и всѣ они владѣютъ весьма ограниченою областью.

„Но *человѣчность* до того утвердилась въ христіанской Европѣ, что она переполнена теперь всякаго рода благами, какъ въ отношеніи тѣлесныхъ наслажденій, такъ и удовольствій духа. И все это явилось въ ней чрезъ христіанскую религію, которая поучаетъ такимъ высокимъ истинамъ, что въ нее вошли ученѣйшія философскія системы древнихъ съ тѣмъ, чтобы служить ей, и три языка признаны въ Европѣ своими, а именно древнѣйшій изъ всѣхъ *еврейскій*, прекраснѣйшій — *греческій*, и возвышеннѣйшій — *латинскій*. И въ человѣческомъ смыслѣ христіанская религія стоитъ выше всѣхъ другихъ религій въ мірѣ, ибо она соединяетъ съ откровеніемъ спекулятивную науку философовъ и образованнѣйшую ученость филологовъ. Если мы обратимся наконецъ къ новому міру, за океаномъ, то должны будемъ сказать, что американцы продолжали бы совершать сами естественный путь народовъ, но были прерваны на этомъ пути европейцами.

„Если такимъ образомъ мы обратимъ вниманіе на

*) Замѣчательно, что авторъ совершенно опускаетъ изъ виду собственное отечество, Италію, и не даетъ ей никакого мѣста въ своемъ планѣ философской исторіи, исключая только это мѣсто, гдѣ слово *Италія* употреблено нѣмъ, какъ географическій терминъ.

изложенный нами въ этой книгѣ *возвратъ* человѣческихъ и гражданскихъ порядковъ, какъ они совершались въ цѣломъ мірѣ, въ эпоху перваго и вторичнаго варварства; то предъ нами явится вся исторія не какъ нѣчто отрывочное и изображающее законы и дѣянія римлянъ и грековъ, отошедшихъ въ вѣчность, но какъ идеальная исторія вѣчныхъ законовъ, въ силу которыхъ всѣ народы идутъ отъ своего начала къ дальнѣйшему развитію и, достигнувъ извѣстнаго состоянія, клонятся къ своему паденію и концу. Потому мы можемъ дать этому труду завидное (*invidioso*) названіе „*Новой Науки*“; она имѣетъ своимъ содержаніемъ общій предметъ, а именно говоритъ *объ общей природѣ народовъ*, и потому обладаетъ тѣмъ качествомъ полной науки, которое выразилъ Сенека, говоря: *pusilla res hic Mundus est, nisi id, quod quaerit, omnis mundus habeat.*“

Собственно говоря, третья глава оканчиваетъ „Новую Науку“ Вико; но авторъ, какъ бы опасаясь, что отсутствіе строгой связи въ отдѣльныхъ частяхъ его изслѣдованія не дастъ читателю точной идеи о цѣлости его воззрѣнія на развитіе „человѣческихъ и гражданскихъ порядковъ“, прибавляетъ особое заключеніе, подъ заглавіемъ: „*О вѣчномъ натуральномъ государствѣ, которое, по волю божественнаго Провидѣнія, совершенно на всѣхъ степеняхъ своего развитія*“. Въ этомъ заключеніи авторъ имѣлъ не только моральныя, но и полемическія цѣли, а именно, онъ хотѣлъ опро-

вергать теоріи Эпикура, Гоббеса, Спинозы, Байля и другихъ скептиковъ, которые не видятъ въ исторіи ничего, кромѣ одного господства случая. Желая доказать противное, Вико анализируетъ все тѣ фазисы, чрезъ которые проходитъ общество, какъ мы то видѣли выше въ его предъидущихъ книгахъ, начиная отъ своего рожденія въ эпоху божескую, и проходя затѣмъ геройскую и человѣческую эпоху до самаго паденія. На всѣхъ этихъ ступеняхъ Вико показываетъ, что идея правды и добра, какъ бы ни были грубы зачатки общества, и какъ бы ни было глубоко его паденіе, всегда преобладаютъ, и ведутъ общество отъ рожденія къ полному развитію, и отъ развитія къ паденію, которое никогда не бываетъ смертью человѣчества, и является въ формѣ воскрешенія народовъ. Такъ, говоритъ Вико, при рожденіи обществъ, участіе Провидѣнія выражается тѣмъ, что, какъ ни грубы нравы первобытнаго общества, но въ немъ власть, сила принадлежатъ сильнѣйшему, а слѣдовательно *лучшему* для той эпохи. Въ аристократіи, какъ показываетъ самое ея названіе, общество управляется *лучшими* людьми, какіе только имѣются въ ту эпоху; наконецъ, въ народныхъ республикахъ, только одни нравственныя преимущества и притомъ основанныя не на происхожденіи или матеріальной силѣ, но на чистой правдѣ, ведутъ человѣка къ власти. Благочестіе, философское образованіе и краснорѣчіе дости-

гають тогда полнаго развитія, какъ то было въ лучшія времена римской республики.

За тѣмъ общество начинаетъ клониться къ паденію; но и при этомъ управляетъ имъ не случай, какъ то могло бы показаться съ перваго раза, но тоже самое Провидѣніе, которое влагаетъ въ самый упадокъ сѣмена воскресенія народовъ. Предъ глазами автора, очевидно, носилась судьба римскаго общества, изъ которой преимущественно онъ извлекаетъ общіе законы развитія всѣхъ націй, и можетъ быть отчасти судьба собственнаго его отечества, находившагося въ то время въ рукахъ чуждыхъ народовъ. Но вотъ собственныя его слова:

„Когда свободныя народныя республики начинаютъ разлагаться, вмѣстѣ съ ними и философія, склоняясь къ скептицизму, обольщаетъ ограниченныхъ ученыхъ и заставляеть отвергать истину; является также ложное краснорѣчіе, готовое защищать обѣ противоположныя стороны, и граждане, злоупотребляя этимъ краснорѣчіемъ, какъ то дѣлали народные трибуны у римлянъ, стремятся на богатствѣ основать не порядокъ, но власть, и, подобно разъяреннымъ волнамъ моря, воздвигаютъ гражданскія войны и повергаютъ государство въ хаосъ. Такимъ образомъ, свобода впадаетъ въ тираннію, худшую изъ всѣхъ тиранній, а именно въ анархію, или необузданную свободу свободаго народа. При такомъ величайшемъ несчастіи государствъ, Провидѣніе употребляетъ одно изъ слѣдующихъ трехъ

великихъ спасительныхъ средствъ, въ ниже указанномъ порядкѣ человѣческо-гражданскихъ явленій:

„*Во-первыхъ*, Провидѣніе заботится о томъ, чтобы среди самого народа нашелся такой человѣкъ, который, подобно Августу, возвысился бы надъ всѣми и сдѣлался монархомъ; такое лицо, чтобы привести все въ порядокъ и въ предѣлы, сосредоточиваетъ въ своихъ рукахъ всѣ порядки и всѣ законы силою оружія; съ другой стороны, такая монархическая форма правленія, независимость воли монарха, при всей своей неограниченности, *ограничена* естественнымъ образомъ необходимостью дѣлать народъ довольнымъ своею участью и охранять въ немъ религію и естественную свободу; безъ такого довольства народовъ, монархическая форма правленія не долговѣчна и не безопасна.

„*Во-вторыхъ*, если Провидѣніе не находитъ такого спасительнаго средства внутри самой страны, то оно призываетъ его извнѣ: такъ какъ подобныя разлагающіеся народы сами дошли до такого паденія, что сдѣлались по своей природѣ *рабами*, вслѣдствіе своихъ необузданныхъ страстей, роскоши, изнѣженности, корысти, зависти, тщеславія, и впади чрезъ распущенность жизни во всѣ пороки, свойственные недостойнымъ рабамъ, какъ-то, льстивость, подлость, обманъ, хищничество, лѣность и строптивость; то такіе народы, по естественному праву народовъ, вытекающему изъ общей природы націй, должны сдѣлаться на самомъ дѣлѣ *рабами* и подчиниться *лучшимъ* народно-

стямъ, которыя утвердятся ихъ властелинами силою оружія; будучи обращены ими въ провинцію, погибающіе народы дѣлаются обязаны побѣдителю своимъ спасеніемъ. Изъ всего сказаннаго проистекають двѣ великія истины естественнаго порядка вещей: одна изъ нихъ состоитъ въ томъ, что тотъ, кто не умѣетъ управлять самъ собою, долженъ будетъ управляться другимъ, который умѣетъ править; во-вторыхъ, въ мірѣ правятъ всегда тѣ, которые бывають лучше по своей природѣ.

„*Въ-третьихъ*“, если наконецъ народъ впалъ въ такую крайнюю гражданскую болѣзнь, что онъ не можетъ ни въ самомъ себѣ добыть монарха, ни извнѣ встрѣтить лучшую націю, которая завоевала бы его и поддержала извнѣ, тогда Провидѣніе прибѣгаетъ къ слѣдующему крайнему средству: народы, дошедшіе до такого состоянія, дѣлаются звѣрями, и, какъ звѣри, ни о чемъ другомъ не думаютъ, какъ только о личной выгодѣ каждаго, такъ что, подобно звѣрямъ, они готовы враждовать, свирѣпствовать изъ пустяковъ; притомъ, заботясь объ одномъ желудкѣ, они, какъ хищныя животныя, остаются въ полномъ разслабленіи силъ духа и воли, такъ что двое не въ состояніи ужиться другъ съ другомъ, ибо каждый изъ нихъ слѣдуетъ своему личному капризу; вслѣдствіе того возникаютъ яростныя партіи и отчаянныя междоусобныя войны, которыя обращаютъ города въ лѣса, и лѣса дѣлаются логовищемъ челоуѣка; съ теченіемъ вѣковъ увеличивается

утонченность злобныхъ инстинктовъ, и люди дѣлаются вторично *разсуждающими варварами*, какъ они первоначально были *естественными варварами*; естественное варварство было по крайней мѣрѣ открытое, и каждый могъ защищаться, спастись или бѣжать отъ него; варварство же разсуждающее, въ своей извращенной свирѣпости, посягаетъ на жизнь и имущество своихъ пріятелей и друзей, расточая имъ ласки и объятія. Народы, впавъ въ такое разсуждающее варварство, во волѣ Провидѣнія, испытываютъ на себѣ послѣднее средство и доходятъ до отупѣнія и безчувствія, въ которомъ они, не думая больше о радостяхъ и наслажденіяхъ жизни, ограничиваютъ свою заботу тѣмъ, что необходимо для физической жизни. Тогда только въ силу возвратившейся древней простоты первыхъ народовъ, они дѣлаются снова религіозны, правдолюбивы и честны, и приходятъ къ благочестію, вѣрѣ и правдѣ, которыя служатъ основой правосудія, милосердія и украшеніемъ вѣчнаго божественнаго порядка вещей.“

Обратившись еще разъ съ упрекомъ къ ученію скептиковъ, авторъ наконецъ заключаетъ „Новую Науку“ слѣдующими словами:

„Въ сущности, изъ всего сказаннаго въ этомъ трудѣ можно вывести такое заключеніе: а именно, что эта „Наука“ ведетъ за собою неразлучно *страхъ божій*, и что тотъ, кто не боится Бога, не можетъ по справедливости назвать себя мудрецомъ.“

Быть можетъ, найдутъ, что мы остановились слишкомъ долго на изложеніи содержанія „Новой Науки“, и заставляли слишкомъ часто автора самого говорить, приводя почти цѣликомъ тѣ мѣста, гдѣ, намъ казалось, онъ напрягалъ весь свой геній, чтобы провести свою основную идею. Но мы имѣли въ виду доставить читателю возможность самому обнять своеобразный умъ Вико со всѣхъ его сторонъ и ощутить въ одно и тоже время и ту силу, съ которою онъ пробивалъ себѣ новую дорогу, выходя изъ дебрей схоластики, и слабость средствъ, которыми онъ распоряжался, а вмѣстѣ причудливость и необузданность фантазіи, съ которою онъ любилъ иногда разсѣкать вопросы, болѣе чувствуя свою правоту, нежели имѣя для нея убѣдительныя доказательства. То, что Вико сказалъ объ источникѣ заблужденій своихъ предшественниковъ, въ одной изъ приводимыхъ имъ аксіомъ, можетъ быть также справедливо примѣнено и къ нему самому: „Другое свойство человѣческаго духа, говоритъ онъ, состоитъ въ томъ, что, когда люди не могутъ составить себѣ никакого понятія объ отдаленныхъ и неизвѣстныхъ предметахъ, то они судятъ ихъ на основаніи того, что имъ присуще и извѣстно.“ Сколько разъ самъ Вико отражалъ на себѣ это свойство человѣческаго духа! Одинъ изъ главныхъ приѣмовъ всей его теоріи состоялъ именно въ томъ, чтобы заключать отъ извѣстнаго къ неизвѣстному, и ему казалось весьма естественно заимствовать показанія новѣйшихъ

путешественниковъ о Патагоніи, чтобы ими объяснить бытъ древнихъ гигантовъ, и т. п. Нѣтъ сомнѣнія, что, при вѣрѣ въ общую природу всѣхъ народовъ, явленія одного общества могутъ замѣнить намъ утраченные факты изъ быта другого общества и такимъ образомъ воссоздавать его, какъ натуралистъ воссоздаетъ допотопныхъ животныхъ по одной найденной кости; но рядомъ съ вѣрою въ общую природу народовъ, мы имѣемъ не менѣе сильное убѣжденіе въ *личности* народовъ, въ томъ, что самъ Вико называетъ предметомъ *филологіи*, изслѣдующей явленія, основанныя на произволѣ чело-вѣка; а въ такомъ случаѣ, можно-ли съ полною безо-пасностью и довѣрчивостью опереться на общую при-роду народовъ, и безошибочно заключать о судьбѣ одного изъ нихъ по судьбѣ другого, будутъ-ли то греки, или римляне? Начало *общей природы* народовъ, поставленное у Вико такъ высоко, безъ сомнѣнія со-ставляетъ главное достоинство „Новой Науки“ и ея неоспоримую заслугу, но имъ можно злоупотребить, и Вико не разъ впадаетъ въ подобную ошибку, осу-ждая разъ навсегда всякій народъ повторять тѣ яв-ленія, которыя онъ успѣлъ подмѣтить въ развитіи гре-ческаго и римскаго общества. Какъ мы замѣтили въ самомъ началѣ, Вико, предлагая научныя основы тео-ріи круговращенія, остался при томъ же самомъ ан-тропоморфизмѣ, и въ судьбѣ народа хотѣлъ видѣть по-втореніе судьбы недѣлимаго чело-вѣка съ его дѣтствомъ, юностью, зрѣлостью и старостью, ведущею къ смерти.

Но въ идеяхъ Вико должно отличать тѣ преувеличенія, къ которымъ могутъ онѣ приводить въ своихъ примѣненіяхъ, и тотъ новый путь, который онѣ открылъ для дѣятельности человѣческой мысли, и который, если не привелъ къ желаемому концу ни самого Вико, и быть можетъ не скоро приведетъ и его послѣдователей, то во всякомъ случаѣ вывелъ исторію изъ того безцѣльнаго стремленія, которымъ оно отличалось до него. Этотъ путь, указанный Вико, самъ по себѣ чрезвычайно вѣренъ, и разъ попасть на вѣрную дорогу весьма важно во всякомъ случаѣ, какъ бы ни была отдаленна цѣль странствованія; если человѣку не дано быть можетъ никогда не дойти до послѣдней цѣли своихъ познаній, то по крайней мѣрѣ итти къ ней вѣрною дорогою всегда будетъ составлять величайшею заслугою мысли. Исторія, какъ наука, сказала Вико, не можетъ оставаться при одномъ случайномъ и постоянно измѣняющемся, какъ безконечная панорама, или калейдоскопъ; она должна имѣть предметъ своего изученія то, что постоянно и неизмѣняемо, что слѣдовательно составляетъ *всеобщую* принадлежность всѣхъ націй, и только въ этомъ смыслѣ она должна называться *всеобщею*. Итакъ, по мысли Вико, всеобщая исторія не есть исторія всѣхъ народовъ, но наука объ общихъ законахъ, которые лежатъ въ основаніи развитія всѣхъ народовъ. Та исторія, какъ ее понимаетъ Вико и называетъ въ этомъ смыслѣ вѣчною или идеальною исторією, есть всеобщая,

потому что она одна и таже для всѣхъ народовъ. Дѣйствительно-ли такова вѣчная исторія, какъ ее начерталъ Вико, это — другой вопросъ; какъ бы мы его ни разрѣшили, но заслуга итальянскаго философа останется тѣмъ не менѣе велика, и мы должны будемъ во всякомъ случаѣ сознаться, что направленіе, принятое у Вико, ставить исторію въ первый разъ на научную почву, хотя приводимые имъ общіе законы выбраны произвольно, и не видно, почему авторъ останавливался именно на томъ, а не на чемъ нибудь другомъ. Напримѣръ, *погрѣбенеіе*, какъ одно изъ трехъ общихъ явленій всѣмъ народамъ, и всѣ выводы, основанные на этомъ обрядѣ, болѣе остроумны и завлекательны, нежели истинны. Тоже самое должно сказать о томъ новомъ для его времени значеніи мѣсяца и языка при изслѣдованіи древнѣйшаго періода цивилизаціи, которое указалъ Вико: оно принесло богатые плоды для исторической науки, оно отодвинуло предѣлы исторіи въ безконечную даль; но самъ Вико пользовался своимъ открытіемъ не только неумѣренно, но и весьма часто неосновательно. Многія изъ его филологическихъ заключеній, можетъ быть, вызовутъ невольно улыбку; но тѣмъ не менѣе путь, открытый Вико, поразителенъ по своей правильности и по тѣмъ результатамъ, къ которымъ онъ приведетъ несомнѣнно при дальнѣйшихъ успѣхахъ филологіи. Филологическія соображенія Вико свидѣтельствуютъ, конечно, что онъ далекъ отъ состоянія намъ современной науки, и что

совершенно естественно по тому времени, въ которое онъ жилъ; но въ то же время они говорятъ о томъ, какъ онъ далеко ушелъ впередъ отъ своихъ современниковъ.

Переходя отъ частныхъ „Новой Науки“, остановимся теперь на главной идеѣ автора. Онъ избираетъ за основу своей философіи исторіи сохраненное греческими писателями преданіе египтянъ о тѣхъ трехъ эпохахъ, которыя были пройдены ими въ своей древней исторіи; повѣряетъ это преданіе свидѣтельствомъ гомерическихъ поэмъ, и потомъ ставитъ его общею формою, чрезъ которую должны были проходить, проходятъ и будутъ проходить всегда всѣ народы, если ихъ не прерветъ въ этой работѣ чтонибудь неожиданное, подобно кареагенянамъ, капуанцамъ и нумантинцамъ; и притомъ въ концѣ этого пути, за смертью одного народа слѣдуетъ новая нація и проходить въ дальнѣйшей своей исторіи тѣ же три эпохи со всѣми ихъ атрибутами.

Но Вико забываетъ, что то древнее ученіе египтянъ, на которомъ они остановились, есть само ни что иное, какъ отрывокъ изъ той эпохи образованности, которую онъ самъ называютъ поэтической, и потому можетъ быть разсматриваемъ, какъ іероглифъ древняго языка, древняго нагляднаго способа выраженій отвлеченныхъ идей. Это — поэтическая метафизика, въ которой умъ древняго человѣка хотѣлъ выразить осязательно результатъ своихъ наблюденій надъ человѣческою природою, и тѣ метаморфозы, которыя совершаются

съ его понятіями, по мѣрѣ того, какъ духъ человѣка выходитъ изъ своего естественнаго быта. Ходъ совершаемый отдѣльнымъ человѣкомъ въ своемъ развитіи, очевидно, послужилъ образцемъ для развитія цѣлаго общества, которое, въ силу антропоморфизма, разсматривалось какъ лице. Жизнь недѣлимаго человѣка открывается дѣтствомъ съ пугливымъ воображеніемъ, которое творитъ въ темномъ углу привидѣнія, умѣетъ говорить съ животными, даже съ своею куклой, выражаетъ мысли знаками, примѣшивая къ нимъ потомъ односложные звуки; эта жизнь дитяти была единственнымъ осязательнымъ фактомъ, по которому люди могли составить себѣ идею о первобытныхъ народахъ, и назвали эту эпоху ихъ дѣтства эпохою боговъ или натурального состоянія человѣчества, которому соотвѣтствовали всѣ его идеи и самый языкъ. Последующіе возрасты за дѣтствомъ недѣлимаго человѣка, послужили темою для развитія дальнѣйшихъ возрастовъ, чрезъ которые должны были проходить и человѣческія общества; наконецъ, смерти человѣка соотвѣтствуетъ рожденіе новаго недѣлимаго, и за паденіемъ одного народа слѣдуетъ воскрешеніе человѣчества въ новомъ обществѣ, которое начинается также варварствомъ или дѣтствомъ, и проходитъ снова всѣ возрасты человѣчества.

Вся эта теорія весьма понятна по тѣмъ причинамъ, которыя могли ее вызвать; но она грѣшитъ именно тѣмъ, что выражается такъ категорически, опредѣ-

ленно и вмѣстѣ фигурально. Нѣтъ сомнѣнія, что при малѣйшемъ наблюденіи за жизнью общества даже на столько, на сколько она доступна отдѣльному человеку, при краткости его физической жизни, мы не можемъ не согласиться, что общество безпрестанно измѣняется въ своихъ идеяхъ и понятіяхъ; что эти идеи и понятія сначала бываютъ темны и послѣ достигаютъ большей ясности, и снова затемняются; что такія перемѣны въ идеяхъ имѣютъ свои причины, и слѣдовательно совершаются по извѣстнымъ законамъ; однимъ словомъ, что теорія развитія общества возможна; но рѣшить такой вопросъ окончательно по аналогіи съ ходомъ развитія ума недѣлимаго, выразиться опредѣлительно и назвать самые періоды, чрезъ которые должно проходить общество—это значило бы повторить шутку Аристофана, который въ „Облакахъ“ приводитъ теорію грома по аналогіи съ явленіями разстроеннаго желудка.

Въ теоріи „трехъ эпохъ“ важно только одно указаніе на то, что въ развитіи общества совершаются непрерывныя перемѣны, и признаніе необходимости открыть законы такого развитія, а слѣдовательно ихъ періодичность, послѣдовательность; съ этой стороны Вико оказалъ большую услугу исторической наукѣ; если въ приведенныхъ имъ законахъ, формахъ развитія и періодовъ, по которымъ оно совершается, мы не можемъ признать достаточныхъ основаній; если мы замѣтимъ въ нихъ болѣе произвола, нежели строгости

вывода, болѣе остроумія, нежели солидности, то и въ этомъ случаѣ нельзя ни признать, что Вико былъ счастливѣе своихъ предшественниковъ, и его гипотеза „трехъ эпохъ“ болѣе удачно освѣщаетъ весь ходъ исторіи, нежели тѣ философы, которыми руководились до него. Но исторія народовъ нейдетъ такъ равномерно, такъ правильно, по указаннымъ имъ тремъ станціямъ; мы скорѣе можемъ сказать, что указанныя Вико „три эпохи“ уживаются вмѣстѣ, одновременно въ одномъ и томъ же обществѣ и въ одну и ту же эпоху: въ каждомъ народѣ, найдется масса, которая живетъ еще въ такъ называемой „эпохѣ боговъ“; многіе въ этомъ же самомъ народѣ успѣли сдѣлать шагъ впередъ, но ихъ идеи и поддерживаемый ими порядокъ не ушелъ дальше „героической эпохи“; наконецъ, въ томъ же народѣ мы можемъ найти, хотя бы и не многихъ, которые имѣли уже возможность вступить въ „эпоху челоуѣчности“. Говоря такъ, мы могли бы употребить другую терминологию, но тѣмъ не менѣе намъ пришлось бы признать, что каждое общество по своимъ идеямъ дѣйствительно бываетъ раздѣлено на такія три группы, и вся исторія, быть можетъ, состоитъ въ одномъ ихъ передвиженіи; съ другой стороны, вся трудность историческаго развитія челоуѣческихъ обществъ представится намъ въ зависимости именно отъ чрезвычайной неравномѣрности умственныхъ и нравственныхъ силъ тѣхъ трехъ историческихъ слоевъ общества, которые осуждены вести одну

общую историческую жизнь; отсюда, та вражда, которую сопровождаютъ всѣ общественныя реформы, совершаемыя во имя идей человѣчности и вызывающія ненависть тѣхъ, которые продолжаютъ жить идеями героической эпохи.

Скажемъ, наконецъ, о знаменитомъ „воскрешеніи націй“ или о ихъ „возвратѣ къ варварству“, который составляетъ заключительную часть ученія Вико. Вико видитъ въ исторіи человѣчества два варварства: однимъ она открывается, и потому Вико называетъ такое варварство естественнымъ; другого рода варварство замыкаетъ собою развитіе общества, и это варварство, окруженное всѣмъ блескомъ образованности, не отличается въ сущности ни чѣмъ отъ естественнаго варварства: тотъ же эгоизмъ, но еще болѣе утонченный; та же война всѣхъ противъ cadaго и cadaго противъ всѣхъ, но еще болѣе отчаянная и непримиримая; даже новое варварство ужаснѣе древняго, потому что, какъ замѣчаетъ Вико, оно владѣетъ болѣе искусными и тайными средствами, а потому отъ его злобы укрыться труднѣе, нежели отъ враждебныхъ замысловъ первобытнаго дикаря. Наконецъ, путемъ самоистребленія люди мало по малу возвращаются отъ варварства искусственнаго къ естественному варварству, и тогда начинается сьизнова трудная работа развитія чрезъ вышеуказанныя три эпохи. Въ этомъ воззрѣніи автора можно говорить только противъ одного его притязанія возвысить свое наблю-

деніе надъ отдѣльными фактами на степень вѣчнаго и неизмѣннаго закона. Авторъ какъ бы хочетъ видѣть въ преданіи о фениксѣ, который сгораетъ послѣ извѣстнаго періода времени и снова возрождается изъ собственнаго пепла, вѣрную картину судьбы каждаго общества, осужденнаго заранѣе на смерть, за которую немедленно слѣдуетъ воскрешеніе къ новой жизни. Такимъ образомъ, человѣчество безсмертно, какъ король: *Le roi est mort! vive le roi!... L'humanité est morte! vive l'humanité!* Можно восхищаться такою поэтическою идеею о безсмертіи человѣчества, но она едва ли можетъ служить научнымъ и твердымъ основаніемъ историческихъ истинъ. Мы можемъ быть готовы раздѣлить ее, укажемъ даже тѣ факты, изъ которыхъ она могла развиться въ мыслящемъ человѣкѣ, но мы не имѣемъ ничего для доказательства объективной истинности такой идеи. Она останется навсегда прекраснымъ образомъ, какъ прекрасная легенда о фениксѣ; но мы не зададимъ себѣ вопроса: кто видѣлъ такого феникса? чтобы не разочарывывать своей фантазіи. *Minuit praesentia fatam*, восклицаетъ Вико, и то же можно повторить о его поэтическомъ образѣ „воскрешенія человѣчества“: присутствіе, дѣйствительность, уменьшаютъ силу легендъ и поэтическихъ образовъ! Но они не уничтожаютъ совершенно ихъ цѣны; остается еще внутренній смыслъ легендъ и тѣ дѣйствительные факты, которые вызвали ея существованіе. Это поэтическая

истина! Наблюдения Вико надъ этою стороною общественной жизни само по себѣ вѣрно: дѣйствительно, смерть общества не походить на смерть недѣлимаго, и изученіе дѣйствительныхъ законовъ той смерти, и тѣхъ метаморфозъ, которыми она сопровождается, останется еще на долго однимъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ для философа исторіи.

Такимъ образомъ, разсматривая въ цѣлости значеніе „Новой Науки“ Вико въ области человѣческой мысли, мы должны будемъ притти къ тому заключенію, что ей принадлежитъ вездѣ великая инициатива, честь перваго слова въ вопросахъ, которые до нея или не были совсѣмъ затронуты, или рѣшались на удачу и мимоходомъ. А потому теорія круговращенія, какъ она была развита у Вико, вошла такъ сказать, въ нашу плоть и кровь, и породила новыхъ мыслителей, которые избрали себѣ ту же самую дорогу. Къ числу такихъ мы ставимъ на первомъ мѣстѣ въ прошедшемъ столѣтіи Монтескьё, автора *Esprit des lois* и *De la decadence de l'empire Romain*. Правда, между теоріею Монтескьё и ученіемъ Вико замѣтно различіе въ пользу перваго: такъ, Монтескьё, въ противность Вико, даетъ широкое мѣсто въ развитіи общественнаго разума индивидуальному уму законодателей и вліянію климата, которымъ онъ объясняетъ разнообразіе цивилизацій и всѣ неправильности и отступленія въ ихъ ходѣ. Сверхъ того, Монтескьё, держась теоріи круговращенія, въ то же время допускаетъ

прогрессъ, а не одно буквальное повтореніе: исторія и у него повторяется, но каждый разъ въ большемъ размѣрѣ, а потому новая цивилизація выше древней, христіанство выше язычества. Но Монтескьё, какъ и Вико, ищетъ самой совершенной страны и самой полной цивилизаціи, чтобы по ней судить объ исторіи другихъ націй; Вико остановился на Римѣ, Монтескьё присоединилъ англійскую конституцію, какъ норму для всѣхъ другихъ. Въ новѣйшее время, такіе писатели, какъ Гизо, Авг. Тьерри и мн. др. въ своихъ философскихъ воззрѣніяхъ принадлежатъ той же самой школѣ: одинъ излагаетъ исторію французской цивилизаціи, и ищетъ средство извлечь изъ нея общіе законы развитія человѣческихъ обществъ; другой беретъ, повидимому, частный случай, а именно исторію завоеванія Англійи норманнами, но также для того, чтобы на этомъ отдѣльномъ случаѣ построить общую теорію основанія государствъ путемъ завоеванія и дальнѣйшую судьбу побѣдителей и побѣжденныхъ до совершеннаго ихъ слянія въ одну національность. Система Вико отразилась въ цѣлости на „Исторіи завоеванія Англійи норманнами“: Авг. Тьерри находитъ въ Англійи все, что Вико устанавливаетъ, какъ общій законъ развитія человѣческихъ обществъ. Въ Англійи въ первую эпоху ея существованія мы встрѣчаемъ два языка: героическій и народный, французскій языкъ нормандскихъ рыцарей, и народную рѣчь англо-саксовъ; далѣе слѣдуетъ борьба патриціевъ съ

клиентами, бароновъ съ комюнами и т. д. Точно также являются изъ сословія самихъ патриціевъ герои, которые переходятъ на сторону народа, какъ въ поэтической Греціи, титаны, подобные Прометеею, Танталу, похищаютъ секреты неба и измѣняютъ небожителямъ, чтобы поспѣшить на помощь страждущему человѣчеству; такимъ Прометеемъ Англіи Вико называлъ бы Симона Лейстера, научившаго Англію употребленію огня, т. е. нижняго Парламента.

Однимъ словомъ, въ теоріи круговращенія есть нѣчто, столь тѣсно связанное съ законами человѣческаго мышленія, что каждый изъ насъ, не зная этой теоріи, какъ теоріи, не читавъ никогда „Новой Науки“, въ своихъ историческихъ сужденіяхъ, въ своихъ взглядахъ на характеръ событій и въ ихъ оцѣнкѣ, безсознательно слѣдуетъ этой теоріи и примѣняетъ ея законы къ тому или другому отдѣльному случаю. Впрочемъ, все величіе каждой теоріи состоитъ именно въ этомъ таинственномъ ея родствѣ съ темными законами дѣятельности человѣческаго духа, и заслуга гѣніевъ — дѣлать постоянныя попытки къ приведенію въ сознаніе того, что составляетъ врожденныя силы нашего духа.

Конечно, велики могутъ быть ошибки и заблужденія всякаго, кто будетъ по способу теоріи круговращенія сблизать факты и выводить общіе законы, съ цѣлью снова примѣнить ихъ къ отдѣльнымъ фактамъ; очень часто можно заблуждаться, вмѣстѣ съ Вико,

утверждая, что гдѣ есть горка, ручеекъ, тамъ развивается непременно исторія и пройдетъ всѣ предвѣсанныя философіею исторіи эпохи въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи. Еще болѣе можно ошибиться въ приведеніи законовъ паденія обществъ; но при всемъ томъ нельзя отказать теоріи круговращенія въ нѣкоторой основательности, и исторія положительно представляетъ множество фактовъ, на которые можетъ опереться ея ученіе. Теоріи круговращенія, какъ и многимъ другимъ теоріямъ, недостаетъ того же, чего не доставало тому древнему математику, который брался построить рычагъ и перевернуть имъ весь земной Шаръ, если ему дадутъ точку опоры внѣ земнаго Шара. Теоріи круговращенія недостаетъ такой же бездѣлицы, а именно, такой точки опоры, которая лежала бы внѣ предѣловъ ограниченнаго человѣческаго разума. Имѣя подобную точку, мы безъ особеннаго труда приподняли бы весь механизмъ человѣческаго порядка вещей, открыли бы всѣ его пружины, и тогда стоило бы попустить одну пружину, нажать другую, и мы произвели бы въ человечествѣ всѣ явленія, какія могли бы содѣйствовать его успѣшному развитію. Идея „круговращенія“ именно и есть такая точка, на которую опирается весь рычагъ этой теоріи; но это „круговращеніе“, говоря словами самого Вико, есть ни что иное, какъ *ipsum* человеческой мысли, и имѣетъ одно таинственное значеніе, подобно тому, какъ зубы дракона, въ мифѣ о Кадмѣ, означали, по

толкованію Вико, зубья плуга, которымъ была въ первый разъ вспахана земля.

Впрочемъ, пытливый умъ человѣка не остановился на теоріи круговращенія, и нашелъ другую дорогу, по которой онъ думалъ притти къ той же самой цѣли и точно также въ одномъ законѣ обнять все разнообразіе явленій человѣческаго быта. Эту другую теорію мы назвали *теорією точнаго прогресса*, и историческое изложеніе ея, которое составитъ содержаніе послѣдующей части нашего опыта, послужить вмѣстѣ новымъ объясненіемъ и критикою противоположнаго ей направленія въ философіи исторіи, которымъ мы занимались до сихъ поръ.



The first part of the document is a letter from the
 author to the editor of the journal. The letter
 discusses the author's research on the history of
 the region and the impact of the war on the
 population. The author mentions that the war
 has caused a significant loss of life and
 property, and that the people are suffering
 greatly. The author also mentions that the
 government has not done enough to help the
 people and that the situation is becoming
 increasingly desperate.

The second part of the document is a list of
 references. The references include books, articles,
 and other sources that the author has used in
 his research. The references are listed in
 alphabetical order and include the following:
 - [Author's Name], [Title], [Publisher], [Year].
 - [Author's Name], [Title], [Publisher], [Year].
 - [Author's Name], [Title], [Publisher], [Year].
 - [Author's Name], [Title], [Publisher], [Year].
 - [Author's Name], [Title], [Publisher], [Year].
 - [Author's Name], [Title], [Publisher], [Year].
 - [Author's Name], [Title], [Publisher], [Year].
 - [Author's Name], [Title], [Publisher], [Year].
 - [Author's Name], [Title], [Publisher], [Year].
 - [Author's Name], [Title], [Publisher], [Year].

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.



ТЕОРІЯ

ВЪЧНАГО ИСТОРИЧЕСКАГО ПРОГРЕССА.

Г Л А В А I.

Древнѣйшій періодъ теоріи историческаго прогресса.

Теорія вѣчнаго историческаго прогресса представить намъ въ самыхъ своихъ начаткахъ чрезвычайно много грандіознаго; противная ей теорія круговращенія могла развиться мало по малу, какъ результатъ наблюденія надъ прошедшимъ, какъ заключеніе, основанное на исторической опытности, однимъ словомъ, она росла вмѣстѣ съ временемъ, и наконецъ въ „Новой Наукѣ“ образовала цѣлую систему. Теорія прогресса имѣла, повидимому, другое происхожденіе и долгое время существовала въ формахъ, заимствованныхъ ею въ другихъ областяхъ человѣческаго духа. Какимъ образомъ, въ самомъ дѣлѣ, могла явиться въ сознаніи человѣка теорія прогресса, въ которой вся исторія представляется одною великою драмою, и судьба отдѣльныхъ народовъ въ этой драмѣ занимаетъ мѣсто небольшихъ актовъ, которые ведутъ человѣчество къ отдаленной и общей развязкѣ? Какимъ обра-

зомъ могло составиться ученіе, по которому каждый народъ безсознательно выполняетъ свою роль; какъ атомъ, вмѣстѣ съ другими себѣ подобными, составляетъ цѣлое, называемое человѣчествомъ; какъ атомъ, имѣетъ только значеніе по отношенію къ этому невидимому колоссу, для котораго нужно и рожденіе народовъ и ихъ смерть, но который одинъ живетъ на пространствѣ безконечнаго времени? Въ этой теоріи, какъ мы можемъ замѣтить съ перваго раза, есть что-то фантастическое, и въ тоже время въ ней какъ-бы слышатся великія слова позднѣйшей эпохи: „нѣсть элинъ, ни іудей!“ которыя она избираетъ какъ-бы своимъ девизомъ. Такая теорія, очевидно, не могла быть результатомъ наблюденія надъ совершившимися фактами; ее скорѣе можно принять за какой-то инстинктъ будущаго; она не видитъ въ прошедшемъ образа, по которому оно должно повториться въ будущемъ; напротивъ, она ожидаетъ, что прошедшее никогда не повторится, потому что всякая новая эпоха ведетъ человѣчество къ новымъ идеямъ, чтобы достигнуть наконецъ послѣдней цѣли своего существованія. О началѣ такого ученія можно сказать только то, что оно должно было явиться одновременно вмѣстѣ съ идеями монотеизма, по отношенію къ которому идея вѣчнаго прогресса въ исторіи была неизбѣжнымъ его постулатомъ, выводомъ. Вотъ почему мы считали теорію прогресса, по ея происхожденію, болѣе древнею, нежели теорія круговращенія. Какъ только вошла въ

сознаніе человѣка мысль о единствѣ божества, онъ долженъ былъ послѣдовательно предположить, что это верховное существо само имѣетъ въ себѣ послѣднюю цѣль своей дѣятельности. Дѣйствительно, оріентальное ученіе буддистовъ представляетъ намъ первое и самое широкое развитіе теоріи историческаго прогресса; въ этомъ ученіи исторія человѣчества является ни чѣмъ инымъ, какъ огромною эпопеею, въ которой отдѣльныя части, періоды, составлены заранѣе, и въ нихъ нѣтъ ни исключеній, ни отступленій, какъ нѣтъ ничего подобнаго въ волѣ божества. Индусы называли исторію „днями Капилы“; это—огромная исторія человѣка и природы, въ которой отдѣльные народы, какъ микроскопическія животныя, вращаются въ вихрѣ вселенной, гдѣ при всемъ томъ господствуетъ строгій геометрическій порядокъ.

Такимъ образомъ, теорія прогресса, въ своей первобытной и древнѣйшей формѣ, которая должна будетъ въ новѣйшее время перейти въ такое раціональное ученіе, каково, напримѣръ, ученіе Бэкона, явилась первоначально, какъ строгій выводъ изъ первобытныхъ теологическихъ убѣжденій. Христіанство, очистивъ эту теорію отъ ея оріентальной космогоніи, вызвало ее къ новой жизни, и дало ей болѣе определенную форму. Правда, идеаль исторіи человѣчества, какъ послѣдняя ступень въ его прогрессѣ, оказался поставленнымъ весьма далеко, по ту сторону нашей земной жизни, въ небесномъ Іерусалимѣ; но христіанство въ то же самое время

помѣстило и на землѣ отраженіе послѣдняго небеснаго идеала, утвердивъ его внѣ всякаго личнаго эгоизма, внѣ всякой національности; такимъ земнымъ идеаломъ исторіи человѣчества въ христіанствѣ является *Церковь*, которая должна обнять въ себѣ все человѣчество, какъ „едино стадо“. Вотъ, совершенно новая точка отправленія для теоріи прогресса, самая простая, практическая, и вмѣстѣ самая возвышенная, моральная и доступная для всѣхъ безъ исключенія! Она ставитъ *общую* цѣль дѣятельности и жизни всѣмъ народамъ. Св. Августинъ сдѣлалъ первое и весьма замѣчательное примѣненіе новой христіанской идеи къ исторической наукѣ въ своемъ сочиненіи *Civitas Dei*, т. е. Божье государство. Съ того времени, самое слово *Церковь*, *Ecclesia*, обратилось въ историческій и политическій терминъ, такъ что въ первую эпоху среднихъ вѣковъ, долгое время, почти до крестовыхъ походовъ, историческіе писатели, излагая свѣтскія событія, тѣмъ не менѣе называли свои труды „Исторією Церкви“; но это вовсе не было церковною исторією въ нашемъ смыслѣ этого слова: церковь считалась единственнымъ нормальнымъ государствомъ, обнимавшимъ собою все человѣчество, и потому исторія человѣчества была ни что иное, какъ исторія церкви. Такъ оглавлили свои историческія произведенія Григорій Турскій, Вада Преподобный и мн. др.

Но въ средніе вѣка, эта новая форма теоріи прогресса, какъ созданіе церкви на землѣ, начала скоро

принимать тотъ фантастическій и мистическій характеръ, которымъ отличается все средневѣковое, и наконецъ дошла до крайняго предѣла въ ученіи такъ называемыхъ *Милленаріевъ* или *Хилиастовъ*. Они были названы такъ потому, что считали, подобно древнимъ буддистамъ, *тысячу* (*mille, χιλιάς*) лѣтъ окончательнымъ періодомъ въ исторіи человѣчества, когда люди, во ожиданіи конца міра, предадутся всевозможнымъ наслажденіямъ. Въ этотъ періодъ, думали они, христіанство осуществится на всѣхъ концахъ міра, и евангельскія добродѣтели будутъ господствовать безъ исключенія. Всѣ эти химеры, увлекавшія людей своею таинственностью и причудливостью, остаются теперь однимъ историческимъ памятникомъ извѣстной эпохи, и вмѣстѣ доказательствомъ, что, какъ въ отдѣльномъ человѣкѣ духовная дѣятельность не прекращается и во снѣ, хотя и получаетъ фантастическій характеръ, такъ и въ темный періодъ среднихъ вѣковъ, духъ человѣка не переставалъ ни на минуту работать, и точно также сохранялъ нѣкоторую связь съ идеями здравыхъ эпохъ, какъ сонъ повторяетъ видѣнное на яву. На сонъ Хилиастовъ оказывала большое вліяніе судьба римской церкви, глава которой въ ту эпоху принужденъ былъ переселиться въ Авиньонъ. Это было время такъ называемаго Авиньонскаго плѣненія папъ въ XIV вѣкѣ. Хилиасты потому утверждали, что порокъ изъ слабой человѣческой природы вошелъ въ христіанство и чрезъ него въ самую церковь; монашескіе ордена

оказались несостоятельными въ борьбѣ съ пороками истинныхъ гражданъ церкви, то-есть, духовныхъ; духовные не могли обуздать своеволія цезарей, то-есть феодальныхъ сузереновъ; и цезари были слабы, чтобы защитить христіанство отъ невѣрныхъ; а въ то время только что успѣли окончиться крестовые походы такъ несчастно для западныхъ христіанъ. Откуда, спрашивали Хиліасты, такое зло? По ихъ ученію, источникомъ зла послужило то, что міромъ управлялъ одинъ страхъ и слепая вѣра; они ожидали, что скоро настанетъ царство *Духа*, которое освѣтитъ умы и будетъ править *любовью*, и тогда будетъ „едино стадо и одинъ пастырь,“ который воцарится *de mari ad mare*, отъ моря до моря. На основаніи того, Хиліасты раздѣляли всю исторію человѣчества на три періода: 1) древній завѣтъ, когда правилъ страхъ; они называли этотъ періодъ *царствомъ Отца*; 2) новый завѣтъ, когда управляли вѣра и любовь; это — *царство Сына*; и наконецъ, 3) послѣдній періодъ Вѣчнаго Евангелія, когда будутъ править любовь и разумъ; это — *царство Духа*. Въ первомъ періодѣ, во главѣ человѣчества стояли патріархи, Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ съ 12 сыновьями; во второмъ періодѣ — Захарій, Іоаннъ Креститель и Іисусъ Христосъ съ 12 апостолами; въ третьемъ періодѣ долженъ явиться *Ното, indutus lineis, signum Dei*, т. е. *человѣкъ*, облеченный въ полотно, знаменіе божіе, и съ нимъ 12 ангеловъ; тогда падетъ Новый Вавилонъ (такъ называли они Авиньонъ,

свидѣтель нравственнаго паденія папизма); явится новая церковь, и родъ человѣческій начнетъ послѣднюю эпоху существованія, эпоху любви и разума. Таковъ былъ тотъ историческій апокалипсисъ, въ формы котораго отлилась теорія прогресса; это былъ, какъ мы сказали, болѣзненный сонъ страшно напряженнаго ума человѣческаго при видѣ падающаго средневѣковаго общества; и, какъ всякій сонъ, эта теорія Хилиастовъ имѣла нѣкоторую связь съ окружавшею дѣйствительностью, и вмѣстѣ давала предчувствовать, къ чему готовился и стремился человѣкъ того времени; а потому ни сколько не удивительно, если кто найдетъ въ фантазмагоріи Хилиастовъ нѣчто общее съ явившимися послѣ него идеями реформаціи. *Nihil est in intellectu, quin prius fuerit in sensu*; точно также и въ чисто-раціональномъ движеніи, какимъ была реформація, могло заключаться сродство съ такою необузданною фантазією чувства, какую представляетъ намъ философема Хилиастовъ. Кто желалъ бы ближе познакомиться съ этимъ оригинальнымъ направленіемъ общественнаго ума среднихъ вѣковъ, тотъ найдетъ довольно полное собраніе важнѣйшихъ произведеній Хилиастовъ у Эжкарда, въ его *Corpus historiae mediæ ævi*, т. II. Во главѣ всѣхъ такихъ Хилиастовъ должно поставить *Парацельса*, жившаго наканунѣ реформаціи; въ немъ мистическій дошелъ до крайнихъ предѣловъ; вмѣстѣ съ прочими Хилиастами онъ мечтаетъ о какомъ-то новомъ времени, но всѣ вышнія формы та-

кихъ мечтаній могутъ быть скорѣе названы, какъ мы выразились, историческими апокалипсисами, нежели философскою теоріею историческаго прогресса.

Между тѣмъ, эта теорія прогресса, зародившаяся въ оріентальномъ монотеизмѣ, очищенная и возвышенная вліяніемъ христіанства, обезображенная мистицизмомъ среднихъ вѣковъ, а именно ученіемъ Хилиастовъ, была наконецъ потрясена до самаго основанія при открытіи новаго времени *раціональнымъ* направленіемъ философіи. Бэконъ и Декартъ разогнали такъ сказать привидѣнія, фантомы разстроеннаго воображенія среднихъ вѣковъ, но въ то же время они лишили теорію прогресса той существенной основы, на которой она зиждилась до того времени, и изъ которой она нѣкогда вышла на свѣтъ; Бэкону и Декарту предстоялъ трудъ доказать снова справедливость теоріи вѣчнаго прогресса, и притомъ именно не съ точки зрѣнія оріентальнаго монотеизма. Отысканіе новыхъ, раціональныхъ основъ для прежней теоріи прогресса, изложеніе ея безъ помощи фантастическихъ формъ, и составило, дѣйствительно, послѣдній и важнѣйшій періодъ въ томъ направленіи философіи исторіи, которое мы обозначили названіемъ теоріи вѣчнаго историческаго прогресса. Если, не смотря на всю славу такихъ именъ, какъ Бэкона, Декарта, Лейбница, Гердера, Гегеля и др., зданіе философіи исторіи остается далеко еще недостроеннымъ и до сихъ поръ, то во всякомъ случаѣ, начиная съ эпохи реформации, умъ

человѣка можетъ спокойно, безъ лихорадочной фантазіи, сохранять глубокое убѣжденіе въ дѣйствительности прогресса и даже считать его законность во многихъ отношеніяхъ доказанною; всѣмъ этимъ мы обязаны силѣ мысли тѣхъ геніевъ, которыхъ имена приведены нами выше. Люди спорятъ еще и теперь о степени быстроты въ прогрессѣ, но и тѣ которые медлятъ, тѣмъ не менѣе одинаково вѣруютъ въ прогрессъ. Идея прогресса, отличительная черта христіанской эпохи, составляетъ потому главнѣйшее преимущество новыхъ людей предъ древними; древній, языческій міръ стремился постоянно къ созданію вѣчныхъ и неподвижныхъ формъ, какъ для ума, такъ и для жизни; всѣ законодатели только и думали о томъ, чтобы устанавливаемые ими порядки были вѣчны и неподвижны; между тѣмъ какъ въ новое время, человѣкъ, создавая то или другое учрежденіе, заботится о другомъ, а именно чтобы его произведеніе обладало способностью двигаться вмѣстѣ съ ходомъ вещей и примѣняться къ новымъ потребностямъ, которыя безконечны, какъ безконеченъ успѣхъ мысли въ будущемъ. Мы не дорого бы дали за вещь, существованіе которой требовало бы основать на сегодняшнемъ днѣ порядокъ дѣлъ, или иначе она утратитъ свое значеніе и силу. Если теорія вѣчнаго круговращенія, какъ мы видѣли, говорить намъ: „изучайте прошедшее, потому что въ немъ вы откроете тѣ законы, выполнить которые придется неизбѣжно и вамъ;“ теорія прогресса напоми-

наеть другое: „прошедшее никогда не повторяется; человекъ долженъ въ каждую эпоху жить своимъ умомъ, открывать новыя средства противъ новаго зла; а слѣдовательно изучать непрерывно двѣ великія природы, природу внѣшняго міра и природу собственнаго духа: въ нихъ заключены секреты настоящаго и будущаго; не вливайте новаго вина въ старыя мѣхи; идите впередъ, въ одну ногу съ новыми требованіями; нельзя два раза быть великимъ, какъ Александръ или Цезарь; и они въ наше время искали бы другого величія и прибѣгнули бы къ другимъ средствамъ; прошедшее не повторится!“

Нѣтъ сомнѣнія также, что обѣ эти системы философіи исторіи съ одинаковою легкостью могутъ вести къ заблужденіямъ и преувеличеніямъ: теорія круговращенія представляетъ слишкомъ легкій способъ избѣгать историческихъ ошибокъ, и забываетъ, что ошибки прошедшаго еще никого не исправляли; теорія прогресса съ другой стороны дѣлаетъ слишкомъ тяжелыя требованія, чтобы избѣгнуть ошибокъ, и мы чаще соглашаемся заимствовать у нея голословно ея ученіе, полагая ошибочно, что стремиться, очертя голову впередъ, значитъ также принадлежать къ поклонникамъ прогресса, или наоборотъ сдерживать порывъ прогресса всѣми силами значитъ оказать ему самую существенную услугу.

Но отложимъ въ сторону то практическое значеніе, которое представляютъ въ себѣ двѣ главныя си-

стемы философіи исторіи всякій разъ, когда мы начинаемъ дѣйствовать въ жизни, исходя изъ того или другого ученія. Насъ займетъ теперь одно историческое развитіе послѣдней изъ нихъ, а именно теоріи вѣчнаго прогресса, и притомъ въ ея послѣднемъ раціональномъ порядкѣ, который переживаемъ мы сами въ настоящую минуту. До реформаціи, т. е. до XVI вѣка, теорія прогресса во всѣхъ своихъ видоизмѣненіяхъ сохраняла почти исключительно теологическій характеръ, напоминая источникъ ея древняго происхожденія. Потому она, строго говоря, не нуждалась въ доказательствѣ, и существовала, какъ догматъ. Раціональное направленіе философіи подорвало, такъ сказать, натуральныя основы теоріи прогресса, а потому на нее легла обязанность *доказать* истинность и законность прогресса въ исторіи, опираясь на законы человѣческаго разума. Но приемы, употребленные философіею для подобнаго доказательства были весьма различны, а именно мы можемъ привести ихъ къ двумъ главнымъ классамъ: 1) одинъ рядъ философовъ искалъ такихъ доказательствъ во внѣшнихъ проявленіяхъ человѣческаго духа, въ его отношеніяхъ къ внѣшней природѣ, и такимъ образомъ *опытъ* сдѣлался существенною основою ихъ философемъ; а потому мы назовемъ это направленіе *физиологическою школою* исторіи; 2) другіе, напротивъ того, брали на себя доказать прогрессъ, выводя его изъ изученія законовъ одного человѣческаго духа, какъ онъ проявляется въ

самомъ себѣ; и потому мы дадимъ этому направленію названіе *метафизической школы*. Но и между метафизиками въ исторіи есть большое различіе: а) одни предполагаютъ, что идеи нашего духа имѣютъ своимъ источникомъ исключительно чувственное воспріятіе; это — *сенсуалисты*; б) другіе, наконецъ, считаютъ идеи нашего духа чѣмъ-то прирожденнымъ ему; это — *идеалисты*, которыхъ ученіе потому самому впадаетъ въ абсолютизмъ.

Г Л А В А II.

Физиологическая школа.

Физиологическая школа, доказывая истинность и законность прогресса въ исторіи рода человѣческаго, слѣдуетъ строго приему опытныхъ доказательствъ, и даетъ самому понятію прогресса осязательное и матеріальное опредѣленіе. Искусство людей учреждать правительство, устраивать компаніи, общества, банки, изобрѣтать машины, находить средства къ борьбѣ съ природою и подчинять ея силы своимъ соображеніямъ — вотъ, въ чемъ состоитъ прогрессъ. Затѣмъ, сравнивая прошедшее съ настоящимъ, исчисляя тѣ средства, которыми распоряжались древніе люди и люди современные намъ, и видя, на сколько первые стоятъ въ этомъ отношеніи ниже послѣднихъ, они представили такимъ образомъ самое осязательное и доступное для

ума каждаго доказательства того, что въ исторіи человечества до сихъ поръ мы не видимъ ничего другого, кромѣ прогресса: нашъ государственный и общественный строй несравненно удобнѣе и справедливѣе древняго порядка вещей; наша власть надъ внѣшнею природою неизмѣримо выше; какое же нужно другое доказательство дѣйствительности прогресса въ исторіи? Самый предубѣжденный человѣкъ долженъ согласиться съ справедливостью такого простого довода, основанія котораго лежатъ у каждаго предъ глазами. Человѣчество, очевидно, совершенствуется во всемъ; усовершенствованіе составляетъ первую и послѣднюю цѣль человечества; и на это-то усовершенствованіе указалъ въ первый разъ въ строгой и полной системѣ англійскій философъ *Францискъ Бэконъ*, баронъ Верулама, графъ С. Альбанса (род. 1561; умер. 1626), а потому имъ мы и откроемъ рядъ философовъ исторіи физиологической школы.

Жизнь его и политическая роль въ эпоху королевы Елисаветы и Иакова I Стюарта, слишкомъ извѣстна, чтобы останавливаться на ея подробностяхъ. Мы уже имѣли случай сказать вообще, что геній всегда формулируетъ то, что заключено въ общественномъ сознаніи и существуетъ разсѣянно въ отрывочныхъ явленіяхъ обыденной жизни: въ этомъ родствѣ генія недѣлимаго человѣка съ гешемъ эпохи и заключается весь секретъ силы и обаянія перваго. Въ англійскомъ обществѣ эпохи Елисаветы произошелъ рѣ-

шительный переворотъ въ идеяхъ и въ дѣйствіяхъ: авторитеты прежняго времени пали съ католицизмомъ, служившимъ имъ опорой; но въ то же время, люди еще не успѣли проникнуться до глубины новыми убѣжденіями; во всѣхъ преобразованіяхъ той эпохи мы видимъ потому отсутствіе искренности, полной честности, и вслѣдствіе того, какъ ни было блестяще царствованіе Елисаветы, оно не удовлетворило общества, и Англіи пришлось испытать въ концѣ XVII столѣтія новый, болѣе искренній и болѣе глубокій переворотъ, съ воцареніемъ Вильгельма III Молчаливаго. Францискъ Бэконъ какъ нельзя лучше отразилъ на своемъ лицѣ великій и вмѣстѣ легкомысленный вѣкъ Елисаветы, даже, можетъ быть въ этомъ отношеніи, его характеръ пошелъ далѣе характера своей эпохи. Едва ли въ комъ соединялся столь высоко развитый умъ, такая вражда къ схоластикѣ, съ столь низкимъ нравственнымъ паденіемъ; Бэконъ имѣлъ довольно силы, чтобы опрокинуть всѣ основы, на которыхъ строились до него гуманныя науки, и самъ лично разбился въ самыхъ простыхъ началахъ жизни, павъ уличенный въ послѣднемъ взяточничествѣ. Его частная жизнь такимъ образомъ какъ бы послужила предварительною критикою одной стороны ученія физиологической школы: въ исторіи прогресса нельзя остановиться на одномъ матеріальномъ развитіи силъ человѣка; даже самъ Бэконъ, такъ хорошо вооруженный по своему времени всѣми средствами къ тому, чтобы господствовать надъ

природою, палъ такъ безславно, какъ можетъ быть никогда не палъ бы человѣкъ съ самыми скудными средствами цивилизаціи.

Бэконъ, видя повсюду, и въ наукѣ, и въ жизни, одну схоластику, составилъ громаднѣйшій планъ, съ цѣлью дать новое основаніе всѣмъ наукамъ, и назвалъ свой будущій трудъ *Instauratio Magna*; но ему удалось выполнить только двѣ первыя его части, а именно: 1) *De Augmentis Scientiarum*, гдѣ онъ обзрѣваетъ всѣ отрасли человѣческихъ познаній, и, доказавъ ихъ несостоятельность, приводитъ планъ для новаго состава и распредѣленія наукъ; 2) *Novum Organon*, названный такъ въ противоположность древнему Органону Аристотеля, и въ немъ объясняетъ начала лучшаго метода къ познанію законовъ природы. Послѣднія же четыре части *Великой Инстаураціи* Бэкона мы знаемъ только по ихъ оглавленію. Для философіи исторіи особенно важна вторая часть, а именно *Новый Органонъ*; онъ раздѣляется на двѣ книги: въ первой книгѣ, духъ человѣка готовится къ принятію новаго метода; во второй — объяснено, въ чемъ этотъ методъ состоитъ.

Вводя читателя въ кругъ своихъ новыхъ идей, авторъ посвящаетъ первую часть *первой книги* именно на изслѣдованіе и уничтоженіе тѣхъ причинъ, которыя препятствовали до того времени познать истину во всемъ ея объемѣ, а потому онъ называетъ эту часть *pars destruens*; во второй части той же книги читатель

предупреждается относительно тѣхъ ложныхъ идей, которыя могутъ развиваться въ немъ отъ новаго метода; эта часть названа *pars protergans*.

Причины и источники человѣческихъ заблужденій, препятствовавшія людямъ постигать истину во всемъ ея объемѣ, Бэконъ называетъ *идолами* (*idola*), и приводитъ именно четыре рода такихъ идоловъ, которымъ поклоняются люди: *idola tribus*, *idola specus*, *idola fori*, *idola theatri*. *Idola tribus* (идолы колѣна, племени, т. е. наследственные) состоятъ въ тѣхъ общечеловѣческихъ заблужденіяхъ, которыя происходятъ отъ недостатковъ врожденныхъ духу человѣка. *Idola specus*, то есть, индивидуальныя заблужденія, являющіяся вслѣдствіе особеннаго развитія каждаго отдѣльнаго человѣка, отъ вліянія на него образованности, знакомствъ и т. п. *Idola fori*, заблужденія языка, которыя состоятъ въ условномъ уваженіи всѣхъ къ какому либо понятію; другими словами, гражданскія заблужденія, откуда происходитъ и ихъ названіе: идолы площади, форума. Наконецъ, *idola theatri* — такъ называетъ авторъ съ насмѣшкою тѣ заблужденія, въ которыхъ насъ держатъ философскія ученія и ихъ авторитеты, при помощи театральнѣй обстановки своихъ идей, откуда и самый родъ идоловъ названъ театральными идолами. На послѣдніе Бэконъ нападаетъ съ особою энергіею, считая театральныя идолы самыми опасными. За тѣмъ, вторая часть первой книги, какъ мы замѣтили выше, предупреждаетъ читателя отъ опасности обратить и

его новый методъ въ новый *idolum theatri*, подобный тѣмъ, отъ которыхъ такъ много страдало человѣчество въ прежнее время.

Вторая книга посвящена на подробное развитіе новаго метода, и потому она составляетъ для насъ самый существенный отдѣлъ, но, къ сожалѣнію, не доведенный авторомъ до конца. Остановимся прежде всего на томъ воззрѣніи, которое приводитъ Бэконъ на исторію человѣчества. Онъ не только допускаетъ существованіе прогресса въ исторіи, какъ главнаго ея закона, но и подробно указываетъ на самый путь, которому слѣдуетъ прогрессъ въ своемъ развитіи. Для него, въ исторіи являются два дѣйствующихъ лица: физическая природа, снабженная извѣстными силами, и человѣкъ, одаренный способностью не только постигать эти силы, но и направлять ихъ въ свою пользу. Такимъ образомъ, сущность прогресса человѣчества состоитъ въ побѣдѣ его надъ природою, въ искусствѣ наблюдать и пользоваться своими наблюденіями, однимъ словомъ, изобрѣтать полезное; задача исторіи есть не только исчисленіе такихъ изобрѣтеній, но и наука дѣлать такія изобрѣтенія; напимѣръ, исторія не только свидѣтельствуетъ о томъ, что человѣкъ изобрѣлъ удивительный механизмъ, называемый правительствомъ, но и поучаетъ искусству усовершенствованія такого механизма. Исторія, по выраженію Бэкона, должна обезпечить искусство изобрѣтенія, и, если до сихъ поръ умъ человѣка случайно могъ сдѣ-

латъ столько изобрѣтеній, то, восклицаетъ Бэконъ, что онъ въ состоянїи сдѣлать еще, если будутъ найдены правила самого изобрѣтенія?! Предѣлы невозможнаго для человѣка все будутъ отодвигаться дальше и дальше; даже и до настоящаго времени, замѣчаетъ Бэконъ, понятіе невозможнаго было всегда только условно: „Надобно думать, говоритъ онъ, что природа скрываетъ отъ насъ еще тысячи секретовъ, самыхъ полезныхъ, которые не имѣютъ и тѣни сходства съ тѣмъ, что уже изобрѣтено, и которые лежатъ внѣ пробитыхъ дорожекъ нашего воображенія.... Родъ человѣческій всегда признаетъ сначала то или другое рѣшительно невозможнымъ, а послѣ ему кажется невозможнымъ то, чтобы такое изобрѣтеніе когда нибудь могло быть неизвѣстнымъ.“

Но приведемъ собственные слова Бэкона, гдѣ онъ самымъ положительнымъ образомъ выражаетъ свой взглядъ на характеръ исторической дѣятельности человѣка:

„Намъ кажется, что между *человѣческими дѣянїями* безъ сравненія самое высокое то, которое надѣляетъ міръ важными *изобрѣтенїями*; и такъ думали о томъ и въ древнїя времена, когда изобрѣтателямъ оказывались божескія почести. Такимъ же людямъ, которые отличались на служенїи государству, какъ-то, основывали города и имперїи, издавали законы, освобождали отечество отъ бѣдствїй, свергали тиранновъ и т. п.“, такимъ людямъ давали титулъ только героевъ.

Кто желаетъ по справедливости сравнить тѣ два рода услугъ, тотъ одобритъ вполнѣ судъ древнихъ: ибо благодѣяніе изобрѣтеній распространяется на весь міръ; заслуги же гражданскія относятся къ одной странѣ; одни временныя, другія вѣчныя. Притомъ очень часто развитіе государственныхъ формъ сопровождалось смятеніями и жестокими междоусобіями; а изобрѣтенія всегда распространяли свои благодѣянія, не вредя никому, и не заставляя никого проливать слезы.

„Изобрѣтеніе есть вторичное твореніе: оно подражаетъ дѣламъ Творца, какъ сказалъ поэтъ: „Минерва научила людей садить плодоносныя деревья, и люди *recreaverunt vitam*, создали вторую жизнь.“ Замѣчательно, что и Соломонъ, осыпанный всѣми благами, надѣленный богатствомъ, имуществомъ, имѣя армію, служителей, флотъ, славу, ничѣмъ изъ всего того не гордился и говорилъ: „Слава Творца — скрывать секреты природы; слава Царя — открывать ихъ.“ Съ другой стороны, пусть подумаютъ о различіи между бытомъ человѣка въ образованныхъ странахъ Европы и бытомъ дикаря Новаго Свѣта: это различіе такъ велико, что можно справедливо сказать: *Hominem homini deum esse* (т. е. человѣкъ богъ для человѣка); и не только по услугамъ, которыя первый можетъ оказать послѣднему, но и по сравненію ихъ внѣшняго положенія. И такое различіе между людьми установила не земля, ни небо, но именно *искусства*.... Поэтому мы различаемъ три степени и три вида често-

любія въ исторіи: къ первому виду мы относимъ людей, которые стремятся увеличить свою власть въ странѣ; это — самая пошлая и низкая степень честолюбія; на второй — стоятъ люди, которые желаютъ усилить власть своей страны надъ остальнымъ чело-вѣчествомъ; въ такомъ честолюбіи больше достоинства, но характеръ страсти все тотъ же. За то тѣ, которые стремятся утвердить и расширить власть рода человѣческаго надъ матеріальною природою, обладаютъ честолюбіемъ — если только такъ можно назвать то — несравненно болѣе мудрымъ и болѣе возвышеннымъ, нежели всѣ другіе. А власть человѣка надъ природою основана единственно на искусствахъ и наукахъ, потому что природою можно повелѣвать, только повинувся ея законамъ.“

При такомъ взглядѣ на способы самоусовершенствованія человѣка и на путь, которому долженъ слѣдовать прогрессъ въ исторіи, Бэконъ выражаетъ полное презрѣніе ко всему тому, что не имѣетъ для себя въ основѣ положительнаго наблюденія; всякая проницательность, даже геніальность, въ глазахъ Бэкона не имѣютъ цѣны, и онъ торжественно говоритъ, что его методъ упраздняетъ всѣхъ геніевъ, ибо дѣлаетъ возможнымъ для всякаго быть геніемъ: „Нашъ методъ, говоритъ Бэконъ, мало оставляетъ преимущества для проницательныхъ и могущественныхъ умовъ; можно даже утверждать, что силою этого метода уравниваются всѣ люди“. Бэконъ приводитъ и примѣръ

для объясненія своей мысли: „Что лучше, восклицаетъ онъ, имѣть ли необыкновенную ловкость въ рукахъ и быть въ состояніи провести прямую линію, или начертить совершенно правильный кругъ; или изобрѣсть линейку и циркуль, которыя сдѣлаютъ всѣхъ одинаково ловкими?“

Въ такихъ выраженіяхъ объясняетъ Бэконъ съ своей физиологической точки зрѣнія понятія и преимущества прогресса въ формѣ опытныхъ наукъ и искусствъ, и его вліяніе на характеръ общественной дѣятельности человѣка. Указывая далѣе на послѣднюю цѣль такого прогресса, на то, чѣмъ онъ долженъ завершиться, Бэконъ остается вѣрнымъ главному характеру своего ученія. Мы уже видѣли выше, что отодвиженіе предѣловъ невозможнаго выставляется у Бэкона, какъ послѣдняя цѣль дѣятельности человѣчества; но въ другомъ мѣстѣ своего Органона онъ опредѣляетъ ее еще болѣе точно, и вмѣстѣ съ тѣмъ борется съ господствовавшими до него воззрѣніями теоріи круговращенія, утверждающей въ исторіи одинъ постоянный приливъ и отливъ.

„Самое важное препятствіе, по словамъ Бэкона, къ прогрессу наукъ и къ завоеваніямъ въ ихъ области, составляетъ отчаяніе людей и боязнь невозможнаго. Люди умные и строгіе вносятъ въ науку большое недовѣріе, размышляя постоянно объ ограниченности нашей природы, о краткости жизни, объ обольщеніяхъ чувствъ, о шаткости сужденія, о трудностяхъ

опыта, и т. п. Вотъ потому они думаютъ, что, въ переворотѣ время и вѣковъ, науки представляютъ только одинъ приливъ и отливъ, что въ извѣстныя эпохи онѣ процвѣтаютъ и двигаются; въ другія — падаютъ и истощаются, и такимъ образомъ, дойдя до извѣстной степени развитія, не могутъ идти дальше.“

На чемъ же основывается такое утѣшительное и противоположное убѣжденіе Бэкона, а именно, о постоянствѣ и вѣчности прогресса? „Мы имѣемъ въ этомъ отношеніи (т. е. вѣчности прогресса), отвѣчаетъ Бэконъ, *надежды*; мы не шарлатаны и не хотимъ дѣлать ни насилія, ни ловушекъ умамъ, но поведемъ своего читателя за руку и съ его согласія. Чтобы объяснить основаніе своихъ надеждъ, намъ было бы всего вѣрнѣе, какъ то мы и сдѣлаемъ послѣ (это составитъ четвертую часть нашей Инставраціи), поставить предъ глазами каждаго факты въ таблицѣ открытій, потому что въ такой таблицѣ выразится не одна надежда, но и дѣйствительность.“

Мы не имѣемъ этой четвертой части, и потому должны довольствоваться по этому предмету нѣсколькими общими чертами въ самомъ Органонѣ, гдѣ Бэконъ указываетъ на главную основу своихъ надеждъ, помимо вышеупомянутой таблицы:

„Мы должны начать съ Бога, какъ съ основанія своихъ надеждъ; все совершившееся, по превосходной природѣ божества, очевидно произошло отъ него, виновника всякаго блага и отца свѣтовъ. Въ творе-

ніяхъ же божіихъ самыя малыя начинанія приходятъ непремѣнно къ своему послѣднему концу. И то, что сказано о духовномъ порядкѣ вещей, а именно: *Regnum Dei non venit cum observatione* (т. е. царствіе божіе придетъ незамѣченнымъ) — можетъ быть приложено ко всѣмъ дѣяніямъ Провидѣнія; въ нихъ событія текутъ безъ шума и блеска, и дѣло бываетъ довершено прежде, нежели человѣкъ подумаетъ о томъ, или то замѣтитъ.

„Мы должны при этомъ припомнить пророчество Даниила о послѣднемъ времени міра: *Multi pertransibunt et multiplex erit scientia* (т. е. много поколѣній пройдетъ, и разнообразна будетъ наука)! Подъ этимъ Даниилъ разумѣлъ и ясно выразилъ, что въ будущемъ, то есть, въ планахъ Провидѣнія предназначено, чтобы конецъ міра, который въ отдаленныхъ плаваніяхъ человечества казался уже законченнымъ, или по крайней мѣрѣ заканчивался, совпалъ съ полнымъ развитіемъ наукъ.“

Такой взглядъ Бэкона на послѣднее ручательство безконечности прогресса въ исторіи ясно говоритъ о вышеуказанномъ нами родствѣ фізіологовъ съ древними теологическими ученіями вѣчнаго прогресса, хотя Бэконъ раздѣляетъ мнѣніе Хиліастовъ только съ точки зрѣнія усовершенствованія наукъ. Впрочемъ, онъ не долго остается въ чуждой ему области, и тотчасъ же переходитъ къ своимъ фізіологическимъ доказательствамъ основательности надеждъ на вѣчный прогрессъ.

Онъ называетъ одно изъ такихъ доказательствъ: *Ratio optimum maxime ad faciendam spem*, т. е., доводомъ самымъ сильнымъ къ возбужденію надежды на прогрессъ, и отдаетъ этому доводу преимущество предъ всѣми остальными. Бэконъ почерпаетъ этотъ свой главнѣйшій доводъ въ заблужденіяхъ прошедшаго времени и въ тѣхъ неудачныхъ методахъ, которые примѣнялись до него. Это мѣсто у Бэкона въ своемъ изложеніи напоминаетъ критическіе приемы его соотечественника, современнаго намъ Маколея. Бэконъ, какъ и Маколей, всего болѣе боится общихъ мѣствъ; онъ ищетъ прежде всего, чтобы быть понятнымъ читателю, и потому представляетъ одну и ту же мысль съ различныхъ сторонъ; примѣры, сравненія, толпятся у него отовсюду. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, было объяснить наглядно, что заблужденія прошедшаго времени могутъ служить доказательствомъ основательности надежды на вѣчный прогрессъ въ будущемъ? У Бэкона есть подъ рукою выраженіе одного публициста о дурномъ устройствѣ государства: „Если въ обществѣ является мысль, осуждающая прошедшее, то это одно уже указываетъ на то, что такое общество надѣется на лучшее въ будущемъ. И понятно, почему? въ обществѣ, значить, есть сознаніе лучшаго порядка вещей. Притомъ, заключаетъ тотъ же публицистъ, если прошедшія истины считали себя лучшими, а между тѣмъ не произвели прогресса, то препятствіе, очевидно, заключалось не въ самой вещи, а въ недо-

достаткахъ истины.“ Такой взглядъ публициста на развитіе государственнаго порядка вещей Бэконъ примѣняетъ къ философіи исторіи: „Точно также, говоритъ онъ, родъ человѣческой, въ теченіи цѣлыхъ вѣковъ, думалъ слѣдовать истинному методу въ своей научной культурѣ, и не дѣлалъ прогресса;... но онъ ошибался только въ пути; и если люди потратили столько силъ въ направленіи, которое ихъ не привело ни къ чему, то изъ этого слѣдуетъ, что препятствіе къ прогрессу лежитъ не въ природѣ вещей, надъ которыми власть наша еще не распространилась, но въ самомъ духѣ и въ его методѣ вліянія на природу, чему конечно можно пособить.“ Короче, мысль автора состоитъ именно въ томъ, что самыя неудачи нашихъ предковъ въ стремленіи къ цѣлямъ, которыхъ мы наконецъ успѣли достигнуть, свидѣтельствуютъ о томъ, что причина невозможности находится не въ природѣ вещей, а въ нашемъ неумѣннѣ познавать ее; если бы вещи были недоступны сами по себѣ, то нашъ прогрессъ скоро дошелъ бы до своихъ предѣловъ; но для насъ многое сдѣлалось возможнымъ, что прежде считалось недоступнымъ. Чѣмъ же мы взяли? лучшими методами познанія! И такъ, прогрессъ безконеченъ, потому что препятствія къ нему лежатъ въ недостаткахъ метода нашего познанія, который можетъ усовершенствоваться безконечно.

Бэконъ весьма картинно изображаетъ существенныя недостатки прежнихъ методовъ познанія, но эти

методы не потеряли своей силы и послѣ Бэкона, а потому его слова могутъ сохранять свой интересъ еще долгое время:

„Науки до сихъ поръ, говоритъ онъ, были обрабатываемы или *эмпириками* или *догматиками*. Эмпирики, какъ муравьи, умѣютъ только накапливать все въ кучу и потребляютъ все сами на мѣстѣ. Догматики, на подобіе пауковъ, ткутъ ткань изъ самихъ себя. Процедура у пчелы занимаетъ средину между ними: она собираетъ, какъ муравей, свой матеріаль на цвѣтахъ садовъ, на поляхъ, но она ихъ преобразуетъ и дистиллируетъ въ силу прирожденной ей способности. Таковъ образъ истинной работы философіи, которая не считаетъ, какъ паукъ, сама себя источникомъ познанія; или, какъ муравей, не ограничивается наносомъ въ нашу память множества опытныхъ фактовъ, но влагаетъ ихъ въ нашъ духъ видоизмѣненными и преобразованными. Надобно ожидать великаго отъ соединенія этихъ двухъ методовъ, опытнаго и раціональнаго, соединенія до сихъ поръ еще не встрѣчавшагося.“

Бэконъ именно и намѣревался предпринять такую гигантскую работу: онъ мечталъ разорвать паутину, сотканную философіею среднихъ вѣковъ, разчистить кучу матеріальныхъ познаній, накопленную муравьями науки: предпріятіе смѣлое, по мнѣнію самого Бэкона, но на которое, говоритъ онъ, нужно когда нибудь рѣшиться, и Бэконъ дѣйствительно приготовился къ

тому, ожидая, что „потомство оцѣнитъ его также, какъ оно оцѣнило дѣянія Александра Македонскаго; современники Александра, продолжаетъ онъ, думали, что его подвиги заключаютъ въ себѣ что-то чудесное; но Титъ-Ливій понялъ лучше тайну его чудесъ и сказалъ: это былъ человѣкъ, имѣвшій смѣлость разогнать привидѣнія.“ Обращаясь къ потомству, Бэконъ предлагаетъ ему сказать о немъ и о его методѣ только слѣдующее: *Nos nihil magni fecisse, sed tantum ea, quae pro magnis habentur, minoris fecisse*, т. е. „что я ничего не сдѣлалъ великаго, но только то, что считалось великимъ, сдѣлалъ малымъ.“

Достоинства теории совершенствованія человѣчества, какъ она въ первый разъ изложена Бэкономъ, съ точки зрѣнія физиологической, очевидны сами собою, и никто не указалъ ихъ такъ наглядно, какъ самъ же авторъ въ послѣднемъ выраженіи, приведенномъ нами: сдѣлать малымъ то, что ложно дѣлало притязаніе на величіе — весьма важная заслуга, оказанная Бэкономъ человѣческой мысли. Но трудъ остался неоконченнымъ, и даже въ томъ, что, повидимому, окончено, видны большіе пробѣлы: многое авторъ оставилъ на степени догадки, предположенія, хотя и геніальнаго, но недостаточно основательнаго, чтобы можно было безопасно опереться на его идеи. Самыя изобрѣтенія Бэконъ считаетъ иногда дѣломъ случая, и потому не разъ приходилось ему сознаваться съ свойственною его языку пластичностью, что „ис-

торія, какъ и географія, имѣтъ свои историческія *стени*“, гдѣ слѣдовательно уму человѣческому ничего не остается, какъ блуждать безгранично. Это тѣ самыя *стени*, которыя Вико назвалъ *res nullius*, всеобщее достояніе, которымъ можетъ распорядиться каждый по произволу. Но это одни частные недостатки, къ которымъ присоединяются еще другіе, общіе для всѣхъ послѣдователей фізіологической системы, и которыя вытекаютъ изъ самой, такъ сказать, ея природы, сущности. У Бэкона эти общіе недостатки тѣмъ болѣе ярки, чѣмъ слабѣе были средства опытныхъ наукъ того времени, когда жилъ и писалъ англійскій філософъ. Мы возвратимся къ указанію этихъ недостатковъ въ заключеніи главы, чтобы не повторять одного и того же при разборѣ другихъ трудовъ фізіологической школы исторіи.

Но главная заслуга cadaго произведенія великой мысли состоитъ именно въ томъ, чтобы оно выполнило избранную имъ задачу *въ свое время*, и въ этомъ отношеніи Новый Органонъ сдѣлалъ все, что можно было отъ него ожидать, и быстро распространился по Европѣ. Въ 1620 году, сочиненіе Бэкона попало въ руки одного молодого человѣка, которому было тогда не болѣе 23 лѣтъ отъ роду, и который впослѣдствіи не разъ вспоминалъ съ благодарностью въ своихъ письмахъ объ услугѣ, оказанной ему Новымъ Органономъ. Этотъ молодой человѣкъ былъ *Рене Декартъ* (René Descartes). Будущій отецъ новой філософіи не остался та-

вѣдѣнъ образомъ чуждымъ вліянію идей Бэкона, и еще тогда задумалъ планъ новой теоріи наукъ, который былъ выполненъ окончательно въ 1637 г. въ столь извѣстномъ произведеніи: *Discours sur la méthode pour bien conduire sa raison et rechercher verité dans les sciences*, т. е. „Разсужденіе о методѣ для правильнаго руководства разума и изслѣдованія истины въ наукахъ.“ Мы не впадемъ въ преувеличеніе и повторимъ только общепринятое мнѣніе, если скажемъ, что это произведеніе стоитъ почти выше всего, что произвело во Франціи XVII столѣтіе. Сочиненіе Бэкона привилось особенно къ характеру его націи, по преимуществу практической; англійская образованность въ то время еще не носила на себѣ общеевропейскаго характера, и самый латинскій языкъ Органона дѣлалъ его доступнымъ для однихъ избранныхъ; наконецъ, у Бэкона мы видимъ болѣе протеста, нежели основаній для новаго пути человѣческой мысли, болѣе общихъ указаній, нежели твердыхъ правилъ. Бэконъ могъ возбуждать, но не руководить, и притомъ, какъ мы сказали, возбуждать небольшое число избранныхъ умовъ. Декартъ принадлежалъ и писалъ на языкѣ націи, которой образованность уже въ то время носила на себѣ характеръ болѣе общеевропейскій, нежели англійская образованность; потому система Декарта, вызванная идеями Бэкона, имѣла для себя болѣе обширное поприще; Декартъ и разсчитывалъ на то, повторяя, какъ мы видимъ, часто, что онъ обращается не къ ученой мудро-

сти, а къ „здравому смыслу,“ слѣдовательно, ко всѣмъ, ибо, говорилъ Декартъ, *le bon sens est la chose du monde la mieux partagée*, т. е. „здравый смыслъ есть единственное богатство въ мірѣ, которое равномѣрнѣе другихъ распредѣлено между людьми.“ Наконецъ, Декартъ обратилъ все свое вниманіе на то, что особенно слабо или даже совсѣмъ опущено у Бэкона: онъ дѣйствительно далъ уму человѣка руководительную нить и опору въ отправленияхъ его дѣятельности. Вотъ почему мы считали себя въ правѣ вслѣдъ за Бэкономъ помѣстить имя Декарта, хотя, строго говоря, послѣдній не можетъ быть отнесенъ къ разряду физиологической школы; но методъ Декарта былъ вызванъ вліяніемъ Новаго Органона, и его математическіе приемы скорѣе сближаютъ Декарта съ физиологами, нежели съ метафизиками. Нѣтъ сомнѣнія также, что настоящее мѣсто для Декарта въ философіи, а не въ исторіи; но едва ли какая наука въ своей судьбѣ столь тѣсно связана съ философіею, какъ исторія; и наоборотъ, нигдѣ нельзя найти такого точнаго объясненія для успѣховъ философіи, какъ въ исторіи того общества, гдѣ появилась та или другая философская система. Всего болѣе справедливость того подтверждается на самомъ же Декартѣ: успѣхъ исторической науки во Франціи послѣ Декарта можетъ быть объясненъ именно только тѣмъ успѣхомъ философіи, которое было произведено его новымъ методомъ; и наоборотъ, самый характеръ философіи Декарта

стоитъ въ тѣсной связи съ самою исторіею французскаго общества того времени, начиная съ 1596 года, когда родился Декартъ, почти наканунѣ Нантскаго эдикта, нанесшаго первый ударъ католицизму въ жизни, какъ Декартъ нанесъ вскорѣ за тѣмъ ударъ католицизму въ наукѣ. Появленіе мысли Декарта сопровождалось и предшествовалось большимъ движеніемъ вообще въ гуманитарныхъ наукахъ и въ исторіи въ особенности. Реформація XVI вѣка, какъ замѣчаетъ справедливо современный намъ историкъ англійской цивилизаціи, Бѣкль, оказала уже ту услугу наукамъ, что она оторвала лучшее отъ той праздно-схоластической работы, на которую было потрачено въ теченіи нѣсколькихъ столѣтій столько свѣжихъ силъ; въ средніе вѣка, самый лучший ученый не считалъ бы потерю времени посвятить серьезно свой трудъ на изслѣдованіе такого вопроса, какъ напримѣръ, можно ли убить церковную крысу, если она съѣла освященную просфору; а такіе вопросы имѣли для себя въ средніе вѣка цѣлую литературу: таково было дѣйствительное направленіе и потребности духовной жизни, и литература не дѣлала ничего другого, какъ только отвѣчала имъ. Потому точно также справедливо замѣчаетъ Бѣкль, что, если бы св. Августинъ жилъ въ XVII вѣкѣ, онъ создалъ бы какую нибудь гениальную систему въ естественныхъ наукахъ, а сѣръ Исаакъ Ньютонъ, живя въ IV вѣкѣ, создалъ бы какую нибудь замѣчательную религіозную систему. Тоже самое можно

сказать о Декартѣ: живя въ XVII вѣкѣ, его геній далъ обществу то, въ чемъ оно наиболѣе нуждалось. Пытливости той эпохи, ея стремленіямъ повести мысль новою дорогою, недоставало именно той дороги и тѣхъ общихъ началъ, въ которыя философія возводитъ конкретное, заимствуя у него же послышки для своихъ заключеній. Но ни на чемъ не отразилось печальное состояніе научнаго ума до Декарта во Франціи, какъ именно на исторіи. За 20 лѣтъ до Нантскаго эдикта, 1576 г. нѣкто Du Naillan рѣшился связать всѣ разбросанныя историческія хроники Франціи, свидѣтельствовавшія тѣмъ объ отсутствіи единой Франціи въ средніе вѣка; при Гейнрихѣ III, монархія сдѣлала уже на столько успѣховъ, чтобы вызвать сознаніе о національномъ и политическомъ единствѣ государства; Du Naillan, какъ бы въ силу извѣстнаго намъ положенія Вико: „Ученые думаютъ, что извѣстное имъ также древне, какъ и міръ,“ старается написать исторію Франціи такъ, какъ будто французская монархія при Клодовеѣ была такимъ же государствомъ, какъ и въ XVI ст., при Гейнрихѣ III. Передѣлать лѣтописи по своей идеѣ, придумать отъ себя тамъ, гдѣ лѣтописи оказываются неудовлетворительны, даже вывести на сцену такія лица, какихъ никогда не существовало — все это чрезвычайно просто и естественно для автора. И не смотря на то, Du Naillan наивно пишетъ въ посвященіи своего труда королю: „Государь, я первый французъ, который написалъ исторію

Франціи и изложилъ величіе и достоинство нашихъ королей на почтенномъ языкѣ (національномъ); до меня не было ничего, кромѣ кучи хроникъ, которыя говорили о нихъ. Безъ хвастовства могу сказать, что я сдѣлалъ то, чего еще никто не дѣлалъ, и чего у насъ никто не видалъ; я представилъ исторію Франціи въ новой одеждѣ, въ которой она никогда еще не являлась.“ Между такимъ историкомъ, какъ Du Haillan, и между Mezeray не прошло и 50 лѣтъ, хотя, по различію ихъ взглядовъ на задачу исторіи и научныхъ пріемовъ, можно подумать, что ихъ раздѣляютъ цѣлые вѣка, а ихъ раздѣляла одна эпоха Генриха IV. Mezeray былъ современникомъ Декарта, и на нихъ обоихъ отразился одинаково тотъ успѣхъ, который сдѣлало французское общество въ первой половинѣ XVII вѣка. Тѣсная связь самого духа философіи Декарта съ господствовавшимъ духомъ времени не подлежитъ также ни малѣйшему сомнѣнію: какъ ни абстрактно на примѣръ философское ученіе Гегеля, но нельзя сказать, чтобы оно не гармонировало съ извѣстными политическими началами, преобладавшими въ то время въ прусской монархіи, и его философія исторіи, какъ мы увидимъ, не осталась безъ вліянія отъ окружавшей самого философа дѣйствительности; тоже можно замѣтить и о духѣ философіи Декарта, которая шла рядомъ съ государственными теоріями его современника кардинала Ришелье. Оба они явились въ одно время новаторами въ двухъ сферахъ: въ жизни

и въ наукѣ; оба возстали противъ господствовавшаго до нихъ порядка вещей, и оба сходились въ мысли о необходимости отлить общество изъ одного ума, изъ одной мысли и воли, въ одну форму. И это нисколько не удивительно, потому что одни и тѣ же общественныя потребности вызвали и государственную систему Ришелье, и научную теорію Декарта. Трудъ Декарта, къ анализу котораго мы приступимъ теперь, и нѣкоторыя біографическія данныя, подъ вліяніемъ которыхъ развивались его идеи, подтверждаютъ справедливость вышеприведенныхъ нами замѣчаній о духѣ ученія Декарта.

Вотъ какимъ образомъ Декартъ самъ выражается въ одномъ мѣстѣ о назначеніи своего произведенія, говоря собственно только о томъ языкѣ, на которомъ онъ рѣшился написать его: „Если, говоритъ онъ, я пишу на французскомъ языкѣ, языкѣ своей родины, а не на латинскомъ языкѣ своихъ наставниковъ, то причина того заключается въ томъ, что я рассчитываю на тѣхъ, которые обладаютъ здравымъ смысломъ, во всей его чистотѣ, скорѣе нежели на тѣхъ, которые вѣрятъ въ однѣ старыя книги.“ Очевидно, Декартъ хотѣлъ порвать всѣ свои сношенія съ средними вѣками, которыя, безъ сомнѣнія, и при Декартѣ не переставали тяготѣть надъ умомъ чловѣка XVII столѣтія и не только въ отношеніи интеллектуальномъ, но даже и въ самой практической жизни. А потому Декартъ, въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ произведеній (*Les passions de l'ame*,

1649) выразился въ этомъ отношеніи еще болѣе рѣшительно: „Мы, писалъ онъ, смотримъ больше на слова, нежели на вещи; мы — рабы формъ, и весьма многіе изъ насъ считаются религіозными, между тѣмъ какъ они не болѣе, какъ фанатики и суевѣры, которые считаютъ себя совершенствомъ, потому что часто ходятъ въ церковь, бормочатъ молитвы, носятъ короткіе волоса, постытятся и подаютъ милостыню. Эти люди считаютъ себя до того пріятными Богу, что Богу угоденъ всякій ихъ поступокъ; это—люди, которые, подъ маскою религіи, удовлетворяютъ самымъ преступнымъ страстямъ, выдаютъ города, умерщвляютъ королей и душатъ народъ только за то, что люди не раздѣляютъ ихъ мнѣнія.“ Какъ видно изъ этихъ словъ, Декартъ былъ не болѣе доволенъ нравственною жизнью своихъ современниковъ, какъ и ихъ интеллектуальнымъ бытомъ. Самому Декарту приходилось быть въ самыхъ частыхъ и разнообразныхъ столкновѣніяхъ съ людьми; это не былъ кабинетный ученый, и дѣйствительность была для него гораздо лучшею школою, нежели іезуитская коллегія *La Flèche*, на его родинѣ, въ Туренѣ. Шестнадцатилѣтній юноша не разъ задумывался о смыслѣ всего своего обученія, и результаты его казались ему ничтожными. Оставивъ школу, Декартъ предался со всѣмъ увлеченіемъ свѣтской жизни, поступилъ въ военную службу къ Морицу Нассаускому, дрался въ Германіи въ имперскихъ войскахъ, и ему было 23 г., когда движеніе арміи забросило его на зимнія квар-

тиры въ Нейбургъ, на Дунаѣ. Тамъ, на бивуакахъ, Декартъ задумалъ въ первый разъ планъ своего *Discours sur la méthode*. Оставивъ въ послѣдствіи военную службу, онъ долгое время странствовалъ, и наконецъ 33 лѣтъ уѣхалъ изъ Парижа, переселился въ Голландію, гдѣ и издалъ въ свѣтъ давно задуманный трудъ, въ 1637 году, который Кузенъ считаетъ вмѣстѣ годомъ основанія новѣйшей философіи. Преслѣдуемый за свои новыя идеи, Декартъ оставилъ Голландію, и искалъ убѣжища у королевы Христины въ Швеціи, гдѣ впрочемъ онъ прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ. Въ 1650 г., онъ скончался въ Стокгольмѣ; въ послѣдствіи, его останки были перенесены въ Парижъ и положены въ церкви св. Женевьевы, противъ Пантеона.

Ни одинъ писатель не соединяетъ въ такой степени свои идеи съ исторіею развитія собственнаго духа, какъ именно Декартъ, и потому его „Разсужденіе“ служитъ отчасти и автобіографіею автора. Дѣйствительно, вся первая часть упомянутаго произведенія Декарта посвящена исключительно исторіи собственнаго развитія автора; она соотвѣтствуетъ тому, что у Бэкона въ Новомъ Органонѣ называется *pars destruens*; Декартъ, какъ и Бэконъ, объявляетъ съ самаго начала, что онъ не требуетъ рабскаго повиновенія своему методу: „Я не хочу давать другимъ средство руководить ихъ разумъ, и намѣренъ только показать, какимъ образомъ я старался руководить свой собственный разумъ; вслѣдствіе того я надѣюсь быть

нѣкоторымъ полезенъ, и никому не вреденъ.“ Затѣмъ слѣдуетъ интеллектуальная автобіографія автора: Декартъ начинается съ дѣтства, когда его учили наукамъ и увѣряли при этомъ, что науки научаютъ всему, что полезно въ жизни; вѣря этому обѣщанію, Декартъ учился съ жадностью. Но, по окончаніи своего курса, когда его готовы были провозгласить докторомъ, онъ увидѣлъ себя великимъ невѣждою. Декартъ былъ пораженъ такимъ печальнымъ результатомъ своего обученія, тѣмъ болѣе что онъ находился въ лучшей школѣ, и занимался не только не хуже другихъ, но еще лучше, ибо онъ, старался внѣ классныхъ занятій, обогащать свои познанія чтеніемъ. Декартъ задаетъ себѣ вопросъ: откуда же произошла такая бесплодность его познаній? Онъ допускаетъ, что все, чему его учили, было полезно: древніе языки давали средство понимать древнія книги; краснорѣчіе, поэзія, математика, теологія, медицина — всѣмъ этимъ онъ занимался съ успѣхомъ; но въ то же время онъ находилъ, что усиленное изученіе древняго міра сопровождалось незнаніемъ современнаго; краснорѣчіе и поэзія казались ему скорѣе даромъ Неба, нежели предметомъ изученія; онъ былъ убѣжденъ, что человѣкъ съ здравымъ смысломъ будетъ говорить краснорѣчивѣе даже и на бретонскомъ нарѣчій, безъ всякой реторики; и безъ *ars poetica* можно сдѣлаться хоронимъ поэтомъ. Одна математика казалась ему весьма солидною наукою, и потому его поражало то обстоятельство, что до него никто и ни-

чего на ней не построилъ. Особенно ему представлялось безцѣльнымъ историческое обученіе, помимо того, что оно преисполнено сказокъ; „но даже и въ тѣхъ случаяхъ, говорить Декартъ, гдѣ исторія вѣрно передаетъ прошедшее, какая польза!? Насъ хвалятъ за хорошо выученный урокъ о подвигахъ паладиновъ древней Франціи, и тѣ же люди, которые хвалятъ, осмѣютъ насъ, если мы вздумаемъ сегодня подражать нравамъ и привычкамъ этихъ паладиновъ“.

Переходя къ состоянію современной ему теологіи, Декартъ выражается еще съ большею горечью: „Я очень уважалъ эту науку, и думалъ имѣть болѣе другихъ правъ на небо; но убѣдившись, что въ этомъ отношеніи послѣдній невѣжда равенъ съ первымъ ученымъ, и что вся теологія выше человѣческаго разума, я, не обладая ничѣмъ, что было бы выше человѣческаго разума, скоро увидѣлъ, что и въ этой области мнѣ нечего дѣлать.“

Состояніе философіи приводило его въ такое же отчаяніе, послѣ того какъ онъ сознался, что величайшіе и лучшіе умы не подвинули насъ ни на шагъ ближе къ истинѣ.

Подъ впечатлѣніемъ такихъ размышленій, говоритъ Декартъ, онъ оставилъ школу и пустился въ свѣтъ, надѣясь тамъ найти что нибудь болѣе положительное; онъ завелъ обширное знакомство, попалъ ко двору, поступилъ въ военную службу, и пришелъ къ заключенію, что этотъ новый міръ, при всѣхъ своихъ

недостаткахъ, лучше того, который онъ оставилъ позади себя:

„Мнѣ казалось, говорить Декартъ, что я могу найти гораздо больше истины въ разсужденіи простыхъ людей о предметахъ, которые важны для нихъ, и гдѣ ошибка влечетъ за собою немедленное наказаніе, нежели въ ученыхъ диссертацияхъ людей кабинетныхъ, которые спекулируютъ безъ малѣйшаго страха и даже гордятся тѣмъ, что имъ удается иногда отступить отъ здраваго смысла, ибо для того нужно гораздо больше искусства.“

Но, остановившись на здоровомъ смыслѣ, какъ на лучшей школѣ, Декартъ скоро пришелъ снова въ отчаяніе, найдя бездну противорѣчій и въ здоровомъ смыслѣ. Тогда Декарту не оставалось ничего болѣе, какъ обратиться къ послѣднему источнику, болѣе удачному, а именно изучить самого себя. Но для того ему нужно было удалить себя и отъ книгъ, и отъ людей, съ которыми онъ выросъ; такъ, онъ поступилъ офицеромъ въ имперскую армію во время Тридцатилѣтней войны; случай загналъ его въ уединенный городокъ, гдѣ онъ былъ всю зиму прикованъ къ своему камину и жилъ вдалекѣ отъ людей.

Въ этомъ уединеніи Декартъ напалъ на первую мысль, которая легла потомъ въ основѣ его ученія, и которая потому имѣетъ всю важность для изучающихъ роль каждой философской системы въ философіи исторіи. Вотъ подлинныя его слова:

„Первая мысль, на которую я попалъ, говорить Декартъ, состояла въ томъ, что въ трудахъ, составленныхъ изъ кусковъ и притомъ руками многихъ мастеровъ, не можетъ быть такого совершенства, какъ въ трудѣ, совершенномъ одною рукою. Потому всё видягь, что зданіе, выстроенное и задуманное однимъ архитекторомъ гораздо красивѣе и удобнѣе, нежели тѣ, которыя отстраивались многими и притомъ изъ старыхъ стѣнъ, предназначавшихся для другихъ цѣлей. Потому же самому тѣ старые города, которые въ началѣ были не болѣе, какъ мѣстечками, и разрослись впоследствии въ большіе города отъ времени, обыкновенно такъ дурно расположены по сравненію съ тѣми городами, которые выросли по плану одного инженера въ равнинѣ. Смотри на разрозненные дома старыхъ городовъ, находимъ часто, что они выстроены болѣе или менѣе съ искусствомъ, но дурно расположены: тамъ стоитъ большой домъ, тамъ — маленькій; улицы идутъ криво и неровно, и хочется сказать, что скорѣе случай, нежели воля людей, одаренныхъ разумомъ, могла расположить ихъ такимъ образомъ. И если приходится иногда, по временамъ, назначать особья лица для наблюденія за частными зданіями, чтобы украшать ими городъ, то всякій при этомъ замѣтитъ, какъ трудно, поправляя чужую работу, сдѣлать что нибудь совершенное. Точно также я думалъ, что и народы, которые нѣкогда были дикими и образовались мало по малу, устраивали свои узаконенія,

по мѣрѣ неудобствъ преступленія и ссоръ, побуждавшихъ къ тому, никогда не будутъ такъ организованы, какъ тѣ, которые съ самаго начала своей жизни получили свое законодательство вдругъ отъ мудраго законодателя. Точно также истинная религія, данная однимъ Богомъ, будетъ совершеннѣе другихъ. Переходя къ извѣстнымъ человѣческимъ порядкамъ, я скажу, что если Спарта была нѣкогда цвѣтушею, то тѣмъ она обязана не совершенству отдѣльныхъ постановленій своего закона, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ нихъ были очень странны и даже противорѣчили добрымъ нравамъ, но именно тому, что они, бывъ составлены однимъ лицомъ, направлялись къ одной цѣли. И еще я думаю, что книжныя науки, по крайней мѣрѣ тѣ, доводы которыхъ только вѣроятны, и которыя не имѣютъ никакихъ доказательствъ, слагаясь и разростаясь мало по малу изъ мнѣній различныхъ лицъ, не такъ приближаются къ истинѣ, какъ простыя размышленія человѣка, одареннаго здравымъ смысломъ и рассуждающаго о присущихъ ему вещахъ. И еще я думаю, что мы, бывъ дѣтьми, прежде нежели сдѣлались людьми, долгое время управлялись своими наклонностями и совѣтами наставниковъ, которые очень часто противорѣчатъ другъ другу, и которыхъ совѣты не всегда наилучшіе, а потому всѣ наши сужденія не могутъ быть такъ чисты и солидны, какъ если бы мы могли пользоваться нашимъ разумомъ съ самаго рожденія и имъ однимъ руководиться въ жизни.“

Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія Декарта, вся предшествовавшая цивилизація человѣчества страдала именно тѣмъ, что она представляла собою какое-то фантастическое растеніе, вѣтви и корни котораго расползались по произволу въ разныя стороны, безъ всякой возможности образовать изъ всей этой массы чтонибудь цѣлое и единое; только въ тѣхъ отдѣльныхъ случаяхъ, гдѣ являлась на сцену мысль и воля одного лица, перестроившаго общество по одному задуманному плану, общество принимало опредѣленную фізіономію. Въ дальнѣйшемъ ходѣ цивилизаціи, прошедшее скорѣе тяготѣетъ надъ каждымъ новорожденнымъ вѣкомъ, нежели содѣйствуетъ правильному образованію его идей, и каждая новая эпоха, подобно новорожденному человѣку, видитъ себя въ необходимости, по крайней мѣрѣ первое время, слѣдовать наставленію прошедшаго, которое не всегда назидательно, и притомъ противорѣчитъ взаимно. Декартъ самъ хорошо понималъ, что такое его ученіе можетъ быть дурно растолковано и повлечетъ за собою величайшее зло, если кто захочетъ слѣдовать ему со всею точностью и буквальною, а потому онъ поспѣшилъ самъ предупредить зло: „Справедливо, говоритъ онъ, что мы не видимъ того, чтобы кто нибудь срылъ всѣ дома города, съ цѣлью перестроить его по новому рисунку, и сдѣлать улицы болѣе красивыми; но мы видимъ часто, что отдѣльные хозяева ломаютъ свои собственные дома, чтобы перестроить ихъ, и даже они

бываютъ къ тому принуждены, особенно если домъ угрожаетъ паденіемъ, и его фундаментъ не проченъ“.

Поставляя себѣ такой примѣръ, Декартъ ограничивается ломкою одного собственнаго зданія, т. е. постройки человѣческаго духа, и представляетъ въ своемъ методѣ одну модель для новаго зданія, въ основаніи котораго легло знаменитое начало Картезианской философіи: *Je pense, donc je suis. Cogito ergo sum*

Оставляя въ сторонѣ самую философію Декарта, ограничимся разборомъ тѣхъ его идей, которыя входятъ въ область философіи исторіи. *Le bon sens, здравый смыслъ*, какъ единственное богатство, распределенное равномерно между людьми, служитъ у Декарта потому послѣднею основою, на которой можетъ опереться *единство* въ человѣческомъ порядкѣ вещей; но и онъ исполненъ противорѣчій и затемненъ теоріями, возникшими изъ прошедшаго; а потому недѣлимый разумъ, заимствующій свои идеи изъ себя, какъ изъ единственнаго источника, можетъ одинъ привести человѣчество къ обобщенію въ идеяхъ и нравахъ. Послѣдующая исторія собственнаго отечества Декарта показала, къ какому результату можетъ приводить его ученіе въ практической жизни, и вмѣстѣ послужила критикою его. Вѣкъ Лудовика XIV былъ, повидимому, именно тѣмъ временемъ, когда идеи Декарта нашли себѣ первое примѣненіе, когда исчезли всѣ слѣды своеобразности средневѣковой жизни, когда отдѣльныя цивилизаціи должны были утратить особенности

своей физиономіи, и когда жизнь всего государства вытекала изъ одного разума и одной воли, такъ что самое государство дѣлалось однимъ *Я*; но Версаль съ своими прямыми аллеями и подстриженными деревьями могъ бы заставить Декарта пожалѣть объ уродливыхъ городахъ, выстроенныхъ временемъ, съ ихъ кривыми улицами и фантастическими домами. Ученіе Декарта создало высокую апотеозу недѣлимаго чистаго разума, но оно не дало средствъ противъ притязанія въ исторіи, которое можетъ сдѣлать авторитетъ, считающій себя именно такимъ разумомъ; и такой разумъ Франціи конца XVII вѣка нисколько не былъ лучше другого разума, который въ концѣ XVIII вѣка возсѣдалъ на колесницѣ въ видѣ женщины, носившей даже самое имя *разума*. Декартъ, какъ Бэконъ, оказалъ большую услугу человѣческой мысли, очистивъ ее отъ наростовъ времени, которыя мѣшали правильному развитію мысли, но новая дорога, указанная имъ, ведетъ человѣчество къ такому узкому единству, въ которое оно не можетъ войти, не утративъ многихъ лучшихъ жизненныхъ силъ. Потому Ж. Б. Вико, какъ мы видѣли*), справедливо возсталъ противъ примѣненій Картезіанизма къ исторіи человѣческихъ обществъ, и, отдавая справедливость его ученію съ одной стороны, замѣтилъ, что ученіе объ исключительномъ господствѣ недѣлимаго разума въ

*) См. выше, стр. 26.

исторіи, какъ бы оно ни было, повидимому, противно интересамъ абсолютизма, само ведетъ прямо къ абсолютизму. И дѣйствительно, всѣ революціи, выходящія изъ оппозиціи абсолютизму, и полагающія своею основою идеи отвлеченнаго разума, заключались тѣмъ, противъ чего они возстали, а именно абсолютизмомъ; всѣ политическіе геніи, какъ Августъ въ древнемъ мірѣ, и Наполеонъ I въ новомъ, неся на своихъ знаменахъ самыя гуманныя идеи, превращались въ деспотовъ, на основаніи того же самаго закона.

Но прежде нежели время произнесло свой судъ надъ теоріею Декарта въ ея примѣненіи къ человѣческому порядку вещей, она, какъ крайность, вызвала противъ себя другую крайность, и въ томъ же столѣтіи явилось другое „Разсужденіе“ а именно *Discours sur l'histoire universelle*, т. е. „Разсужденіе о всеобщей исторіи“ Боссюэта. Оно обнимаетъ всю исторію рода человѣческаго съ древнѣйшихъ временъ до эпохи Карла Великаго, и написано съ цѣлью доказать прямо противоположное идеямъ Декарта о всемогуществѣ человѣческаго разума, а именно, его полное ничтожество въ исторіи. Боссюэтъ не нашелъ лучшаго средства предупредить зло, могущее развиться на основаніи ученія Декарта, какъ обратиться къ другому злу и совершенно отказать человѣческому разуму въ его вліяніи на судьбу исторіи рода человѣческаго. Бокль приводитъ въ извиненіе Боссюэта то, что и самыя замѣчательныя умы, какимъ именно былъ

умъ Боссюэта, всегда осуждаются на извѣстное развитіе тою средою, которою они обставлены: они даже умышленно стараются избѣгать и такого общества людей и такихъ книгъ, которыя могли бы привести ихъ къ инымъ мыслямъ; и потому неудивительно, что въ жизни католическаго монастыря и люди, и книги, говорили Боссюэту о всемъ, кромѣ могущества разума человѣческаго; а чего Боссюэтъ не нашель въ монастырѣ, того не сыскаль онъ и въ исторіи человѣчества. Но, помимо своего протеста противъ рачіонализма въ исторіи, произведеніе Боссюэта, при всемъ неоспоримомъ его талантѣ, не представляетъ особеннаго научнаго значенія, по совершенному отсутствію критики: онъ говоритъ о временахъ потопа и патриарховъ съ такою же увѣренностью, съ какою бы онъ могъ говорить о вѣкѣ Лудовика XIV; все развивавшееся внѣ еврейской образованности, въ его глазахъ теряетъ всякое значеніе; если онъ и упоминаетъ о магометанствѣ, то только съ тѣмъ, чтобы имѣть случай выразить свое негодованіе лжепророку; если же дѣло дойдетъ до католическаго епископа, какъ напримѣръ Мартина Турскаго, то Боссюэтъ восклицаетъ: *il remplit tout l'univers du bruit*, т. е. „онъ исполнилъ всю вселенную молвою о себѣ“, и все это только потому что онъ основалъ значительный монастырь въ г. Турѣ, въ которомъ и провелъ всю жизнь въ совершенномъ уединеніи.

Но Боссюэтъ не заградилъ пути идеямъ Декарта,

и скорѣе подвергъ опасности то дѣло, за которое онъ ратовалъ: самая мысль его *доказать* ничтожество человѣческаго разума въ исторіи была сама по себѣ раціонализмомъ, а между тѣмъ приемы Боссюэта всего болѣе противны раціонализму, потому что чужды всякой критики. Такія внутреннія противорѣчія, которыми страдаютъ всѣ произведенія, подобныя труду Боссюэта, скорѣе являются союзниками своихъ противниковъ, нежели вредятъ ихъ успѣху. Дѣйствительно, XVIII ст., въ своемъ главномъ теченіи, продолжало идеи не Боссюэта, но скорѣе Декарта и Бэкона, и продолжало ихъ съ страстнымъ увлеченіемъ. Историческая дѣятельность Вольтера отразила на себѣ вполне вліяніе Картезіанизма: стремясь открыть въ недѣлимомъ разумѣ судьбу всей эпохи, Вольтеръ пишетъ жизнь Карла XII, Лудовика XIV; еще болѣе сродства съ идеями Декарта и Бэкона представляетъ позднѣйшее сочиненіе Вольтера и несравненно болѣе замѣчательное, а именно, *Essai sur les moeurs. 1758*. Оно начинается съ Карла Великаго, на которомъ остановился Боссюэтъ, и какъ бы продолжаетъ „Разсужденіе“ послѣдняго, но, конечно, не по основнымъ идеямъ: Вольтеръ въ своихъ убѣжденіяхъ примыкаетъ тѣсно къ теоріямъ Бэкона и Декарта; прогрессъ въ успѣхахъ образованности, какъ онъ отражается въ изобрѣтеніяхъ, этомъ торжествѣ человѣка надъ внѣшнею природою, служитъ программю какъ Новаго Органона, такъ и „Опыта о нравахъ“ Вольтера. „Я желалъ бы, гово-

речь Вольтеръ, написать исторію не войнъ, а общества, и знать, какъ жили люди въ семействѣ, и каковы были искусства, которыми они занимались;“ „ибо, замѣчаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, мою цѣль составляетъ исторія человѣческаго духа, а не подробности ничтожныхъ событій; меня вовсе не занимаютъ тѣ феодальные бароны, Пюизе или Монлери, съ которыми воевали французскіе короли, но я желалъ бы изучить постепенный переходъ человѣчества отъ варварскаго быта къ *цивилизации*.“ Вольтеръ, правда, не употребляетъ послѣдняго выраженія: *цивилизация*, и называетъ это понятіе словомъ, отзывающимся изящнымъ вѣкомъ Лудовика XIV: *la politesse du peuple*; но основная мысль о сущности историческаго содержанія одна и та же, какъ и мы понимаемъ ее въ настоящее время.

Вслѣдъ за Вольтеромъ должно поставить двухъ его современниковъ, Тюрго и Кондорсѣ. Сочиненіе Тюрго, подъ заглавіемъ: *Discours sur le progrès de l'esprit humain*, осуществляетъ то, о чемъ только думалъ Бэконъ, предполагая составить картину человѣческаго прогресса въ своей *Scala intellectus* (Лѣстница разума), которая должна была образовать одну изъ частей его „Великой Инставраціи“. Въ подобномъ же направленіи писалъ и Кондорсѣ свой *Esquisse des progrès de l'esprit humain*.

Всѣ такія работы съ фізіологическимъ направленіемъ мало по малу приводили къ мысли, что исторія рода человѣческаго, при своей тѣсной связи съ физи-

ческой природою, есть собственно ни что иное, какъ именно исторія этой физической природы, какъ она перерабатывалась руками человѣка; фізіологическая школа научнымъ образомъ, такъ сказать, обоготворила природу, и возвратилась къ своему прототипу космогонической эпохи, съ тѣмъ только различіемъ, что древняя фізіологическая школа облекала свои идеи въ космогоническія и теологическія формы, а новая—въ научныя формы, и сдѣлала исторію человѣчества именно экономической наукою; а такъ какъ законы физической природы намъ болѣе извѣстны и доступны, то весьма естественно было напасть на простую мысль, что идеаль исторіи заключенъ въ дальнѣйшихъ судьбахъ матеріальнаго міра. На этомъ новомъ пути, который собственно можетъ быть названъ въ прямомъ смыслѣ фізіологическимъ, явились представителями: въ прошедшемъ столѣтіи, *Гердеръ*, и въ наше время, *Бюкль*.

Гердеръ родился близъ Кенигсберга въ 1744 г., и умеръ въ Веймарѣ, 1803. Его философія исторіи, какъ она была изложена имъ въ сочиненіи: *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*. Riga. 1784. т. е. „Идеи о философіи исторіи человѣчества“ *) имѣетъ то преимущество предъ работами всѣхъ предшественниковъ Гердера, что она въ первый разъ прямо и ис-

*) Лучшее изданіе принадлежитъ *Людсму*. Лейпц. 1821.—Франц. переводъ: *Edgar Quinet, Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité*. Par. 1834.

ключительно относится къ своему предмету, давая ему притомъ то названіе, которое употребляется нами и до сихъ поръ; сверхъ того трудъ Гердера представляетъ законченность, которой мы не видѣли ни у кого изъ его предшественниковъ. А потому, если Вико считается отцемъ философіи исторіи за первую мысль о попыткѣ указать общіе законы исторіи чело-вѣческихъ обществъ, то честь окончательной ея выработки, хотя и въ противоположномъ направленіи, принадлежитъ собственно Гердеру. Вико болѣе предчувствовалъ то безконечное повтореніе, въ которомъ одинъ народъ идетъ по стопамъ своихъ предшественниковъ и уступаетъ свой постъ грядущимъ національностямъ; Гердеръ ясно и опредѣленно выразилъ свое убѣжденіе въ безконечности прогресса.

„Тяжелое зрѣлище, говоритъ онъ въ самомъ началѣ своихъ „Идей“, представляютъ революціи земли, накидавшія развалины на развалины, эти начала безъ конца, эти перевороты въ судьбахъ безъ одной общей цѣли! Только *цѣль образованности* связываетъ эти развалины въ одно цѣлое; правда, въ этомъ цѣломъ исчезаютъ недѣлимые личности, но духъ чело-вѣчества живетъ одинъ безсмертный и непрерывный.“

Эти слова Гердера даютъ намъ предчувствовать всю его систему философіи исторіи, и не смотря на фізіологическое направленіе, которому безпрестанно слѣдуетъ нѣмецкій философъ, онъ постоянно смѣшиваетъ въ себѣ историка и поэта. Гердеръ начинаетъ

сь того, что беретъ въ руки кусокъ гранита, выкину-
таго на земную кору какимъ нибудь подземнымъ пе-
реворотомъ, и видитъ въ немъ первый фактъ исторіи
человѣчества, первое усиліе матеріальнаго міра до-
стигнуть сознанія, котораго онъ наконецъ и дости-
гаетъ въ человѣкѣ, высшемъ цвѣтѣ природы. Вся
внѣшняя природа, на всѣхъ степеняхъ своего разви-
тія, отъ минеральнаго царства до высшихъ проявленій
въ совершеннѣйшихъ породахъ животныхъ, есть только
почка (die Knospe), изъ котораго выйдетъ послѣдній
цвѣтъ творенія—человѣкъ. Вся дѣятельность природы,
ея жизнь во всѣхъ метаморфозахъ, представляетъ без-
конечную цѣпь прогресса, въ которой каждое послѣ-
дующее звено развиваетъ ясно то, что въ предъиду-
щемъ заключено скрытно: камень живетъ и разла-
гается въ почву, чтобы дать мѣсто растенію; такимъ
образомъ природа достигаетъ возможности движенія,
но оставаясь на мѣстѣ, какъ трава, которая растетъ,
и не трогаясь съ мѣста; растеніе силится быть жи-
вотнымъ и, облекшись въ его кости и мясо, полу-
чаетъ полную свободу движенія, ограниченнаго впро-
чемъ тою мѣстностью, которая можетъ поддерживать
въ немъ жизнь и доставлять средства къ существо-
ванію; животное и растеніе вмѣстѣ служатъ пищею
человѣку, входятъ въ его плоть и кровь, и природа
достигаетъ въ человѣкѣ сознанія, способности мыслить.

Вотъ общая картина міротворенія, такъ сказать,
исторія человѣка до человѣка, какъ представляетъ ее

Гердеръ, копируя тѣ явленія, которыя повторяются впрочемъ ежедневно на нашихъ глазахъ. Но за тѣмъ система Гердера принимаетъ на себя новый и еще болѣе грандіозный характеръ. Закончивъ картину первобытнаго творенія, онъ раздѣляетъ процессъ развитія вселенной на два громадныхъ міра: одинъ міръ, раскинувшійся на огромномъ, но ограниченномъ пространствѣ, повидимому, измѣняетъ времена года, климаты, но въ сущности продолжаетъ обращаться около себя, остается неподвижнымъ и потому находится въ состояніи вѣчнаго покоя. Другой міръ родился въ томъ же самомъ ограниченномъ пространствѣ, но, выйдя изъ него, бросился во время и началъ свою безконечную работу, какъ безконеченъ самъ театръ времени. Отсюда двѣ исторіи: одна—исторія физическаго міра въ пространствѣ, и потому ограниченная, повторяющаяся и сохраняющая покой; другая—исторія того же физическаго міра, но вступившаго въ лицѣ человека во время, и послѣдовавшаго за человекомъ въ его безконечномъ развитіи; такъ, человекъ сопровождаютъ собака, лошадь, зерно, и переходятъ вмѣстѣ съ нимъ предѣлы, указанные ихъ первобытной жизни природой. Если бы Гердеръ жилъ въ наше время, онъ могъ бы представить другія чудеса торжества человеческой мысли, и указать на то, какъ цѣлые города сошли съ своихъ мѣстъ и приблизились другъ къ другу: гдѣ прежде было пространство нѣсколькихъ дней, тамъ раздѣляютъ человека отъ человека нѣ-

сколько часовъ, а электричество почти совсѣмъ уничтожаетъ пространство.

При такихъ воззрѣнiяхъ Гердера, система и методъ его философіи исторiи дѣлаются понятными сами собою. Отодвинувъ исторiю человѣка къ первому дню существованiя природы, Гердеръ долженъ начать свою философію исторiи съ изученiя самой сцены исторiи до появленiя на ней главнаго дѣйствующаго лица, а именно, человѣка. Горы, излучистые берега морей, извилины рѣкъ были первыми неизгладимыми письменами исторiи человѣка: они очерчивали театръ будущей его дѣятельности и опредѣляли ея характеръ. Духъ Гердера, такъ сказать, витаетъ надъ пустымъ пространствомъ, ожидающемъ прибытія человѣка, и ищетъ на скалахъ, въ ущельяхъ, въ долинахъ рѣкъ, первыя опредѣленiя будущей дѣятельности народовъ, программу будущей исторiи человѣчества. Онъ воспроизводитъ предъ нами великую библейскую сцену, когда Вѣчный показываетъ человѣку его будущее жилище, и называетъ по именамъ животныхъ и растенiя, которыя послужатъ человѣку. Это описанiе нашей планеты выполнено у Гердера съ такою изумительною ученостью, что впослѣдствiи даже Гумбольдтъ признавалъ описанiе земныхъ поясовъ, какъ оно представлено у Гердера, классическимъ.

Наконецъ, жилище человѣка разсмотрѣно; является на сцену самъ человѣкъ, это послѣднее звено творенiя, въ которомъ совмѣщенъ весь предъидущій міръ,

или, лучше сказать, который самъ по себѣ можетъ составить отдѣльный міръ. А потому Гердеръ переходитъ отъ анатоміи земли къ анатоміи человѣка и ищетъ въ самомъ его механизмѣ, въ его органахъ, тѣхъ опредѣленій, которыя могли бы указать на будущую исторію человѣчества и на цѣль. Съ тѣмъ же остроуміемъ, съ тою же глубиною мысли и ученостью, Гердеръ слѣдитъ за каждою вѣною, за каждымъ біеніемъ пульса, проникаетъ въ самыя темныя углы сердца и извилины мозга, и тамъ уже читаетъ будущую судьбу исторіи человѣчества. Всѣ единогласно признаютъ это мѣсто *) въ философіи исторіи Гердера, гдѣ онъ представляетъ описаніе человѣческаго тѣла превосходнымъ по совершенству и отчетливости. Вотъ тотъ послѣдній результатъ, къ которому приходитъ Гердеръ: человѣкъ, какъ о томъ свидѣтельствуетъ самое построеніе его тѣла, предназначенъ къ свободѣ мысли, къ дару слова, къ безсмертію.

Изслѣдовавъ такимъ образомъ исторію въ видѣ ея главныхъ данныхъ, а именно, въ очертаніи физической природы и природы человѣка, Гердеръ приступаетъ къ изложенію того длиннаго пути, который пройденъ человѣкомъ до послѣднихъ открытій и изобрѣтеній новаго времени, этой послѣдней станціи продолжительнаго путешествія, совершеннаго человѣкомъ на землѣ.

*) См. первую часть IV книги.

Остановимся на этой исторической панорамѣ, которую весьма искусно развертываетъ предъ нашими глазами Гердеръ, начиная съ перваго пробужденія духовной природы человѣка отъ тяжелаго матеріальнаго сна до послѣдняго движенія его мысли, которое было сдѣлано человѣкомъ сегодня, вчера, съ цѣлью разогнать еще не совсѣмъ окончившіяся грезы сновидѣній. Эта часть системы Гердера напоминаетъ собою первую половину мѣта о Пигмаліонѣ и Галатеѣ. Гердеръ, какъ Пигмаліонъ, устроилъ сначала великолѣпный пьедесталъ изъ физической природы, и поставилъ на него человѣчество, какъ безжизненную статую Галатеи, добытую имъ изъ лучшихъ матеріаловъ той же самой физической природы. Но этой статуи недостаетъ жизни; она пристала къ своему пьедесталу и не можетъ съ него сойти. Кто же заставитъ ее выйти изъ своего оцѣпенѣлаго состоянія и сдѣлать первый шагъ мысли, которымъ откроется вся будущая безконечная дѣятельность человѣка? Въ самой физической природѣ есть много, что побудитъ мысль итти впередъ, но нѣтъ ничего, что могло бы дать толчекъ для первой мысли. Мы видѣли, Вико искалъ въ первомъ ударѣ грома источникъ духовнаго пробужденія въ формѣ страха; Гердеръ не останавливается на такомъ предположеніи. Въ условіяхъ организма человѣка не находится также никакихъ данныхъ для того; и человѣкъ, повидимому, является осужденнымъ на вѣчный застой, потому что, по положенію Гердера, человѣкъ

всегда есть то, чѣмъ онъ можетъ быть по условіямъ мѣста и времени, а слѣдовательно весьма не многое; между тѣмъ, исторія показываетъ, что человѣкъ сдѣлался именно тѣмъ, чѣмъ онъ не могъ быть при условіяхъ, которыя его окружали въ первоначальное время. Первый человѣкъ, безъ языка, безъ религіи, безъ общества, долженъ былъ повторять въ себѣ одни вѣчные законы всякой другой физической твари, не дѣлая шага впередъ; человѣкъ походилъ на капиталъ зарытый въ землю, и который не можетъ ни увеличиваться, ни уменьшаться; отъ его обращенія не могли наростать проценты, какими является образованность отъ постояннаго обращенія человѣческой мысли. Между тѣмъ такіе проценты явились; откуда они могли явиться? И Гердеръ, какъ Пигмаліонъ, видитъ себя принужденнымъ обратиться съ просьбою къ Юпитеру вдохнуть въ свою Галатею движеніе жизни, и такимъ образомъ Галатея сходитъ съ своего пьедестала.

Очевидно, Гердеръ, не смотря на чисто физиологическія основы своей философіи исторіи, долженъ былъ допустить моментъ въ жизни человѣчества, когда оно стояло внѣ пространства и времени и находилось въ прикосновеніи съ третьимъ условіемъ своего бытія. На такое событіе указываютъ традиціи всѣхъ народовъ, и эти традиціи свидѣтельствуютъ о какой то эпохѣ, когда человѣкъ стоялъ внѣ тѣхъ условій, которыми онъ окруженъ въ настоящее время,

когда откровение высшей силы находилось въ непосредственномъ общеніи съ человѣкомъ. Богъ видѣлъ человѣка совершеннѣйшимъ животнымъ, но подавленнымъ внѣшнею природою, и далъ ему языкъ и религію, силою которыхъ была произведена первая революція въ судьбѣ человѣка, но отъ нея не осталось никакихъ историческихъ слѣдовъ. И каждый разъ, когда человѣкъ на своемъ пути изнемогалъ подъ тяжестью физическаго міра и недостатковъ собственнаго организма, откровение повторялось снова. Такимъ образомъ, исторія у Гердера является рядомъ революцій, задачу которыхъ составляло постоянное освобожденіе человѣка, постоянный его протестъ противъ матеріальной силы. Исторія можетъ окончиться только тогда, когда человѣкъ не найдетъ въ себѣ больше достаточныхъ силъ къ такому протесту, и тогда человечеству не останется ничего, какъ испытать судьбу Катона Утическаго, протестовавшаго своею смертію противъ появленія новыхъ условій общественнаго быта.

Какимъ же образомъ человечество совершало до сихъ поръ свой историческій путь? Пробудившись отъ своего животнаго состоянія на Востокѣ, оно развило богатую образованность на самомъ мѣстѣ своего рожденія, и потомъ заснуло на лонѣ вѣры въ оріентальные символы; тогда историческая жизнь перенеслась на берега Средиземнаго моря и, породивъ цивилизацію грековъ и римлянъ, вторично предалась

сну, убаюканная величіемъ своихъ побѣдъ; въ эту самую минуту, изъ сѣверныхъ лѣсовъ, человѣчество предъявило протестъ противъ насилія римлянъ, свергло ихъ истуканы, и положило начало современному міру. Человѣчество, у Гердера, является путникомъ, оставившимъ давно уже свою родину на востокѣ въ Индіи; оно идетъ сначала въ Вавилонъ, отдыхаетъ тамъ и спѣшитъ снова далѣе на западъ въ Персію, Лидію и Египетъ; оттуда удаляется въ Грецію; изъ Греціи переходитъ къ этрускамъ, римлянамъ, отъ послѣднихъ къ германцамъ; отъ германцевъ... Но мы это также мало знаемъ, какъ мало знали римляне, куда направится человѣчество отъ нихъ. Во всякомъ случаѣ, заключаетъ Гердеръ, современная германская цивилизація служитъ пока послѣднею переходною ступенью, звеномъ, связующимъ всѣ прошедшія цивилизаціи съ грядущими. Какія могутъ быть эти грядущія цивилизаціи? Но опредѣленный отвѣтъ на подобный вопросъ не можетъ обойтись безъ мистицизма; Хилиасты отвѣчали на него, и Гердеръ не могъ сказать ничего другого, хотя впрочемъ нельзя не сознаться: Гердеръ и въ своей фантазіи сохраняетъ печать величія и геніальности, обрацикъ которой намъ представляютъ иногда первоклассные поэты человѣчества. Вотъ собственные слова Гердера: *)

*) См. 6-ую гл. V кн. первой части, подъ заглавіемъ: *Der jetzige Zustand der Menschen ist wahrscheinlich das verbindende Mittelglied zweener Welten*, т. е. «Настоящее положеніе людей есть, вѣроятно, связующее звено двухъ міровъ.»

„Въ природѣ все связано тѣсно, одно состояніе вызываетъ и приготовляетъ другое. Если такимъ образомъ человѣкъ есть самое послѣднее и самое совершенное звено, замыкающее собою цѣпь земного творенія, то съ другой стороны (въ силу упомянутаго выше закона) человѣкомъ должна начаться цѣпь новыхъ существъ высшаго порядка, гдѣ человѣкъ является самымъ низшимъ звеномъ, которое служить связью между двумя смежными системами творенія... Потому, какъ человѣкъ имѣетъ преимущество предъ прочими земными тварями, съ которыми онъ связанъ тѣсно, такъ есть одна степень надъ нимъ, скрытая отъ него, но стоящая выше его. Этотъ взглядъ, подтверждаемый всѣми законами природы, одинъ даетъ намъ ключъ къ рѣшенію задачи, поразительный для человѣка, и одинъ можетъ быть настоящею философіею исторіею; ибо только такимъ образомъ можетъ объясниться удивительное противорѣчіе въ бытѣ человѣка. Какъ животное, онъ наклоненъ къ землѣ и привязанъ къ ней, ибо она его жилище; какъ человѣкъ, онъ заключаетъ въ себѣ зародышъ безсмертія, который для дальнѣйшаго своего развитія нуждается совершенно въ иной почвѣ. Какъ животное, онъ можетъ хорошо удовлетворять свои физическія потребности, и люди, которыхъ сердце не возмущается болѣе пламенными и менѣе доступными желаніями, чувствуютъ себя достаточно счастливыми на землѣ; но тѣ, которые вздумаютъ на землѣ искать болѣе высо-

кихъ назначеній, встрѣтятъ около себя одну неполноту и несовершенство. Самые благородные помыслы никогда не осуществляются на землѣ; величайшая чистота мысли и чувства рѣдко бываетъ здѣсь прочна и тверда; земля есть только поприще для испытанія силъ нашего сердца и нашей души.

„Исторія рода человѣческаго, предметы его помысловъ и тѣ результаты, которыхъ онъ достигъ, наконецъ усилія, сдѣланныя имъ, и поднятыя революціи, доказываютъ справедливость того. По временамъ, являются философы, люди добра; они становятся выше другихъ и разливаютъ потокомъ свои мнѣнія, правила, подають примѣръ жизни: нѣсколько волнъ заиграютъ около нихъ, но скоро онѣ уносятся и сглаживаются теченіемъ рѣки; перлы ихъ благородныхъ помысловъ тонутъ въ глубинѣ пропасти; глупцы по прежнему всплываютъ надъ мудрецами, и расточители разоряютъ наслѣдіе мудрости, накопленное ихъ предками. Если же жизнь человѣка здѣсь, въ этомъ мірѣ, далеко не рассчитана на вѣчность, то и эта земля, въ своихъ непрерывныхъ революціяхъ, далеко не можетъ считаться неразрушимымъ памятникомъ, гдѣ искусства имѣли бы возможность развиваться безъ конца; садомъ, въ которомъ растенія не увядали бы; жилищемъ, годнымъ для постоянного обитанія. Мы приходимъ и уходимъ; каждая минута приноситъ и уноситъ міриады живыхъ существъ. Земля есть гостинница для пріѣзжающихъ, дерево, на которое опускаются перелетныя птицы,

чтобы, поднявшись съ него, пуститься въ послѣдній путь. Каждое животное достигаетъ всей своей цѣли на землѣ; одинъ человѣкъ остается въ противорѣчїи съ собою и съ остальнымъ міромъ, потому что, при всемъ совершенствѣ своего матеріальнаго организма, его способности далеко не достигаютъ совершенства даже и при самомъ долгомъ срокѣ жизни. И причина того очевидна: на землѣ человѣкъ былъ послѣднимъ твореніемъ, но надъ землею онъ только первое созданіе, и потому въ высшемъ мірѣ является не болѣе, какъ дитятею, которое дѣлаетъ свои первые опыты. Человѣкъ есть такимъ образомъ представитель двухъ міровъ, и на этомъ-то основана двойственность его существованія.“

И такъ, Гердеръ, въ своей попыткѣ приложить опытное начало къ рѣшенію вопросовъ трансцендентальныхъ, увидѣлъ себя въ томъ же положенїи, какъ и Бэконъ; приведенное нами его заключеніе системы своей философіи исторїи напоминаетъ бэконовское *regnum Dei*, которое не приходитъ *cum animadversione*. Въ духѣ самого Гердера, его историческія идеи превратились въ экстазъ, и когда друзья подошли къ его смертному одру, они нашли у его изголовья нѣсколько строкъ, написанныхъ еще не совсѣмъ остывшею рукою умершаго:

„Перенесенный въ новую сферу, я бросаю около себя вдохновенный взглядъ; я вижу міръ, созерцающій сіяніе высшаго существа, сотворившаго его; небо

служить навѣсомъ Вѣчному....; мой слабый разумъ, согбенный подъ прахомъ земли, не можетъ еще лицезрѣть такихъ величественныхъ чудесъ, и останавливается въ глубокомъ молчаніи....“ Далѣе Гердеръ не могъ писать, его оставили силы, и рука философа остановилась навсегда.

Но внѣ своихъ трансцендентальныхъ попытокъ, теорія Гердера была первымъ яснымъ и опредѣленнымъ шагомъ въ фізіологической школѣ къ тому, чтобы проложить дорогу къ всестороннему рѣшенію вопроса о законахъ развитія человѣческихъ обществъ; Гердеръ даже представилъ обращеніе своего рѣшенія такого вопроса, на сколько то дали ему средствъ естественныя науки, при ихъ положеніи въ концѣ прошедшаго столѣтія. Дальнѣйшій успѣхъ въ этихъ наукахъ и прогрессъ огромный по сравненію со всею ихъ предъидущею судьбою; новое развитіе наукъ социальныхъ, какъ политическая экономія и статистика — все это должно было послужить болѣе прочною основой для дальнѣйшаго развитія фізіологической школы исторіи, и на нашихъ глазахъ англійскій писатель *Бюкль* (Buckle) предложилъ ввести въ исторію чисто-фізіологическіе приемы къ разрѣшенію ея общихъ задачъ. Теорія Бюкля, во всей ея цѣлости, приложена имъ, какъ введеніе къ своему историческому труду, подъ заглавіемъ: „Исторія цивилизаціи въ Англіи“, и составляетъ первыя шесть главъ перваго тома. Основная ихъ идея можетъ быть выражена въ нѣсколькихъ сло-

вахъ: „Люди, говоритъ Бѳкль, объясняли все движеніе въ исторіи двумя ипотезами: или они ссылались на *предопредѣленіе*, основы котораго представляютъ теологическій характеръ, или на *свободу воли* чело-вѣка, выводимую изъ метафизическихъ воззрѣній; ни то, ни другое не вѣрно: исторія есть видоизмѣненіе чело-вѣка природою, и видоизмѣненіе природы чело-вѣкомъ.“ Мы видѣли, что, въ сущности, теоріи Бѳкона и Гердера клонятся уже къ тому; но Бѳкону недоста-вало тѣхъ научныхъ средствъ, которыми могъ распо-лагать Бѳкль для подтвержденія своихъ тезисовъ; а Гердеръ не могъ выдержать фізіологическаго начала до конца и ввелъ въ свои изслѣдованія теологію. Въ первомъ отношеніи, Бѳкль привелъ доказательства ясныя до очевидности, во второмъ — онъ думалъ обой-тись безъ всякихъ ипотезъ.

Въ теоріи Бѳкля нельзя не согласиться безусловно только съ точкою отправленія, изъ которой она могла возникнуть, а именно, что историческая наука отстала безконечно отъ другихъ отраслей чело-вѣческаго поз-нанія; что предметъ желаній всякаго мыслящаго че-ловѣка всегда будетъ состоять въ стремленіи по-строить и эту науку на самыхъ широкихъ началахъ; что, наконецъ, еще долгое время самое исполненіе далеко не будетъ соответствовать такому желанію. Именно этимъ рядомъ мыслей Бѳкль открываетъ свой трудъ, размышляя о томъ пути, котораго держались историки до настоящаго времени, и который, какъ

мы видѣли, расходился по двумъ главнымъ направлѣнiямъ, теологическому и метафизическому. Бѳкъ беретъ на себя тяжелый трудъ поставить исторiю по крайней мѣрѣ на ту высоту, на которой стоятъ нынѣ естественныя науки, признавая впрочемъ, что положенiе натуралиста при опытѣ несравненно выгоднѣе, чѣмъ положенiе историка.

Въ естественныхъ наукахъ, дѣйствительно, точность такъ велика, что человѣкъ, напримѣръ, предугадываетъ впередъ движенiе планетъ; если мы не можемъ сдѣлать подобнаго въ исторiи, то только потому, что ея успѣхи были задержаны убѣжденiемъ, будто судьбы человѣка совершенно таинственны и неисповѣдимы. Это убѣжденiе лежитъ прямо на дорогѣ Бѳкля и противится осуществленiю его надеждъ; а потому онъ вступаетъ съ нимъ въ борьбу и подвергаетъ анализу самое его происхожденiе. Мысль о таинственности судьбы человѣка могла родиться только при попыткѣ рѣшить вопросъ, задаваемый самою жизнью ежеминутно: подчинены ли всѣ наши дѣйствiя опредѣленному закону, или они продуктъ случая или какой-нибудь непостижимой силы? Въ исторiи человѣческой образованности рѣшенiе того вопроса вызвало на сцену два взгляда и два соотвѣтствующiя ему ученiя. Оба они принадлежатъ далекому отъ насъ первобытному состоянiю человѣка, но мы слѣдуемъ имъ и до настоящаго времени, въ различныхъ только формахъ. Первый взглядъ, приписывающiй все случаю, могъ

явиться въ самое древнее время, когда человѣкъ находился въ рукахъ природы, когда вся его историческая дѣятельность состояла въ томъ, что онъ выходилъ на звѣриную или рыбную ловлю; сегодня удалось возвратиться съ добычей, завтра — съ пустыми руками; чего же проще подумать, что такіе факты первоначальной исторіи есть дѣло случая? На высшей степени культуры, человѣкъ долженъ былъ получить другого рода и притомъ прямо противоположныя убѣжденія: онъ познакомился съ земледѣліемъ, которое нуждается уже въ трудѣ человѣка, въ умѣнны устроить орудіе, завести запасные анбары на случай неурожая; человѣкъ усовершенствовалъ приемы охоты, подмѣтилъ время возвращенія птицъ, ихъ привычки; тогда случай началъ мало-по-малу терять значеніе въ его глазахъ; человѣкъ уже не боится случая, какъ прежде: у него собранъ былъ хлѣбъ въ житницу, а въ кладовой лежали куски соленого мяса; тогда, говоритъ Бѣкъ, предъ человѣкомъ начинается въ первый разъ мелькать мысль о періодичности явленій, которыя и были въ позднѣйшее время провозглашены законами природы. Новые опыты и наблюденія расположили человѣка къ отвлеченнымъ размышленіямъ о связи всего существующаго, и онъ, въ противоположность первоначальному убѣжденію о случайности, перешелъ къ другой крайней мысли, что все непременно связано одно съ другимъ, и притомъ именно такъ, какъ то представляется по наружности, что нѣтъ ничего слу-

чайнаго, а потому исторія является непрерывною цѣпью явленій.

Съ теченіемъ времени, оба эти убѣжденія о случайности и о необходимой связи сложились въ два догмата, которые раздѣляютъ насъ и до настоящаго времени: ученіе о случаѣ породило догмать о свободѣ человѣческой воли; ученіе о необходимой связи — догмать о предопредѣленіи. Эти два догмата росли тѣмъ болѣе, чѣмъ скорѣе шли впередъ экономическія условія общества; успѣхъ матеріальнаго благосостоянія привелъ къ тому, что работа одного человѣка могла содержать нѣсколькихъ, а вслѣдствіе того въ обществѣ началъ появляться классъ людей, обезпеченныхъ противъ необходимости матеріальнаго труда и потому имѣвшихъ возможность посвятить значительную часть своей жизни или на физическія наслажденія, или на наслажденія интеллектуальныя. Такіе люди, бывъ удалены отъ ежедневныхъ трудовъ жизни, а вмѣстѣ и отъ ея дѣйствительности, по неволѣ сосредоточиваются на самихъ себѣ, и собственное развитіе духа принимаютъ за міровое развитіе; если такіе люди надѣлены сверхъ того талантомъ, они создаютъ новыя законодательства и религіозныя ученія, которыя съ теченіемъ времени пріобрѣтаютъ огромное вліяніе на судьбу своего общества.

Вотъ какимъ образомъ объясняетъ Бюкль зарожденіе мысли и мало-по-малу развившейся изъ нея науки, вслѣдствіе того, что успѣхъ матеріальной жизни

доставилъ человѣку *otium, досугъ*. Такъ рассуждалъ и Вико, подходя къ той же идеѣ путемъ филологіи: *artes ingenue* или *liberales*, что мы переводимъ: *благородныя* или *свободныя искусства*, получили свое названіе отъ того сословія, которое одно, по своему болѣе обезпеченному положенію, могло заняться умственными работами.

Первый изъ тѣхъ двухъ догматовъ въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи получилъ метафизическій характеръ: случайность, произвольность явленій, поразившія первобытнаго человѣка при отдѣльныхъ случаяхъ его ограниченной жизни, были возвышены въ головѣ философовъ на степень закона, когда они замѣтили произволъ и въ дѣятельности человѣческаго духа; но такой произволъ, въ этомъ послѣднемъ случаѣ, они назвали *свободною волею* человѣческаго духа, и новая терминологія заставила ихъ думать, что вопросъ о произволѣ рѣшенъ благополучно, если прежній терминъ замѣненъ другимъ терминомъ. Такимъ образомъ, одно и то же явленіе, называемое въ матеріальномъ мірѣ случаемъ, произволомъ, въ дѣятельности человѣческаго духа было отличено названіемъ свободной воли. Другой, но совершенно подобный же приемъ обратилъ убѣжденіе о необходимой связи въ теологическія и космогоническія формы ученія о предопредѣленіи.

Вотъ тѣ два догмата, которые, по воззрѣнію Бѣкля, должны были надолго остановить успѣхъ историче-

скої науки, позволивъ ей опереться на гипотезы, которыя не побуждали челоуѣка къ ближайшему изслѣдованію и знакомству съ законами физическаго міра: — свободная воля челоуѣка и предопредѣленіе прикрывали невѣжество всякій разъ, когда нужно было объяснить законность того или другаго явленія въ жизни, а слѣдовательно и въ исторіи.

Разсуждая такимъ образомъ, Бѣкъ дотронулся, такъ сказать, рукою до источника тѣхъ двухъ препятствій, которыя оставляютъ историческую науку и до сихъ поръ почти въ томъ же положеніи, въ какомъ она была въ эпоху первобытныхъ возрѣній челоуѣка на міръ. Невѣжество съ одной стороны, и съ другою полузнаніе людей, обезпеченныхъ на столько, чтобы имѣть возможность вести созерцательную жизнь и творить міръ изъ головы, безъ всякаго знанія реального міра, который съ своими нуждами, болями и страданіями, остался далеко позади ихъ. Послѣ того, задача объ успѣхѣ исторической науки дѣлается весьма простою: должно устранить то, что затрудняло ея успѣхъ, должно уничтожить невѣжество и полузнаніе, которое, какъ мы видѣли, такъ картинно назвалъ Бэконъ *idola theatri* (см. выше, стр. 166); а такое уничтоженіе можетъ совершиться только вслѣдствіе успѣха опытныхъ наукъ, и примѣненія результатовъ этихъ изслѣдованій къ рѣшенію вопросовъ, предлагаемыхъ историческою наукою.

Но Бѣкъ отличается отъ Бэкона тѣмъ, что онъ не

предостерегаетъ читателя противъ самого себя и не высказываетъ того опасенія, что его методъ можетъ въ свою очередь сдѣлаться *idola theatri*. Нѣтъ сомнѣнія, что Бѣкъ вполнѣ правъ, если видитъ причину неуспѣха исторической науки вообще въ томъ, что источники нашихъ первыхъ познаній были весьма нечисты, и эта нечистота оставляетъ слѣды до настоящаго времени; но онъ оставляетъ въ сторонѣ вопросъ: достигли ли мы въ опытныхъ наукахъ полноты знанія, и, если нѣтъ, то скоро ли успѣемъ достигнуть. То полузнаніе, которое держало насъ въ своихъ оковахъ до сихъ поръ было *качественное*; въ опытныхъ наукахъ, не смотря на весь ихъ успѣхъ, мы встрѣчаемъ опять полузнаніе *количественное*: наблюденія сдѣланы далеко еще не всѣ, а между тѣмъ мы хотимъ произносить всякой разъ полное заключеніе, и такимъ образомъ, избѣгая старыхъ ошибокъ, впадаемъ въ новыя. Это обстоятельство можетъ всегда легко сдѣлаться источникомъ заблужденія, а если оно не представляетъ тѣхъ же опасностей, какими угрожало качественное полузнаніе, то только потому что возможность заблужденія въ опытныхъ наукахъ представляется уму каждаго само собою весьма легко, и гдѣ опасность сознается, тамъ ея сила теряется по крайней мѣрѣ на половину. Бѣкъ весьма остроумно указываетъ въ отдѣльномъ примѣрѣ на безконечную отсталость исторической науки отъ другихъ опытныхъ наукъ: въ настоящее время, говоритъ онъ, предсказаніе историка

о томъ или другомъ политическомъ событіи будетъ принято людьми легковѣрными за нѣчто сверхъестественное, а здравомыслящими людьми — за простое умопомѣшательство или шарлатанизмъ, точно также какъ тысяча лѣтъ тому назадъ было бы встрѣчено предсказаніе солнечнаго затмѣнія; даже такая простая истина, что солнце стоитъ а земля движется еще не такъ давно обошлась дорого тому, кто рѣшился ее высказать. И изъ всего этого Бѳкль заключаетъ, что исторія нынѣ находится въ томъ же положеніи, въ какомъ тысяча лѣтъ тому назадъ видѣла себя астрономія. Но не было ли бы правильнѣе вслѣдствіе того притти толькокъ одному заключенію, что успѣхи въ гуманитарныхъ наукахъ несравненно труднѣе и потому гораздо медленнѣе; въ то же время, онѣ болѣе доступны въ своихъ начаткахъ и потому болѣе подвержены наносу всякихъ случайныхъ и неосновательныхъ мнѣній, и толкованій вкривь и вкось. Наконецъ, на гуманитарныя науки дѣлаются такія требованія, съ какими никто не обращается къ опытнымъ наукамъ: въ гуманитарныхъ наукахъ ожидаютъ часто найти правило для руководенія обществомъ, для проведенія въ него тѣхъ или другихъ идей, для пересозданія общества; но никто не ожидаетъ, чтобы физикъ, изслѣдующій законы движенія вѣтра или образованія облаковъ, могъ вслѣдствіе того распоряжаться вѣтрами и создавать облака по мѣрѣ нашихъ хозяйственныхъ или увеселительныхъ потребностей. Однимъ словомъ, въ есте-

ственныхъ наукахъ мы совершенно иначе относимся къ предмету своего изученія, нежели въ наукахъ гуманитарныхъ; и это составляетъ главный источникъ преимуществъ первыхъ надъ послѣдними.

Но обратимся къ дальнѣйшему развитію методы Бёкля. Чтобы поставить исторію на ея настоящую дорогу, говоритъ онъ, должно изучать и пользоваться изученіемъ двухъ ея главныхъ историческихъ агентовъ: природы и человѣка, и показать, на сколько человѣкъ видоизмѣняетъ природу, внося въ нее свои законы, и на сколько природа видоизмѣняетъ человѣка обратнымъ вліяніемъ на него. „Только изъ такого матеріала можно построить исторію, какъ науку.“ таково послѣднее заключеніе Бёкля, въ которомъ нельзя не видѣть близкаго родства съ словами Бэкона, опредѣляющаго исторію, какъ *ars et norma interpretandi naturam*. Но, въ отношеніи возможности поставить исторію на эту дорогу, Бэконъ ограничился только тѣмъ, что выразилъ одну *spes, надежду*, на успѣхъ; у Бёкля эта надежда обращается въ твердую увѣренность, опорой которой послужилъ великій успѣхъ современныхъ опытныхъ наукъ, и въ особенности статистики и политической экономіи; эти послѣднія двѣ науки выражаются цифрами безъ всякихъ украшеній, и самыя цифры собраны людьми, не слѣдующими никакой теоріи и не имѣющими интереса поставить 2 вмѣсто 3 или 3 вмѣсто 2. Подобныя статистическія наблюденія доказываютъ, напримѣръ, что различныя дѣянія человѣка,

сбивчивость которыхъ объяснялась до сихъ поръ или метафизическими идеями о свободной волѣ челоуѣка, или другою крайностью въ формѣ предопредѣленія, служатъ въ сущности результатомъ положительнаго закона, который дѣйствуетъ по извѣстному правилу параллелограмма силъ; если мы прикрѣпимъ къ тѣлу двѣ силы, направленные въ разныя стороны, то тѣло пойдетъ по среднему пути; такъ точно и челоуѣкъ въ своихъ поступкахъ движется по діагонали двухъ силъ, матеріальной и духовной. Другой примѣръ: на извѣстномъ пространствѣ, въ извѣстный періодъ времени выпадаетъ извѣстное количество воды; распредѣленіе этого количества по отдѣльнымъ днямъ весьма различно, но, если въ этотъ мѣсяцъ выпало меньше средней величины, то этотъ недостатокъ будетъ вознагражденъ въ слѣдующій мѣсяцъ, и наоборотъ; и чѣмъ шире взять періодъ времени, тѣмъ среднее число точнѣе. Въ XVIII столѣтіи, никто не подозрѣвалъ, что подобный же законъ управляетъ и челоуѣческими дѣянiями. Затѣмъ Бюкль, на основанiи статистическихъ работъ Кетле (*Sur l'homme*), приводитъ въ доказательство того слѣдующіе примѣры: смертоубійство, которое производится, повидимому, вслѣдствіе самыхъ недоступныхъ для наблюденія опредѣленій воли, совершается въ данной мѣстности и въ извѣстный періодъ постоянно въ одномъ и томъ же числѣ случаевъ; даже избираемыя орудія для смертоубійства повторяются съ большою точностью. То же самое на-

блюдается въ отношеніи числа умершихъ естественною смертію, родившихся, вступившихъ въ бракъ; хотя бракъ представляется результатомъ нравственныхъ наклонностей, неподверженныхъ наблюденію и вычисленію, а между тѣмъ число браковъ строго соотвѣтствуетъ цѣнѣ на хлѣбъ. Наконецъ, въ Лондонскомъ и Парижскомъ почтамтахъ замѣтили, что число писемъ, съ ложными адресами или совсѣмъ безъ адресовъ, повторяется ежегодно почти въ одномъ и томъ же количествѣ; и такъ забвеніе или разсѣяніе, которыя лежатъ даже внѣ предѣловъ самой воли человѣка, имѣютъ для себя также опредѣленный законъ.

Никогда нельзя будетъ отрицать, что открытія естественныхъ наукъ и опытныхъ останутся безъ послѣдствій для исторической науки, но въ то же время несомнѣнно и то, что въ примѣненіи этихъ открытій къ рѣшенію историческихъ вопросовъ долго еще будутъ господствовать произволь и желаніе вывести больше, нежели сколько то заключено въ самыхъ послышкахъ. Въ этомъ состоитъ и все достоинство и весь недостатокъ фізіологической школы исторіи вообще и метода Бюкля въ особенности. Открытія статистики весьма важны, но они не много прибавили къ тому воззрѣнію на природу человѣка, которое можетъ считаться древнимъ, какъ древень самъ міръ. На извѣстномъ пространствѣ въ извѣстное время выпадаетъ одинаковое количество дождя; на извѣстномъ пространствѣ въ извѣстное время является одинако-

вое количество новорожденных; слѣдовательно, заключаетъ фізіологическая школа, природа человѣка повинуется одинаковымъ законамъ, какъ и фізическая природа; но для открытія такой истины не было надобности ожидать открытій статистики: человѣкъ, гораздо прежде всѣхъ статистическихъ наблюденій, могъ заключить изъ самыхъ простыхъ фактовъ, очевидныхъ для каждаго, какъ на примѣръ, что смерть неизбежна для человѣка наравнѣ съ животными, что природа человѣка подчинена общимъ законамъ съ фізическою природою. Но далеко-ли это подвинуло историческую науку? Не могла-ли она изъ перваго попавшагося ей въ руки опытнаго факта, намекнувшаго ей, что человѣкъ и послѣднее животное повинуются однимъ и тѣмъ же законамъ, придти къ тому заключенію, которое Бюкль разрѣшаетъ ей сдѣлать только по открытіи статистическихъ законовъ, а именно, что исторія человѣка есть исторія той же самой природы? Нужны-ли были такіе громадныя научныя аппараты для того, что, повидимому, явствовало изъ самыхъ простыхъ наблюденій, бросающихся невольно въ глаза каждому? И однако, человѣкъ продолжалъ попрежнему сознавать, что онъ можетъ умирать, какъ послѣднее презрѣнное животное, но это нисколько не мѣшаетъ ему жить и дѣйствовать какъ-то возможно для одного человѣка; люди могутъ также рождаться по одному закону съ количествомъ выпадающаго дождя на определенной мѣстности и въ данное время, и тѣмъ не

менѣе останется огромная разница въ дальнѣйшей исторіи дождевой капли и новорожденнаго дитяти. Физиологическій методъ, не смотря на весь свой внѣшній солидный и опытный характеръ, можетъ привести духъ человѣка къ результату прямо противоположному своимъ цѣлямъ и дойти до такихъ поэтическихъ возрѣній на природу, на какіе не осмѣлился бы ни одинъ метафизикъ. А потому нисколько не удивительно то родство, которое представляетъ ученіе новѣйшихъ физиологовъ съ древними космогоническими представленіями: эти послѣднія, по наивности своихъ естественныхъ познаній, приходили къ тѣмъ же идеямъ, какъ и Бюкль, и точно также смѣшивали въ поэтической фантазіи жизнь природы и жизнь человѣка; различіе все состоитъ въ точкѣ отправленія: Бюкль беретъ въ руки статистическую таблицу и весьма серьезно предлагаетъ ее своему читателю, дѣйствуя на его логическую способность; древній физиологъ, соотвѣтственно степени своей цивилизаціи и ея внутреннему характеру, быть можетъ, рассказалъ бы своему слушателю также опыты, но своего воображенія, и съ граціею ребенка привелъ бы другіе факты, свидѣтельствующіе о близкомъ родствѣ природы человѣка съ природою вещей; онъ напомнилъ бы о томъ, какъ дерево превращалось въ Пана, и какъ, наоборотъ, другой смертный былъ превращенъ въ лавровое дерево. Нельзя болѣе поэтически представить подтвержденіе истины о близкомъ отношеніи человѣка къ природѣ, какъ то дѣлали древ-

не греки; и нельзя привести болѣе точныхъ, научныхъ доказательствъ въ подтвержденіе той же истины, какъ то приводитъ намъ Бэклъ. Такимъ образомъ, вникая иногда въ сущность новѣйшей мудрости, мы часто бываемъ должны повторять мысль, приводимую Вико: nihil est in intellectu, quin prius fuerit in sensu; другими словами: „мудрость разума не заключаетъ въ себѣ ничего, что не было бы уже заключено прежде въ мудрости чувства.“ Древній поэтъ, съ своими легендами и фантастическими образами, является намъ физиологомъ, и наоборотъ, новѣйшій физиологъ, при всей строгости своихъ научныхъ приемовъ, заваленный массой сухихъ статистическихъ таблицъ, самъ не замѣчая того, вступаетъ въ предѣлы поэзіи. Каждое время имѣетъ свой способъ обольщаться, увлекаться и удивляться: для одной эпохи нужна легенда о Дафнисѣ, для другой — статистическія таблицы. Но, рассуждая такимъ образомъ, мы вовсе не думаемъ унижить современную науку, если говоримъ, что она путемъ логики и опытныхъ наблюденій приводитъ насъ къ тѣмъ же результатамъ, къ которымъ приводили древняго человѣка поэтическіе инстинкты. И то, и другое одинаково продуктъ человѣческаго духа, и въ томъ и въ другомъ потому одинаковая опасность для человѣка завлечься; древняя фантазія вела человѣка далеко, но нельзя не отдать ей справедливости: ея дѣятельность такъ или иначе положила начало наукамъ, и потому не рѣдко въ наше время наука только приводитъ ра-

зумы доводы тому, что предчувствовали поэтическіе инстинкты древности; послужили же преданія о баснословной Атлантидѣ намекомъ Колумбу на существованіе Америки; точно также и наоборотъ, умъ новаго человѣка служитъ хорошею опорою въ научныхъ изслѣдованіяхъ, но нельзя сказать, чтобы умъ былъ изъятъ отъ заблужденій: путемъ ума можно также заблуждаться, какъ и путемъ воображенія; источникъ заблужденія различенъ, но результаты одни и тѣ же. Конечно, преимущество умственныхъ заблужденій огромное: заблужденія фантазіи обращаются въ догматы и требуютъ вѣры; заблужденія ума менѣе настойчивы и излѣчиваются тѣмъ же, чѣмъ были порождены; но въ первую минуту своего появленія они не менѣе настойчивы и даже болѣе упорны, потому что имѣютъ на своей сторонѣ логику, не допускающую аппеляцій.

Впрочемъ, мы стоимъ еще при самомъ началѣ теоріи Бюкля въ ея общемъ очертаніи, и потому наши возраженія носятъ на себѣ только общій характеръ. Въ отвѣтъ на его теорію мы можемъ пока сказать одно: она справедлива, какъ указаніе на важность изслѣдованій въ области опытныхъ наукъ для рѣшенія вопросовъ науки исторической; но ея заключеніе шире своихъ основаній; если же она останется строго въ предѣлахъ своихъ посылокъ, то сдѣлаетъ мало для исторической науки, ибо достаточно было прежнихъ простыхъ наблюденій, чтобы притти къ тому результату, для котораго Бюкль считаетъ необходимымъ новѣйшіе слож-

ные опыты статистики и политической экономіи. Поэтому обратимся къ дальнѣйшему развитію физиологическихъ идей Бюкля, гдѣ онъ думаетъ доказать, что всѣ историческія явленія, относимыя до сихъ поръ метафизикою къ области духовной дѣятельности, суть ни что иное, какъ самые матеріальные факты, изъ которыхъ явствуетъ, что исторія чловѣка есть просто исторія видоизмѣненій, производимыхъ въ чловѣкѣ физическою природою, и наоборотъ, продуктъ видоизмѣненій, которыя испытываетъ природа, войдя въ чловѣческое тѣло. Другими словами, тѣ явленія, которыя въ исторіи у метафизиковъ считаются нравственными, можно измѣрять и вычислять посредствомъ барометра и термометра: высота надъ моремъ и извѣстная средняя температура опредѣляютъ чловѣка заранѣе на извѣстную дѣятельность и вмѣстѣ сообщаютъ ей извѣстный характеръ, называемый у метафизиковъ нравственными качествами души; — или посредствомъ вѣсовъ и химическихъ аппаратовъ, которые сообщили бы намъ, сколько азоту и сколько углероду входитъ въ тѣло чловѣка, чтобы тѣмъ вызывать или замедлять быстроту его воли и рѣшимость дѣйствовать самому или наслаждаться спокойствіемъ и безопасностью раба и т. д. Мы встрѣтимъ у Бюкля самые строгіе научные приемы, но въ его теоріи тѣмъ не менѣе мы найдемъ буквальное повтореніе поэтическо-физиологическихъ идей Гердера, у котораго, какъ мы видѣли, камень разлагается, чтобы создать почву; почва

стремится сдѣлаться растеніемъ; растеніе хочетъ быть животнымъ, и все это стремится быть человѣкомъ; выразимся болѣе научно: мы должны анализировать ископаемое царство, разложить растительную и животную пищу человѣка, и тамъ мы прочтемъ всю его исторію, какъ прошедшую, такъ и будущую.

Истина и вмѣстѣ софизмъ такого воззрѣнія до того перемѣшаны другъ съ другомъ; научные приемы и поэтическое воспріятіе до того переплетены, что трудно возражать противъ софизма, не нанеся вреда истинѣ, и преклоняться предъ истиною, чтобы въ то же время не быть на сторонѣ софизма. Еще разъ повторимъ то, что мы уже сказали выше: нужно-ли намъ прибѣгать къ высшимъ результатамъ химіи, минералогіи и другихъ опытныхъ наукъ, чтобы представить всю исторію рода человѣческаго ни чѣмъ другимъ, какъ исторію неодушевленныхъ тварей и всѣмъ бездушныхъ предметовъ, преобразованныхъ въ человѣкъ? нужно ли намъ разлагать составныя части картофеля и дѣлать флейшъ-экстрактъ, чтобы доказать то, что желаетъ Бѣкъ, а именно, что исторія рода человѣческаго опредѣляется количествомъ потребления картофеля или мяса; когда чуть не отъ сотворенія міра человѣкъ знаетъ, хотя и не въ научныхъ терминахъ, что природа имѣетъ огромное вліяніе на духъ человѣка, какъ химически, такъ и механически? Исторія винограда въ библіи весьма древняя и предшествуетъ всѣмъ научнымъ химическимъ опытамъ; змѣй, который

выползъ изъ черепа коня и ужалилъ на смерть (допустимъ, что это не легенда), нашего Олега, игралъ механическую роль въ отечественной исторіи; лошадь, сбросившая всадника, на жизнь котораго возлагали всѣ свои надежды, также могла бы подѣйствовать на исторію того или другого общества. Неужели вслѣдствіе того ввести лошадей въ исторію рода человѣческаго, какъ Калигула ввелъ своего коня въ римскій сенатъ? Не будетъ-ли все это болѣе поэтической исторіею, чѣмъ философскою, даже и въ томъ случаѣ, если бы мы замѣнили языкъ легендъ самыми сухими и научными формулами химіи? Ксерксъ также поступалъ фізіологически, хотя нѣсколько съ ориентальнымъ характеромъ, когда выскѣ море за то, что оно возымѣло притязаніе вмѣшаться въ человѣческую исторію, и, погубивъ его флотъ, дать другое направленіе историческимъ судьбамъ. Еще недавно, въ нынѣшнемъ году, при раздачѣ наградъ питомцамъ французскихъ коллегій и лицеевъ, одинъ изъ государственныхъ людей Франціи, хотя и обнаружилъ недостатокъ въ географическихъ познаніяхъ, но рассуждалъ какъ фізіологъ въ философіи исторіи, вспоминая о томъ, какъ въ крымской кампаніи французамъ пришлось бороться не только съ врагами, но и съ союзницею своихъ враговъ — зимою; конечно зима въ Крыму не одно съ московскою зимою, и Крымъ лежитъ не подъ однимъ градусомъ широты съ Москвою, но тѣмъ не менѣе ораторъ выражался фізіологически; можетъ быть, было

бы лучше говорить ему о собственныхъ союзникахъ, о выгодно́мъ для французовъ положеніи страны въ ту эпоху, въ которую приходилось имъ бороться съ нею; но такіе союзники не доставляютъ славы, и притомъ такое объясненіе было бы метафизическимъ. Въ исторической наукѣ была уже эпоха, когда животный міръ игралъ важную роль въ судьбахъ человѣка; но въ ту пору, соотвѣтственно ея характеру, боги превращались въ дождь, въ лебедя или въ быка, который положилъ основаніе населенію нашей части свѣта, а перенесенная имъ женщина дала ей свое имя Европы; теперь, сообразно характеру нашей эпохи, мы превращаемъ природу не въ боговъ, но въ формулы опытныхъ наукъ, и въ сущности дѣлаемъ то же самое, вводимъ неодушевленную природу въ исторію, и разлагаемъ ее, если не въ Юпитеровъ, то въ химическіе препараты. Послѣдній результатъ однако тѣмъ не менѣе одинаковъ, и въ исторіи Ирландіи Бокль читаетъ исторію картофеля, сообщившаго свои химическія свойства человѣку и производшаго въ немъ извѣстнаго рода явленія, которыя метафизики, по незнанію химическихъ законовъ, считаютъ нравственными; исторія Англїи иная, но за то Англїя подражаетъ Юпитеру, и для своихъ превращеній любитъ избирать то животное, на которомъ древній богъ увозилъ Европу изъ Финикїи. Такимъ образомъ, мы путемъ науки невольно приходимъ къ тѣмъ же возарѣ-

ніямъ на исторію человѣка, къ какимъ приходилъ древній человѣкъ путемъ творческой фантазіи.

Бюкль указываетъ именно четыре пути, которыми физическая природа входитъ въ исторію рода человеческого и порождаетъ въ ней явленія, называемыя у метафизиковъ нравственными, а именно: *климатъ, пища, почва и физическія явленія*; къ числу послѣднихъ онъ относитъ преимущественно тѣ, которыя дѣйствуютъ чрезъ глазъ и ухо на воображеніе, и создаютъ религіозныя и нравственныя образы. Что же касается до первыхъ трехъ вліяній, т. е. климата, пищи и почвы, то они относятся преимущественно къ общественному устройству, и производятъ такъ называемое различіе расъ.

Климатъ, пища и почва сверхъ того обусловливаютъ другъ друга и дѣйствуютъ на судьбу человѣка тѣмъ сильнѣе, что отъ ихъ вліянія зависитъ большее или меньшее накопленіе богатствъ, то-есть появленіе *капитала*; капиталъ производитъ *otium, досугъ*, служащій главнымъ источникомъ развитія человѣческой мысли и послѣдующаго ея развитія въ науку.

Такой взглядъ, очевидно, носить на себѣ всѣ слѣды той мѣстности, въ которой онъ могъ родиться, а именно Англій: тамъ, гдѣ капиталъ управляетъ всѣмъ, неудивительно будетъ принять исторію капитала за исторію человѣка; но какимъ образомъ объяснить тогда причины паденія древняго міра? Римское общество въ послѣднее время своего существованія имѣло все,

метафизическое, оно может приводить само къ заблужденіямъ, особенно когда хотять принять вѣкъ энтузіазма за норму развитія человѣческихъ обществъ и требуютъ, чтобы люди снова облеклись въ рубища, удалились въ лѣса и тамъ искали бы своего преобразованія; но и фізіологическая школа дѣлаетъ другую ошибку, принимая за норму обыденную жизнь съ ея золотыми тельцами, и не вѣря въ минуты энтузіазма, когда разумъ, освободившись отъ предрасудковъ, выходитъ на арену исторіи, вооруженный собственными силами.

Далѣе, съ точки зрѣнія Бѣкля, вся исторія чело- вѣчества есть ни что иное, какъ исторія происхожде- нія, раздѣленія и потребленія капитала, накопленнаго подѣ вліяніемъ климата, пищи и почвы. Если со сто- роны чело-вѣка капиталъ зависитъ отъ его труда, то трудъ въ свою очередь обусловливается климатомъ: тамъ, гдѣ нервы чело-вѣка растянуты отъ чрезмѣрной жары, или сжаты отъ чрезмѣрнаго холода, природа сама содѣйствуетъ происхожденію капитала, разсыпая предѣ чело-вѣкомъ богатства растительнаго или жи- вотнаго царствъ; она кладетъ сама, такъ сказать, въ ротъ чело-вѣку готовую пищу, будетъ ли то въ формѣ апельсина, упавшаго отъ зрѣлости, или морского тю- лены, который заснулъ на солнцѣ близъ шалаша грен- ландца. Вотъ потому на отдаленномъ югѣ и сѣверѣ мы имѣемъ одну исторію капитала, которою воиолнѣ замѣняется исторія чело-вѣка. Но въ этомъ капиталѣ

неравномѣрно дѣйствуютъ его три составныя силы, т. е. климатъ, пища и почва, что производитъ различіе и въ самомъ характерѣ послѣдующихъ образованностей. На Востокѣ, почва и зависящее отъ нея плодородіе составляютъ главную часть въ капиталѣ; климатъ тамъ скорѣе неблагопріятенъ: сильныя грозы, землетрясенія, болѣзни, язвы пугаютъ человѣка, и потому капиталъ дѣйствуетъ исключительно на его фантазію; вслѣдствіе того фантазія лежитъ въ основаніи восточной образованности. Въ Европѣ, климатъ составляетъ самую благопріятную часть капитала; почва напротивъ мало податлива; оттого въ европейской образованности возбуждается не фантазія, а мыслительная способность разума: скупая почва нуждается въ трудѣ, а умѣренность климата, вмѣстѣ съ равномѣрностью въ распредѣленіи свѣта и теплоты, покровительствуетъ труду.

Но внѣшняя природа оказываетъ вліяніе на цивилизацію человѣчества не однимъ тѣмъ, что она даетъ матеріалы для составленія капитала и вызываетъ въ однѣхъ странахъ дѣятельность фантазіи, а въ другихъ напрягаетъ мысль; внѣшняя природа играетъ еще болѣе важную роль въ судьбѣ народовъ чрезъ распредѣленіе капитала: въ одномъ мѣстѣ природа доставляетъ возможность равномѣрнаго распредѣленія богатствъ, и чрезъ то даетъ бѣольшую опору для образованности, призывая всѣхъ къ участию въ ней; въ другомъ мѣстѣ, напротивъ, сущность капитала такова,

что онъ не можетъ распредѣляться равномерно, и ходъ образованности замедляется. Такимъ образомъ, распредѣленіе капитала производитъ извѣстныя степени въ отношеніи населенія другъ къ другу, и ведетъ къ соперничеству сословій. Первоначальный капиталъ является нераздѣленнымъ и тогда онъ составляетъ *res nullius*, ничью вещь. Это—эпоха до-историческая. Исторія застаётъ капиталъ уже раздѣленнымъ между двумя классами людей работающихъ и неработающихъ; первые всегда отличаются многочисленностью, вторые—искусствами и образованностью. Оба эти класса содержатся на счетъ капитала природы, но однимъ капиталъ доставляетъ простую, грубую работу и даетъ вознагражденіе за нее въ видѣ *задѣльной платы*; другіе берутъ на себя переработку и получаютъ *доходъ*.

Вотъ два главные историческіе типа людей; въ позднѣйшее время къ нимъ присоединяется третій классъ, дѣятельность котораго ограничивается сбереженіемъ дохода, обращаемаго ими въ новый капиталъ; такіе люди сдаютъ этотъ капиталъ на руки одному изъ первыхъ двухъ классовъ и сами не имѣютъ самостоятельнаго существованія, но увеличиваютъ задѣльную плату и доходъ; ихъ прибыль называется *процентомъ*.

Такимъ образомъ, Бюкль переноситъ весь театр исторіи на рынокъ; наша историческая жизнь является постоянною ярмаркою, на которую стекаются съ одной стороны рабочія руки, съ другой — головы пред-

принимателей; въ ихъ толпѣ мелькаютъ разсѣянны капиталисты. Всѣ они вмѣстѣ взятые и составляютъ главныхъ героевъ исторіи; между ними происходятъ своего рода войны, являются также полководцы, и то, что мы называемъ обыкновенно исторіею политическою, интеллектуальною, моральною, все это есть только отраженіе борьбы, происходящей на всемірномъ рынкѣ. Главнымъ барометромъ этой борьбы служитъ задѣльная плата, которая повышается или понижается на основаніи извѣстнаго закона о количествѣ предложеній: чѣмъ болѣе выходитъ на рынокъ рабочихъ рукъ, тѣмъ ниже задѣльная плата; количество же предложенія зависитъ прежде всего отъ населенія страны, и потому вопросъ о законѣ управляющемъ задѣльною платою сводится на вопросъ о средствахъ къ существованію населенія. А первое средство къ тому составляетъ *пища*, ея количество и составъ. Такимъ образомъ, на самомъ днѣ, въ основаніи всякаго раздѣленія капитала, а слѣдовательно и исторіи самой страны, лежитъ пища. То, что называется извѣстными качествами народа, его національностью, характеромъ жителей неподвижнымъ, страстнымъ, холоднымъ, идеальнымъ, матеріалистическимъ — все это есть результатъ народной пищи, и химія въ своихъ разложеніяхъ растительнаго и животнаго царства должна прочесть секреты тѣхъ явленій, которыя у метафизиковъ называются нравственными. И такъ, если бы Фукидиды, Геродоты и Тациты древности, монахи среднихъ вѣ-

ковъ оставили намъ, вмѣсто описанія дѣяній великихъ государственныхъ людей и полководцевъ, простыя таблицы съ указаніемъ цѣны на хлѣбъ и величину задѣльной платы, то мы имѣли бы самое лучшее понятіе о бытѣ древнихъ народовъ и о характерѣ ихъ образованности, наукъ, искусствъ и религіи; походы Александра Македонскаго, честолюбивые замыслы Юлія Цезаря, возникновеніе и паденіе той или другой религіи были бы намъ ясны, какъ день. Бѣзъ желаетъ знать только то, чѣмъ питается народъ, во что обходится ему его пища, и тогда онъ обѣщаетъ сказать, что такой народъ думаетъ, а слѣдовательно и что онъ дѣлаетъ.

Дѣйствительно, химія говоритъ, что пища имѣетъ двоякое назначеніе: 1) поддерживать животную теплоту, безъ которой остановились бы всѣ функціи матеріальной жизни; и 2) пополнять ежеминутно всѣ совершающіяся въ немъ отдѣленія, которыя производятся самыми разнообразными путями, начиная отъ тончайшей испарины до самыхъ грубыхъ изверженій. Выборъ вещества для согрѣванія и пополненія убыли въ экономіи тѣла обусловливается климатомъ: въ жаркомъ климатѣ нужно болѣе пополнять, нежели согрѣвать тѣло, а въ холодномъ климатѣ наоборотъ. Это обстоятельство было уже давно подмѣчено людьми, и прежде современныхъ успѣховъ химіи религіозные законодатели запрещали ту или другую пищу, сообразно съ климатомъ страны. Вообще жители южнаго

климата требуют для себя меньше пищи, и потому на югѣ люди распложаются быстрѣе; вслѣдствіе того же самаго, на югѣ, однимъ и тѣмъ же капиталомъ можетъ существовать относительно большее число людей. Это обстоятельство опредѣляетъ характеръ политическихъ, религіозныхъ и нравственныхъ идей у народовъ жаркаго климата: человѣкъ тамъ рождается въ большомъ числѣ и потому цѣнится весьма мало, т. е. задѣльная плата слишкомъ низка; человѣкъ не цѣнитъ и самого себя, потому что онъ, такъ сказать, едва замѣчаетъ свое существованіе, ни въ чемъ не нуждается, и природа даетъ ему все съ избыткомъ; съ трудомъ онъ отдѣляетъ себя отъ природы и думаетъ быть только временнымъ проявленіемъ Браны; отсюда истекаютъ пантеистическія идеи Востока. Въ Европѣ, задѣльная плата возвышается, человѣкъ стоитъ очень дорого; трудъ заставляетъ человѣка цѣнить самого себя, и отсюда рождаются другія политическія, религіозныя и социальныя идеи; но такая дороговизна человѣка обуславливается окончательно опять пищею, которая въ Европѣ, по условію самаго климата, потребляется въ большемъ количествѣ и требуетъ болѣе питательнаго вещества. Питательное же вещество, а именно углеродъ, заключено преимущественно въ животномъ царствѣ, и гораздо менѣе въ растительномъ; въ животномъ царствѣ добываніе требуетъ отъ человѣка большаго напряженія силъ: убить козу, медвѣдя гораздо труднѣе, нежели собирать плоды, и

потому народы, осужденные климатомъ на углеродистую пищу, развиваютъ въ себѣ предпримчивый характеръ и любовь къ приключеніямъ.

Представляя историческіе примѣры въ подтвержденіе своихъ воззрѣній, Бокль видитъ исключеніе въ одной Ирландіи; но, говоритъ онъ, это исключеніе еще болѣе подтверждаетъ приведенные имъ выше законы развитія человѣческихъ обществъ. Ирландія, находясь въ Европѣ, представляетъ развитіе законовъ жизни азіатскихъ народовъ и явно стремится къ своему паденію. Метафизикъ объяснилъ бы такое явленіе недостаткомъ въ Ирландіи развитія политической свободы; теологъ привелъ бы свои доводы; но Бокль указываетъ прямо на народную пищу въ Ирландіи. Ирландцы почти исключительно питаются картофелемъ, и притомъ около 300 лѣтъ: одно и то же мѣсто засѣянное картофелемъ можетъ питать вдвое болѣе населенія, нежели то же мѣсто, занятое подъ хлѣбъ. Оттого въ Ирландіи населеніе развивается вдвое скорѣе, нежели въ Англіи. Бокль допускаетъ, что старая тираннія англичанъ и дурное управленіе могло содѣйствовать увеличенію бѣдствій Ирландіи, но все же главная вина лежитъ на картофелѣ, который, какъ вещество по преимуществу азотное, добывается легко, а слѣдовательно не напрягаетъ силъ человѣка и вмѣстѣ, увеличивая населеніе, понижаетъ задѣльную плату. Отсюда, говоритъ Бокль, произошли всѣ нравственныя и политическія качества ирландцевъ: они лѣ-

нивы, безопасны, какъ индусъ, который можетъ жить цѣлый день горстью риса, и именно потому же трудъ ирландцевъ мало цѣнится; пониженіе задѣльной платы дѣлаетъ огромное разстояніе между классомъ бѣдныхъ и богатыхъ и отчуждаетъ первыхъ отъ политической жизни.

Отъ исключенія Бѣль переходитъ къ правилу, которому повинуются всѣ восточные народы, и онъ обращается прежде всего къ Индостану. Господствующая пища индѣйца состоитъ въ рисѣ, самомъ плодovitомъ и питательномъ изъ прочихъ сортовъ зернового хлѣба. Отсюда легкое распложеніе людей, большое предложеніе рабочихъ рукъ, низкая задѣльная плата и крайняя бѣдность. Какъ слѣдствіе того является огромное богатство неработающаго класса, и его интеллектуальныя и политическія преимущества. По законамъ Мону, за 900 л. до Р. Х., проценты доходили до 60, и изъ этого одного видно, какъ была въ то время низка задѣльная плата, какъ народъ мало могъ участвовать въ интеллектуальной и политической жизни своего общества. Эта нѣмая масса населенія, *судра*, была настоящими рисовыми мѣшками, и потому индѣйскіе законы разсматриваютъ низшій классъ, какъ животныхъ. Если судра садился на одинъ коверъ съ браминомъ, то ему отрубали ногу; если онъ бранилъ его, ему рѣзали языкъ; если судра имѣлъ дерзость заглянуть въ священныя книги браминовъ, ему вливали горячее масло въ уши; если же онъ выучивалъ наизусть

ихъ содержаніе, его убивали; если, наконецъ, рабъ отпущался господиномъ, то его тѣмъ не менѣе разсматривали, какъ раба, ибо, восклицаетъ законодательство Мену, кто можетъ освободить раба отъ того состоянія, которое ему прирождено? И Бокль, приводя это мѣсто изъ Мену, повторяетъ отъ себя то же самое восклицаніе: „Да, говоритъ онъ, кто можетъ освободить раба? Я не знаю, гдѣ найдется такая власть, которая могла бы сдѣлать такое чудо.“

Въ этомъ небольшомъ замѣчаніи лежитъ все осужденіе самой теоріи Бокля, если бы кто захотѣлъ оставаться послѣдовательнымъ въ выводѣ результатовъ: въ самомъ дѣлѣ, если сословное различіе и общественное положеніе людей въ государствѣ опредѣляется только въ силу тѣхъ неизбѣжныхъ физическихъ законовъ, которые осуждаютъ человѣка на то или другое развитіе, въ силу преобладанія азота или углерода въ пищѣ; если потому гораздо правильнѣе называть одно государственное устройство азотнымъ, а другое углеродистымъ, вмѣсто того чтобы выражаться метафизически и употреблять термины: рабскій, свободный, то какимъ образомъ азотное общество можетъ сдѣлаться углеродистымъ, если не уменьшится количество азота въ самой природѣ, окружающей человѣка? Очевидно, что, въ своихъ послѣднихъ заключеніяхъ, фізіологическія убѣжденія должны привести насъ путемъ науки къ тѣмъ же убѣжденіямъ, которыя выражалъ индусъ въ формѣ космогонической,

разсказывая о происхожденіи одного класса людей изъ головы Брамь, а другихъ — изъ менѣ благородныхъ частей божества. Какъ можетъ рабъ перестать быть рабомъ, если онъ произошелъ изъ неблагородной части тѣла Брамь? Очевидно, это невозможно. Какая сила можетъ освободить раба, когда онъ весь исполненъ азота, когда онъ ни что иное, какъ рисъ, пріобрѣвшій плоть и кровь въ формѣ человѣка? Вопросъ у Вѣкля предложенъ только научнымъ образомъ, но отвѣтъ на него тотъ же, и слѣдовательно тотъ же результатъ.

Но природа имѣетъ еще, какъ мы видѣли, четвертый путь для вліянія на исторію, а именно чрезъ разнообразіе *физическихъ явленій*, и преимущественно тѣхъ, которыя поражаютъ зрѣніе и слухъ.

Такія физическія явленія содѣйствуютъ съ своей стороны производству и раздѣленію другого капитала, а именно, капитала нашей мысли. Вѣкль признаетъ, что та точность, съ которою было указано вліяніе климата и почвы на накопленіе матеріальнаго капитала, въ настоящемъ случаѣ невозможна, и потому онъ ограничивается одними общими соображеніями и выводами. Всѣ физическія явленія отнесены у него къ двумъ главнымъ классамъ: 1) одни дѣйствуютъ болѣе на фантазію; 2) другія на умъ и логическую операцію разсудка. Въ Европы, особенно въ жаркомъ климатѣ, человѣкъ подавляется великими земными переворотами, землетрясеніями, чумою, и постоянно на-

ходится въ области неизвѣстнаго; земля и небо угрожаютъ каждую минуту раздвинуться подъ его ногами или надъ его головою, и потому фантазія имѣетъ для себя обильную пищу. Въ одной Европѣ человѣкъ могъ очнуться и спокойно анализировать тѣ явленія, которыя поражаютъ фантазію: отсюда обширное поприще для дѣятельности разума. Три главныя ея формы, литература, религія и искусство, носятъ на себѣ самыя ясныя слѣды вліянія физическихъ явленій на внутренній бытъ человѣка. Бѣкъ останавливается, для сравненія, на двухъ цивилизаціяхъ, противоположныхъ по характеру окружающихъ ихъ физическихъ явленій, а именно на греческой и древней индѣйской; каждая изъ всѣхъ прочихъ цивилизацій приближается къ одному изъ этихъ двухъ типовъ, и потому къ нимъ можно примѣнить все, что открывается въ двухъ вышеупомянутыхъ цивилизаціяхъ.

Индѣйская литература, развившаяся въ странѣ роскошной природы и вмѣстѣ давящей человѣка, ставила себѣ задачею выразить въ словѣ не столько мысль, сколько впечатлѣнія внѣшняго міра, а потому форма звучнаго стиха служить для нея преобладающею формою. Въ такой литературѣ настоящее обращаетъ мало на себя вниманія, потому что настоящее вообще неудобно для фантазіи; ее занимаетъ болѣе прошедшее и будущее. Дѣйствительно, въ индѣйской литературѣ прошедшее является раемъ: люди добродѣтельны, долголѣчны, даже снабжены колоссальнымъ ростомъ. Во-

ображеніе индѣйца въ этомъ отношеніи оставляетъ далеко за собою другіе народы: люди жили по 80 тысячъ лѣтъ, а благочестивые достигали 100 тысячъ; одинъ изъ царей Индіи, вступивъ на престоль, имѣлъ 2 милліона лѣтъ, правилъ 6 милліоновъ, 300 т. лѣтъ, и потомъ, утомленный долговременнымъ правленіемъ, прожилъ еще 100 т. лѣтъ. Ничто великое, потому же закону историческаго восточнаго воображенія, не могло происходить недавно, и законодательство Мену было дано нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ. Такое полное презрѣніе къ настоящему обозначило не только литературу, религію и искусство индѣйца, но и всю его практическую жизнь.

Совершенно противоположный типъ тому представляетъ греческая образованность. Самый театр ея въ 14 разъ меньше; окружающіе острова мостомъ соединяютъ Грецію съ материкомъ Азіи; рѣки ничтожны, горы невысоки. Тамъ въ первый разъ человекъ осмѣливается изучать природу безъ намѣренія обоготворить ее; въ литературѣ главное вниманіе обращено на настоящее; религія не исходитъ изъ ужаса; въ искусствѣ осуществляется идея прекраснаго.

Разсуждая такимъ образомъ, Бѳклъ приблизился къ выводу окончательныхъ результатовъ изъ своей теоріи. Существенное различіе, указанное имъ между восточною и западною цивилизаціею, какъ въ матеріальномъ, такъ и въ интеллектуальномъ отношеніи, побуждаетъ его предложить два метода къ изученію

исторіи: на *Востокъ*, при изученіи судьбы восточныхъ народовъ, необходимо предпослать изслѣдованіе физической природы и дать ему перевѣсъ; на *Западъ*, въ Европѣ, наоборотъ, духъ человѣка долженъ занять первое мѣсто при изученіи, потому что онъ вездѣ является побѣдителемъ природы и непрерывно идетъ впередъ, сокращая пространство и время, и подчиняя себѣ силы матеріальнаго міра. Только перенесеніе индѣйскихъ воззрѣній, замѣчаетъ Бѣкль, на европейскую почву заставляеть иныхъ думать, что мы оставляемъ позади себя золотое время, что настоящія поколѣнія слабѣе древнихъ героевъ; если между нами, дѣйствительно, болѣе слабыхъ, то это результатъ того, что сила нашей цивилизаціи вырываетъ у природы ея жертвы: у насъ можетъ жить и тотъ, кто по спартанскимъ законамъ былъ бы осужденъ на смерть; а потому мысль, что мы, вслѣдствіе образованности, удаляемся отъ какого-то натурального состоянія, когда всѣ были счастливы, есть мысль чисто-индѣйская по своему характеру и достоинству. Такимъ образомъ, исторія въ Европѣ представляетъ непрерывный рядъ прогресса, который выражается именно въ постоянномъ ослабленіи вліянія силъ природы и въ увеличеніи духовной дѣятельности западнаго человѣка; а потому изученіе духовныхъ силъ для исторіи Европы имѣетъ несравненно болѣшую важность, нежели изученіе законовъ природы.

Можно подумать, что Бѣкль, начавъ свою теорію

войною съ метафизиками, кончилъ такимъ образомъ тѣмъ, что самъ перешелъ въ ихъ лагерь, или по крайней мѣрѣ сдѣлалъ огромное исключеніе для исторіи западной Европы. Какъ бы опасаясь возбудить такую мысль въ своемъ читателѣ, Бокль спѣшитъ объяснить, какъ онъ понимаетъ изученіе духовныхъ силъ, и какъ онъ отличается въ этомъ отношеніи отъ метафизиковъ, которые, повидимому, утверждаютъ нѣчто подобное. Онъ говоритъ, что духовные феномены должно изучать не въ самомъ духѣ, какъ то дѣлаютъ метафизики, но въ его *внѣшней дѣятельности*, и, чтобы объяснить свою идею, прибѣгаетъ къ сравненію: въ физиологін долго повторяли ошибку по поводу вопроса о законѣ рожденія мальчиковъ и дѣвочекъ; такъ-какъ тѣло человека представлялось источникомъ ихъ рожденія, то старались открыть этотъ законъ въ изученіи самага тѣла, и приходили потому къ самымъ различнымъ и противорѣчащимъ результатамъ; ту же ошибку, говоритъ онъ, повторяютъ нынѣ и метафизики относительно вопроса о законѣ рожденія идей нашего духа, и стараются въ непосредственномъ изученіи духа открыть этотъ законъ; но они приходятъ, какъ прежде приходили физиологи, къ прямо противоположнымъ и уничтожающимъ другъ друга выводамъ. Физиологи поправили наконецъ свою ошибку, и вмѣсто того, чтобы изучать тѣло, рѣшились сосчитать то, что доступно внѣшнему наблюденію, а именно число рожденій, и такимъ образомъ всѣ пришли къ одному результату, а именно, что на

каждыхъ 20 мальчиковъ родится 21 дѣвочка. Этому методу должно, говорить Вэзль, слѣдовать и въ изученіи человѣческаго духа: слѣдуетъ наблюдать и считать факты его проявленія, и тогда законы дѣятельности духа откроются сами собою. При такомъ перечисленіи самыхъ разнообразныхъ фактовъ дѣятельности нашего духа, мы замѣтимъ, что они могутъ быть подведены всего подъ два класса и составляютъ потому двѣ области: одни факты нравственные и образуютъ область морали; другіе — чисто-умственные и относятся къ области знанія. Каково участіе этихъ фактовъ и той и другой области въ прогрессѣ человечества?

При рожденіи человѣка его нравственныя и умственныя силы совершенно равны, потому что заключаются въ немъ *potentialiter*. Но при дальнѣйшемъ ростѣ человѣка онѣ расходятся: истины моральныя, правила добра не измѣняются вмѣстѣ съ возрастомъ, и потому въ нихъ не можетъ быть прогресса, постепеннаго развитія; въ морали не говорятъ: „дѣлай немного добра, дѣлай больше добра, сдѣлай только одно добро;“ мораль является въ своихъ истинахъ съ перваго раза законченною и безусловною. Дѣйствительно, правила морали на разстояніи множества вѣковъ остаются одни и тѣ же и выражаются въ однѣхъ и тѣхъ же формулахъ. Другое представляютъ факты познанія, которые не только видоизмѣняются съ теченіемъ времени, но и бываютъ часто противоположны; въ по-

знаніи истина весьма часто является по частямъ. Изъ всего этого должно вывести, что историческій прогрессъ относится только къ одной области познанія, которая потому одна и можетъ быть предметомъ изученія въ исторіи. Въ доказательство того Бѳль ссылается на то, что мораль не бываетъ наслѣдственна и не требуетъ для себя преемства: каждое поколѣніе обязано само быть нравственнымъ, и заслуги предковъ въ этомъ отношеніи не принесутъ пользы. Напротивъ, знаніе передается черезъ многія поколѣнія и растетъ вмѣстѣ съ временемъ. Далѣе, продолжаетъ Бѳль, мораль, доходя до энтузіазма, была причиною великихъ общественныхъ потрясеній, какъ то доказываютъ религіозныя преслѣдованія; они дѣлаются часто людьми самыми нравственными и съ нравственною цѣлью: римляне преслѣдовали христіанъ болѣе жестоко при Маркѣ-Авреліѣ Философѣ, человѣкѣ строгой нравственности, а при такихъ безнравственныхъ личностяхъ, какъ Коммодъ, Геліогабаль, такія преслѣдованія останавливались; то же самое можно сказать о многихъ случаяхъ инквизиціи въ Испаніи. Вынужденные признать многихъ изъ преслѣдователей людьми нравственными, къ какому пришли бы мы результату, если бы захотѣли судить эпоху съ точки зрѣнія морали? Разсужденіе о войнѣ приводитъ Бѳля къ подобнымъ же заключеніямъ: правила морали о несправедливости наступательной войны были также хорошо извѣстны при Ксерксѣ, какъ и въ наше время, но въ наше

время не такъ легко рѣшаются напасть на сосѣда, какъ то было при Ксерксѣ, именно потому, что съ одной стороны общество принимаетъ болѣе участія въ политикѣ и нельзя объявить войны, не имѣя за собою, кромѣ арміи, и общественнаго мнѣнія своего народа; съ другой стороны, успѣхи наукъ и образованности охладили военный жаръ; изобрѣтеніе пороха, облегченіе сообщеній и развитіе торговли сдѣлали то, что побѣда на полѣ битвы сдѣлалась чувствительна не только для побѣжденнаго, но и для побѣдителя. И такъ, правила морали не измѣнились въ теченіи вѣковъ, но измѣнилось умственное развитіе людей. А потому, заключаетъ Бѣкль, исторія народа, развиваемая по предлагаемому имъ методу, должна обращать вниманіе на три событія въ цивилизаціи: 1) на объемъ познаній лучшихъ представителей эпохи; 2) на направленіе, которое принимаютъ познанія, т. е. на предметы, которые избираются для изученія; и 3) на распространеніе познаній, т. е. на легкость, съ которою образованіе проникаетъ во все классы народа. Вотъ тѣ три рычага, которыхъ гигантское движеніе перемалываетъ и смѣшиваетъ въ одну массу прогресса отдѣльные поступки людей, толкающихся взадъ и впередъ.

„Поступки злыхъ людей, восклицаетъ Бѣкль, доведенный до энтузіазма своимъ собственнымъ методомъ, приносятъ только одно временное зло, и временное добро послѣдуетъ за добрыми поступками; наконецъ,

все, и доброе и злое, потонуть одинаково въ вѣчности, уносимыя потокомъ слѣдующихъ поколѣній. Одно не покидаетъ насъ: это — открытія великихъ геніевъ; они безсмертны; они заключаютъ въ себѣ высокія истины, которыя переживаютъ богатство, религіозную борьбу партій, и смотрятъ спокойно, какъ одна религія смѣняется другою.... Все исчезаетъ, какъ сновидѣніе, какъ созданіе воображенія; только открытія генія не проходятъ, и имъ мы обязаны всѣмъ, что имѣемъ; они сдѣланы для всѣхъ вѣковъ и навсегда; они никогда не молоды, никогда не стары, и носятъ въ себѣ сѣмена своей жизни. Они текутъ впередъ безконечнымъ потокомъ, родятъ другъ друга и дѣйствуютъ на отдаленное потомство; даже съ теченіемъ вѣковъ, они дѣйствуютъ сильнѣе, нежели въ самый моментъ своего происхожденія (ср. выше 169 стр.).“

Нельзя не отдать справедливости тому въ высшей степени примирительному стремленію, съ которымъ Бокль старается успокоить вѣчно мечущійся духъ чело­вѣка въ ежедневной борьбѣ эгоизма или ослѣпленія, и указываетъ ему одинъ путь къ прогрессу: трудолюбивое, внимательное и добросовѣстное изученіе того, что доступно чело­вѣческому уму и что необходимо для его благоденствія внутренняго и физическаго. Но намъ кажется, что ученіе Бокля можетъ подѣйствовать непріязненно на тѣхъ, которые не захотятъ обратить вниманія на одно преувеличеніе, въ которое Бокль впадаетъ вмѣстѣ съ своими против-

никами. Объявивъ однажды, что онъ намѣренъ изучать духъ не въ духѣ, но въ доступной для наблюдения его дѣятельности, онъ, какъ и метафизики, раздѣляетъ факты этой дѣятельности на нравственные и умственные; потомъ, забывъ, что такое раздѣленіе есть плодъ одной систематики, онъ принимаетъ свой научный пріемъ за фактъ, и дѣлаетъ въ духѣ двѣ особыя клѣтки, или одинъ духъ раздѣляетъ на два духа; между тѣмъ какъ и въ морали, и въ познаніи, предъ нами стоитъ одинъ и тотъ же духъ; одинъ и тотъ же духъ дѣлаетъ добро и познаетъ истину. А потому не можетъ быть тамъ безнравственности, гдѣ есть истинное познаніе, и наоборотъ, самое высокое истинное познаніе есть вмѣстѣ и высокая мораль. Мы согласны, что заповѣдь „не укради“ формулировалась въ теченіи вѣковъ всегда одинаково; это правило морали не могло рости мало-по-малу, какъ растутъ научныя истины: оно явилось съ перваго раза полнымъ и не нуждалось въ дальнѣйшемъ развитіи; все это справедливо, но справедливо также и то, что мораль не состоитъ въ одномъ знаніи ея формулъ, заповѣдей; въ морали важно, какъ относится къ ея правиламъ воля человѣка, его рѣшимость, а въ этомъ отношеніи должно допустить безконечный прогрессъ, какъ и въ знаніи: чѣмъ умъ человѣка свѣтлѣе, всестороннѣе, тѣмъ его воля могущественнѣе и святѣе; или иначе всѣ люди несли бы одинаковую отвѣтственность за свои поступки, ибо всѣмъ одинаково извѣстно правило мо-

рали, но не всѣ стоятъ на одинаковой степени образованности, и потому законъ справедливо принимаетъ это обстоятельство въ соображеніе, присуждая за одно и то же преступленіе различныя степени наказанія. Въ историческомъ судѣ мы поступаемъ точно также, и не будемъ судить древняго грека, какъ бы мы судили современную національность; мы считаемъ себя болѣе отвѣтственными предъ нравственностью, нежели древняго человѣка, и такимъ образомъ допускаемъ прогрессъ въ морали, какъ и въ знаніи: совѣсть нуждается также въ просвѣщеніи, какъ и умъ; въ дѣятельности ума Бюкль не соглашается съ метафизиками и отвергаетъ прирожденныя идеи; въ дѣятельности совѣсти онъ самъ переходитъ на метафизическую точку зрѣнія. Совѣсть древняго фарисея и совѣсть новѣйшаго инквизитора могла слѣдовать буквѣ морали въ частной жизни: фарисей и инквизиторъ могли ничего не украсть, ни въ чемъ не солгать, никого не убить и т. д.; но тѣмъ не менѣе ихъ совѣсть оставалась слѣпою по сравненію съ совѣтью послѣдующихъ поколѣній, и могла быть варварскою совѣтью, какъ и знаніе имѣетъ свою варварскую эпоху.

Намъ оставалось бы теперь перейти къ общему заключенію о силѣ и слабыхъ сторонахъ физиологическаго направленія въ исторіи, которыя проистекаютъ отчасти изъ самой сущности метода, отчасти изъ средствъ той эпохи, въ которую дѣйствуютъ ея представители, а наконецъ и изъ личнаго характера самихъ

представителей; но мы предпочитаемъ послѣдовать тому справедливому правилу древней юриспруденціи, которое говорить: *Audiatur et altera pars*, т. е. „выслушаемъ и другую сторону“. Мы видѣли до сихъ поръ, какъ фізіологи, начиная съ Бэкона, старались путемъ опыта и наблюденій надъ внѣшнею природою и наружными проявленіями духа, доказать законность и очевидность вѣчнаго прогресса въ исторіи; рассмотримъ теперь, какъ ту же истину думали подтвердить метафизики, не выходя изъ предѣловъ человѣческаго духа.

ГЛАВА III.

Метафизическая школа.

§ 1. Ея двойное направленіе.

Откуда происходитъ такое разнообразіе въ философскихъ теоріяхъ при той, повидимому, одинаковости, какъ цѣли ихъ, такъ и самаго предмета изслѣдованій? Намъ кажется, что прежде всего причина такого явленія заключается въ томъ же обстоятельстве, которое мы встрѣчаемъ ежеминутно въ практической жизни, и притомъ въ самыхъ ничтожныхъ ея задачахъ. Отчего три, четыре человѣка, стоя предъ какою нибудь тяжестью, которую слѣдуетъ поднять, нападаютъ на самыя различныя мысли относительно средствъ достиженія своей цѣли? Отчасти причина

того заключается въ томъ, что каждый изъ насъ поражается въ предметъ различными его сторонами; съ другой стороны, личный характеръ каждого играетъ большую роль въ качествѣ предлагаемыхъ мѣръ; и наконецъ, каждый въ жизни встрѣчалъ свой рядъ случаевъ, которые образовали въ немъ своеобразную мудрость опыта. То же бываетъ и съ происхожденіемъ различныхъ философскихъ теорій; это не капризь празднои мысли, или иначе онѣ не могли бы играть такой важной роли въ человѣческой дѣятельности, то бросая ея стремглавъ по новой аренѣ, то сдерживая ея порывы и охлаждая разгоряченное воображеніе. Каждая философская теорія, какъ бы она ни казалась абстрактною и, повидимому, чуждою дѣйствительной жизни, тѣмъ не менѣе носитъ на себѣ всегда печать и того личнаго характера, которымъ обладалъ геній, а еще болѣе того характера, которымъ проникалась эпоха, видѣвшая рожденіе той или другой теоріи. Поэтому въ исторіи философіи мы должны видѣть исторію того же человѣчества, приведенную только къ своимъ послѣднимъ и высшимъ результатамъ.

Но не одна недовѣрчивость и мысль о случайномъ и самопроизвольномъ зарожденіи философскихъ системъ и ихъ безпредѣльномъ витаніи въ области, недоступной для простаго смысла, вредили успѣхамъ философіи въ общественныхъ массахъ. Есть еще другой предразсудокъ: полагаютъ, что въ философскихъ теоріяхъ заключена порядочная доза самолюбія и эго-

изма, и что однѣ теоріи отличаются направленіемъ либеральнымъ, другія напротивъ рассчитаны на то, чтобы оказать услугу той или другой силѣ и задержать оппозицію. Потому каждая эпоха имѣетъ своихъ любимцевъ и ненавистниковъ; и то, что въ одно время считалось крайне либеральнымъ, въ другое время является, какъ нѣчто ретроградное. Было время, когда метафизическое направленіе считалось опаснымъ, а слѣдовательно либеральнымъ; теперь болѣе подозрѣваютъ въ либерализмѣ фізіологическія тенденціи; можетъ быть, придетъ снова очередь для метафизики возбуждать недовѣріе къ своимъ стремленіямъ. Конечно, человѣкъ вноситъ во все, не только въ философію, но и въ религію, свои страсти, мелочные расчеты самолюбія и корысти, но нельзя всего объяснять одними пороками, врожденными человѣческой слабости; и философскія теоріи, если ими и пользуются для той или для другой цѣли, тѣмъ не менѣе имѣютъ свое происхожденіе въ болѣе благородныхъ стремленіяхъ человѣческаго духа.

Мы сочли нужнымъ предпослать такое замѣчаніе нашему переходу отъ фізіологическаго направленія въ исторіи къ метафизическому, чтобы остаться вѣрными принятому нами воззрѣнію: видѣть во всемъ разнообразіи попытокъ нашего ума къ рѣшенію самыхъ существенныхъ вопросовъ о законахъ его дѣятельности постоянно одинъ и тотъ же духъ, который, претерпѣвъ неудачу на одномъ поприщѣ, ищетъ себѣ

исхода другимъ путемъ, но никогда не остается спокойнымъ.

Физиологи, видя какъ ихъ противники спутывались, теряя часто землю подъ ногами, рѣшились ни на шагъ не удаляться отъ почвы; они выиграли много въ частностяхъ, но въ общихъ вопросахъ эта же самая почва стѣснила ихъ, и они, какъ мы видѣли, впадали невольно въ научную поэзію. Это безвыходное положеніе, въ которое ставятъ иногда опытъ, представляя данныя, но не позволяя дѣлать общихъ заключеній, заставляли умъ человѣка пробиваться другими путями: метафизики лишились выгодъ физиологическаго начала, но не чувствовали его неудобствъ, и въ самомъ духѣ человѣка они полагали открыть то, чего не говорить намъ опытъ.

Но въ метафизическомъ направленіи мы встрѣчаемъ замѣтную постепенность перехода отъ чисто-физиологическихъ пріемовъ къ чисто-метафизическимъ. Одна школа метафизиковъ кладетъ въ основаніе происхожденія нашихъ идей и обусловливаемой ими нашей дѣятельности, т. е. исторіи, чувственное воспріятіе; это — *сенсуалисты*; другая школа предполагаетъ такія идеи врожденными человѣку; это — *идеалисты*.

Начнемъ съ изложенія системы сенсуалистовъ, и закончимъ ученіемъ идеалистовъ.

§ 2. Сенсуалисты.

Сенсуализмъ въ философіи вообще, а слѣдовательно

и въ философіи исторіи, начался тамъ же, гдѣ началась и фізіологическая школа, но нѣсколько позже. Таже Англія, которая произвела Бэкона въ концѣ XVI стол., сто лѣтъ спустя была свидѣтельницею дѣятельности Локке; если характеръ реформъ Елисаветы вызвалъ „*Новый Органонъ*“, то, можно сказать, революція 1688 г. нашла для себя самое высшее выраженіе въ „*Опытъ о человѣческомъ разумѣ*.“ Но сенсуалистическая теорія, предоставляя духу человѣка одну страдательную роль чувственнаго воспріятія, въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи повела послѣдовательно къ исторической утопіи и историческому мистицизму, а потому и мы, начиная сенсуализмъ ученіемъ Локке, перейдемъ къ философіи исторіи Фр. Шлегеля, какъ, повидимому, она ни различна съ своимъ началомъ. Такова участь всякой теоріи, которая была вызвана извѣстными требованіями мѣста и времени; а едва ли какая другая теорія, какъ система Локке, представляетъ подобную тѣсную связь съ мѣстомъ своего рожденія; впоследствии, время, вызвавшее теорію, проходитъ, и она быстро видоизмѣняется по личному характеру своихъ представителей и новымъ требованіямъ другого времени, которое беретъ тѣ же философскія начала, но дѣлаетъ изъ него совершенно другіе выводы.

Припомнимъ себѣ XVII столѣтіе въ исторіи Англіи, которому Маколей весьма справедливо придаетъ огромное политическое и интеллектуальное значеніе, и мы тогда легко предбугадаемъ общій характеръ сен-

суализма, который возвелъ къ высшимъ началамъ то, что совершалось во вседневной жизни тогдашняго общества. Паденіе власти Стюартовъ въ сферѣ политической сопровождалось паденіемъ авторитета въ области мысли. Въ 1688 г. вступаетъ на престолъ Вильгельмъ III Оранскій; въ области философіи ему соответствуетъ сенсуализмъ: права Вильгельма III не основывались на преданіи; они имѣли для себя болѣе осязательныя, такъ сказать, сенсуалистическія основанія; и разсуждая такъ, мы вовсе не имѣемъ въ виду играть въ сближенія. Въ введеніи къ одному изъ своихъ трудовъ (*Of civil government*), Локке выражается почти нашими же словами: „Я написалъ, говоритъ онъ, это сочиненіе съ цѣлью укрѣпить тронъ короля Вильгельма и основать его права на согласіи народа; а только на немъ могутъ основываться законныя правительства, и Вильгельмъ пользуется такимъ согласіемъ полнѣе и яснѣе, нежели какой нибудь владѣтель христіанскій;“ и потомъ ниже Локке прибавляетъ: „Я пишу это также для оправданія англійскаго народа, котораго любовь и привязанность къ естественному праву во-время спасли націю, уже находившуюся на краю пропасти, рабства и гибели.“ Мы еще болѣе поймемъ необходимость связи ученія Локке съ своимъ временемъ, если припомнимъ главнѣйшія подробности его жизни: Локке много пострадалъ лично отъ стараго порядка вещей и на себѣ же испыталъ выгоду реформы.

Шесть лѣтъ спустя по смерти Бэкона, въ 1632 г., въ Бристолѣ, родился Джонъ Локке, и въ послѣдствіи отецъ его, ветеранъ парламентской арміи, отдалъ своего сына въ одну изъ коллегій Оксфордскаго университета. Въ 23 года, Локке получилъ званіе бакалавра, и чрезъ три года былъ сдѣланъ магистромъ. Его школьная эпоха была временемъ, подготовлявшимъ первую англійскую революцію, и правленія Кромвеля, когда броженіе въ умахъ общества могло отразиться и въ жизни школы; но результаты опытной жизни не могутъ проникать въ школу съ такою быстротою, и потому Локке, вступивъ въ жизнь, подобно Декарту, съ горечью отнесся къ школьной наукѣ. Какъ Декартъ, онъ имѣлъ независимое состояніе, и, руководясь въ своихъ первыхъ самостоятельныхъ занятіяхъ личнымъ вкусомъ и наклонностями, остановился на медицинѣ и прикладныхъ наукахъ. Но онъ любилъ заниматься и философіею: произведенія Декарта составляли особенно любимое его чтеніе. Главною же школою ему тѣмъ не менѣе служила практика дѣйствительной жизни.

Шесть лѣтъ спустя по окончаніи учебной карьеры, онъ отправился секретаремъ посольства въ Бранденбургъ. По возвращеніи на родину, Локке сближился съ большою знаменитостью того времени, лордомъ Аплей, имя котораго связано въ исторіи англійской конституціи съ закономъ *Habeas corpus*; Аплей ввелъ Локке въ высшій кругъ общества и посвя-

тилъ его во всѣ тайны политическихъ и религіозныхъ распрей того времени. Герцогъ Букингамъ и Галифаксъ подружились съ Локке также чрезъ посредство Ашлея. Всѣ эти три лица отразили въ своемъ характерѣ всю неурядицу своей эпохи; Ашлей, при замѣчательномъ умѣ и богатыхъ познаніяхъ, обладалъ самою циническою нравственностью: то онъ боролся противъ деспотизма, то дѣлался его усерднымъ орудіемъ; бывъ одно время врагомъ Карла I, онъ, послѣ реставраціи Стюартовъ, явился членомъ извѣстнаго министерства *Кабаль (интрига)*. Букингамъ отличался преимущественно своею свѣтскостью; Галифаксъ стоялъ выше ихъ всѣхъ, но не по нравственному характеру, ибо и его видѣли во всѣхъ лагеряхъ. Маколей оправдываетъ Галифакса тѣмъ, что онъ въ своемъ непостоянствѣ выходилъ не изъ точки зрѣнія разсчета, но на основаніи того, что видѣлъ ясно преувеличенія и заблужденія всѣхъ партій, и потому дѣйствовалъ, какъ человекъ будущаго времени, опередившій свою эпоху на нѣсколько десятковъ лѣтъ. Присоединимъ къ этому тѣсному кружку обширную школу политической жизни, гдѣ на глазахъ Локке нѣсколько разъ мнѣніе людей переходило изъ одной крайности въ другую, и тогда мы поймемъ ту основную идею, которая должна была лечь въ основаніе перваго труда Локке, извѣстнаго подъ заглавіемъ: „*Опытъ о человеческомъ разумѣ*“; онъ началъ писать его на 38^{-мъ} году жизни, и кончилъ двадцать лѣтъ спустя послѣ того. Позднѣйшія событія біографіи

Локке идутъ въ связи съ судьбою Ашлея: въ 1679 г., оба они принуждены были удалиться въ Голландію, не желая перейти на сторону абсолютизма возвратившихся Стюартовъ. Такимъ образомъ, Локке оставилъ Англію въ самый разгаръ козней и преслѣдованій: для истины не было болѣе мѣста, и если, какъ выразился остроумно одинъ современникъ, въ ту эпоху никто не оспаривалъ математическихъ формулъ Эвклида, то только потому, что это не принесло бы никакой выгоды. Впрочемъ, правительство Стюартовъ преслѣдовало Локке и въ самой Голландіи: его лишили званія университетскаго fellow и сопряженнаго съ нимъ жалованья, и начали тѣснить путемъ дипломатическимъ, такъ что Локке принужденъ былъ спасаться изъ одного города въ другой и часто не смѣлъ показываться днемъ на улицѣ. Въ эту же самую эпоху Локке дописывалъ свой „Опытъ о человѣческомъ разумѣ,“ и привелъ его къ окончанію, какъ разъ въ то время, когда и на практикѣ рѣшились вопросы, волновавшіе Англію. Революція 1688 г. возвратила Локке на родину и возстановила его права, какъ *fellow*; впрочемъ онъ отказался отъ жалованья, такъ какъ вакансія была еще занята. Вслѣдъ за тѣмъ, въ 1689 г., ровно за сто лѣтъ до французской революціи, появился въ печати его „Опытъ о человѣческомъ разумѣ.“ Въ этомъ же году вышло и другое его сочиненіе „О гражданскомъ правленіи,“ написанное съ политическою цѣлью опровергнуть теорію Фильмера, развитую имъ при

Іаковъ II Стюартъ въ формѣ разказа: „*Патриархъ Авраамъ*“ Фильмеръ выводитъ характеръ власти короля Англіи изъ характера власти Адама, и тѣмъ опровергаетъ взгляды оппозиціи, уже носившіеся въ обществѣ и весьма неблагоприятные для Стюартовъ. Вильгельмъ III предложилъ Локке на выборъ или мѣсто при посольствѣ въ теплое климатѣ для поправленія здоровья, или мѣсто члена въ аппеляціонномъ судѣ съ 200 ф. жалованья; избравъ послѣднюю должность, Локке нашель время, посреди служебныхъ занятій, написать еще два замѣчательныхъ трактата о монетѣ и о торговлѣ. Около 1700 г., преклонныя лѣта и болѣзнь заставили Локке удалиться совершенно отъ публичной дѣятельности; не имѣя своего семейства, онъ нашель себѣ убѣжище у дочери одного изъ своихъ друзей, виλλα которой обратилась для него въ настоящій Тускуланумъ. Для своей гостепріимной хозяйки Локке написалъ трактатъ о воспитаніи, а для Вильгельма — трактатъ о рациональномъ христіанствѣ. Самымъ послѣднимъ практическимъ предпріятіемъ Локке было порученіе отъ короля составить планъ преобразованія англійскихъ университетовъ. Жизнь Локке окончилась мыслью, написанною имъ не за долго до смерти: „Только въ добрѣ, которое я успѣлъ сдѣлать, нахожу себѣ утѣшеніе, и только чистая совѣсть и надежда на вѣчную жизнь могутъ успокоить насъ въ жизни.“

Философскія произведенія Локке обратили на себя скоро вниманіе всей Европы и особенно Франціи, а

потому въ нихъ заключено то направленіе, которому послѣдовала французская литература XVIII столѣтія. Его „Опытъ“ былъ переведенъ на французскій языкъ, и вмѣстѣ съ разсужденіемъ „О гражданскомъ правленіи“ породилъ *Contrat social* Жанъ-Жака Руссо; „Эмилъ“ послѣдняго представляетъ также много общаго съ разсужденіемъ Локке о воспитаніи.

Какъ рано нашель Локке приверженцевъ своей теоріи, также рано явились и противники ему; въ числѣ послѣднихъ стоялъ знаменитый Исаакъ Ньютонъ: его пугала мысль о тѣхъ заключеніяхъ, къ которому могутъ привести идеи Локке, и онъ заподозрилъ философа даже въ честности его убѣжденій; когда къ нему пришло извѣстіе объ опасной болѣзни Локке, онъ выразилъ сожалѣніе, что Локке не умеръ еще прежде. Ньютона можетъ оправдывать въ этомъ случаѣ только одна искренность, съ которою онъ дѣйствовалъ въ отношеніи своего противника, сообщивъ свое дурное мнѣніе о немъ прямо ему въ письмѣ. Но и отвѣтъ Локке Ньютону поражаетъ необыкновенною кротостью, и рисуеть намъ весь внутренній характеръ этого знаменитаго мыслителя и человѣка честнаго, но прошедшаго тяжелую дорогу среди ожесточенной борьбы партій и общества, неуспѣвшаго осясться на прочномъ фундаментѣ.

Oates, 5 октября 1697.

„Съ тѣхъ поръ, какъ я васъ знаю, писалъ Локке Ньютону въ отвѣтъ на его оскорбительное письмо, я

всегда считалъ себя столь твердымъ и откровеннымъ вашимъ другомъ, и въ васъ видѣлъ то же по отноше-
 нію къ себѣ, что если бы не вы сами сказали мнѣ то,
 что сказано вами, то я отказался бы повѣрить этому.
 Какъ мнѣ ни непріятно узнать, что вы получили та-
 кое дурное понятіе обо мнѣ, но ваше признаніе въ
 заблужденіи, въ которое я вовлекъ васъ, составляетъ
 величайшую услугу, какую только можно было мнѣ
 оказать, ибо я имѣю теперь утѣшеніе не потерять
 вашей дружбы, которою я такъ дорожу... Я прошу
 васъ назначить мнѣ мѣсто, гдѣ я могъ бы увидѣть васъ;
 я желаю свиданія тѣмъ болѣе, что заключеніе вашего
 письма заставляеть меня думать, что я могу быть для
 васъ не совсѣмъ бесполезнымъ. Я всегда готовъ слу-
 жить вамъ всѣми моими силами и всѣми способами,
 какіе угодно будетъ вамъ избрать, и ожидаю теперь
 вашихъ приказаній и вашего позволенія." Такой спо-
 койный отвѣтъ на самыя оскорбительныя намеки Нью-
 тона могъ быть внушенъ только одною искренностью
 убѣжденій въ правдѣ своихъ идей. Если при жизни
 самаго Локке являлись сочиненія, ссылавшіяся на его
 авторитетъ и осужденныя парламентомъ на сожже-
 ніе, то это не было виною Локке, какъ онъ не могъ
 отвѣчать за тѣ утопіи и мистицизмъ, которые послѣ-
 довательно развились изъ его ученія на материкѣ. Но
 дальнѣйшая исторія англійской цивилизаціи доказала,
 что и въ практической жизни возможно соединить глу-
 бокую религіозность съ практическими инстинктами

жизни, не впадая ни въ мистицизмъ, ни въ утопію; и самый разборъ системы Локке приводитъ насъ къ убѣжденію, что порядокъ вещей, господствующій въ Англіи и до настоящаго времени, представляетъ очевидное родство съ сенсуалистическими идеями Локке.

Сенсуализмъ кладетъ въ основаніи своей теоріи вопросъ, общій всѣмъ философамъ: откуда наши идеи? А такъ какъ исторія есть ни что иное, какъ дѣятельность человѣка, основанная на его идеяхъ, то вышеприведенный вопросъ имѣетъ чрезвычайную важность и для философіи исторіи, стремящейся постигнуть законы исторической дѣятельности человѣка. „Опытъ о человѣческомъ разумѣ“ написанъ именно съ цѣлью рѣшить вопросъ о происхожденіи идей нашего разума; разсужденіе „О гражданскомъ правленіи“ примѣняетъ только результаты общихъ философскихъ изслѣдованій Локке къ исторіи политическихъ обществъ вообще, и къ 1688 году исторіи Англіи въ особенности. Средствомъ къ разрѣшенію своей философской задачи Локке избираетъ наблюденіе надъ человѣческимъ духомъ въ его феноменахъ, проявленіяхъ, и такимъ образомъ онъ слѣдуетъ психологическому методу, весьма близкому къ методу физиологическому, и соединеніе которыхъ могло бы значительно уменьшить, по нашему мнѣнію, ту односторонность, къ которой приводятъ оба упомянутые метода, дѣйствуя только съ своей исключительной точки зрѣнія. Такъ, Локке, вмѣсто того, чтобы наблюдать за дѣйствительнымъ чело-

вѣкомъ, старается возсоздать духъ человѣка и его способности въ ихъ первобытномъ видѣ: попытка, отъ которой остается одинъ шагъ къ утопіи, т. е. къ мысли о необходимости для прогресса возвратиться къ естественному быту, или къ мистицизму, т. е. къ убѣжденію, что нынѣшній человѣкъ испорченъ и потому ему необходимо для своего исправленія избрать идеаломъ человѣка, какъ онъ вышелъ изъ рукъ Творца. *Естественный человѣкъ* и *теологическій человѣкъ* такъ близки одинъ къ другому, что отличаются только одною терминологіею и обстановкой: одинъ — философскою; другой — теологическою. Какъ мы увидимъ, послѣдующее поколѣніе мыслителей не затруднилось сдѣлать тотъ шагъ, предъ которымъ остановился Локке. Желая не выходить изъ предѣловъ опытной психологіи, онъ допустилъ только два источника первобытныхъ идей: *чувственное воспріятіе (sensus)* и *размышленія на основаніи послѣдняго*, откуда получила названіе и самая школа *сенсуализма*. Такимъ образомъ, сенсуализмъ не допускаетъ такихъ идей, которыя не были бы воспріяты внѣшнимъ чувствомъ, и идетъ по дорогѣ безразличія въ отношеніи понятій добра и зла, свободы человѣческаго духа, безсмертія души и т. п. Между тѣмъ эти идеи существуютъ въ человѣческомъ духѣ, и Локке, для объясненія ихъ происхожденія, сравниваетъ ихъ съ тѣми тѣлесными впечатлѣніями, которыя воспринимаются чувствомъ; идея добра и зла является потому результатомъ размыш-

ленія, возбужденнаго чувствомъ пріятнаго отъ мысли о похвалѣ, наградѣ, или непріятнаго — при мысли о хулѣ и наказаніи. Но вотъ одно изъ капитальныхъ мѣстъ „Опыта“ (IV, 3, § 6), гдѣ Локке, хотя не утверждаетъ прямо матеріальность души, но прямо наводитъ на эту мысль, говоря, что можетъ быть и матеріальный міръ обладаетъ всѣми нашими духовными способностями, хотя это остается отъ насъ скрытымъ: „Мы имѣемъ идеи о матеріи и разсуждаемъ о ней, но, можетъ быть, мы никогда не будемъ способны знать, думаетъ ли матеріальное существо, или нѣтъ; и намъ невозможно постигнуть однимъ развитіемъ нашихъ идей, безъ помощи откровенія, не далъ ли Богъ нѣкоторымъ системамъ матеріальныхъ частицъ, расположенныхъ удобнымъ для того образомъ, способность мыслить и наблюдать, и не присоединилъ ли онъ къ матеріи устроенной такимъ образомъ какой нибудь духовной субстанціи... Ибо, какъ можно быть увѣреннымъ, что нѣкоторыя впечатлѣнія, напримѣръ, удовольствія или боли, не встрѣчаются точно также въ матеріальныхъ тѣлахъ, одинаково съ тѣми нематеріальными, вслѣдствіе одного простого перемѣщенія въ нихъ?“

Таковы общія философскія положенія школы сенсуалистовъ; въ своемъ примѣненіи къ исторіи, какъ началъ, которыми должно руководиться при оцѣнкѣ и взглядѣ на дѣятельность человѣка и на ея цѣль, сенсуализмъ ведетъ, что подробнѣе мы увидимъ ниже,

или къ утопіи, которая считаетъ своимъ идеаломъ первобытное состояніе человѣческаго духа, когда онъ въ первый разъ воспринималъ чувствами впечатлѣніе вѣщнаго міра, или къ мистицизму, который, видя ничтожную долю самодѣятельности нашего разума въ системѣ сенсуализма, дошелъ до полнаго его отверженія и обратилъ всю исторію въ особое откровеніе. Какъ ни различны между собою представители исторической утопіи, напримѣръ Жанъ-Жакъ Руссо, и историческаго мистицизма, какъ его развили де-Мэстръ или Фридрихъ Шлегель, но ихъ ученіе вытекаетъ изъ одного философскаго источника, ведетъ къ одинаковымъ преувеличеніямъ и увлекаетъ съ одинаковою силою; даже можетъ быть мистицизмъ имѣетъ за собою большее число приверженцевъ, нежели утопія, и внушаетъ имъ еще большій энтузіазмъ и нетерпимость.

Но прежде нежели мы перейдемъ къ тѣмъ послѣдовательнымъ видоизмѣненіямъ, которыя пришлось испытать сенсуалистическимъ началамъ въ ихъ приложеніи къ исторіи человѣчества, остановимся на томъ примѣненіи, которое сдѣлалъ самъ отецъ сенсуализма, Локке, въ сочиненіи, подъ заглавіемъ: *Of civil government*, т. е. „О гражданскомъ правленіи“.

Сообразно съ своими взглядами на значеніе человѣческаго разума въ вопросѣ о происхожденіи идей, Локке видитъ въ исторіи, въ этомъ отраженіи человѣческихъ идей, господство одного *естественнаго закона*. Припомнимъ себѣ вышеприведенное нами введеніе къ книгѣ

„О гражданскомъ правленіи“, мы легко поймемъ смыслъ такого естественнаго закона. Стюарты были представителями древняго авторитета; Вильгельмъ III вступилъ на престолъ вслѣдствіе согласія народа; другими словами, при Вильгельмѣ народъ возвратился къ тому первобытному праву, которымъ онъ давно уже не пользовался, и слѣдовательно вернулся къ своему прежнему естественному состоянію, по которому и самое право называется естественнымъ. Остановимся нѣсколько подробнѣе на самомъ содержаніи книги Локке; она представляетъ не одно теоретическое значеніе: очень часто новѣйшія идеи суть ни что иное, какъ возвращеніе къ отжившимъ идеямъ, но воскресимъ подъ новымъ названіемъ. Если наше время можетъ имѣть родство съ какою-нибудь изъ существовавшихъ системъ философіи исторіи, то это именно съ сенсуализмомъ: въ послѣднія десятилѣтія, *consent* (согласіе народа), приводимый Локке, какъ бы снова ожилъ и началъ управлять человѣческими дѣлами, подъ французскимъ именемъ *suffrage universel*, силою котораго возводились новыя династіи, присоединялись цѣлыя области; встрѣчался-ли какой-нибудь трудный дипломатическій вопросъ, *suffrage universel* являлся и тутъ, какъ верховный судья. Въ послѣднее время, правда, кредитъ его нѣсколько потрясся, когда замѣтили, что *suffrage universel* не исключаетъ того искусства, которое въ картежной игрѣ называется искусствомъ подтасовывать карты и выкинуть

именно ту, которая нужна для выигрыша; но тѣмъ не менѣе его царство не прошло, и потому локковскій *suffrage universel* заслуживаетъ полнаго вниманія въ философіи исторіи, какъ явленіе, которое мы можемъ изучать не въ однѣхъ книгахъ. Новѣйшіе противники *suffrage universel*, какую бы честь ни принесла имъ ихъ вражда, надобно признаться, въ большей части случаевъ относятся къ этому явленію нашей эпохи съ нѣкоторымъ легкомысліемъ, желая видѣть въ этомъ одно вліяніе нѣсколькихъ честолюбивыхъ личностей, и забывая, что не должно шутить тѣмъ, что составляетъ, помимо всякаго личнаго честолюбія, цѣлое огромное настроеніе массъ. Оно пришло, оно, быть можетъ, пройдетъ, но оно еще существуетъ и будетъ существовать, пока не исчезнутъ причины, вызвавшія такое настроеніе. Конечно, трудно относиться спокойно къ современнымъ вопросамъ; но ученіе Локке представляетъ именно ту выгоду, что мы можемъ въ его отдаленной эпохѣ наблюдать за собою и сдѣлать предметомъ познанія то, что, въ своемъ собственномъ времени, составляетъ одну область чувства.

Все упомянутое сочиненіе Локке дѣлится на двѣ части. Въ первой — Локке вступаетъ въ полемику съ извѣстнымъ намъ Sir Robert Filmer, партизаномъ Стюартовъ и авторомъ „Патріарха Авраама“; во второй части онъ излагаетъ свою собственную теорію. Скажемъ коротко о содержаніи первой части, чисто-полемической: Фильмеръ старался доказать, что власть

Стюартовъ происходитъ прямо отъ Адама, и потому должна сохранять весь характеръ власти нашего пра-родителя. Конечно, доказать такой тезисъ съ доку-ментами въ рукахъ было трудно, и этимъ обстоятель-ствомъ пользуется Локке, отдѣльваясь одною шуткою. Согласившись съ противникомъ относительно харак-тера власти Адама, которую онъ и передалъ старѣй-шему въ родѣ, Локке говорить, что, по отсутствію вѣрной родословной таблицы, теперь никто не знаетъ, кто именно настоящій преемникъ Адама, какъ стар-шій въ родѣ, а потому Стюарты не могутъ основыв-вать своихъ правъ на преемствѣ отъ Адама.

Во второй части, Локке старается прежде всего опредѣлить полный характеръ *естественнаго* состоянія общества въ отношеніи лица и собственности. Въ естественномъ положеніи, нѣтъ причинъ, которыя бы производили между людьми неравенство и лишали ихъ свободы; но эта свобода и въ естественномъ состоя-ніи подчинена естественному закону, въ силу котораго никто не можетъ имѣть свободы лишить другого сво-боды, убить его и т. д., ибо каждому предоставлено пользоваться тѣмъ же самымъ естественнымъ зако-номъ, такъ что всѣ взаимно имѣютъ другъ надъ дру-гомъ власть; каждый можетъ наказатъ другого, по-тому что и самъ можетъ быть наказанъ всякимъ. От-сюда вытекаетъ, какъ слѣдствіе, важный естественный законъ: „кто пролилъ кровь, того кровь должна быть пролита“. Такое вступленіе напоминаетъ собою совре-

менные намъ нравы сѣверо-американцевъ и ихъ особенный судъ, въ силу котораго, въ извѣстныхъ случаяхъ, частныя лица могутъ дѣйствовать съ тѣмъ характеромъ, который мы допускаемъ для одной публичной власти, а именно судить и наказывать на мѣсть. На возраженіе, которое всякій легко предвидитъ, а именно, что общество, устроенное по системѣ Локке, должно находиться въ постоянномъ состояніи войны и взаимнаго грабежа, Локке отвѣчаетъ болѣе уклончиво, нежели прямо, и говоритъ, что естественное право, дѣйствительно, можетъ послужить источникомъ зла, но въ общемъ итогѣ это зло будетъ гораздо меньше, нежели зло, вытекающее изъ абсолютизма Стюартовъ и защищаемое Фильмеромъ. Впрочемъ, Локке не оставляетъ человѣчество въ этомъ первобытномъ естественномъ положеніи, и ведетъ его дальше къ послѣдующимъ степенямъ. За естественнымъ положеніемъ, гдѣ всякій противъ всѣхъ и всѣ противъ одного, слѣдуетъ другая форма общественнаго устройства, называемая у Локке *военною*, когда одинъ нападаетъ на другого и держитъ его въ своемъ подчиненіи. Послѣдняя и высшая степень развитія общественнаго устройства есть *гражданское* правленіе, которое дало названіе всему труду Локке. Оно отличается отъ естественнаго и военнаго тѣмъ, что въ естественномъ нѣтъ никакого авторитета, какъ и въ военномъ, потому что военное устройство есть только одно видоизмѣненіе перваго; но въ граждан-

скомъ правленіи свобода лица состоитъ въ томъ, что каждый находится подъ опредѣленнымъ авторитетомъ, признанномъ всѣми. Въ естественномъ и военномъ состояніи собственно нѣтъ закона, и потому свобода понимается, какъ отрицаніе всякаго закона; въ гражданскомъ быту, напротивъ, является въ первый разъ законъ общій для всѣхъ и неизмѣняемый; притомъ каждому предоставляется, въ случаѣ отсутствія положительнаго закона, дѣйствовать по здравому смыслу, а не по какому-нибудь произвольному распоряженію, зависящему отъ посторонней воли, которой никто не зналъ напередъ.

Итакъ, характеръ лица въ исторіи проходитъ три степени развитія: естественную, военную и гражданскую. На первыхъ двухъ степеняхъ, свобода является необузданною, неограниченною, и если повинуется, то только однимъ самымъ общимъ опредѣленіемъ разума; въ гражданскомъ быту, свобода въ первый разъ видитъ себя ограниченною; въ естественномъ и военномъ состояніи нѣтъ никакого закона; въ гражданскомъ — мы встрѣчаемъ законы. Такова сущность содержанія первыхъ четырехъ главъ второй части сужденія Локке о гражданскомъ правленіи.

Слѣдующая пятая глава посвящена другой сторонѣ общественнаго развитія, а именно, *собственности*. Являясь самымъ ревностнымъ защитникомъ собственности, Локке выводитъ права ея изъ естественнаго состоянія человѣка, а не изъ того обстоятельства, что

мы наследуемъ прародителямъ, которымъ была подарена земля, и что потому только Стюарты, какъ старшіе въ родѣ, владѣютъ непосредственно землею, а всѣ остальные являются ихъ арендаторами. Въ естественномъ состояніи, говоритъ Локке, земля есть общая принадлежность всѣхъ; однако тѣмъ не менѣе, чтобы воспользоваться этимъ имуществомъ необходимо приложить умъ и трудъ, которые составляютъ личное богатство каждаго; такимъ образомъ является личная собственность, которая дѣлается, такъ сказать, продолженіемъ лица, какъ дѣло его головы и рукъ. Отсюда выводится естественное право каждаго на собственность, и которое предоставляетъ лицу владѣть такою частью земли, какую онъ можетъ обработать для комфортабельной жизни; а потому тотъ, кто овладѣваетъ землею посредствомъ труда, не только не уменьшаетъ доли остальныхъ, но даже увеличиваетъ общій капиталъ. Злоупотребленіе имуществомъ можетъ потому состоять въ томъ, что кто нибудь овладѣваетъ собственностью, и не пользуется ею; для предупрежденія такого зла введены деньги, которыя даютъ возможность обращать избытокъ владѣнія въ денежный запасъ, не подверженный никакой порчѣ.

Отъ опредѣленія лица о собственности, Локке, въ 6 и 7 главахъ переходитъ къ отношенію лицъ между собою, изъ чего возникли двѣ власти: отца семейства и правительства. Ни та, ни другая не должны становиться въ противорѣчій съ вышеизложенными правами

лица и собственности. Молодость, болѣзнь, слабость умственныхъ и физическихъ силъ различаютъ насъ, но не до такой степени, чтобы одни осуждались на рабство, а другіе — на господство: мы не рождаемся равнoсилными своимъ родителямъ, но съ другой стороны мы рождаемся для того, чтобы быть имъ равными; воспитывать, кормить дѣтей составляетъ не право, но обязанность родителей, которые являются такимъ образомъ временными намѣстниками нашего будущаго разума, обязаннаго имъ за то всѣмъ уваженіемъ и благодарностью. Но семейная связь самая ограниченная: Богъ далъ людямъ разумокъ и языкъ, которые не составляютъ исключительной принадлежности семьи, и говорятъ о существованіи другого цѣлаго, называемаго политическимъ тѣломъ. А такъ какъ разумокъ и языкъ не составляетъ привилегіи или исключительнаго владѣнія нѣкоторыхъ, то въ естественномъ состояніи участіе въ политической жизни принадлежитъ всякому. При дальнѣйшемъ развитіи общества, такое участіе выражается въ томъ вліяніи, которое каждый имѣетъ на законодательство своей страны всякій разъ, когда дѣло идетъ о предупрежденіи нарушенія внутренняго мира, объ объявленіи войны для соблюденія внѣшней безопасности; и вообще во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда необходимо оградить право лица и собственности.

Послѣднія 12 главъ теоріи Локке посвящены изслѣдованію причинъ паденія политическихъ обществъ;

этотъ отдѣлъ особенно замѣчательнъ по глубинѣ анализа, и предметъ его сохранить всегда интересъ для историка. Локке отличаетъ два случая паденія: во-первыхъ, когда разрушается самое общество, и во-вторыхъ, когда паденіе ограничивается однимъ правительствомъ. Первый случай онъ приписываетъ исключительно внѣшнему вторженію; но правительство, сверхъ того случая, можетъ падать отъ трехъ внутреннихъ причинъ: 1) мягкости законодательной власти; 2) слабости исполнительной власти, и 3) злоупотребленія ихъ обѣихъ. Если въ своемъ анализѣ Локке является иногда одностороннимъ и произвольнымъ въ своей систематикѣ, то причина того заключается въ томъ, что онъ, не смотря на общій характеръ всего своего разсужденія, никогда не теряетъ изъ виду отдѣльнаго факта, совершившагося на его глазахъ, а именно, паденія Стюартовъ, которое представляло ему именно случай, когда общество оставалось твердымъ, и поколебалась одна правительственная власть.

Мы замѣтили выше, что переворотъ 1688 года и сенсуализмъ Локке послужили основою преобразованій Англіи и, по характеру самой націи, не привели ее къ тѣмъ результатамъ, къ которымъ приводятъ перевороты въ другихъ странахъ. Совершенно другое вліяніе оказали сенсуализмъ и идеи 1688 года на материкъ западной Европы. А потому разборъ ученія Локке по однимъ результатамъ, которые представляетъ англійская образованность, всегда останется не-

полнымъ; чтобы видѣть, къ чему ведетъ сенсуализмъ, перенесенный изъ области философіи въ область дѣйствительной жизни, и доведенный до крайнихъ своихъ послѣдствій, для того нужно прослѣдить судьбу его на материкѣ. Впрочемъ и въ Англии, направленіе ея извѣстнаго историка Юма показываетъ, куда могъ приводить сенсуализмъ отдѣльныя личности, и почему Ньютонъ, какъ бы предчувствуя будущее, такъ сильно вооружался противъ Локке: Юмъ, слѣдуя теоріи Локке, впалъ въ совершенный скептицизмъ и далеко оставилъ въ этомъ отношеніи за собою самого Локке. Но здоровыя начала публичной жизни Англии не дозволили развиться идеямъ сенсуализма во всей ихъ крайней послѣдовательности, и Англія осталась при направленіи религіозно-соціальному. Во Франціи случилось совершенно другое явленіе: тамъ сенсуализмъ не могъ принести пользы даже и своими здоровыми началами, безъ того, чтобы не повредить общественному организму своими увлеченіями. Жанъ-Жакъ Руссо идетъ прямо по дорогѣ къ утопіи: въ своемъ сочиненіи, *Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes* (1753), онъ старается доказать, что общество, какъ оно существуетъ, находится въ испорченномъ еостояніи, и только возвращеніе къ первобытному виду можетъ человѣка поставить на настоящую дорогу. Затѣмъ въ своей *Economie politique* (1755), онъ рисуетъ абстрактное государство, устроенное по началамъ естественнаго права; *Emile* указываетъ на новое воспитаніе

ніе, которымъ должно совершиться перерожденіе человѣка; и наконецъ, въ *Contrat social* (1761) Руссо объясняетъ основы, на которыя должно опереться общество, преобразованное по системѣ предложеннаго имъ воспитанія. Революція 1789 года и вышеприведенные трактаты Ж. Ж. Руссо представляютъ въ себѣ отраженіе революціи 1688 года и трактатовъ Локке; но послѣднее послужило прочною основою новой жизни для Англии, между тѣмъ какъ первое скоро привело къ горькому разочарованію и двойному обману: видя тщету цѣлей высоко поставленныхъ революціею, люди сначала подумали, что они обмануты теоріями, а потомъ еще разъ обманулись, полагая, что истина лежитъ прямо на противоположной дорогѣ. И такимъ образомъ, какъ до революціи сенсуализмъ бросилъ людей на дорогу къ утопіи, такъ, послѣ революціи, изъ него же явился мистицизмъ.

Мы видѣли, что Локке основывалъ общее участіе людей въ политической жизни на общемъ достояніи разсудка и языка, двухъ силъ, которыми человѣкъ снабженъ свыше. Опираясь на это положеніе, мы можемъ притти къ слѣдующему послѣдовательному выводу: мысль, разумъ, и ихъ внѣшнее орудіе, языкъ, не имѣютъ въ насъ самостоятельнаго существованія, а потому вся исторія разума есть ничто иное, какъ непрерывное откровеніе свыше. Однимъ изъ первыхъ систематическихъ защитниковъ такого философскаго начала въ исторіи явился виконтъ *Бональдъ* (род.

1753; ум. 1840), известный публицист времени реставрации 1815 года. Онъ эмигрировалъ въ 1791 г., и возвратился во Францію вмѣстѣ съ имперіею. Но его политическая роль началась съ возстановленіемъ Бурбоновъ; это было время, когда хотѣли въ одно и то же время воспользоваться идеями революціи 1789 года и вмѣстѣ отвергать ихъ, подобно тому какъ и новѣйшій мистицизмъ въ исторіи шелъ отъ сенсуализма и въ то же время думалъ бороться съ нимъ. Такимъ образомъ, ученіе Бональда, какъ разъ совпадало съ господствующими стремленіями своего времени. Бональдъ былъ сдѣланъ членомъ Академіи и перою Франціи; но іюльская революція 1830 года упразднила его философію, и онъ самъ удалился въ свои помѣстья. О немъ и его ученіи хорошо выразилась M-me Stael: „C'est un philosophe de l'antiphilosophie“. Изъ его сочиненій особенно замѣчательны: 1) *Théorie du pouvoir politique et religieuse*. 1796; 2) *Legislation primitive*. 1802; и 3) *Recherches philosophiques*. 1818. Для насъ особенно важно послѣднее. Авторъ выходитъ ясно изъ точки зрѣнія сенсуализма, и кладетъ въ основаніе своей философеми вопросъ о происхожденіи языка. Общая конструкція всѣхъ языковъ и сходство ихъ во многихъ отдѣльныхъ случаяхъ указываютъ на общій ихъ источникъ лежащій внѣ человѣка; отсюда прямое заключеніе, что мысль, языкъ и вся дѣятельность человѣка не принадлежатъ ему, и продолжаютъ собою непрерывное откровеніе. Въ доказатель-

ство того онъ указываетъ на всѣ языческіе народы, лишенные откровенія, и исторія которыхъ оставалась и остается безъ всякихъ результатовъ для человѣчества. „Народы, говоритъ онъ, уснувшіе подъ тѣнью смерти, какъ, напримѣръ, язычники, магометане, не могутъ возвыситься сами собою до лучшаго быта, о которомъ они не имѣютъ никакого понятія; у нихъ, законы, нравы, искусства, науки, остаются неподвижно на одной точкѣ, и, послѣ столькихъ вѣковъ, они не пошли далѣе самыхъ грубыхъ элементовъ соціальной жизни, или, чтобы сказать справедливѣе, остались на послѣдней степени нравственнаго разложенія.“ Всѣ эти разсужденія были необходимы для Бональда, чтобы осудить участіе разума въ политической жизни народовъ; а потому то общество, гдѣ онъ не находитъ средневѣковой іерархіи, остается въ варварствѣ, хотя бы то были Аѳины; Европа, въ послѣднія три столѣтія, представляетъ одно нравственное разложеніе. А чтобы подавить общественное движеніе новаго времени, должно возвратиться къ первобытному состоянію, которое у Бональда не очень далеко отъ насъ: довольно возвратиться къ золотому времени папизма.

Современникомъ Бональда и сподвижникомъ его идей былъ графъ *Жозефъ де-Мэстръ*. Онъ не является систематикомъ, какъ предшественникъ, но, обладая несравненно большимъ талантомъ, произвелъ гораздо большее впечатлѣніе на умы въ духѣ Бональда, нежели самъ Бональдъ. Лѣтъ 40 тому назадъ его име-

немъ, можно сказать, была исполнена вся Европа; онъ былъ однимъ изъ главныхъ поборниковъ Реставраціи, которая совершилась по его программѣ и отчасти его усиліями. Де-Мэстръ принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, значеніе и оцѣнка которыхъ можетъ сдѣлаться темою для самыхъ противоположныхъ декламаций; хотя о немъ можно сказать вѣрно только одно, что онъ вполне стѣдилъ своего времени, и потому носилъ на себѣ и его пороки, и его достоинства, если такія могутъ оказаться въ 20-хъ годахъ нашего столѣтія. Еще можно и должно сказать, что, какъ внутренній человѣкъ, де-Мэстръ отличался необыкновенно честнымъ и твердымъ характеромъ, и это скорѣе было его несчастіемъ, что ему досталась неблагоприятная доля защищать проигранное дѣло и не стоившее его талантовъ.

Жизнь де-Мэстра есть вмѣстѣ и лучшая исторія той философіи, которой онъ сдѣлался представителемъ. Проникнутый и возбужденный къ самостоятельности мысли сенсуалистическимъ направленіемъ прошедшаго вѣка; испытавъ даже гоненіе за родство своихъ идей съ идеями французской революціи, де-Мэстръ посвятилъ всю свою дѣятельность и весь свой умъ, чтобы орудіемъ революціи разбить революцію. Такъ превратна была его судьба при жизни; но нѣчто недоброе случилось и съ его замогильною памятью: де-Мэстръ умеръ тогда, когда эпоха его идей прошла, и слѣдовательно оставилъ по себѣ непріязненную на-

мять въ нашемъ времени; а между тѣмъ недавно, на нашихъ глазахъ, лѣтъ 7 тому назадъ, всѣ вдругъ заговорили о немъ, не только безъ всякой вражды, но даже съ интересомъ и съ желаніемъ возвести его въ авторитетъ. Причиною такой новой загробной метаморфозы въ судьбѣ де-Мэстра былъ тотъ новѣйшій переворотъ, поставившій его отечество Сардинію во главѣ Итальянскаго королевства, въ противность интересамъ Австріи, которую де-Мэстръ преслѣдовалъ глубокою ненавистью всю свою жизнь. Забытые его *Les soirées de St. Pétersbourg* явились снова въ цитатахъ; въ 1858 г. поспѣшили издать его *Correspondance* въ Парижѣ; въ Туринѣ сдѣлали тоже самое; у насъ издали его переписку съ Чичаговымъ. Такимъ образомъ, о философахъ можно сказать то же, что и о книгахъ: и они *habent sua fata*.

Главная пора политической и литературной дѣятельности де-Мэстра пала на ту эпоху, когда въ Европѣ всѣ партіи спорили о томъ, нужно ли уничтожать революцію, уступая ея требованіямъ, или сопротивляясь имъ. Въ это самое время, въ 1815 г., де-Мэстръ, какъ бы въ отвѣтъ на этотъ вопросъ, написалъ одно за другимъ нѣсколько сочиненій о папѣ, о галликанской церкви и о философіи Бэкона. Воззрѣнія де-Мэстра были не новы; уже до него говорили, что всѣ бѣдствія нашего времени ведутъ свое начало съ реформациі; что потрясеніе папской власти должно было повлечь за собою паденіе всѣхъ прочихъ авто-

ритетовъ; но, высказывая такую мысль, всѣ обнаруживали слѣпую ненависть къ новѣйшей цивилизаціи и тѣмъ подрывали самихъ себя; ничего подобнаго нѣтъ у де-Мэстра: онъ не вооружается противъ такъ называемыхъ ухищреній новой цивилизаціи, но съ необыкновеннымъ искусствомъ рисуетъ картину средневѣковаго быта и тѣмъ самымъ производитъ огромное впечатлѣніе, какое когда либо удавалось автору. Господствовавшее тогда направленіе довольствовалось эффектомъ воззрѣній де-Мэстра, и не обращало вниманія на то, что они стоятъ въ прямомъ противорѣчій со всею исторіею, что пора полнаго развитія папской власти была порою глубокаго паденія монархіи; никто не думалъ о такихъ противорѣчіяхъ, и наслаждался тѣмъ согласіемъ, которое господствовало между идеями де-Мэстра и идеями большинства; но, что было еще болѣе важно, и идеи де-Мэстра, и идеи большинства вытекали изъ одного общаго источника, а именно изъ жизни автора и жизни самого общества.

Графъ Ж. де-Мэстръ родился 1754 г. въ Шамбери, въ Савойѣ, въ семействѣ древняго дворянства. Его отецъ, человѣкъ строгій и суровый, приучилъ его съ самыхъ раннихъ лѣтъ къ безусловному повиновенію; стоило отцу появиться въ садовой калиткѣ, чтобы мальчикъ немедленно бросалъ игру и бѣжалъ съѣсть за книги. Находясь въ университетѣ, молодой де-Мэстръ не прочелъ ни одного сочиненія, не спросилъ прежде согласія отца. Все это могло бы убить узкую,

ограниченную натуру, или по крайней мѣрѣ сдѣлать изъ нея одну изъ тѣхъ „устриць“, о которыхъ въ послѣдствіи говорилъ де-Мэстръ, смотря на своихъ современниковъ; но въ де-Мэстрѣ тѣ начала воспитанія только закалили его характеръ и берегли волю для болѣе обширнаго поприща. Его мать отличалась необыкновенною религіозною ревностью и уваженіемъ къ католицизму: почитаніе папы и іезуитовъ было наслѣдственное въ этомъ семействѣ. Когда де-Мэстръ, еще восьмилѣтній мальчикъ, вбѣжалъ съ веселымъ лицомъ въ комнату, мать остановила его, сказавъ: „Не радуйся такъ, насъ поразило большое несчастье! Въ это время пришелъ слухъ объ изгнаніи іезуитовъ изъ Франціи.“

Въ Туринѣ де-Мэстръ изучалъ права, подъ руководствомъ іезуитовъ: потомъ поступилъ на службу, и дошелъ постепенно до званія сенатора. Савойскій сенатъ имѣлъ феодальное право, какъ англійскій парламентъ, дѣлать законную оппозицію Піемонтскому королю; но савойскіе бароны никогда не пользовались своимъ правомъ. Удаленные отъ всеобщаго движенія умовъ въ западной Европѣ, савойскіе аристократы жили безопасно въ своихъ замкахъ, и для нихъ средневѣковая исторія продолжалась непрерывно. Средняго сословія почти не было; промышленность не шла дальше удовлетворенія самыхъ простыхъ потребностей жизни; и притомъ, близость съ Франціею доставляла богатымъ людямъ возможность пользоваться готовыми

плодами цивилизації, не вводя къ себѣ тѣхъ опасныхъ для нихъ идей, которыя породили тѣ плоды. Образованность въ Савойѣ считалась не только роскошью, но и неотъемлемымъ достояніемъ духовенства. По словамъ одного французскаго посланника при Пиемонтскомъ дворѣ, въ Савойѣ дворянинъ полагалъ, что думать прилично однимъ савойскимъ суркамъ, а заниматься литературою даже оскорбительно для дворянина.

Въ такой-то средѣ суждено было дѣйствовать де-Мэстру, и только личныя наклонности предрасположили его къ тѣмъ занятіямъ, которыя считались неприличными для его званія. За то его любовь къ наукамъ и къ книгамъ встрѣтили съ презрѣніемъ. „Сколько я испыталъ тогда, говорить самъ де-Мэстръ, мученій за свои занятія, и все потому что хотѣлъ быть умнѣе этихъ аллобрововъ.“ Но дѣло не кончилось презрѣніемъ; въ то время каждаго человѣка, сидящаго надъ книгой, въ Савойѣ считали зараженнымъ французскими идеями, и будущій защитникъ папизма и абсолютизма началъ свой карьеръ съ того, что прослылъ опаснымъ ультра-либераломъ и атеистомъ. Король Пиемонта Викторъ-Эммануиль выслушивалъ съ опасеніемъ рассказы о философскихъ наклонностяхъ одного изъ своихъ савойскихъ сенаторовъ, чего прежде никогда не бывало съ савойскими сенаторами; де-Мэстру угрожала отставка. Между тѣмъ какъ де-Мэстръ испытывалъ непріятность внѣшнихъ гоненій, внутри его происхо-

дила еще большая борьба: онъ чувствовалъ себя рожденнымъ для большей дѣятельности, нежели та, которую ему представлялъ сенатъ его аллоброговъ; но въ то же время онъ не могъ ясно сознать настоящую задачу своего призванія. Для де-Мэстра наступила такимъ образомъ та минута нравственнаго напряженія, когда какое нибудь случайное для жизни частнаго лица событіе рѣшаетъ окончательно его участь и ставитъ на ту или другую дорогу. Де-Мэстръ готовился и уже былъ въ оппозиціи окружавшему его порядку вещей; правительственныя преслѣдованія еще болѣе толкали его на эту дорогу; но неожиданное событіе повернуло де-Мэстра въ другую сторону, и онъ съ тѣмъ же талантомъ и съ тою же силою началъ дѣйствовать въ пользу того, что осуждалъ и отъ чего самъ испытывалъ уже не разъ гоненія. „Какъ часто, писалъ онъ въ послѣдствіи, вспоминая о своемъ незavidномъ прежнемъ положеніи, я оглядывался кругомъ, сидя на своемъ креслѣ въ сенатѣ, и повсюду видѣлъ около себя однихъ маленькихъ людей и самыя ничтожныя вещи; неужели я осужденъ, говорилъ я себѣ со вздохомъ, жить здѣсь и умереть, какъ устрица на своей скалѣ!? Я много выстрадалъ тогда; голова моя была тяжела, утомлена и подавлена страшною тяжестью ничтожества.“ Де-Мэстръ думалъ, что для него все кончено, и жизнь его потрачена по пустякамъ, а ему было всего 35 лѣтъ; между тѣмъ онъ и не подозрѣвалъ, что уже за дверью его кабинета его

ждала огромная дѣятельность, исполненная дѣйствительныхъ страданій, огорченій, лишеній. Де-Мэстръ оторвался отъ своей скалы и выступилъ на сцену европейской исторіи; судьба забросила его даже слишкомъ далеко, къ намъ, въ Петербургъ. Но характеръ новой дѣятельности де-Мэстра опредѣлился не идеями прошедшаго, а тѣмъ ударомъ судьбы, которая постигла его вмѣстѣ съ его родиною. Такимъ образомъ, какъ ни было ложно крайнее направленіе, которому послѣдовалъ съ того времени де-Мэстръ, и какъ оно ни противорѣчило прежнему образу его мыслей; но во всякомъ случаѣ такая перемѣна въ немъ была не дѣломъ разчета, но чистаго патріотизма, который заставилъ его забыть оскорбленіе мелочного самолюбія. Новый переворотъ въ идеяхъ де-Мэстра могъ найти себѣ опору въ преданіяхъ дѣтства, которыя, какъ мы видѣли, должны были гармонировать съ его новымъ настроеніемъ; его научныя познанія, развитой умъ, послужили наилучшимъ средствомъ для защиты той системы, которая всегда имѣетъ силу тѣснить, но никогда не имѣетъ средствъ къ защитѣ въ минуту собственной опасности. Сентября 15 дня, 1792 г., французская революція объявила войну Сардиніи, и сентября 22 дня того же года Сардиніи не существовало. Викторъ-Эммануиль бѣжалъ въ Римъ; его приверженцы спаслись въ Швейцарію, и де-Мэстръ, получивъ отъ короля 2000 фр. пенсіи, удалился въ Лозанну. Тамъ сложилась литературная и публичная дѣя-

тельность де-Мэстра; въ Лозаннѣ онъ написалъ свое первое сочиненіе, подъ заглавіемъ: *Considerations sur la France*. 1796. Оно доставило ему вдругъ европейскую извѣстность, и указало путь, которому намѣрень былъ слѣдовать де-Мэстръ съ этой минуты.

Направленіе этого сочиненія и его цѣль отлично характеризуютъ не только личное состояніе самого автора, но и общее состояніе умовъ въ 1796 году. Де-Мэстръ и 1796-й годъ напоминаютъ собою Игнатія Лойолу, основателя іезуитскаго ордена, и время реформациі. Игнатій Лойола вышелъ изъ того же движенія умовъ, которое выкинуло и Лутера; есть даже большое сходство въ самомъ началѣ ихъ дѣятельности, и тотъ же энтузіазмъ, доходившій до экстаза, овладѣваетъ обоими. Въ реформациі, рационализмъ испыталъ большую неудачу; самъ Лутеръ увидѣлъ, что начала, проповѣдуемая имъ противъ папы, начинаютъ въ лицѣ Цвингли обращаться противъ него; Лутеръ отлучилъ противника, но на этомъ и остановился. Игнатій Лойола пошелъ дальше и сталъ рѣшительнымъ приверженцемъ отжившаго начала. Въ 1796 г., произошло нѣчто подобное въ исторіи французской революціи: это было время Директоріи, обязанной своимъ утвержденіемъ не идеямъ 1789 г., но пушкамъ и штыкамъ Бонапарте. Директорія, какъ Лутеръ, должна была вступить въ борьбу съ тѣми же началами, изъ которыхъ родилась; такое раздѣленіе въ нѣдрахъ самой революціи ожи-

вило надежду ея противниковъ на реставрацію; и де-Мэстръ съ своимъ размышленіемъ о Франціи сдѣлался интеллектуальнымъ главою всѣхъ, кто раздѣлялъ ту надежду.

Главная цѣль всего сочиненія де-Мэстра состоитъ въ томъ, чтобы показать на примѣрѣ Франціи, какъ человѣкъ, даже и въ тѣ минуты, когда онъ воображаетъ предаваться вліяніямъ собственной воли, на дѣлѣ не имѣетъ никакой воли и служитъ только орудіемъ для другихъ къ достиженію ихъ честолюбивыхъ цѣлей; такимъ образомъ, онъ восходитъ къ общему положенію о несостоятельности человѣческой воли во всей исторіи отъ начала и до конца. Провидѣніе строить впередъ весь планъ исторіи и жизни государствъ, а потому католичество и привязанность къ нему служатъ единственными опорами государственной жизни — вотъ и практическое заключеніе философіи де-Мэстра. Нѣтъ нужды замѣчать — это каждому ясно — философія, обращающая всю исторію въ откровеніе, должна послѣдовательно видѣть и въ революціи волю не людей, но провидѣнія; кромѣ того, де-Мэстръ, какъ и всѣ его послѣдователи, забываютъ объяснить, почему католицизмъ, имѣвшій для себя эпоху неограниченнаго господства, не могъ спасти ни человѣчества отъ его увлеченій, ни самого себя отъ неизбежнаго паденія? Но въ такихъ теоріяхъ, которыя вырастаютъ изъ сильнаго желанія человѣка видѣть осуществленными свои мечты, нельзя искать по-

слѣдовательности; онѣ обращаются не къ разуму, но къ чувству, и находятъ потому многочисленныхъ послѣдователей. Притомъ разсужденіе де-Мэстра написано было весьма живо, картинно, и, что самое главное, имѣло въ себѣ долю правды. Не столько современники, сколько потомство должно удивляться той пронизательности, съ которою де-Мэстръ почти предсказалъ весь исходъ революціи: „Четыре или пять человѣкъ, пишетъ онъ, снова когда нибудь дадутъ этой странѣ (т. е. Франціи) короля. Письма изъ Парижа въ провинціи объявляютъ провинціямъ, что Франція имѣетъ короля, и провинціи воскликнуть: да здравствуетъ король! Даже и въ самомъ Парижѣ, исключая какихъ нибудь 20 человѣкъ, всѣ остальные въ одно прекрасное утро узнаютъ неожиданно, что у нихъ есть король. „Можетъ ли быть,“ воскликнуть они, „это что-то очень странно; а въ какія ворота будетъ въѣзжать новый король? было бы не дурно нанять впередъ окошко: на улицѣ будетъ тѣсно“. Такъ верховный народъ со временемъ декретируетъ реставрацію.“

Отправленный въ послѣдствіи своимъ королемъ въ Петербургъ, гдѣ онъ провелъ 14 лѣтъ (1802—1816), де-Мэстръ, сверхъ своей дипломатической миссіи, продолжалъ войну въ литературѣ, и въ новомъ сочиненіи *Essai sur le principe régénérateur des constitutions politiques* изложилъ тѣ же самыя идеи, но въ болѣе строгой системѣ. Другой трудъ, вышедшій вскорѣ за тѣмъ подѣ

заглавіемъ *Les soirées de St. Pétersbourg**) , не прибавилъ ничего новаго къ прежнимъ убѣжденіямъ де-Мэстра, но за то авторъ обнаружилъ въ немъ несравненно большую глубину мысли и самоувѣренность, такъ какъ, послѣ 1815 г., дѣйствительная жизнь, по видимому, начала повиноваться его теоріи. Но надобно отдать справедливость де-Мэстру: онъ не доходилъ до такого самообольщенія, въ какое впадали многіе при видѣ реставраціи. Возвратившись въ Сардинію и сдѣлавшись членомъ министерства, онъ замѣтилъ, что общественные умы далеко не такъ спокойны, какъ была спокойна политическая жизнь на одной поверхности, и потому за нѣсколько дней предъ смертью, въ 1821 году, онъ, видя необыкновенную самоувѣренность своихъ политическихъ друзей, нашель себя вынужденнымъ заключить свою рѣчь словами: „Подъ нашими ногами колеблется земля, а вы думаете уже строить зданіе!“

Но при всемъ талантѣ де-Мэстра, его философія, какъ философія, страдала постоянно однимъ недостаткомъ: она была составлена *ad hoc, на данный случай*, и потому она собственно можетъ вызывать возраженія въ предѣлахъ этого случая и имѣть притязаніе

*) *Les soirées de St. Pétersbourg, ou entretien sur le gouvernement temporel de la Providence*, par M. le comte Joseph de Maistre. Par. 1821. 2 vol. — Это сочиненіе написано въ формѣ бесѣдъ, которыя происходили въ 1809 г. на островахъ, въ окрестностяхъ Петербурга, между авторомъ, тайнымъ совѣтникомъ Т., сенаторомъ, и молодымъ французскимъ эмигрантомъ Б.

на долю истины также въ той мѣрѣ, въ какой грѣшила противоположная ей крайность. Борясь, повидимому, съ революціею, де-Мэстръ, самъ не замѣчая того, предлагалъ другую революцію и того же самаго характера: французская революція стремилась къ тому, чтобы сдѣлать изъ всего прошедшаго *tabulam rasam, голое поле*, во имя абстрактныхъ идей разума; де-Мэстръ, хотя и въ богословской формѣ, но хотѣлъ такой же *tabula rasa*, и его историческій идеаль сводится на знаменитую библейскую сцену пустого пространства, надъ которымъ витаетъ одинъ духъ Вѣчнаго. Революція наткнулась на своемъ пути къ абстрактному на деспотизмъ, весьма слабо освѣщенный разумомъ; де-Мэстръ также не остался при своемъ великомъ идеалѣ, и могъ указать только на клерикальный деспотизмъ, еще слабѣе освѣщенный идеями истинной религіи. И такъ де-Мэстръ былъ не болѣе счастливъ въ развязкѣ своей теоріи, какъ и революція въ своемъ финалѣ. Преслѣдованіе земныхъ цѣлей, подъ предлогомъ стремленія къ высшимъ идеаламъ, лишило теорію де-Мэстра возвышеннаго характера, и по той же причинѣ она не могла сдѣлаться нормою чистаго развитія сенсуализма въ его мистическомъ настроеніи.

Въ этомъ отношеніи гораздо выше стоятъ ближайшій къ намъ современникъ Ламеннѣ; онъ родился въ Сень-Мало 1782 г., и умеръ въ 1854 году. По превратности судьбы своихъ идей, Ламеннѣ напоминаетъ де-Мэстра, но онъ не игралъ такой политиче-

ской роли, а потому оставался болѣе послѣдовательнымъ и во всемъ доходилъ до конца. Ренанъ, говоря о Ламеннѣ, въ нѣсколькихъ словахъ и мастерски очертилъ всѣ стороны жизни Ламеннѣ и его значеніе въ той сферѣ дѣйствительной жизни, гдѣ пришлось ему дѣйствовать. Когда древніе христіанскіе миссіонеры обратили англо-саксовъ Нортумберланда въ христіанство и предложили имъ собственноручно свергнуть прежнихъ истукановъ, никто не осмѣлился поднять руки на божество; среди такого колебанія, встаетъ языческій жрецъ и однимъ ударомъ сѣкиры разбиваетъ идола, безсиліе котораго онъ зналъ лучше другихъ, бывъ самъ жрецомъ. Съ этимъ англо-сакскимъ жрецомъ сравниваетъ Ренанъ Ламеннѣ. Выйдя изъ среды католичества и бывъ посвященъ во всѣ его мистеріи, онъ могъ нанести ему болѣе чувствительный ударъ, какой едва ли бы могла направить свѣтская рука.

Ламеннѣ, сынъ купца, поступилъ въ духовное званіе по собственному влеченію и явился сначала ревностнымъ защитникомъ католическихъ началъ и папскихъ интересовъ. Въ 1823 г. появилось его сочиненіе *Essai sur l'indifference en matière de religion*, въ пяти томахъ, и доставило ему такую славу, что его заслуги сравнивались съ заслугами Боссюэта. Революція 1830 г. произвела переворотъ въ идеяхъ Ламеннѣ; и съ тою же логикою, которая заставляла его прежде вставать противъ разума и искать опоры въ одномъ католичествѣ, онъ сдѣлалъ заключеніе о несостоятель-

ности католичества. Въ 1834 г., Ламеннè публиковалъ новое сочиненіе *Les Paroles d'un Croquant*, которое имѣло въ теченіи одного года восемь изданій, и нѣкоторыя изъ этихъ изданій выходили въ числѣ 10 тысячъ экземпляровъ. Это была самая злая критика на прежнее его направленіе, и вмѣстѣ высшая степень развитія историческаго мистицизма, до какой только можно было довести его, выходя изъ сенсуалистической точки зрѣнія. Идеи Ламеннè стоили ему жестокихъ преслѣдованій, и противники назвали его трудъ *апокалипсисомъ дьявола*. Само сочиненіе состоитъ изъ собранія гимновъ, одъ, перемѣшанныхъ съ какими-то видѣніями и злою филиппикою противъ католическаго духовенства. Вотъ одно изъ такихъ мѣстъ, гдѣ въ поэтическихъ образахъ Ламеннè рисуетъ историческіе идеалы:

„Когда послѣ долгой засухи теплый дождь орошаетъ землю, она жадно всасываетъ въ себя воду неба, которая освѣжаетъ ее и оплодотворяетъ.

„Такъ извращенныя націи будутъ пить слово Божіе, когда оно ниспадетъ на нихъ теплой волной; и правда съ любовью, миръ и свобода зародятся въ ихъ груди.

„И будетъ то, какъ во времена, когда всѣ были братья; и не раздастся голосъ господина, ни крикъ раба, ни стоны бѣдныхъ, ни вздохи угнетеннаго; но будутъ слышны однѣ пѣсни радости и благословенія,

„Отцы скажутъ своимъ дѣтямъ: наши первые дни

были смущены и переполнены слезами и воздыханіями. Теперь восходитъ солнце; да будетъ благословенъ Богъ, показавшій намъ такую радость предъ смертью!

„И скажутъ матери дочерямъ: взгляните на наше чело; оно совершенно спокойно, но горе, печаль, тревоги провели на немъ глубокія борозды; ваше же чело гладко, какъ поверхность озера, не зыблемаго вѣтромъ. Да будетъ благословенъ Богъ, показавшій намъ такую радость предъ смертью!

„И молодые люди скажутъ юнымъ дѣвамъ: вы прекрасны, какъ цвѣты полей, чисты, какъ роса, освѣжающая ихъ, какъ лучъ свѣта, который ихъ освѣщаетъ. Сладко намъ видѣть отцовъ; сладко сидѣть подлѣ своихъ матерей; но когда мы видимъ васъ, когда мы сидимъ съ вами, въ нашей душѣ рождается чувство, которому имя на небѣ. Да будетъ благословенъ Богъ, показавшій намъ такую радость предъ смертью!

„И юныя дѣвы отвѣтятъ: цвѣты увядаютъ, они преходящи; придетъ такой день, когда не освѣжитъ ихъ роса, не освѣтитъ лучъ солнца; на землѣ одна добродѣтель не преходитъ, и не увядаетъ. Наши отцы, какъ колосья, которыми наполняютъ житницы; наши матери, какъ лозы, обремененныя виноградомъ. Сладко намъ видѣть отцовъ; сладко быть подлѣ матерей, и пріятны намъ сыны нашихъ отцовъ и матерей. Да будетъ благословенъ Богъ, который намъ далъ это благо предъ смертью!“

Такимъ образомъ, сенсуалистическій мистицизмъ, доходя до крайнихъ предѣловъ своего развитія, впадаетъ въ экстазъ, который болѣе волнуетъ воображеніе, нежели двигаетъ умъ, и потому рождаетъ одну напрасную тревогу души, оставляя ее при высокихъ образахъ будущаго, и при самыхъ ограниченныхъ средствахъ къ тому, чтобъ дожить благополучно даже до завтрашняго дня. Хотя впрочемъ мы согласны въ томъ отношеніи съ Ренаномъ, что, какъ бы ни были велики заблужденія такихъ людей, какъ Ламеннѣ, они не достаются имъ даромъ, и то печальное, грустное настроеніе, которымъ сопровождается ихъ жизнь, проведенная въ страстномъ преслѣдованіи истины, искупаетъ ихъ увлеченія: „пусть тѣ, говоритъ Ренанъ, которые его осуждаютъ, спросятъ себя, были-ли бы они готовы, по примѣру Ламеннѣ, посвятить всю жизнь на всецѣлость истины. Посредственность считаетъ весьма удобнымъ презирать генія за то, что онъ не имѣетъ ея привилегіи быть непогрѣшительнымъ. Теперь Ламеннѣ знаетъ разгадку той задачи, которую онъ старался такъ отважно разрѣшить. Пусть тѣ, которые желали бы искупить его славу цѣною ада, помѣстятъ Ламеннѣ, какъ сдѣлалъ бы Данте, въ кругу тѣхъ испытуемыхъ, которые возбуждаютъ зависть въ самыхъ избранныхъ.“

Между многими другими послѣдствіями французской революціи нельзя не замѣтить и не поставить на важное мѣсто того обстоятельства, что она содѣй-

ствовала много къ объединенію не только политическихъ, но и интеллектуальныхъ интересовъ Европы, и соединила ихъ въ одну громадную сцену; а потому съ тѣхъ поръ все, что происходитъ въ одной странѣ пріобрѣтаетъ значеніе повсюду и повсюду влечетъ за собою одинаковыя послѣдствія. Такъ случилось и съ историческимъ мистицизмомъ: во Франціи, болѣе сообразно характеру самой страны, онъ завершился почти одою; въ Германіи тѣ же идеи облеклись въ форму ученаго трактата, и нанли себѣ самаго систематическаго представителя въ такомъ ученомъ, какимъ былъ Фридрихъ Шлегель, современникъ де-Мэстра, развившійся подѣ вліяніемъ тѣхъ же самыхъ внѣшнихъ обстоятельствъ: бѣдствія Германіи, завоеванной французскою революціею, толкнули его на ту же самую дорожку; вражда къ Наполеону и внушенныя ею пѣснопѣнія Фр. Шлегеля заслужили ему названіе германскаго Тиртея.

Фридрихъ Шлегель, родившійся въ 1772 году въ средѣ протестантской семьи въ Ганноверѣ, не могъ, подобно де-Мэстру, вынести изъ фамиліальныхъ преданій своего будущаго направленія, которое привело его къ тому, что онъ оставилъ протестантизмъ и сдѣлался католикомъ, какъ де-Мэстръ оставилъ свое знакомство съ революціонною литературою и перешелъ на сторону ея противниковъ. Поприще Шлегеля до 1820 г. не можетъ интересовать насъ въ эту минуту, потому что до этой поры его дѣятельность была на-

правлена исключительно на изучение литературы и ее теории, куда он с большим умением и талантом перенес важнейшие законы искусства, указанные Винкельманом. Его личная история в ту эпоху обвинулась отступничеством от протестантизма в 1805 г., причем играла впрочем большую роль его жена Доротея, дочь Мендельсона, составившая себе большое литературное имя, независимо от известности мужа, и в то же время неизменно несколько преданиям немецкой хозяйки; когда ее застали однажды за иголкой — она шила рубашку мужу — и обратились к ней с упреком за такую потерю времени, она отвечала: „книгъ написано уже слишком много, но я не слыхала, чтобы жаловались на излишекъ рубашекъ.“ В жизни практической, в этом периоде, Шлегель, благодаря Меттерниху, успел достигнуть дипломатического назначения. Для нас Шлегель дѣлается болѣе замѣчательнъ съ 1820 г., когда онъ, оставивъ свои политическія занятія, преданъ снова литературѣ и наукѣ, и на этотъ разъ посвятилъ себя именно главнымъ образомъ философіи исторіи.

Результаты своихъ изслѣдованій и размышленій Шлегель изложилъ въ формѣ лекцій, по прежнему своему званію профессора; еще въ 1800 г. онъ поступилъ приватъ-доцентомъ въ Іенѣ, университетъ котораго находился тогда на вершинѣ своей славы; это была эпоха Фихте, Гумбольдта, Шеллинга. Шлегель читалъ философію; года четыре спустя, онъ снова

читалъ лекціи философіи, но уже въ Парижѣ и католикомъ. Въ 1827 году общество его друзей упросило Шлегеля открыть по прежнему курсъ философіи, и въ одномъ изъ отелей Вѣны Шлегель началъ рядъ своихъ лекцій почти наканунѣ іюльской революціи. Общій планъ курса былъ весьма обширенъ; но смерть помѣшала Шлегелю довести свой трудъ до конца. Онъ началъ съ *Философіи жизни, Philosophie des Lebens*; это составило нѣчто въ родѣ введенія къ послѣдовавшему за тѣмъ курсу *Философіи исторіи, Philosophie der Geschichte*; свое заключеніе Шлегель предполагалъ высказать въ третьей серіи лекцій, читанной зимою въ Дрезденѣ, 1828 г., подъ именемъ *Философіи языка и слова, Philosophie der Sprache und des Wortes*. 12-го января ему приходилось читать свою десятую лекцію; наканунѣ вечеромъ, въ воскресенье, онъ готовился къ лекціи и дошелъ до самаго важнаго ея мѣста, гдѣ предстояло рѣшить вопросъ о законченномъ и полномъ познаніи. *Das ganz vollendete und vollkommene Verstehen selbst aber...* на этихъ словахъ остановилась его рука въ ту минуту, когда его поразила смерть; и вопросъ остался безъ отвѣта.

Общая мысль, которою проникнуты всѣ лекціи Шлегеля, ничѣмъ не отличается отъ утопій сенсуализма прошедшаго столѣтія, какъ ни противоположны, повидимому, такія личности, какъ Ж. Ж. Руссо и Шлегель; у Шлегеля употреблена только теологическая форма, и потому онъ находитъ возможность

придать другой оборотъ тѣмъ мыслямъ, которыя занимали и Женеваго философа: „Человѣчество, говоритъ Шлегель, должно *возвратить* себѣ тотъ божественный обликъ, который оно утратило еще во времена глубокой древности.“ Вся исторія у Шлегеля направлена къ тому, чтобы воспринять на себя утраченный образъ и подобіе божіе. Какимъ образомъ это стремленіе пробуждается въ нашей индивидуальной дѣятельности, причѣмъ душа наша является центромъ всѣхъ явленій жизни, рѣшеніе этого вопроса составляетъ содержаніе той части курса, которую Шлегель назвалъ *философіею жизни*. За тѣмъ, второй вопросъ, какимъ образомъ все человѣчество, въ различные возрасты своей исторической жизни, усиливалось возвратити себѣ образъ и подобіе, составляетъ содержаніе *философіи исторіи*. Наконецъ, *философія мысли*, или, что то же, философія языка и слова, какъ орудія мысли, должна показать, чѣмъ заключится примиреніе человѣчества съ божествомъ, начатое въ жизни индивидуума, продолженное въ дѣятельности общества, и доведенное до своей полноты въ нашемъ внутреннемъ сознаніи.

Такова у Шлегеля картина судьбы человѣчества въ ея послѣдовательномъ развитіи: мистицизмъ ея очевиденъ съ перваго раза, но она могла бы тѣмъ не менѣе показаться величественною, если бы примиреніе съ божествомъ, рисующее колоссальную сцену совпаденія человѣчества и божества, не скрывало за со-

бою весьма миниатюрнаго зрѣлища примиренія съ католичествомъ, подъ условіемъ подчиненія папѣ.

Разсмотримъ ближе самое содержаніе лекцій, и начнемъ съ *Философіи жизни*, гдѣ душа человѣка разсматривается, какъ центръ всѣхъ духовныхъ явленій. Для насъ особенно важны послѣднія лекціи, начиная съ одиннадцатой, гдѣ Шлегель говоритъ *объ отношеніи истины и науки къ жизни*, или о духѣ въ его обращеніи къ дѣйствительности, т. е. къ исторіи. По теоріи Шлегеля, обращеніе духа къ дѣйствительности составляетъ третью ступень въ его поступательномъ развитіи. Разсмотрѣніе двухъ предъидущихъ ступеней излагается имъ въ первыхъ десяти лекціяхъ. Первую ступень составляетъ единство знанія и вѣры и сознаніе такого единства. Вторая ступень представляетъ рѣзкое различіе между первоначальною простою и всеобщю вѣрою и невѣріемъ или ложнымъ знаніемъ, которое состоитъ въ заблужденіяхъ, приведенныхъ въ систему. Такъ какъ эта вторая ступень представляетъ самый любопытный предметъ для философскихъ наблюденій, то Шлегель останавливается въ исторіи человѣчества на двухъ моментахъ, которые должны послужить къ объясненію его темы. Сначала онъ избираетъ древній міръ, и говоритъ 1) о двойномъ духовномъ бытѣ глубокой древности Востока, и 2) о высшемъ развитіи мышленія и познанія грековъ, за которыми послѣдовала быстрая деморализація. Цѣль Шлегеля въ обоихъ случаяхъ доказать, что исторія

человѣческихъ обществъ начинается съ истины, и что истина предшествуетъ заблужденію, точно также какъ и образованіе предшествуетъ такъ называемому дикому состоянію. По теоріи Шлегеля, современные намъ дикари представляютъ послѣднюю степень разложенія древнѣйшихъ цивилизацій и погибшихъ; однимъ словомъ, мы должны называть дикарей не дикими, но одичавшими народами. Миѣи суть ни что иное, какъ отрывки древнѣйшихъ образованностей, и Шлегель, разбирая такіе миѣи и соединяя изъ нихъ въ одно цѣлое только то, что они представляютъ общаго, приходитъ къ заключенію, что всѣ древнѣйшія цивилизаціи начинались съ полнаго согласія знанія и вѣры, чему содѣйствовало откровеніе. Раздѣленіе знанія и вѣры характеризуетъ послѣдующую ступень древнихъ цивилизацій. То же самое старается доказать Шлегель и въ другомъ болѣе трудномъ примѣрѣ развитія греческой философіи. Говоря о ней, онъ указываетъ прежде всего на то, что древнѣйшая философія, іоническая и пифагорейская, въ своей простотѣ, стояла въ совершенной гармоніи съ жизнью, и только въ послѣдствіи, въ эпоху софистовъ, наука и вѣра въ науку, т. е. дѣйствительная жизнь, разошлись и произвели паденіе древняго міра.

Далѣе, Шлегель переходитъ къ новому времени и видитъ, что въ началѣ христіанской эпохи мы опять поражаемся именно совершеннымъ тождествомъ знанія и вѣры: наука и жизнь совершенно одно и тоже.

Но уже въ первые вѣка христіанство увидѣло въ своихъ нѣдрахъ раздвоеніе, какое представляетъ намъ и языческая древность: гностики—матеріалисты, и ариане—раціоналисты. Уже тутъ начинаютъ являться зародыши будущаго разложенія западнаго общества, довершеннаго въ реформацію. Результаты такого разложенія были тѣ же, какіе представила нѣкогда греческая философія: чѣмъ выше какое нибудь философское начало, тѣмъ болѣе наружнаго блеска въ эпоху его паденія; такъ было въ эпоху цезарей, такъ было и въ XVI и въ XVII вѣкахъ, которые Шлегель называетъ *eine wissenschaftliche Barbarei*, *научное варварство*. Это-то научное варварство создало въ XVIII вѣкѣ новое ученіе, новый принципъ такъ называемаго *просвѣщенія*; всѣ чувствовали, что цѣль человѣчества состоитъ въ примиренія науки и жизни, но на дѣлѣ жизнь далеко отставала отъ науки; всѣ бросились на просвѣщеніе, чтобы сравнять жизнь съ наукою, но революція доказала всю тщетность усилій ума прошедшаго столѣтія.

Такимъ образомъ, по теоріи Шлегеля, человѣчество два раза находилось въ полномъ состояніи блаженства, т. е. въ единствѣ науки и жизни: въ минуту перваго откровенія, которое было чисто-натуральнаго характера; и въ минуту втораго чисто-человѣческаго откровенія. Между этими двумя эпохами лежатъ два интервалла, когда знаніе и вѣра разошлись; одинъ интерваллъ называется греко-римскою образованно-

стью; другой — европейскою образованностью. Наше время находится въ спорѣ двухъ усилій: или возстановить гармонію между знашемъ и вѣрою, внося въ нашу жизнь божественное ученіе, или посредствомъ ложнаго знанія окончательно разрушить колеблющееся зданіе европейской образованности.

Наука полная, истинная, заключаетъ Шлегель, есть сама жизнь, возведенная до степени мысли; въ знаніи этотъ процессъ совершается при помощи логики, въ искусствѣ — при помощи символовъ; первое создаетъ божескіе идеалы истиннаго; второе — божескіе идеалы прекраснаго; наконецъ, жизнь, возведенная до степени мысли, по отношенію къ самой себѣ ставитъ предъ нами божескій идеаль нравственнаго. Достиженіе всѣхъ этихъ идеаловъ невозможно для человѣка безъ высшей помощи, и здѣсь, на землѣ, существуютъ для того три посредника: власть отца въ семействѣ, власть короля въ государствѣ, и папы въ мірѣ. Все это заключается въ пятнадцатой лекціи картиною теократіи и ея науки, которая осуществитъ вполнѣ возстановленіе потерянной нами гармоніи науки и жизни.

Если мы облечемъ утопію прошедшаго столѣтія въ теологическія формы, то мы получимъ нѣчто весьма близкое къ вышеизложенному нами ученію Шлегеля; и наоборотъ, если мы отдѣлимъ въ мистицизмѣ Шлегеля его основы отъ его терминологіи, то предъ нами предстанетъ утопія, мечтавшая о возвращеніи чело- вѣчества къ первобытному состоянію. Правда, мисти-

цизмъ представляетъ бѣльшія затрудненія для анализа, нежели утопія, и приемы Шлегеля напоминаютъ собою одну военную стратегию старыхъ временъ: когда Фридрихъ Барбарусса осаждалъ возмущившійся противъ его деспотизма городъ Италіи, Кремону, онъ привязалъ къ осаднымъ орудіямъ плѣнниковъ и заложниковъ съ тѣмъ, чтобы затруднить дѣйствіе непріятеля, которому приходилось бы, разрушая машины, бить своихъ родственниковъ и братьевъ. Точно также Шлегель убираетъ свои осадныя орудія именами божества, божественнаго разума, верховной власти, власти родителей, съ тѣмъ чтобы сдѣлать себя неприступнымъ, или поставить своихъ противниковъ въ опасность не иначе добратся до его философіи, какъ по ниспроверженіи того, чѣмъ она обставлена.

Философія жизни должна была лечь въ основаніе философіи исторіи Шлегеля, или лучше повториться въ ней, ибо въ философіи исторіи душа недѣлимаго замѣняется душою цѣлаго общества. Такимъ образомъ, Шлегель, соотвѣтственно своей основной мысли, выраженной въ философіи жизни, раздѣляетъ всю исторію на три эпохи. Первую эпоху составляетъ исторія Востока: на Востокѣ родъ человѣческой выходитъ непосредственно изъ *Слова* божія, изъ божественнаго преданія, но дальнѣйшая судьба народовъ восточныхъ различна, смотря потому, какое развитіе приняло въ нихъ *Слово*: въ Китаѣ это *Слово* подверглось толкованію со стороны разума, и потому въ Китаѣ обна-

ружился атеизмъ въ формѣ ученія Фо; въ Индіи, *Слово* было истолковано воображеніемъ, и потому привело людей къ обоготворенію природы; въ Египтѣ обнаружилось стремленіе проникнуть смыслъ *Слова*, и потому египетская образованность заключилась магіей; въ Палестинѣ, *Слово* было ввѣрено волѣ человѣка, и потому, при появленіи Спасителя, никто не призналъ Его, ибо Онъ не давалъ евреямъ власти надъ міромъ. Итакъ, древняя исторія Востока представляетъ рядъ усилій божества построить исторію человѣка на *Словѣ*, и рядъ противодѣйствій со стороны человѣка и всѣхъ его способностей, разума, воображенія, смысла и воли. Соотвѣтственно этой идеѣ, Шлегель развиваетъ въ первыхъ своихъ шести лекціяхъ исторію Китая, Индіи, Египта и евреевъ.

Помимо своей мистической формы, эта часть философіи исторіи Шлегеля представляетъ первый систематическій опытъ примѣнить къ исторіи психологическій методъ, на который, какъ мы видѣли, указывалъ еще Локке; и въ этомъ отношеніи заслуга Шлегеля для философіи исторіи, по полнотѣ своей попытки, неоспорима; но въ то же время, Шлегель доказалъ намъ, сколько заключается произвола въ психологическомъ методѣ, неподкрѣпленномъ со стороны опыта и наблюденій надъ внѣшними проявленіями духа и силами физической природы.

Седьмая лекція Шлегеля была посвящена второй эпохѣ человѣчества, открывающейся персидскимъ цар-

ствомъ. Персы времянь Кира Великаго возрождаютъ міръ матеріальною *Силою*, и передають свою работу грекамъ и римлянамъ. Чтò же сдѣлали греки и римляне? И у нихъ, искусство заключилось поклоненіемъ природѣ, науки привели къ софистикѣ, а разумъ къ эгоизму. Итакъ, царство *Силы*, какъ и царство *Слова*, оказалось несостоятельнымъ, и исторія человѣчества во второй эпохѣ своего существованія кончается паденіемъ трехъ великихъ націй, персовъ, грековъ и римлянъ.

Христіанство открываетъ собою третью эпоху возстановленіемъ царства *Слова*; но и на этотъ разъ воля чловѣка противопоставляетъ Слову ереси гностиковъ, арианъ и средневѣковыхъ хилиастовъ; наконецъ, въ XV столѣтіи, воскресаетъ даже древнее язычество въ формѣ трехъ протестантизмовъ: религіознаго, политическаго и философскаго. Однимъ словомъ, по представленію Шлегеля, какъ онъ самъ выражаетъ то кратко въ своемъ заключеніи, философія исторіи есть „родъ соціальной патологіи, которая разсматриваетъ чловѣчество, какъ опаснаго больного, состояніе котораго—въ тотъ моментъ, когда говорилъ Шлегель—дѣлается съ каждымъ днемъ хуже и хуже.“

§ 3. Идеалисты.

Мы имѣли случай указывать нѣсколько разъ и теперь повторяемъ снова, что всякое малѣйшее движе-

ніе въ философскихъ теоріяхъ того или другого вѣка, даже всякій оттѣнокъ въ этихъ теоріяхъ никогда не проходили даромъ для успѣха или для замедленія исторической науки. И это нисколько не удивительно, ибо въ своихъ воззрѣніяхъ на судьбу человѣческихъ обществъ мы выходимъ всегда изъ той или другой философемы; общія философскія начала, которыми руководится данная эпоха, имѣютъ глубокое вліяніе на приемы исторической науки, ея направленіе и цѣли. Философскій идеализмъ новой эпохи, стремящійся открыть законы нашего разума въ самомъ разумѣ и допускающій, въ противность сенсуализму, *прирожденныя идеи*, обнаружилъ можетъ быть самое могущественное вліяніе на историческое направленіе умовъ не только въ наукѣ, но и въ ежедневныхъ вопросахъ жизни. Между тѣмъ, при своей отвлеченности, онъ, казалось, долженъ былъ бы оставаться изолированнымъ въ головѣ отдѣльныхъ мыслителей и тѣхъ немногихъ ихъ послѣдователей, которымъ могла быть доступна тяжелая терминологія идеализма. Но все это служитъ только новымъ доказательствомъ того, что между самыми темными, запутанными философскими теоріями, и дѣйствительною ежедневною жизнью, находится гораздо бѣльшая связь, нежели какъ то можно предполагать, судя по ничтожной долѣ интереса, которую массы посвящаютъ философскимъ вопросамъ. Человѣкъ эпохи, на примѣръ, Гегеля, никогда не читавъ произведеній этого философа, дѣйствовалъ и разсуждалъ въ

отдѣльныхъ случаяхъ жизни такъ, какъ будто бы онъ былъ ученикомъ философа своего времени; но это только доказываетъ, что источникъ философскихъ теорій и нашего ежедневнаго смысла одинъ и тотъ же: все различіе состоитъ въ томъ, что нашъ ежедневный смыслъ представляется повинующимся инстинктивно такъ называемому *духу времени*, а въ философіи этотъ духъ времени какъ бы достигаетъ самопознанія и слагается въ теорію, законъ.

Но философскій идеализмъ обязанъ своимъ успѣхомъ сверхъ того и личному универсальному характеру своего основателя, а именно Лейбница. Едва ли есть какая нибудь наука, исторія которой могла бы обойтись безъ его имени; нѣтъ почти отрасли чело-вѣческаго познанія, въ развитіи котораго Лейбницъ не принялъ бы болѣе или менѣе значительнаго участія. Естественныя науки, математическія, философскія, политическія, всѣ онѣ должны дать значительное мѣсто Лейбницу въ своемъ поступательномъ развитіи. Секретарь французской Академіи Наукъ (прошедшаго столѣтія) Фонтенель, въ своемъ жизнеописаніи Лейбница весьма картинно говоритъ, что, „подобно древнимъ возницамъ, умѣвшимъ править вдругъ восемью конями, поставленными въ рядъ, Лейбницъ былъ способенъ развивать одновременно всѣ науки чело-вѣческаго познанія. Древніе, продолжаетъ ораторъ, сложили изъ многихъ Геркулесовъ одного; мы, разсуждая о Лейбницѣ, должны поступить наоборотъ и раз-

дѣлать въ немъ нѣсколькихъ ученыхъ.“ Слѣдуя примѣру Фонтенеля, мы съ своей стороны выдѣлимъ въ Лейбницѣ только одного философа исторіи человечества; но его философія исторіи такъ тѣсно связана съ собственною его интеллектуальною и общественною жизнью, что было бы трудно строго ограничиться первымъ и опустить совершенно послѣднее. Такая связь теорій Лейбница съ дѣйствительностью составляетъ главную ихъ силу; Лейбницъ въ своихъ произведеніяхъ имѣлъ въ виду далеко не спеціалистовъ, и съ своими глубокомысленными идеями обращался очень часто къ людямъ самымъ практическимъ: такъ, его знаменитая Монадологія была написана имъ для принца Евгенія Савойскаго. Такіе люди, какъ Карль XII, считали полезнымъ совѣщаться съ Лейбницомъ о самыхъ практическихъ вопросахъ жизни; Карль VI, при заключеніи Утрехтскаго мира (1715) говорилъ, что политическія сочиненія Лейбница сдѣлали для него то, чего не могла сдѣлать вся его армія. Всѣ знаютъ объ отношеніяхъ Лейбница къ Петру Великому, который сообщалъ ему свои планы о народномъ образованіи, cui instituto, писалъ Лейбницъ, ut par est, applausi. Какъ Лейбницъ старался во всѣхъ своихъ произведеніяхъ быть общедоступнымъ, это видно уже изъ того, что одинъ изъ самыхъ монументальныхъ его трудовъ, и который принадлежитъ именно къ области философіи исторіи, былъ написанъ для дамъ и посвященъ одной изъ нихъ. При своихъ связяхъ и отношеніяхъ ко мно-

гимъ лицамъ, стоявшимъ во главѣ тогдашняго общества, Лейбницъ успѣлъ однако сохранить всю независимость своего духа, распространявшуюся и на область религіи, въ которой, по выраженію одного изъ современниковъ, Лейбницъ былъ *suae spontis*.

Лейбницъ родился въ 1646 г., въ Лейпцигѣ; его отецъ, профессоръ морали, оставилъ его сиротою шести лѣтъ. Лейбницу не было 10 лѣтъ, когда въ его руки попались римская исторія Тита-Ливія и „Сокровищница хронологіи“ Кальвизія. Въ своей автобіографіи, гдѣ Лейбницъ описывалъ собственную жизнь подъ именемъ Пацидія, онъ говоритъ такъ о своемъ дѣтствѣ: „Я горѣлъ желаніемъ прочесть бѣольшую часть авторовъ, которыхъ я зналъ давно уже, но только по именамъ, а именно, Цицерона, Квинтиліана, Сенеку, Плинія, Геродота, Ксенофонта, Платона, и многихъ отцовъ латинской и греческой церкви; я переходилъ отъ одного къ другому со страстью, и въ этомъ дивномъ разнообразіи предметовъ находилъ невыразимую прелесть.“ Пятнадцати лѣтъ, въ 1661 г., Лейбницъ поступилъ въ университетъ, и въ этомъ же году прочелъ въ первый разъ Декарта, который рѣшилъ всю его будущую участь. Уже въ ту эпоху, какъ говорить Лейбницъ въ жизни Пацидія, онъ напалъ на мысль о *предустановленной гармоніи міра*, и жители Лейпцига до сихъ поръ смотрятъ съ гордостью на вѣковые дубы своего сада Розенталя, подъ которыми зародилась въ первый разъ великая философа Лейб-

ница. Въ 18 лѣтъ отъ роду, Лейбницъ получилъ первую ученую степень, и 20 лѣтъ былъ докторомъ правъ. Но мелочность практической жизни заставила его скоро бросить адвокатуру; „мнѣ казалось, говорить онъ, недостойнымъ молодого человѣка сидѣть и вертѣться на одномъ мѣстѣ, какъ ключъ въ замкѣ.“ Въ 1672 г., Лейбницъ отправился въ Парижъ, гдѣ и провелъ четыре года. Желая придать своимъ ученымъ трудамъ большую общедоступность, онъ началъ съ того времени писать на французскомъ языкѣ, и одно изъ главныхъ его произведеній, а именно, *Теодицея*, написано на французскомъ языкѣ. Во Франціи же Лейбницъ изучалъ математическія науки и сблизился какъ съ представителями философіи Декарта, такъ и съ ея противниками. Послѣ кратковременной поѣздки въ Англію, Лейбницъ возвратился въ Германію, гдѣ и принялъ должность бібліотекаря въ Ганноверѣ. Оттуда, по временамъ, онъ дѣлалъ продолжительныя путешествія по Германіи, являлся ко всеѣмъ дворамъ, напоминая собою странствованія древнихъ мудрецовъ, вездѣ содѣйствоваль открытію Академій, и, возвратившись въ Ганноверъ, посвятилъ послѣдніе дни своей жизни на окончательную редакцію и изданіе Теодицеи. Лейбницъ умеръ въ 1716 году.

Въ своей „Теодицеѣ“, Лейбницъ, выходя изъ началъ своего философскаго идеализма, самъ сдѣлалъ первую попытку примѣнить эти начала къ дѣйствительной жизни и извлечь изъ нихъ законы дѣятельности

человѣческихъ обществъ. Вотъ, потому мы и разсма-
триваемъ Теодицею, какъ первую попытку къ построе-
нію философіи исторіи на началахъ идеализма. Чтобы
понять основную мысль этого произведенія и цѣль,
которую оно должно было преслѣдовать, необходимо
припомнить себѣ тѣ вопросы, которые въ то время
занимали и вмѣстѣ волновали тогдашнее общество.
Во второй половинѣ XVII столѣтія шель жаркій споръ
школы Янсенистовъ съ Молинистами или Иезуитами, ко-
торый вызвалъ на сцену самые важные вопросы фи-
лософіи о свободѣ челоуѣка, о причинѣ добра и зла
въ исторіи, о природѣ божества, объ окончательной
цѣли міра и его существованія. Что эти вопросы, по-
видимому столь отвлеченнаго характера, затрогивали
тѣмъ не менѣе живо насущныя и обыденныя инте-
ресы общества, это видно изъ того, что они заняли
собою не только глубокомысленныхъ философовъ, но
даже самыхъ свѣтскихъ людей, дамъ и лица, обремененныя
важнѣйшими государственными дѣлами. Скеп-
тицизмъ, порожденный этимъ споромъ и нашедшій
себѣ представителя въ Вайлѣ, принудилъ прусскую
королеву Софію Доротею, мать Фридриха Великаго,
обратиться съ вопросами по тѣмъ предметамъ къ Лейб-
ницу, и въ отвѣтъ ей Лейбницъ написалъ свою Тео-
дицею. Онъ употребилъ на этотъ трудъ весь свой ге-
ній, всѣ свои силы и всю ученую опытность преж-
нихъ лѣтъ. Сначала Теодицея состояла изъ отдѣль-
ныхъ трактатовъ, и только въ 1710 г. Лейбницъ сое-

диниль всѣ эти трактаты въ одно цѣлое и издалъ ихъ въ свѣтъ подѣ однимъ общимъ заглавіемъ.

Вотъ, въ какихъ словахъ самъ Лейбницъ извѣщаетъ одного изъ своихъ друзей о близкомъ выходѣ своей Теодицеи и о планѣ самаго сочиненія:

„Мое сочиненіе, озаглавленное: *Essais de Theodicée, sur la liberté de l'homme et de l'origine du mal* (т. е. Опытъ Теодицеи о благодѣи божіей, о человѣческой свободѣ и о происхожденіи зла) скоро будетъ издано въ Амстердамѣ. Бѣольшая часть этой книги составлена отдѣльными отрывками, когда я жилъ у покойной прусской королевы, гдѣ часто вели разговоры о тѣхъ предметахъ, по поводу энциклопедіи и другихъ произведеній Байля, которыя тамъ очень читались. Я имѣлъ обычай отвѣчать словесно на возраженія Байля и хотѣлъ показать королевѣ, что его доводы не такъ сильны, какъ то кажется многимъ противникамъ религіи. Ея величество предложила мнѣ изложить мои замѣчанія письменно, чтобы выслушать ихъ внимательнѣе. Послѣ смерти этой великой принцессы, я собралъ всѣ отдѣльные трактаты въ одно цѣлое и по убѣжденію своихъ друзей составилъ цѣлую книгу, которая образуетъ порядочное in-octavo. Такъ какъ я размышлялъ объ этихъ предметахъ, еще въ лѣта своей юности, то и думаю, что могъ изложить ихъ основательно.

„Кромѣ краткаго методическаго сокращенія на латинскомъ языкѣ, присоединеннаго къ французскому тексту, тамъ будетъ помѣщено еще вступленіе *Sur la*

conformité de la raison et de la foi (т. е. о сообразности разума и вѣры), гдѣ я тщательно разсмотрѣлъ возраженія Байля. Есть еще два отступленія: *Sur la dispute de M. Hobbes et l'évêque Bramhall* (т. е. О спорѣ Гоббеса съ епископомъ Брамгалль), и *Sur l'origine du mal* (т. е. о происхожденіи зла), по поводу книги Кинга. Помѣщено также объясненіе моей системы предустановленной гармоніи, и многіе другіе вопросы общей философіи и натуральной теологіи, въ которой я думаю все основать на доказательствѣ и даю къ тому средство. Я полагаю, что мой опытъ Теодицеи, т. е. о правосудіи божіемъ, понравится въ Англіи. Говоря противъ Кинга, я говорилъ такъ учтиво, что онъ не будетъ оскорбленъ, тѣмъ болѣе что я одобряю и хвалю половину его труда, но съ другой половиной я принужденъ былъ не согласиться.“

Какъ Лейбницъ дорожилъ этимъ послѣднимъ своимъ произведеніемъ, можно то видѣть изъ необыкновеннаго самолюбія, съ которымъ онъ заботился о переводѣ Теодицеи на иностранныя языки; и дѣйствительно его усиліями она была переведена на англійскій, нѣмецкій и латинскій языки; даже при этомъ Лейбницъ обнаружилъ слабость, и согласился, при переводѣ Теодицеи на итальянскій языкъ, допустить нѣкоторые пропуски, которые могутъ быть потребованы папскою цензурою. Но болѣе всего онъ искалъ успѣховъ во Франціи, и молчаніе въ *Journal des savants* долго огорчало его. Нѣкоторыя отступленія отъ Авгу-

стина могли произвести оппозицію со стороны іезуитовъ, и Лейбницъ постарался письмами расположить въ свою пользу нѣкоторыхъ изъ знакомыхъ ему отцовъ ордена. Но не смотря на всѣ усилія Лейбница, его Теодицея имѣла всего менѣе успѣха именно во Франціи, и первую причиною того было то, что она представлялась слишкомъ отвлеченною; кромѣ того, во Франціи, въ прошедшемъ столѣтіи, начала историческаго оптимизма, къ которому, какъ мы увидимъ, постоянно направляется Теодицея, не могли вызвать къ себѣ большой симпатіи, среди всеобщаго раздраженія умовъ и вошіющихъ матеріальныхъ нуждъ. Самое вступленіе въ Теодицею обѣщало мало утѣшительнаго для человѣка, удрученнаго печалью о настоящемъ днѣ; Лейбницъ видитъ и знаетъ неурядицу окружающаго его порядка вещей, но его отвѣтъ на вопросъ: откуда же столько зла? слишкомъ отвлеченъ для голоднаго и прозябшаго человѣка, и кромѣ того болѣе объясняетъ причину зла, нежели предлагаетъ средства къ избавленію отъ него. „Древнія заблужденія, гсворить Лейбницъ, тѣхъ философовъ, которые обвиняли божество или дѣлали его началомъ зла, возобновились въ наши дни. Я замѣтилъ, что подобныя воззрѣнія, способныя вовлечь cadaго въ заблужденіе, опирались главнымъ образомъ на запутанныхъ понятіяхъ, которыя имѣли люди о свободѣ, о необходимости, о назначеніи, и я при многихъ случаяхъ брался за перо, съ цѣлью дать себѣ отчетъ о столь важныхъ

предметахъ. Но, наконецъ, я долженъ былъ собрать свои мысли о всемъ томъ, соединить ихъ вмѣстѣ и публиковать. Это-то я и предпринялъ въ своемъ опытѣ о благодати Бога, свободѣ человѣка и происхожденіи зла.“

Но эти немногія слова изъ введенія къ Теодицеѣ важны особенно для насъ, потому что они даютъ намъ возможность открыть точку отправленія, изъ которой выходитъ Лейбницъ, приступая къ развитію своихъ идей: Лейбницъ видитъ корень всего зла, которымъ страдало современное ему общество въ томъ, что воскресли нѣкоторыя изъ *древнихъ заблужденій*. Далѣе, въ томъ же введеніи, Лейбницъ указываетъ ясно и на то, въ чемъ состояли такія заблужденія, и гдѣ находится ихъ корень: „Есть два, говоритъ онъ, знаменитыхъ лабиринта, въ которыхъ заблуждается нашъ разумъ. Одинъ заключаетъ въ себѣ великій вопросъ о моментѣ свободы и необходимости; другой состоитъ въ спорѣ о непрерывности и индивидуальности нашего существованія. Первый затрудняетъ собою почти весь родъ человѣческій; второй запутываетъ однихъ философовъ... Чтобы выйти изъ того лабиринта, въ которомъ теряется весь родъ человѣческій, какъ слѣдуетъ поступить? Слѣдуетъ ли отказаться отъ разума съ тѣмъ, чтобы вполнѣ отдаться вѣрѣ? А это именно и есть тотъ ложный совѣтъ, который даетъ намъ Байль.

„Нѣкоторые ловкіе люди нашего времени дошли

до того, что лишили тварь всякой самодѣятельности, и Байль, поддавшійся этому особенному воззрѣнію, воспользовался имъ, чтобы снова утвердить падшій догматъ о двухъ принципахъ, или о двухъ богахъ, дѣбромъ и зломъ, не замѣчая того, что такой догматъ точно также не разрѣшаетъ затруднительнаго вопроса о происхожденіи зла; впрочемъ, Байль сознается самъ, что такое воззрѣніе несостоятельно, и что единство принципа неоспоримо заключено въ нашемъ разумѣ а ргіогі; но онъ хочетъ доказать, что нашъ разумъ запутанъ и не выдержитъ возраженій, и что потому не должно довѣрять догматамъ откровенія, которое говоритъ о существованіи Бога единаго, всеблагаго, всемогущаго, и премудраго.“

Такъ, мало-по-малу, Лейбницъ раскрываетъ предъ нами тѣ соображенія, которыя руководили имъ, когда онъ брался за свой трудъ, и тѣ цѣли, которыхъ онъ думалъ достигнуть своею Теодицеєю. Лейбницъ намѣревается вывести людей изъ лабиринта, въ котормъ блуждаетъ ихъ разумъ, подъ вліяніемъ ученія Байля, и доказать, что разумъ и вѣра не противны другъ другу, что исторія человѣчества представляетъ одну гармонію свободы человѣка и міроуправленія, и что такое міроуправленіе вовсе не противорѣчитъ нашей свободѣ. „Намъ нѣтъ надобности, восклицаетъ Лейбницъ въ заключеніе своего предисловія, отказаться отъ разума, чтобы повиноваться вѣрѣ, и выколоть глаза, чтобы лучше видѣть, какъ выразилась ко-

ролева Христина. Разумъ одинаково божій даръ, какъ и вѣра; ихъ борьба была бы борьбою Бога противъ Бога; если вѣра имѣетъ притязаніе уничтожить разумъ, то это не истинная вѣра, а химера человѣческаго духа; и торжество такой вѣры можетъ быть сравнено съ фейерверкомъ, который сдѣланъ послѣ пораженія. Мы можемъ достигнуть того, что выше насъ, не поднятіемъ до него, но его поддержаніемъ, точно также какъ мы достигаемъ неба взглядомъ, а не осязаніемъ руки.“

Всѣ эти объясненія, приводимыя Лейбницомъ, съ цѣлью указать основную идею и цѣль своего произведенія, говорятъ вмѣстѣ съ тѣмъ о той борьбѣ, которая занимала умы его современниковъ. Софія-Доротейа олицетворяла въ глазахъ Лейбница все общество, встревоженное и бросавшееся изъ одной крайности въ другую, подъ вліяніемъ различныхъ философскихъ ученій. Между такими ученіями Лейбницъ указываетъ въ особенности на доктрину Байля, по отношенію къ которой Теодицея является чисто-полемическимъ трудомъ, и потому можетъ быть понятна не иначе какъ, по объясненіи того, что составляло ученіе ея противника. Лейбницъ, какъ мы видѣли, упрекаетъ Байля именно въ томъ, что онъ покушается на разумъ людей, и предаетъ ихъ въ руки одной вѣры. По тому общему впечатлѣнію, которое производитъ на cadaго одно имя Байля, казалось бы, Лейбницъ долженъ былъ обвинить его прямо въ противополо-

ложномъ тому, въ чемъ онъ его обвиняетъ; а потому, чтобы понять настоящій смыслъ упрека Байлю со стороны Лейбница, намъ необходимо разсмотрѣть ближе ученіе Байля: тогда мы увидимъ, въ какомъ смыслѣ Лейбницъ приписываетъ своему сопернику излишнюю преданность вѣрѣ, и враждебныя отношенія къ разуму.

Въ наше время, нельзя говорить о такихъ личностяхъ, какъ Байль, съ тѣми увлеченіями или съ тою ненавистью, какія обнаруживались при одномъ его имени въ людяхъ прошедшаго вѣка. Въ наше время, какъ выразился одинъ изъ новѣйшихъ критиковъ, произведенія Байля можно изучать съ тѣмъ же спокойнымъ безпристрастіемъ, съ какимъ археологъ могъ бы разсматривать древнюю катапульта, стоящую неподвижно въ какомъ нибудь музеѣ. Быть можетъ, такая катапульта служила нѣкогда грознымъ осаднымъ орудіемъ и дѣйствовала разрушительно, но теперь она будетъ служить безмолвнымъ свидѣтелемъ тѣхъ мѣръ, которыя соотвѣтствовали средствамъ сопротивляться. Такія произведенія, какъ произведенія Байля и имъ подобныя, доказываютъ только одно, а именно, что такъ называемыя опасныя идеи литературы рождаются вовсе не самобытно въ головѣ мыслителей, а только формулируютъ то, что носится разсѣянно въ общественномъ духѣ; говорятъ обыкновенно, что энциклопедисты прошедшаго столѣтія произвели революцію; такое мнѣніе преувеличенно! Сочиненія энцикло-

педистовъ лежатъ теперь точно также предъ нашими глазами, какъ они лежали предъ глазами своихъ современниковъ; отчего же они на насъ не оказываютъ больше никакого вліянія и не производятъ волненія въ умахъ? То, что въ прошедшемъ столѣтіи было самымъ популярнымъ чтеніемъ, теперь преодолевается одними кабинетными людьми и читается съ трудомъ? Не служитъ ли это яснымъ доказательствомъ, что не литература вызываетъ время, но время вызываетъ литературу? И едва-ли кто былъ на столько сыномъ своего времени, какъ именно Байль. А потому чтобы понять весь характеръ этой личности, нельзя остановиться ни на томъ, что о немъ говорили его приверженцы, ни на томъ, что высказывали его враги.

Байль нашелъ свое общество въ слѣдующемъ положеніи: лѣтъ за сто предъ нимъ, въ XVI столѣтіи, реформаціонное движеніе свергло всѣ древніе авторитеты, но это обстоятельство мало упростило человѣческія отношенія: мыслящій умъ не могъ не замѣтить, что отказаться отъ католичества и вступить въ кругъ идей реформаціи еще не значило выйти на прямую дорогу, потому что реформація, свергнувъ старые идолы, не замедлила создать себѣ новые кумиры и требовать поклоненія имъ съ тою же настойчивостью и нетерпимостью, съ какими дѣйствовалъ прежде католицизмъ. Такой характеръ приняли на себя, въ области религіи, кальвинизмъ; въ области мышленія, картезіанизмъ; и въ политическихъ идеяхъ, доктрина Ри-

пелле и Лудовика XIV. Эти новыя силы, рожденныя реформаціею, правда, подавили другой ея продуктъ, а именно, скептицизмъ; но онѣ не могли истребить его до корня: въ теченіи XVI и XVII столѣтій, скептицизмъ являлся отрывочно въ такихъ представителяхъ, какъ Монтень, Шарронъ, или Паскаль, и вмѣстѣ съ тѣмъ поддерживался эпикуреизмомъ высшаго сословія, которое охотно не вѣрило ни во что, потому что невѣріе хорошо подходило подъ его лѣнивую и изнѣженную натуру. Въ литературѣ представителемъ такого матеріальнаго эпикуреизма былъ Дебарро, считавшійся въ то же время другомъ Декарта. Новые авторитеты, вышедшіе изъ реформаціи, нуждались для своего утвержденія въ *nes plus ultra*, въ томъ, чтобы положить гдѣ нибудь предѣлъ прогрессивному движенію реформаціонныхъ идей, и отнеслись враждебно къ своему собрату, скептицизму, который вмѣстѣ съ нимъ выросъ изъ нѣдръ революціи, но, не имѣя власти, не считалъ полезнымъ останавливаться на чемъ нибудь, и не хотѣлъ ничего знать о *nes plus ultra*. Но пока этотъ скептицизмъ не имѣлъ въ себѣ ничего серьезнаго и ограничивался партизанскою войною въ формѣ пасквилей и пѣсенъ вольнаго содержанія, онъ не представлялъ ничего опаснаго; его значеніе состояло только въ томъ, что онъ поддерживалъ въ обществѣ свои преданія, выжидая ума болѣе сильнаго, который могъ бы привести скептическое направленіе въ строгую систему, и, не ограничиваясь шут-

ливыми сонетами и пасквилями, обнял бы собою всё отправления общественной жизни, всё вопросы, политическіе, религіозные и умственные. Байль обладалъ всѣми качествами необходимыми для такой роли: при колоссальныхъ и самыхъ разнообразныхъ познаніяхъ, онъ отличался изумительными діалектическими способностями, и поражалъ все встрѣчавшееся ему на пути, то въ формѣ какой нибудь брошюры *O comett*, то въ формѣ журнала *Nouvelles de la république des lettres*, то наконецъ въ формѣ своего Лексикона, *Dictionnaire*.

Байль увидѣлъ себя посреди двухъ огней: общество XVII столѣтія, какъ мы успѣли уже замѣтить выше, колебалось между двухъ авторитетовъ; съ одной стороны, уцѣлѣвшія идеи стараго времени, католичество, феодальныя привилегіи, схоластика; съ другой стороны, новыя идеи, въ формѣ кальвинизма, картезіанизма и политической централизаціи Ришелье и Лудовика XIV. Съ одной стороны, слѣдовательно, средневѣковыя притязанія старыхъ авторитетовъ, основанныя на грубомъ насиліи; съ другой стороны, и въ оппозиціи съ первымъ направленіемъ, либерализмъ новаго времени, но въ которомъ виднѣлись уже зачатки новаго деспотизма; послѣдній можно было назвать просвѣщеннымъ, хотя его послѣдствія будутъ нисколько не лучше. Если мы прослѣдимъ всю интеллектуальную дѣятельность Байля, то мы замѣтимъ, что онъ хорошо сознавалъ всю тяжесть выбора между двумя такими господствовавшими направленіями, и одинаково

боялся какъ прогрессивныхъ, такъ и регрессивныхъ идей своего времени. Ему вездѣ представлялся одинъ и тотъ же вопросъ: быть-ли католикомъ, или кальвинистомъ? Но это значило въ то время, какъ лучше жечь еретика, во имя-ли папы, или во имя Кальвина? То же затрудненіе въ порядкѣ интеллектуальномъ, и въ порядкѣ политическомъ: отъ чего лучше страдать, отъ средневѣковыхъ-ли рыцарей, или отъ интендантовъ Людовика XIV и т. д.?

При такомъ положеніи вещей, мы хорошо поймемъ ту странность, которая поражаетъ насъ въ дѣятельности Байля, и характеръ его кажущагося скептицизма; онъ не вѣрилъ ни во что, потому что вѣрить во что нибудь значило согласиться съ однимъ изъ двухъ требованій того времени; и онъ боролся со всѣмъ, такъ какъ во всемъ видѣлъ одно и то же. Байль не былъ ни за кого и въ то же время шелъ противъ всѣхъ; самые злые враги соединялись и сходились въ своихъ мнѣніяхъ, когда дѣло шло о Байлѣ; вслѣдствіе того аббатъ Полиньякъ называлъ Байля *протестантомъ* въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова, ибо онъ протестовалъ противъ всего и всѣхъ. Такимъ образомъ, Байль является въ своемъ обществѣ совершеннымъ особнякомъ и не стоитъ въ рядахъ партій того времени. Его упрекали въ измѣнчивости мнѣній, въ непостоянствѣ характера; но никто не хотѣлъ обратить вниманія на то, что быть неизмѣннымъ, постояннымъ въ такое время, какое переживалъ Байль,

значило объявить себя на чьей нибудь сторонѣ, чего онъ никакъ не могъ сдѣлать, видя ясно повсюду одни ложныя притязанія и нетерпимость. Его старыи другъ и сотоварищъ по университетской дѣятельности, Жюрье (Jurieu), зная вражду Байля съ католичествомъ, думалъ потому найти въ немъ твердую опору для протестантизма, но, скоро замѣтивъ, что его новый союзникъ не болѣе шадитъ и протестантовъ, сдѣлался его врагомъ. Дѣйствительно, борясь съ католичествомъ, Байль вдругъ поражаетъ насъ своими восторгами предъ папскою властью, какъ на нашихъ глазахъ мы видѣли такую же метаморфозу, хотя и по другой причинѣ, въ Гизо, Вильменѣ и др. Лудовикъ XIV изгоняетъ Байля, и тѣмъ не менѣе Байль принимаетъ подъ свою защиту Лудовика, преслѣдуемаго памфлетами протестантовъ; онъ смѣется надъ древнею философіею, и это нисколько не мѣшаетъ ему честить Декарта, своего противника, прозваніемъ *изобрѣтателя догадокъ*; будучи самъ строгимъ рационалистомъ, онъ съ презрѣніемъ относится къ человѣческому разуму; выступая вездѣ ревностнымъ приверженцемъ свободы, Байль сѣтуетъ о демократическихъ увлеченіяхъ протестантской партіи.

Но все эти противорѣчія въ характерѣ идей Байля объясняются легко наличнымъ состояніемъ общественной жизни въ его время; къ этому слѣдуетъ еще присоединить превратности его собственной судьбы.

Байль родился въ Лангедокѣ, въ 1647 г., на почвѣ

средневѣковыхъ Альбигойцевъ; разрушенныя замки, лежавшіе въ развалинахъ со времени походовъ противъ еретиковъ, служили живыми лѣтописями той отдаленной эпохи фанатизма, которая должна была прежде всего поразить воображеніе молодого Байля, рожденнаго въ протестантскомъ семействѣ. Но тоже пылкое воображеніе, которое должно было увлечь его юность, предало его потомъ въ руки іезуитовъ, и Байль перешелъ въ католичество съ такою легкостью, съ какою можно развѣ только перемѣнять одежду. Это выразилось и въ той замѣткѣ, которую сдѣлалъ Байль въ своихъ мемуарахъ по поводу перемѣны религіи: „Année 1669, le mardi, 19 de mars—changement de religion; le lendemain je repris l'étude de la logique“. Послѣ восемнадцати мѣсяцовъ, Байль уже бѣжалъ изъ іезуитскаго монастыря и опять возвратился къ протестантизму; но, вѣрнѣе сказать, онъ съ того времени не былъ ни католикомъ, ни протестантомъ. Какъ отступникъ, онъ долженъ былъ однако укрываться въ Швейцаріи, въ Женевѣ; поступилъ въ Каппетъ домашнимъ наставникомъ, и наконецъ получилъ въ Седанѣ, тогда еще протестантскомъ городѣ Франціи, каѳедру философіи и исторіи. Тамъ-то онъ и сблизился съ другимъ профессоромъ Жюрьё. Но Седанъ, принадлежавшій герцогу Бульонскому, былъ завоеванъ Лудовикомъ XIV, въ 1675 г., и Байль долженъ былъ искать спасенія въ „ковчегѣ эмигрантовъ“, какъ онъ называлъ Голландію. Въ Роттердамѣ ему предложили снова каѳедру фило-

софіи и исторіи. Тамъ-то онъ и началъ свое изданіе *Nouvelles de la république des lettres* и свой *Dictionnaire* (1695—1697). Оттуда же онъ защищалъ своего врага, Лудовика XIV (*Avis, important aux réfugiés*), и съ такимъ усердіемъ, что распространился слухъ о назначенной ему пенсіи отъ французскаго правительства въ 1000 ливровъ. Вышедшая вслѣдъ за тѣмъ его *Critique sur l'histoire du calvinisme* нанесла еще большій ударъ протестантизму и окончательно разсорила его съ Жюрье. Байль умеръ въ 1706 г., въ Роттердамѣ.

При тѣсной связи интеллектуальной дѣятельности Байля съ окружавшею его дѣйствительностью, весьма понятно, что отрицаніе составляетъ, повидимому, основную характеръ всѣхъ его произведеній: въ Седанѣ онъ терпитъ отъ ультракатолическихъ идей, приведшихъ туда Лудовика XIV; въ Роттердамѣ ему приходится бороться съ ультрапротестантизмомъ. Но было бы односторонне, какъ съ тѣмъ согласенъ и Лейбницъ, не видѣть въ философіи Байля и въ основанныхъ на ней его историческихъ идеяхъ ничего другого, кромѣ отрицанія. Видя неправду въ обоихъ лагеряхъ, раздѣлявшихъ современный ему міръ, Байль далъ положительный отвѣтъ на вопросъ: какъ же слѣдуетъ дѣйствовать и мыслить, чтобы не нарушать справедливости въ этомъ мірѣ? *Tolerance, терпимость* — вотъ главное правило того, кто дѣйствуетъ тамъ, гдѣ всѣ ошибаются, гдѣ ошибаются и мои противники, и я, который ихъ опровергаю. Не находя справедливости нигдѣ, Байль требуетъ свободы всему,

и себѣ, и своимъ противникамъ. Если такое ученіе Байля въ чемъ погрѣшаетъ, то это именно въ томъ, что его правило терпимости рискуетъ всегда впасть въ полный индифферентизмъ, безразличіе, что съ нимъ и случилось. Но выслушаемъ самого Байля, какъ онъ выражается въ одной изъ статей своего „Историческаго Лексикона“, а именно, подѣ словомъ *Arminius*:

„Когда обстоятельства мѣста и времени не допускаютъ господства новыхъ истинъ, какъ бы то ни было желательно для васъ, безъ того, чтобы не произвести тысячи беспорядковъ въ университетѣ, въ семействѣ, въ цѣломъ государствѣ, то во сто разъ лучше оставить вещи такъ, какъ они есть, нежели предпринимать реформу.“ Въ этихъ немногихъ словахъ заключена вся сила ученія Байля и вмѣстѣ вся критика на него самого. Никто на землѣ не справедливъ: это — отрицательная сторона его ученія; слѣдовательно, всѣ немного справедливы, а потому дайте право каждому на его жизнь, не преслѣдуйте никого: вотъ, положительное начало его ученія. Проведемъ этотъ принципъ до конца, и мы, встрѣтивъ зло, увидимъ себя вынужденными сказать вмѣстѣ съ Байлемъ: „да, это — зло, но и зло имѣетъ свою причину существованія, (а потому оставимъ его въ покоѣ и не будемъ предпринимать никакой реформы.“) Въ этомъ крайнемъ развитіи начала терпимости; до полнаго индифферентизма, софизмъ его очевиденъ съ перваго взгляда: нетерпимость сама есть главное зло; добро же терпимо

уже по своей сущности; слѣдовательно, требовать отъ зла терпимости, это значило бы требовать отъ зла перестать быть зломъ; или другими словами: „будежь всѣ терпимы, и такимъ образомъ допустимъ и зло, то есть допустимъ и нетерпимость.“ Очевидно, Байль начинаетъ проповѣдью и защитою терпимости, а въ результатѣ онъ принимаетъ подъ свою защиту зло, главное качество котораго—нетерпимость.

Совершенно подобные приемы употребляетъ Байль и тогда, когда онъ защищаетъ религію противъ разума, и разумъ противъ религіи. По его словамъ, нашъ разумъ до того ничтоженъ, что мы больше обязаны въ своей исторіи глупостямъ и предразсудкамъ, а потому ничто не приноситъ столько вреда, какъ философія. „Вообще, правду сказать, говоритъ онъ въ своей *Critique sur l'histoire du calvinisme*, міръ сохраняется въ томъ положеніи, въ какомъ мы его видимъ, ни чѣмъ другимъ, какъ тысячею самыхъ ложныхъ предразсудковъ и тысячею глупѣйшихъ страстей; если бы философія достигла того, чтобы всѣ люди дѣйствовали по яснымъ и чистымъ идеямъ разума, то можно быть увѣреннымъ, что родъ человѣческій погибъ бы совершенно.“ Самъ авторъ „Похвалы глупости“, писавшій въ томъ же Роттердамѣ, за сто лѣтъ до Байля, не могъ бы сказать ничего болѣе пріятнаго для враговъ разума. И такъ, выше мы слышали, какъ Байль совѣтуетъ терпѣть все, ничего не предпринимать противъ зла; теперь онъ даетъ совѣтъ не разсуждать, не фи-

лософствовать; это ни къ чему не приведетъ, или, какъ выразился онъ въ другомъ мѣстѣ: „Для меня гораздо болѣе важна вѣра самаго глупаго крестьянина, чѣмъ вся ученость Сократа“. Царство разума, въ глазахъ Байля, есть самая забавная утопія; онъ допускаетъ, что философія можетъ занимать собою немногіе избранные умы, но она отнюдь не должна быть всеобщею принадлежностью: „Обыкновенные умы потеряются въ этой пропасти, если рѣшатся измѣрить ея глубину.....; въ наше время, женщины продолжаютъ заниматься науками и дѣлать книги, но есть большая опасность, что они отъ романа перейдутъ къ разсужденію, и, очертивъ голову, предадутся религіозному вольнодумству.“

Это небольшое, приведенное нами для общей характеристики духа ученія Байля, даетъ однако намъ возможность отличить въ послѣдовательномъ развитіи этого ученія три періода, три степени: Байль началъ съ сомнѣнія въ томъ, что люди его времени называли добромъ и зломъ; такъ онъ дошелъ до сознанія необходимости ввести въ нашу жизнь начало терпимости; наконецъ, крайнее развитіе терпимости принудило его допустить въ жизни безразлично и зло и добро. Если мы ограничимся въ ученія Байля его исходною точкою и послѣднимъ результатомъ, то мы, дѣйствительно, вмѣстѣ съ Лейбницемъ, должны будемъ видѣть въ немъ одно отреченіе отъ разума и поклоненіе слѣпой вѣрѣ; но въ такомъ случаѣ мы выпустимъ изъ виду

положительную сторону ученія Байля, и весьма важную, а именно, утвержденеі начала терпимости.

Разсмотримъ теперь, какъ самъ Байль развилъ послѣдовательно всѣ три степени своего ученія, т. е., отрицаніе, терпимость и безразличіе, въ главныхъ проявленіяхъ нашей духовной жизни, а именно, въ морали, религіи, философіи вообще и въ исторической наукѣ въ особенности.

Начнемъ съ морали. Первое произведеніе, составившее извѣстность Байля, было написано имъ по странному поводу. Въ 1680 г., явилась огромная комета, обратившая на себя всеобщее вниманіе; она экзальтировала въ массахъ религіозное настроеніе, и дала случай патерамъ высказать много нравственныхъ мыслей о наказаніи, которымъ угрожаетъ Провидѣніе людямъ порочнымъ; политики также привязали къ кометѣ свои разсужденія: враги Лудовика XIV намекнули на близость его паденія; приверженцы прочли въ той же кометѣ предзнаменованіе его новыхъ побѣдъ; протестанты грозили кометою папистамъ, паписты — протестантамъ. Однимъ словомъ, по поводу кометы высказались всѣ, и тому, кто захотѣлъ бы говорить о ней, представлялся случай коснуться всего земного. Байль понялъ, что для него настала лучшая минута расчитаться со всѣми въ одинъ разъ, и съ этою цѣлью онъ издалъ рядъ писемъ отъ лица католика, подъ заглавіемъ *Pensées diverses sur les comètes* — сочиненіе, въ которомъ астрономія занимала всего менѣе

мѣста. Байль начинаетъ весьма осторожно отдаленнымъ разсужденіемъ вообще о предразсудкахъ и преимущественно языческихъ, и прибавляетъ: „Я умоляю читателя замѣтить, что все сказанное мною не имѣетъ никакого отношенія къ истинной вѣрѣ.“ Дѣло, дѣйствительно, идетъ о различныхъ разсказахъ, приводимыхъ Виргиліемъ, Титомъ-Ливіемъ, Тацитомъ, но все это, конечно, одна маска; ревность, съ которою Байль нападаетъ на языческіе предразсудки, обличаетъ его покушеніе подвергнуть анализу начала католицизма. Мало-по-малу, авторъ переходитъ къ своей настоящей темѣ, оставляетъ кометы въ сторонѣ, и обращается къ тому страху, который наводило на всѣхъ католичество, вмѣстѣ съ кометою. При этомъ онъ доказываетъ почти тѣми же примѣрами, которыя мы видѣли у Бокля, что мораль не заключаетъ въ себѣ тѣхъ началъ прогресса, которыя встрѣчаются въ образованности, потому что она всегда неизмѣняема; Байль, какъ и Бокль, ссылается на эпоху крестоносцевъ, когда, при высшемъ нравственномъ настроеніи, господствовало крайнее варварство и жестокость; однимъ словомъ, Байль стремится, такъ сказать, *секуляризовать* мораль, и сдѣлать ее достояніемъ не той или другой религіозной секты или партіи, но даромъ cadaго, какъ, напримѣръ, математическія аксіомы не могутъ быть однимъ для протестанта и чѣмъ нибудь другимъ для католика: „Часть меньше цѣлаго,“ говорятъ всѣ; точно также: „надобно быть добродѣтель-

нымъ"—это не есть правило католическое или протестантское, но общечеловѣческое." И такъ, Байль, начавъ съ сомнѣнiя въ справедливости притязанiй различныхъ партiй на владѣнiе моралью, переходитъ къ ученiю о терпимости, т. е. о дозволенiи каждому быть нравственнымъ, какъ онъ то понимаетъ самъ.

Чтобы понять весь смыслъ того результата, къ которому старался Байль привести своего читателя, необходимо перенестись въ то время, когда онъ писалъ свое quasi-изслѣдованiе о кометахъ: теологи всѣхъ партiй увѣряли, что никто не можетъ быть честнымъ человѣкомъ, хорошимъ отцомъ семейства, добрымъ гражданиномъ и вѣрнымъ подданнымъ, одни — безъ того, чтобы быть католикомъ, другiе — безъ того, чтобы быть протестантомъ. Каждая партiя хотѣла имѣть себѣ привилегiю на мораль. Байль, чтобы примирить соперниковъ, начинаетъ съ того, что уничтожаетъ притязанiя всѣхъ, и католиковъ, и протестантовъ: они спорили въ то время именно за то, чтобы быть государственною религiею, а идеи Байля были направлены къ безусловной терпимости, которая не могла нравиться ни католикамъ, ни протестантамъ. Въ то время, все готовилось къ уничтоженiю Нантскаго эдикта, и министры Лудовика XIV, съ кошелькомъ въ рукахъ, обращали еретиковъ въ католичество. „Весьма нужно, писалъ Байль по этому поводу съ пронiей, монарху, рожденному для великаго, забавляться нынѣ тѣмъ, чтобы однимъ повивальнымъ

бабкамъ запрещать практику, а другимъ покровительствовать, или тѣмъ, чтобы повѣрять расходы, сдѣланные на новообращенныхъ и притомъ еще соображать, не будетъ ли много за обращеніе платить 100 ливровъ.“

Въ философіи, Байль начинаетъ (*Comment. Phil.*) тѣмъ же сомнѣніемъ въ справедливости всѣхъ философскихъ системъ, и вообще отвергаетъ въ человѣчествѣ какъ разумъ, такъ и свободу; понятія о добрѣ и злѣ являются у него чѣмъ-то условнымъ. Такіе взгляды на значеніе недѣлимаго Байль переноситъ и на цѣлыя общества: господство разума въ исторіи кажется ему химерой; инстинкты, страсти — вотъ главные двигатели исторіи, а разумъ только губилъ все, до чего онъ ни касался: такъ, разумъ чистый, отвлеченный и очищенный отъ всякой страсти, совѣтовалъ Платону ввести многоженство, а „нѣтъ сомнѣнія, говоритъ Байль, что одинъ изъ нашихъ пороковъ, называемый ревностью, воспрепятствовалъ многоженству, которое сдѣлалось бы источникомъ хаоса въ гражданскомъ обществѣ (*Крит. Калевин.*)“. Съ такой же точки зрѣнія смотритъ онъ на монархію, которая вызвана нашею порочною, но въ то же время служить лучшимъ оплотомъ противъ хаоса; такъ что въ Голландіи всѣ заподозрили Байля въ желаніи угодить послѣднимъ разсужденіемъ Лудовику XIV.

При такомъ взглядѣ на судьбу человѣчества и недѣлимаго, Байль не допускаетъ никакого прогресса

и считаетъ историческую науку средствомъ къ выраженію личныхъ страстей и привязанностей. „Съ исторіею, говоритъ онъ, обращаются, какъ съ кускомъ мяса на кухнѣ: каждое общество приготовляетъ ее на свой вкусъ, такъ что одно и то же событіе кладется въ столько соусовъ, сколько существуетъ странъ въ мірѣ.“

Но мы и на этотъ разъ пришли бы къ ложному заключенію, если бы изъ приведенныхъ выше мѣстъ захотѣли видѣть въ Байлѣ простого скептика въ исторіи. Коснувшись, при одномъ случаѣ, въ своемъ разсужденіи по поводу кометъ, вопроса о значеніи слѣдующаго случая въ исторіи человѣка и человѣческихъ обществъ, Байль съ такою силою и убѣдительною опровергаетъ увлеченія другихъ скептиковъ и доказываетъ совмѣстимость человѣческой воли съ непреложностью историческихъ законовъ, установленныхъ Провидѣніемъ, что даже соперникъ его, Лейбницъ, не могъ удержаться, чтобъ не выразить своего полного изумленія и не одобрить взгляда Байля.

„Я не затруднюсь, говоритъ Байль (гл. 231), утверждать, что всѣ тѣ, которые считаютъ чѣмъ-то страннымъ благоденствіе злыхъ людей, весьма мало размышляли *о природѣ божества*, и низвели законы высней причины, управляющей всѣмъ міромъ, до размѣровъ какого-то подчиненнаго провидѣнія: это доказываетъ только ограниченность ума подобныхъ людей. Что же! по ихъ понятіямъ, слѣдовало бы, чтобы

Богъ, установившій *свободныя причины и причины необходимыя* (des causes libres и des causes necessaires), далъ законы сообразныя природѣ свободныхъ причинъ, но такъ, чтобы эти законы были до того непостоянны, что при малѣйшемъ неудовольствіи на нихъ со стороны отдѣльнаго человѣка, они извращались бы и тѣмъ уничтожали человѣческую свободу? Самый ничтожный правитель города заставить всѣхъ смѣяться надъ собою, если будетъ измѣнять свои правила и распоряженія столько разъ, сколько вздумается тому или другому лицу поднимать противъ него ропоть. Неужели же Богъ, котораго законы имѣютъ цѣлью благо всей видимой нами вселенной, и который въ этомъ благѣ заинтересованъ весьма мало для себя, принужденъ отмѣнять свои законы, потому только что они сегодня не нравятся одному, а завтра — другому; или потому что какой-нибудь суевѣръ, полагая, что появившееся чудовище служить дурнымъ признаменованіемъ, можетъ перейти отъ своего заблужденія къ мысли о необходимости преступной жертвы (Байль, какъ мы видѣли, постоянно избираетъ примѣры изъ язычества и теперь намекаетъ на случаи человѣческихъ жертвъ); или потому что какая нибудь добрая душа, которая впрочемъ не питаетъ довольно большаго уваженія къ добродѣтели, чтобы вѣрить, что не быть наказаннымъ за зло есть своего рода наказаніе, вздумаетъ возмутиться, видя, что злой человѣкъ обогащается и наслаждается цвѣтущимъ здоровьемъ? Можно ли составить болѣе ложныя идеи о

всеобщемъ Провидѣніи? Всѣ согласны, что, напримѣръ, законъ, по которому тяжелая вещь давить легкую, устроенъ весьма премудро, и было бы смѣшно дѣлать притязанія на то, чтобы Богъ отмѣнилъ такой законъ при паденіи камня на ломкій сосудъ, восхищавшій собою своего владѣльца, и только для того, чтобы этотъ владѣлецъ былъ спасенъ отъ горя видѣть сосудъ разбитымъ. Не было ли бы точно также смѣшно желать, чтобы Богъ отмѣнилъ свои общіе законы, съ цѣлью въ какомъ нибудь отдѣльномъ случаѣ воспрепятствовать злomu человѣку обогатиться на счетъ добраго человѣка? Чѣмъ болѣе злой человѣкъ презираетъ своею совѣстью и честью, тѣмъ онъ становится сильнѣе добраго человѣка; а потому, вслѣдствіе естественнаго хода вещей, злой всегда раззоритъ добраго. Если они оба займутся финансовыми операціями, то, по тому же естественному ходу вещей, злой обогатится скорѣе добраго человѣка, какъ сильный огонь пожретъ всегда больше дерева, нежели огонь слабый. Тѣ, которые желали бы, чтобы злой человѣкъ сдѣлался боленъ, точно также заблуждаются, какъ тѣ, которые желали бы, чтобы камень упалъ на стекло и не разбилъ бы его; ибо такіе люди желали бы собственно, чтобы органы такого человѣка, пища и воздухъ измѣнили въ себѣ свои общіе законы. Также и тѣ, которые жалуются на свое здоровье, жалуются собственно на то, что Богъ не хочетъ въ ихъ пользу отмѣнить свои общіе законы; притомъ такіе люди тѣмъ болѣе

несправедливы, что весьма часто, по не предвидимымъ путямъ божимъ, естественный ходъ вещей ведетъ также къ наказанію за преступленіе.“

Приведя эти строки Байля, Лейбницъ невольно восклицаетъ, говоря: „Жаль, что Байль такъ скоро оставилъ ту дорогу, на которую онъ такъ счастливо вступилъ, разсуждая въ пользу Провидѣнія, ибо онъ принесъ бы тѣмъ большую пользу, и, говоря такъ прекрасно, могъ бы сказать еще много и другого прекраснаго.“ Лейбницъ правъ въ томъ отношеніи, что Байль дѣйствительно не оставался всегда на одной и той же точкѣ зрѣнія, и его „Историческій Лексиконъ,“ эта библія историческаго скептицизма, ставила современниковъ въ положеніе дѣль тѣмъ болѣе затруднительное, что скептицизмъ Байля заставлялъ часто сомнѣваться въ самомъ его сомнѣніи. Желая направить общество на болѣе твердую почву и дать ему опору въ сужденіяхъ объ исторической судьбѣ человѣка, Лейбницъ рѣшился подвергнуть подробному анализу все ученіе Байля и указать положительныя основы нашей исторической жизни. Таково существенное содержаніе и цѣль всей его Теодицеи. Байль, какъ мы видѣли, проповѣдуетъ терпимость, которая уже въ немъ самомъ вырождается въ болѣзненное безразличіе къ добру и злу; Байль примиряетъ по свѣдому разуму съ вѣрою, отказывая въ кредитѣ имъ обоимъ. Лейбницъ, возставая противъ заключеній Байля, хочетъ открыть новую дорогу, которая указала бы и разуму,

и вѣрѣ, ихъ настоящее мѣсто въ исторіи человѣческихъ дѣяній, и такимъ образомъ привела бы къ рѣшенію капитальнаго вопроса философіи исторіи, а именно: слѣпой-ли случай, или абсолютное провидѣніе, или наконецъ произволь челоуѣка, управляютъ всею исторіею нашихъ обществъ.

Теодицея, по своей литературной внѣшности, вовсе не есть трактатъ, гдѣ въ той или другой системѣ излагается какое нибудь ученіе; она носитъ на себѣ ясныя слѣды своей исторіи и представляетъ потому соединеніе разнообразныхъ замѣтокъ, объясненій по различнымъ вопросамъ, быть можетъ, даже въ томъ порядкѣ, какъ ему возражала королева Софія Доротея; оттого Теодицея изобилуетъ безчисленными повтореніями. Прежде всего, въ Теодицеѣ поражаетъ изумительная и разнообразная ученость автора, обнимающая почти всѣ области челоуѣческаго познанія — характеръ той эпохи, которую потому и называли эпохою полигисторовъ; на каждомъ шагѣ встрѣчаются неожиданныя сближенія; множество цитатъ изъ ученыхъ всѣхъ временъ и всѣхъ народовъ. Все взятое вмѣстѣ представляетъ бесѣду, свободную, увлекательную и въ то же время увлекающуюся, но ни какъ не трактатъ, и не разсужденіе, не смотря на то, что Лейбницъ подраздѣляетъ Теодицею на три части, по тѣмъ главнымъ тремъ проблеммамъ, разрѣшеніе которыхъ составляетъ цѣль всего труда. Но Лейбницъ не держится строго своего плана въ самомъ изложеніи, и

потому данныя тѣхъ трехъ частей нерѣдко помѣщаются имъ вовсе не на своемъ мѣстѣ и разсѣяны по всей Теодицеѣ. Тѣмъ не менѣе мы, приступая теперь къ изложенію содержанія Теодицеи, постараемся воспользоваться приводимой у Лейбница классификаціею и будемъ слѣдовать не тому порядку, въ которомъ онъ изложилъ свой трудъ, но тому, въ которомъ онъ намѣревался излагать.

Вотъ тѣ три главныя проблемы Теодицеи:

1. Согласить въ исторіи предвѣдѣніе божества съ свободою человѣка, и свободу божества съ его неизмѣняемостью;

2. Согласить благость божію съ существованіемъ зла, или оправдать Провидѣніе; и

3. Доказать, что существующій міръ есть *наилучшій* (optimus) міръ.

Послѣдняя проблема дала названіе *оптимизма* всей философско-исторической системы Лейбница. При томъ вліяніи, которое и до сихъ поръ сохраняютъ идеи оптимизма и пессимизма въ жизни и дѣятельности, въ сужденіяхъ и оцѣнкахъ, система Лейбница, какъ она имъ изложена въ Теодицеѣ, всегда будетъ представлять не одинъ научный, но и живой, практической интересъ, или какъ предметъ удивленія, или какъ предметъ осужденія, смотря потому на сколько то или другое время будетъ подходить или противорѣчить идеямъ Лейбница.

Первая проблема: О предвѣдѣніи божества и сво-

бодѣ человѣческой воли; о свободѣ божества и его неизмѣняемости. — Лейбницъ кладетъ въ основаніе своихъ изслѣдованій, которыя нельзя впрочемъ назвать легкодоступными и осязательными, весьма ясную и чисто-психологическую идею о природѣ божества, съ тѣмъ чтобы вывести изъ нея всѣ желаемыя послѣдствія: „Идея божества, говоритъ онъ, составляется чрезъ уничтоженіе въ насъ самихъ того, что ограничиваетъ наше совершенство.“ Другими словами, то, что въ человѣкѣ является, какъ ограниченное, условное, въ божествѣ то же самое дѣлается безграничнымъ, безусловнымъ; такимъ образомъ, человѣкъ, дойдя до сознанія своихъ собственныхъ душевныхъ качествъ, чрезъ то самое доходитъ до познанія божества, расширяя до безконечности ограниченныя силы собственной души. Выходя изъ такой простой мысли, какъ изъ аксіомы, Лейбницъ выводитъ всѣ подробности о сущности божества и пользуется при этомъ способностью нашего языка возвышать всякое качество изъ положительной въ превосходную степень. За тѣмъ Лейбницъ приступаетъ къ главной своей задачѣ, а именно показать, что исчисленныя имъ качества божества, какъ-то, всевѣдѣніе, всемогущество и т. д., не стоятъ нисколько въ противорѣчьи съ нашимъ же понятіемъ о свободной волѣ человѣка, и что между нашею свободою и божественными атрибутами нѣтъ никакой антиноміи.

Вотъ, какимъ образомъ формулируетъ самъ Лейб-

ницъ, въ началѣ своей Теодицеи, всѣ возраженія противъ атрибутовъ божества, какъ они приводятся крайними защитниками человѣческой свободы:

1. Предвѣдѣніе божества опредѣляетъ впередъ всю будущность, а наша свобода противится всякому подобному опредѣленію; слѣдовательно, если вся исторія человѣчества извѣстна божеству напередъ, то или человѣческая свобода невозможна, или немислимо то предвѣдѣніе.

2. Все происходитъ по волѣ божіей, слѣдовательно человѣкъ не свободенъ.

3. Нѣтъ ничего безъ причины; а свободный актъ не долженъ имѣть для себя причины, слѣдовательно, опять человѣкъ не свободенъ.

Однимъ словомъ, если допустить, что исторія есть продуктъ человѣческой воли, то въ такомъ случаѣ нельзя себѣ представить, чтобы исторія могла быть кѣмъ нибудь предвидѣна; и наоборотъ, Лейбницъ согласенъ, что такое противоположеніе имѣетъ свое основаніе, но дѣло именно и состоитъ въ томъ, что основаніе ложно: тѣ, которые видятъ противорѣчіе свободы человѣка съ общимъ міроправленіемъ, затрудняются собственнымъ же ложнымъ взглядомъ на свободу человѣка и на характеръ божества. Такіе люди, продолжаетъ Лейбницъ, представляютъ себѣ свободу какимъ-то безразличнымъ состояніемъ и сравниваютъ ее съ вѣсами стоящими на точкѣ равновѣсія. Между тѣмъ, сознаніе каждаго говоритъ, что наша душа не

знаетъ никакого состоянія безразличнаго: она всегда находится подъ впечатлѣніемъ или внѣшняго міра или внутреннихъ идей, а слѣдовательно всегда имѣетъ для себя *опредѣленное* состояніе. Такимъ образомъ, Лейбницъ вводитъ новое понятіе для состоянія нашей души; его противники допускаютъ только два состоянія, а именно полной свободы и безусловной необходимости; полная свобода стоитъ въ противорѣчій съ атрибутами божества; безусловная необходимость исключаетъ всякую свободу. Лейбницъ вводитъ новое понятіе *опредѣляемости* нашей души (determination), которая не есть необходимость, и наши поступки могутъ быть предвидѣны божествомъ именно потому, что они служатъ результатомъ опредѣленнаго состоянія души, но не необходимаго.

Изъ понятія *опредѣляемости* и *необходимости* Лейбницъ выводитъ два главные принципа, управляющіе духовнымъ и матеріальнымъ міромъ: принципъ *противорѣчія* и *достаточной причины* (contradiction и *raison suffisante*). Соответственно этимъ двумъ принципамъ, всякая „необходимость“ бываетъ двоякаго рода: *геометрическая* и *ипотетическая*. Принципъ „противорѣчія“ порождаетъ „геометрическую необходимость“, на которой основанъ фатализмъ, и актъ, не допускающій противорѣчія, не можетъ быть никакъ свободнымъ; это — необходимо, какъ смерть. „Ипотетическая необходимость“ руководится одною „достаточною причиною,“ и въ этомъ случаѣ ничто не ведетъ насъ къ

прямоу противорѣчію. Лейбницъ сравниваетъ вліяніе „достаточной причины“ и „ипотетической необходимости“ съ вліяніемъ звѣздъ, какъ его понимали въ средніе вѣка: *astra inclinant, non necessitant*, т. е. звѣзды склоняють, но не принуждаютъ. И такъ, „опредѣляемость“ нашей души порождаетъ одну ипотетическую необходимость, и божество въ исторіи людей является только „достаточною причиною“, которая, какъ звѣзды, склоняетъ нашу волю, но не принуждаетъ. Изъ всего этого слѣдуетъ, что свобода человѣка не находится въ противорѣчій съ качествами божества; тѣ же, которые думаютъ иначе, смѣшиваютъ ипотетическую необходимость съ геометрическою, и налагають на человѣка послѣднюю, между тѣмъ какъ человѣкъ признаетъ для себя одну „достаточную причину.“

Но не смотря на всѣ усилія Лейбница спасти и свободу человѣка, и міроуправленіе, новая терминологія и тонкое различіе между *inclinare* и *necessitare*, не могли достаточно убѣждать, и „человѣкъ Лейбница“ вышелъ не больше, какъ самымъ умнымъ и ловкимъ автоматомъ, который имѣетъ предъ собою множество ходовъ на шахматной доскѣ жизни, но дѣлаетъ непремѣнно ходъ, предвидѣнный его мастеромъ. Самъ Лейбницъ нисколько не обманывалъ себя въ этомъ отношеніи и давалъ слѣдующее опредѣленіе свободѣ человѣка: „Свобода состоитъ 1) въ *разсудкъ* (*intelligence*), который обнимаетъ собою опредѣленное знаніе предмета разсужденія; въ *волю* (*spontanéité*), съ

которою мы рѣшаемъ на дѣйствіе, и въ *contingence*, т. е., въ исключеніи логической или метафизической необходимости. Разумъ составляетъ душу свободы, а остальное -- ея тѣло и основы... Наши познанія бываютъ двоякаго рода, ясныя или сбивчивыя. Ясныя познанія, или разумокъ, состоятъ въ правильномъ употребленіи разума; сбивчивыя познанія сообщаются намъ чувствами. И мы можемъ сказать, что мы изъяты отъ рабства на столько, на сколько мы дѣйствуемъ съ ясностью познанія; и на столько порабощены страстямъ, на сколько наши познанія сбивчивы. И въ этомъ-то смыслѣ мы не имѣемъ полной свободы духа, какую можно было бы желать; такъ что приходится сказать вмѣстѣ съ св. Августиномъ, что мы, ставъ подчинены грѣху, пользуемся *свободою раба*. Между тѣмъ рабъ, какимъ бы рабомъ онъ ни былъ, не лишенъ возможности выбора въ предѣлахъ дозволенныхъ ему, хотя не рѣдко онъ принужденъ въ своемъ крайнемъ положеніи *выбирать одно изъ двухъ золъ*, ибо превосходнѣйшая сила не дозволяетъ ему достигнуть полнаго желаемаго блага. И то, что цѣпи и насиліе производятъ въ рабѣ, въ насъ замѣняется страстями, которыхъ принужденіе сладко, но тѣмъ не менѣе пагубно (II, 288 — 289).“

Однимъ словомъ, свобода человѣка у Лейбница примирена съ міроуправленіемъ тѣмъ, что онъ ее низвелъ до „свободы раба,“ чего никакъ не могъ желать нашъ философъ, когда онъ въ началѣ выступилъ

противъ враждебнаго ему ученія, называвшаго свободу человѣка также рабствомъ, и потомъ кончилъ перифразомъ, а именно замѣнилъ *рабство* другими словами: *свободою раба*.

Другая сторона первой проблемы Лейбница, а именно доказать, что свобода божества не исключаетъ его неизмѣняемости, принадлежитъ болѣе области теологіи, и потому не имѣетъ прямого отношенія къ нашему предмету. Замѣтимъ только одно, что въ этомъ единственномъ вопросѣ Лейбницъ сошелся съ Байлемъ, и даже воспользовался, какъ мы видѣли выше, аргументами своего противника, чтобы обратить въ смѣшное притязанія тѣхъ людей, которые считали бы божество свободнымъ только въ томъ случаѣ, когда оно могло бы измѣнять законы природы по нашимъ капризамъ и личнымъ страстямъ, чтобы дождь не мѣшалъ нашей прогулкѣ, чтобы вѣтеръ дулъ въ ту сторону, куда намъ нужно плыть и т. д.

Вторая проблема: Какъ согласить благость божію съ существованіемъ зла, или какое мѣсто въ исторіи принадлежитъ Провидѣнію? — Вотъ, тѣ двѣ дилеммы, въ формѣ которыхъ Лейбницъ представляетъ себѣ мнѣніе противниковъ по этому вопросу:

1) или божество не умѣло, или не могло, или не желало предовратить зло, и въ такомъ случаѣ оно не можетъ быть названо Провидѣніемъ;

2) или оно знало, могло и желало, но тогда откуда зло?

Другими словами: *Si Deus est, unde malum? si non est, unde bonum?* т. е.: „Если Богъ существуетъ, откуда зло? если не существуетъ, откуда добро?“

Эта вторая часть Теодицеи стоитъ гораздо ближе къ интересамъ философіи исторіи, и вмѣстѣ представляетъ, какъ мы увидимъ, менѣе метафизическихъ тонкостей и гораздо болѣе истинно высокаго.

„Байль, говоритъ Лейбницъ, утверждаетъ, что, при ограниченности человѣческаго духа, надъ всѣми этими вопросами можно только смѣяться. А я признаю въ нихъ всю мощь человѣческаго духа, который стремится проникнуть въ самую сущность вещей. Это — новыя отверзтія, или, такъ сказать, лучи восходящаго солнца, которое обѣщаетъ намъ пролить большой свѣтъ...“ На этотъ разъ Лейбницъ не пускается, какъ въ первой части, прямо въ отвлеченные аргументы, но, подобно искусному оратору, старается расположить въ свою пользу не столько голову, сколько сердце своего читателя, зная, что сердце гораздо доступнѣе головы. И потому онъ начинаетъ говорить о томъ, что вселенная есть огромная республика, управляемая лучшимъ изъ всѣхъ отцовъ, что потому не нужно увлекаться мимолетностью злого. Онъ предлагаетъ каждому сосчитать въ своей жизни дни здоровья и болѣзни, и притомъ припомнить себѣ, какъ мы мало склонны восхищаться множествомъ дней здоровья, даже считаемъ признакомъ здоровья то, что мы не думаемъ о немъ; и какъ мы кричимъ, когда

дѣлаемъ болыны хотя на одинъ часъ. Изъ этого слѣдуетъ только то, что на землѣ добра такъ много, что оно дѣлается для насъ чѣмъ-то вовсе незамѣтнымъ и не заслуживающимъ вниманія, между тѣмъ какъ зло раздражаетъ насъ именно потому, что оно весьма рѣдко. Лейбницъ предлагаетъ также сосчитать въ любомъ городѣ жилые дома съ одной стороны, и съ другой — темницы и больницы: вездѣ сильный перевѣсъ на сторонѣ благоденствія. „Въ отношеніи добродѣтели и порока, замѣчаетъ Лейбницъ, господствуетъ скорѣе извѣстная посредственность. Уже Макиавель замѣтилъ, что на землѣ чрезвычайно мало людей весьма дурныхъ и весьма хорошихъ, и что именно вслѣдствіе того не удавались многія великія предпріятія.“

Но противники Лейбница продолжаютъ возражать: „Допустимъ, что зло весьма мало по сравненію съ тѣмъ зломъ, которое могло бы приключаться ежедневно; но оно все же есть, и приведенное выше объясненіе не уничтожаетъ его.“

Чтобы отвѣтить на такое разсужденіе, Лейбницъ приступаетъ къ опредѣленію самой природы зла, съ цѣлью обнаружить такимъ образомъ настоящій его источникъ.

Зло бываетъ метафизическое, моральное и физическое. Можетъ-ли которое нибудь изъ нихъ быть приписано божеству?

Зло метафизическое собственно есть только одно несовершенство нашихъ способностей, и потому оно,

собственно говоря, не можетъ быть названо ни добромъ, ни зломъ.

Физическое зло не можетъ быть также произведено Богомъ, потому что оно есть только отрицаніе, и притомъ имѣеть для себя причину не *efficiens*, но *deficiens*, т. е. не дѣйствующую, но отсутствующую. Другими словами, зло не имѣеть для себя причины, которая бы его производила, и является только вслѣдствіе того, что причина добра отсутствуетъ. Но вотъ и собственное наглядное объясненіе эффиціента и дефиціента зла, какъ его приводитъ самъ Лейбницъ:

„Предположимъ, говоритъ онъ, что теченіе одной и той же рѣки несетъ на себѣ нѣсколько барокъ, которыя отличаются другъ отъ друга кладью: однѣ нагружены деревомъ, другія камнемъ, и притомъ однѣ больше, другія меньше. При такихъ условіяхъ, случится, что однѣ барки, болѣе нагруженныя, поплывутъ тише другихъ, если допустить, что вѣтеръ, весла или какое нибудь другое средство не будутъ имъ помогать. Собственно тяжесть составляетъ причину медленности тѣхъ или другихъ, потому что всѣ барки несутся однимъ и тѣмъ же теченіемъ, а не идутъ вверхъ; тяжесть опять есть результатъ плотности тѣлъ. И такъ, сама матерія склонна по своей природѣ къ медленности..... Сравнимъ теперь силу теченія рѣки съ дѣятельностью божества, которое производитъ и охраняетъ то, что вложено въ сотворенное, и даетъ ему совершенство, бытіе и силу; сравнимъ,

говорю я, инерцію матері съ естественнымъ несовершенствомъ тварей, и медленность нагруженной барки съ недостатками качествъ сотвореннаго, и мы найдемъ, что нѣтъ ничего справедливѣе такого сравненія. Теченіе есть причина движенія барки, но не ея медленности; Богъ есть причина совершенствъ природы, но ограниченность твари есть причина ея недостатковъ въ дѣйствіи.“

Но Богъ иногда дѣйствительно хочетъ зла, замѣчаетъ Лейбницъ, съ цѣлью наказать или исправить насъ: „о физическомъ злѣ можно сказать, что Богъ иногда хочетъ его, какъ наказаніе за нашъ проступокъ, а иногда какъ средство для предупрежденія большаго зла или для произведенія большаго добра. Наказаніе служитъ примѣромъ, и зло часто посылается для того, чтобы лучше насладиться добромъ, а иногда оно служитъ даже причиною усовершенствованія тѣхъ, кто страдаетъ, какъ посѣянное зерно должно развалиться, чтобы дать ростокъ; это то прекрасное сравненіе, которое сдѣлалъ самъ Спаситель“.

Освободивъ такимъ образомъ божество отъ обвиненія въ физическомъ злѣ, Лейбницъ приступаетъ къ послѣднему возраженію, чтобы очистить божество отъ обвиненія въ нравственномъ злѣ.

Съ этою цѣлью Лейбницъ беретъ за весьма глубокий, и можетъ быть даже слишкомъ тонкій, анализъ понятія историческаго провидѣнія. Онъ различаетъ въ Провидѣніи двоякую волю: *antécédente* и *consequente*,

предшествующую и послѣдующую: первая безусловно желаетъ добра, вторая стремится только къ возможно-лучшему (*le meilleur possible*). Въ послѣднемъ случаѣ, Богъ только допускаетъ зло и то подѣ условіемъ произвести возможно лучшее, а потому не можетъ быть также признанъ виновникомъ зла. Причину же заблужденія своихъ противниковъ по этому предмету Лейбницъ ищетъ въ непониманіи ими настоящаго значенія историческихъ путей Провидѣнія, и въ смѣшеніи ихъ двойнаго характера. Одни не видѣли въ путяхъ Провидѣнія ничего другого, кромѣ *частнаго* характера; другіе считали ихъ только чѣмъ-то *общимъ* (*particuliers et générales*). Частный характеръ Провидѣнія или *партикуларизмъ* былъ проповѣдуемъ въ богословіи — атеистами, и въ политикѣ — деспотами. Между тѣмъ, какимъ образомъ можно допустить, чтобы въ *части* какого-нибудь событія выразилась *вся* воля Провидѣнія? А потому для человѣка разумно мыслящаго необходимо представлять однѣ общія пути Провидѣнія. Другими словами, зло въ мірѣ бываетъ всегда *частно*, пути же Провидѣнія всегда *общи*, а потому зло не можетъ быть приписано Провидѣнію.

Но на такое формальное объясненіе можно было точно также формально возражать Лейбницу, и Лейбницъ предвидѣлъ такое возраженіе. Можно было сказать, что есть такіе случаи партикуларизма Провидѣнія, которые пользуются большимъ авторитетомъ и опровергають теорію Лейбница, а именно, чудеса,

услышанныя молитвы, вознагражденія за добрыя дѣла, исполненныя обѣты и т. п. Или, какимъ образомъ крестоносный баронъ въ средніе вѣка одною рукою грабилъ, а другою дѣлалъ благочестивыя обѣты, и даже въ эпоху реформаціи можно было не только сегодня сдѣлать преступленіе, а завтра купить индульгенцію, но и наоборотъ, сегодня купить индульгенцію, а завтра сдѣлать преступленіе?

Но эти возраженія сами служатъ только свидѣтельствомъ, что были эпохи въ исторіи человѣчества, когда все общество носило на себѣ исключительный характеръ религіознаго партикуларизма, и Лейбницъ безъ труда устраняетъ всѣ подобныя возраженія: „Я думаю, говоритъ онъ (II, 207), что чудеса не имѣютъ въ себѣ ничего, что отличало бы ихъ отъ другихъ событій, ибо причина порядка, который выше порядка естественнаго, принуждаетъ производить чудесное. А потому я вовсе не согласенъ съ от. Малевбраншемъ, что Богъ отмѣняетъ общіе законы всякій разъ, когда того требуетъ порядокъ; если онъ и отмѣняетъ законъ, то только тогда, когда этотъ законъ замѣняется новымъ, болѣе примѣняемымъ; и то, чего хочетъ порядокъ, будетъ всегда соответствовать правилу этого порядка, который самъ принадлежитъ къ числу общихъ законовъ. Характеръ чудеснаго, принимаемаго въ самомъ строгомъ смыслѣ этого слова, состоитъ въ томъ, что его не умѣютъ объяснить природою сотворенныхъ вещей. Вотъ потому, если Богъ далъ общій законъ,

по которому, напримѣръ, всѣ тѣла стремятся другъ къ другу, то самое исполненіе этого закона является рядомъ непрерывныхъ чудесъ. И точно также, если Богъ желаетъ, чтобы органы тѣла сообразовались съ волею души по системѣ *случайныхъ причинъ*, то такой законъ приводится въ исполненіе непрерывными чудесами.“

Такимъ образомъ, по теоріи Лейбница, участіе Провидѣнія въ исторіи возбуждаетъ всѣ возраженія только потому, что и теологи, и политики, и философы переносятъ на провидѣніе тотъ партикуларизмъ, которымъ отличается воля человѣка. Воля человѣка ограничена не столько потому, что она не можетъ желать всего, что бы пришло на мысль человѣку, но именно потому, что она всякій разъ относится къ чему нибудь особенному, отдѣльному, опредѣленному; воля божества, въ противоположность волѣ человѣка, можетъ относиться ко всему вдругъ, а не къ тому, или другому отдѣльному случаю.

Законы *партикуларизма* и *генерализаціи*, какъ они указаны Лейбницомъ, могутъ имѣть большіе примѣненіе къ объясненію развитія человѣческихъ обществъ. Партикуларизмъ является, дѣйствительно, въ обществѣ, какъ извѣстная степень его умственного, нравственного и политическаго развитія, и притомъ именно самая низшая степень. Общество, не вышедшее изъ состоянія партикуларизма остается недоступнымъ идеямъ генерализаціи: угожденіе лицу, просьба, эгоизмъ, оказы-

вають въ немъ могущественное вліяніе на ходъ дѣлъ и на людскія отношенія. Примѣръ самаго высшаго развитія партикуларизма представляеть исторія Востока, гдѣ и воля божества, и воля правителя, носятъ на себѣ чисто партикуларный характеръ. Второе мѣсто въ этомъ отношеніи занимаетъ исторія среднихъ вѣковъ, съ своими феодальными баронами и идеями католичества. Исторія Греціи и Рима, равно какъ и новѣйшая исторія, начиная съ реформаціи, приобрѣтають свое величіе именно на столько, на сколько они успѣвають стать выше партикуларизма и направить волю человѣка къ общимъ цѣлямъ, или, говоря языкомъ Лейбница, приблизить характеръ человѣческой воли къ характеру воли Провидѣнія, вмѣсто того, чтобы поступать наоборотъ, и на Провидѣніе переносить партикуларизмъ воли человѣка.

Заключеніе, къ которому приводитъ вторая часть Теодицеи, можетъ быть теперь высказано нами съ совершенною ясностью: исторія человечества есть результатъ *общей* воли Провидѣнія и *партикулярной* воли человѣка; зло въ исторіи есть только частный случай, какъ результатъ преувеличеннаго партикуларизма человѣка; въ общемъ же ходѣ, исторія идетъ постоянно къ добру, потому что общее вытекаетъ изъ общей воли Провидѣнія, и слѣдовательно, существующій нынѣ міръ есть лучший изъ всѣхъ, какой возможенъ въ настоящую минуту.

Но послѣднее положеніе о лучшемъ мірѣ изъ мі-

ровъ есть только одинъ выводъ; и потому Лейбницъ посвящаетъ еще третью часть, чтобы доказать дѣйствительность своей проблемы, по содержанію которой вся историческая теорія Лейбница носить названіе оптимизма.

Третья проблема: Сущестующій міръ есть лучший міръ. — Вся теорія Лейбница, по этому вопросу, состоитъ изъ двухъ главныхъ основоположеній, доказательство которыхъ составляетъ послѣднюю цѣль Теодицеи: 1) на свѣтѣ существуетъ множество возможныхъ міровъ, стремящихся къ бытію; и 2) Богъ избралъ изъ нихъ самый лучший. Мы согласны съ тѣмъ, что всякая философема, приведенная къ краткимъ положеніямъ, безъ дальнѣйшихъ объясненій, очень часто представляется безцѣльною, произвольною и праздною игрою утонченнаго ума. Можетъ быть, и тѣ вышеприведенныя основоположенія оптимизма Лейбница произведутъ съ перваго раза такое же невыгодное впечатлѣніе; между тѣмъ, всѣ наши самыя высокія убѣжденія въ безконечность прогресса, всѣ идеи о братской любви между людьми суть ни что иное, какъ далекій выводъ изъ тѣхъ, повидимому, метафизическихъ началъ, которыя поставилъ Лейбницъ во главѣ своего оптимизма. „Человѣкъ, не проникнутый тѣми основными началами, по словамъ Лейбница, похожъ на того рабочаго, который родился и воспитывался въ соляныхъ копяхъ Фракіи, и который увѣрилъ себя, что въ мірѣ нѣтъ другого свѣта, кромѣ

слабаго свѣта той мерцающей лампы, которая могла едва-едва направлять его шаги въ темнотѣ*).“ Лейбницъ приглашаетъ насъ отойти отъ такого взгляда эракійскаго рудокопа и взглянуть шире на прошедшее и будущее. Всякое существо, говоритъ онъ, каково бы оно ни было, человѣкъ, животное, растеніе, все бессмертно по своей природѣ. Никто не погибаетъ, какъ ничто, собственно говоря, не начинается своего существованія. Только нашимъ тѣлеснымъ глазамъ кажется, что все выходитъ изъ ничтожества и въ ничтожество возвращается. Разумъ разсѣиваетъ эти предразсудки и учитъ насъ, что смерть, какъ и рожденіе, есть только преобразованіе. „Въ мірѣ существуетъ одинъ безпрерывный и самобытный прогрессъ, стремящійся къ верху красоты и совершенства, какое возможно для рукъ божества, такъ что міръ стремится постоянно къ лучшему быту (*à une condition toujours meilleur*)“.

Вотъ, тотъ смыслъ, который соединяетъ Лейбницъ съ своимъ „лучшимъ міромъ“; а потому не надобно себѣ представлять, что Лейбницъ предполагалъ, что въ этомъ мірѣ все, что существуетъ, то хорошо; лучший міръ можетъ быть еще очень худой, но его превосходство состоитъ именно въ томъ, что онъ безконеченъ и всецѣленъ. „Я не сомнѣваюсь, восклицаетъ Лейбницъ, что отдѣльный человѣкъ въ глазахъ божества гораздо выше отдѣльнаго льва; но я не знаю,

*) Отрывки изъ сочиненій Лейбница, изданные Эрдманномъ.

можно ли быть увѣреннымъ въ томъ, чтобы Богъ предпочелъ одного человѣка всей породѣ львовъ. Такое мнѣніе составляетъ остатокъ преувеличеннаго убѣжденія въ томъ, что все существуетъ единственно для человѣка.“ Эти восторженные слова Лейбница вытекаютъ прямо изъ его широкаго взгляда на значеніе прогресса и изъ всеобъемлющей идеи „лучшаго міра.“ Лейбницъ называетъ существующій міръ лучшимъ міромъ именно за то, что онъ не конеченъ, и въ своей безконечности идетъ постоянно къ лучшему, не остается ни на минуту тѣмъ, чѣмъ онъ былъ, и есть вѣчно живой, видоизмѣняющійся и обнимающій въ своихъ перемѣнахъ все, такъ что ни одинъ волосъ не падаетъ съ нашей головы безъ того, чтобы и въ этомъ паденіи не было прогресса. Самое выраженіе „вселенная“ въ глазахъ Лейбница есть еще весьма узкая идея, эгоистическая; она отличается только степенью отъ эгоизма нашего я. Подъ вселенною онъ разумѣетъ не тотъ или другой моментъ ея существованія, не то или другое ея пространство, но всецѣлость, полный рядъ развитія прошедшаго, настоящаго и будущаго. И въ этомъ смыслѣ нашъ міръ есть лучший изъ міровъ; если бы кто могъ утверждать, что настоящій міръ кончится въ своемъ развитіи, тогда можно было бы предположить, что могъ бы быть еще лучший міръ; но существующее — вѣчно и въ своемъ прошедшемъ, и въ своемъ будущемъ, а потому невозможно представить себѣ другого лучшаго міра. Однимъ словомъ,

всякій міръ, который не могъ бы быть лучшимъ, стоялъ бы ниже существующаго міра, который, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, имѣеть одно безконечное преимущество, а именно, дѣлаться постоянно лучшимъ, и слѣдовательно быть лучшимъ самаго лучшаго міра.

Обращаясь къ своимъ противникамъ, которые, замѣчая недостатки существующаго міра, говорятъ объ однихъ его несовершенствахъ и представляютъ свои программы міротворенія, Лейбницъ возражаетъ, указывая на весь ихъ партикуларизмъ сужденія: „Горшечникъ, говоритъ онъ, мнетъ и переминаетъ глину, какъ онъ хочетъ, и никто не спроситъ у него, почему онъ поступаетъ такъ, а не иначе. Онъ даетъ ей одну форму, потомъ снова разбиваетъ, и не имѣеть для себя другой причины, кромѣ своей личной воли.“ Такимъ образомъ, въ возрѣніяхъ противниковъ Лейбница, мы сравниваемся съ кускомъ глины, а божество съ горшечникомъ; но въ такомъ случаѣ глинѣ не слѣдуетъ знать, почему горшечникъ втискиваетъ ее въ ту или другую форму, а именно на этомъ отрицательномъ результатѣ остановился Байль по отношенію третьей проблемы Лейбница, говоря, „какъ возможно человѣку брать на себя рѣшеніе такихъ вопросовъ, когда онъ не можетъ сдѣлать двухъ стежковъ, если не умѣетъ шить.... Къ чему бы намъ послужилъ ключъ отъ ящика, если бы мы не знали, какъ его должно употреблять?“

Возраженіемъ противъ такого индифферентизма

Лейбницъ думалъ заключить свою Теодицею, но желаніе высказать еще разъ свои убѣжденія и притомъ самымъ доступнымъ и нагляднымъ образомъ побудило его присоединить въ концѣ цѣлый діалогъ, который при своей краткости, можетъ быть нами приведенъ здѣсь вполнѣ.

„Я имѣлъ намѣреніе, говоритъ Лейбницъ, въ концѣ Теодицеи, остановиться на этомъ, послѣ того какъ, мнѣ кажется, я отвѣтилъ на всѣ возраженія Вайля по этому предмету, какія только я могъ встрѣтить въ его произведеніяхъ. Но, вспомнивъ о „Діалогѣ“ Лаврентія Валлы (ученаго филолога XVI вѣка), гдѣ онъ говоритъ о *свободной волѣ* (le libre Arbitre) противъ Боэція, я нашель, что будетъ кстати помѣстить его здѣсь въ сокращеніи, сохраняя впрочемъ форму разговора, и кончить то, на чемъ онъ останавливается, продолживъ начатую имъ басню. Я вовсе не имѣю въ виду при этомъ дѣлать свой предметъ болѣе занимательнымъ, и желаю только объяснить цѣль своего сужденія самымъ яснымъ и общедоступнымъ образомъ, какой для меня возможенъ. Этотъ *Діалогъ* Валлы и его *Книги о страсти и истинномъ благѣ* служатъ достаточнымъ доказательствомъ того, что онъ былъ такою же хорошею философомъ, какъ и гуманистомъ. Тѣ четыре книги были написаны Валлою противъ четырехъ книгъ Боэція „Объ утѣшеніи,“ а Діалогъ направленъ противъ пятой книги. Нѣкто Антоній Глареа, испанецъ, проситъ Лаврентія Валлу объяснить ему труд-

ности вопроса о свободной волѣ, который столь же мало извѣстенъ, сколько заслуживаетъ быть извѣстнымъ, и отъ котораго зависитъ правда и неправда, наказаніе и награда въ этой жизни и въ жизни будущей. Лаврентій Валла отвѣчаетъ ему, что мы должны утѣшаться въ своемъ невѣжествѣ, которое обще намъ со всѣмъ міромъ, какъ мы утѣшаемся тѣмъ, что не имѣемъ крыльевъ птицы.

„*Антоній*. Я знаю, что вы, какъ второй Дедалъ, можете мнѣ дать крылья, чтобы вылетѣть изъ темницы невѣжества и подняться до высоты Истины, этой отчизны нашей души. Книги, которыя я читалъ, не удовлетворили меня, ни даже знаменитый Боэцій, который пользуется всеобщимъ уваженіемъ. Я не знаю, понималъ-ли онъ самъ то, что говорилъ о разумѣ Бога и о вѣчности, предшествующей временамъ. И я спрашиваю вашего мнѣнія о способѣ примирить человеческую свободу съ божественнымъ предвѣдніемъ.

„*Лаврентій*. Я опасаясь оскорбить многихъ, возражая противъ такого знаменитаго мужа, какъ Боэцій; тѣмъ не менѣе я предпочитаю такому страху уваженіе къ просьбѣ одного изъ своихъ друзей, если только вы мнѣ обѣщаете....

„*Антоній*. Что такое?

„*Лаврентій*. Что вы, пообѣдавъ у меня, не потребуете того, чтобы я накормилъ васъ ужиномъ, то-есть, я желаю, чтобы вы ограничились рѣшеніемъ предло-

женнаго вами вопроса, и не предлагали мнѣ новыхъ вопросовъ.

„*Антоній*. Общаю! Вотъ въ чемъ состоитъ все затрудненіе: если Богъ предвидѣлъ измѣну Іуды, то его измѣна была необходима; онъ не имѣлъ возможности не измѣнить. Въ невозможномъ нѣтъ отвѣтственности, а слѣдовательно онъ не прегрѣшилъ и не заслуживалъ наказанія. Но такое разсужденіе уничтожаетъ правосудіе и всю религію вмѣстѣ со страхомъ божіимъ.

„*Лаврентій*. Богъ предвидѣлъ грѣхъ, но онъ не принуждалъ человѣка къ совершенію его: грѣхъ былъ доброволенъ.

„*Антоній*. Эта добрая воля была необходима, ибо Богъ предвидѣлъ ее.

„*Лаврентій*. Если мое вѣдѣніе прошедшаго и настоящаго не творитъ ни того, ни другаго, то и мое предвѣдѣніе будущаго не можетъ считаться причиною его существованія.

„*Антоній*. Это сравненіе ложно: ни настоящее, ни прошедшее не могутъ быть измѣнены, ибо они сдѣлались уже неизбежными; но будущее, какъ измѣняемое, дѣлается необходимымъ и опредѣленнымъ, если оно будетъ разъ предвидѣно. Представимъ себѣ, что богъ язычества начнетъ хвалиться предъ нами своимъ знаніемъ всего будущаго; я его спрошу, знаетъ-ли онъ, какую ногу я выставлю впередъ, и потомъ сдѣлаю прямо обратное тому, что онъ предскажетъ.

„*Лаврентій*. Такой богъ будетъ знать и то, что вы пожелаете сдѣлать.

„*Антоній*. Какъ же онъ будетъ знать, если я сдѣлаю противное его предсказанію, и предположу, что онъ скажетъ то, что онъ думаетъ?

„*Лаврентій*. Вашъ примѣръ ложенъ: Богъ не отвѣтитъ вамъ, и если отвѣтитъ, то ваше же уваженіе къ нему принудитъ васъ сдѣлать именно то, что онъ скажетъ; его предсказаніе обратится для васъ въ приказаніе. Но мы измѣнили вопросъ: дѣло идетъ не о томъ, что богъ *предскажетъ*, но о томъ, что онъ *предусмотритъ*. Возвратимся же къ вопросу о предвѣдѣніи, и сдѣлаемъ при этомъ различіе между необходимымъ и извѣстнымъ: возможно, чтобы предвѣдѣнное не случилось, но несомнѣнно то, что оно случится. Я могу сдѣлаться солдатомъ или священникомъ, но я не сдѣлаюсь ни тѣмъ, ни другимъ.

„*Антоній*. Теперь я васъ поймалъ: правило философовъ требуетъ, чтобы возможное разсматривалось какъ дѣйствительное. Но если то, что вы считаете возможнымъ, то-есть, если событіе предвѣдѣнное случится въ дѣйствительности, то богъ будетъ обманутъ.

„*Лаврентій*. Правило философовъ вовсе не оракуль для меня, и это правило въ особенности не точно. Двѣ противоположности могутъ быть обѣ возможны, но могутъ-ли онѣ также обѣ существовать? Чтобы дать вамъ болѣе понятное объясненіе, представлю себѣ, что Секстъ Тарквиній, прибывъ въ Дельфы со-

вѣщаться съ оракуломъ Аполлона, получилъ слѣдующій отвѣтъ :

Exul inopsque cadens irata pulsus ab urbe,

т. е. „Ты погибнешь безпомощнымъ измѣнникомъ, удаленный изъ раздраженнаго города.“ Молодой человекъ обращается съ жалобой: „Я предложилъ тебѣ, о Аполлонъ, царскій подарокъ, а ты мнѣ возвѣщаешь такую несчастную долю.“ Аполлонъ скажетъ ему: „Твой даръ мнѣ пріятенъ, и я исполняю твою просьбу; я сказалъ тебѣ, что съ тобою случится: я знаю будущее, но я его не творю. Иди жаловаться къ Юпитеру и Паркамъ.“ Секстъ былъ бы смѣшонъ, если бы вздумалъ и послѣ того жаловаться на Аполлона; развѣ это не такъ?

„*Антоній*. Но онъ скажетъ: „Я благодарю тебя, о святой Аполлонъ, за то, что ты мнѣ открылъ истину; но какимъ образомъ можетъ быть столько жестоко Юпитеръ ко мнѣ, приготавливая столь жестокую участь человеку невинному и благочестивому почитателю боговъ“?

„*Лаверентій*. „Ты невиненъ“! воскликнетъ Аполлонъ; знай же, что ты сдѣлаешься гордецомъ, что ты совершишь прелюбодѣяніе, что ты будешь измѣнникомъ отечеству“. Можетъ-ли Секстъ возражать на это: „И ты, Аполлонъ, будешь причиною того, ибо, предвидя будущее, ты тѣмъ самымъ принуждаешь меня совершить всѣ тѣ преступленія“?

„*Антоній*. Я согласенъ, что ему нужно потерять разсудокъ, чтобы сдѣлать подобное возраженіе.

„*Лаврентій*. Такимъ образомъ, и предатель Іуда можетъ жаловаться не болѣе на предвѣдѣніе боже-ства. И вотъ разрѣшеніе предложеннаго вами вопроса.

„*Антоній*. Вы удовлетворили меня сверхъ моихъ надеждъ, и сдѣлали то, чего не могъ сдѣлать Боэцій. Я останусь вамъ обязаннымъ всю мою жизнь.

„*Лаврентій*. Но тѣмъ не менѣе продолжимъ еще нашу исторію. Секстъ скажетъ: „Нѣтъ, Аполлонъ, я вовсе не намѣренъ сдѣлать того, что ты мнѣ предсказалъ.

„*Антоній*. „Какъ! воскликнетъ богъ, развѣ я останусь лжецомъ? Еще разъ повторяю тебѣ: ты исполнишь все, что я тебѣ только-что сказалъ.

„*Лаврентій*. Быть-можетъ, Секстъ будетъ умолять боговъ, чтобы они измѣнили приговоръ судьбы и дали ему лучшее сердце.

„*Антоній*. Но ему отвѣтятъ:

Desine fata Dēum flecti sperare precando!

Что же скажетъ на это Секстъ, не разразится-ли онъ жалобою на боговъ? не скажетъ-ли онъ: какъ! я не имѣю свободы; мнѣ запрещаютъ слѣдовать путемъ добродѣтели?

„*Лаврентій*. Быть можетъ, Аполлонъ ему скажетъ: „Знай, мой бѣдный Секстъ, что боги дѣлаютъ cadaго тѣмъ, что онъ есть. Юпитеръ сдѣлалъ волка хищнымъ,

зайца робкимъ, осла глухимъ и льва мужественнымъ. Тебѣ же онъ далъ душу злую и неисправимую; и ты будешь дѣйствовать сообразно съ своею природою, а Юпитеръ поступить съ тобою такъ, какъ заслужать того твои поступки: онъ клялся въ томъ Стиесомъ.

„*Антоній*. Признаюсь, мнѣ кажется, что Аполлонъ, извиняя себя, обвиняетъ Юпитера болѣе, нежели Секста; и Секстъ можетъ ему отвѣтить: „И такъ, Юпитеръ осуждаетъ во мнѣ свое собственное преступленіе, а потому онъ одинъ и виновенъ. Онъ могъ сдѣлать меня совершенно другимъ, но сдѣлалъ такимъ, какъ я есть, и слѣдовательно я осужденъ дѣйствовать, какъ онъ желалъ. За что же онъ меня наказываетъ? Могу ли я противиться его волѣ.

„*Лаурентій*. Сознаюсь, предъ этимъ вопросомъ я долженъ остановиться также, какъ и вы. Я вызвалъ на сцену боговъ, Юпитера и Аполлона, чтобы показать вамъ различіе между *предвидѣніемъ* и *провидѣніемъ*. Я вамъ показалъ, что Аполлонъ, что предвидѣніе не вредитъ свободѣ, но я не сумѣю васъ просвѣтить относительно приговоровъ воли Юпитера, то-есть, провидѣнія.

„*Антоній*. Вы меня извлекли изъ одной пропасти, и теперь погружаете въ другую и болѣе глубокую.

„*Лаурентій*. Припомните наше условіе: я васъ угостилъ обѣдомъ, а вы требуете теперь отъ меня ужина.

„*Антоній*. Теперь и я вижу вашу хитрость: вы меня поймали; это не честный договоръ.

„*Лаурентій*. Чего же вы отъ меня хотите? я вамъ далъ мяса и вина изъ своего виноградника, на сколько мнѣ то позволило мое небольшое состояніе; за нектаромъ и амврозіею обратитесь къ богамъ. У людей вы не найдете этой божественной яствы. Послушаемъ св. Павла, этотъ ковчегъ избранія, который былъ восхищенъ до третьяго неба, и который слышалъ невыразимыя рѣчи; и онъ вамъ отвѣтитъ ссылкой на неповѣдимость судебъ божіихъ, на изумительную глубину божественной премудрости. Между тѣмъ слѣдуетъ замѣтить, что вопросъ идетъ не о томъ, почему Богъ предвидитъ будущее; разумѣется само собою: потому что это будущее случится; но спрашиваютъ, почему божество распоряжается именно такимъ образомъ, почему оно сурово къ одному, почему оно милостиво къ другому. Мы не знаемъ причинъ, которымъ оно руководится въ подобныхъ случаяхъ, но для насъ довольно знать, что *оно всеблаго и премудро, чтобы считать дѣйствіе божества хорошимъ*. А такъ какъ Богъ въ то же время и справедливъ, то изъ этого слѣдуетъ, что его распоряженія и предписанія нисколько не уничтожаютъ нашей свободы. Нѣкоторые старались объяснить причину того. Они говорили, что мы сотворены изъ нечистой и дурной матеріи, изъ грязи. Но Адамъ, но ангелы были сотворены изъ серебра и золота, и они не переставали грѣшить. Послѣ возрожденія, люди снова загрузѣли, а потому слѣдуетъ искать другую причину зла, и я

сомнѣваюсь, чтобы она была извѣстна даже самимъ ангеламъ. Но тѣмъ не менѣе они счастливы и воздаютъ хвалу Богу. Бозѣй болѣе прислушивался къ голосу философіи, нежели св. Павла, и потому онъ претерпѣлъ неудачу. Будемъ вѣровать въ Иисуса Христа; онъ есть божественная добродѣтель и мудрость, онъ научаетъ насъ, что Богъ желаетъ спасти всѣхъ, и не хочетъ смерти грѣшника. Довѣримся же божественному милосердію, и не лишимся его по своему тщеславію и своей злобѣ.“

На этомъ останавливается „Діалогъ“ Валлы, отказавшаго своему собесѣднику въ ужинѣ; Лейбницъ идетъ впередъ и, недовольный послѣдними разсужденіями Валлы, смѣло приглашаетъ Антонія на ужинъ, имѣя въ виду отвѣтить и на то, что было выше силъ Валлы.

„Этотъ діалогъ, продолжаетъ Лейбницъ, превосходить, хотя и можно замѣтить по его поводу кое-что тамъ-и-сямъ: но главный его недостатокъ состоитъ въ томъ, что Валла разсѣкаетъ узель, и что онъ, повидимому, осуждаетъ Провидѣніе подъ именемъ Юпитера, и дѣлаетъ его почти виновникомъ грѣха. Продолжимъ же еще эту небольшую басню. Секстъ, оставивъ Аполлона и Дельфы, идетъ къ Юпитеру въ Додону. Онъ приноситъ жертву и потомъ предъявляетъ свою жалобу: „О великій богъ, за что ты осудилъ меня быть злымъ, быть несчастнымъ; измѣни мою судьбу и мое сердце, или сознайся въ своей неспра-

ведливости.“ Юпитеръ отвѣчаетъ ему: „Если ты хочешь отказаться отъ Рима, Парки спрядутъ тебѣ другую судьбу, ты будешь мудръ, ты будешь счастливъ.“

„Секстъ. За чѣмъ же я долженъ отказаться отъ короны, развѣ я не могу быть добрымъ царемъ?“

„Юпитеръ. Нѣтъ, Секстъ, я знаю лучше, что тебѣ нужно. Если ты вернешься въ Римъ, ты погибъ“.

„Секстъ, не имѣя силъ на такое самопожертвованіе, вышелъ изъ храма и предался свой судьбѣ. Теодоръ, великій жрецъ, присутствовавшій при разговорѣ Секста съ Юпитеромъ, обратился къ богу съ слѣдующими словами: „Мудрость твоя всецѣлительна, о великій властитель боговъ; ты убѣдилъ этого человѣка въ его виновности. Онъ долженъ съ этого дня считать самого себя виновникомъ своихъ бѣдствій; ему нечего больше сказать. Но твои вѣрные почитатели все же остаются удивленными; они желали бы изумляться не одному твоему величію, но также и твоей благодати: отъ тебя зависѣло дать ему другую волю.“

„Юпитеръ. Иди къ моей дочери Минервѣ: она тебѣ укажетъ, что я долженъ былъ бы сдѣлать.“

„Теодоръ отправляется въ Аѳины; ему приказываютъ лечь спать въ храмѣ богини. Во снѣ, онъ увидѣлъ себя перенесеннымъ въ невѣдомую страну. Тамъ находились палаты невыразимаго блеска и огромнаго размѣра. Богиня Минерва показала въ дверяхъ, окруженная блескомъ ослѣпительнаго величія,

*Qualisque videri
Coelicolis et quanta solet.*

Она коснулась лица Теодора вѣтвью оливы, которую держала въ рукѣ. Съ той минуты онъ получилъ силу выносить свѣтъ дщери Юпитера и всего, что она покажетъ ему. „Юпитеръ, который любить тебя, заговорила богиня, послалъ тебя ко мнѣ для назиданія. Предъ тобою здѣсь палаты судебъ, охраняемая мною. Въ нихъ изображено не только то, что случится, но и все то, что могло бы случиться. И Юпитеръ, осматривая до начала міра всѣ возможности, пустилъ ихъ въ міръ и сдѣлалъ выборъ тѣхъ, которые были лучшими изъ всѣхъ. Онъ самъ приходитъ иногда посѣщать эти мѣста, чтобы имѣть удовольствіе снова пересмотрѣть все и возобновить свой выборъ, при чемъ Юпитеръ всегда остается довольнымъ. Я буду только говорить, но мы сами увидимъ сейчасъ цѣлый міръ, который можетъ быть произведенъ моимъ отцомъ, и въ которомъ будетъ изображено все, чего можно только просить; тамъ же можно узнать, что случится, и будетъ-ли та или другая возможность существовать. И когда условія ея будутъ опредѣлены съ точностью, тогда явится сколько угодно различныхъ міровъ, которые отвѣтятъ различно на одинъ и тотъ же вопросъ, и на столько способовъ, сколько то будетъ возможно. Когда ты былъ молодъ, ты, какъ всѣ образованные греки — учился геометріи. Итакъ, ты знаешь, что когда условія требуемой точки

не достаточно опредѣляютъ ее, и при этомъ является безконечность, то всѣ эти условія соединяются въ томъ, что геометры называютъ мѣстомъ, и это мѣсто (которое часто бываетъ линіею) будетъ уже опредѣлено. Такимъ же образомъ ты можешь себѣ представить вереницу міровъ, которые будутъ заключать въ себѣ одинъ и тотъ же случай, и видоизмѣнять одни побочныя обстоятельства и послѣдствія. Но если ты избереши случай, который отличается отъ дѣйствительнаго міра чѣмъ нибудь однимъ и своими послѣдствіями, то извѣстный и опредѣленный міръ отвѣтитъ тебѣ: „Здѣсь заключены всѣ міры, то-есть, въ идеяхъ.“ Я покажу тебѣ, гдѣ находится Секстъ, не совсѣмъ тотъ, котораго ты видѣлъ (это невозможно, ибо тотъ несетъ съ собою всегда то, чѣмъ онъ будетъ), но другіе приблизительные Сексты, которые сдѣлаются всѣмъ тѣмъ, чѣмъ ты знаешь настоящаго Секста, но не всѣмъ тѣмъ, что уже въ немъ заключено, и что еще случится съ нимъ. Ты найдешь, въ одномъ мірѣ, Секста весьма счастливаго и возвеличеннаго; въ другомъ мірѣ, другой Секстъ довольный умѣреннымъ состояніемъ; однимъ словомъ, ты увидишь Секстовъ всѣхъ сортовъ и въ безконечныхъ видоизмѣненіяхъ.

„Затѣмъ богиня повела Θεодора въ одно изъ отдѣленій: когда они вошли туда, это не было уже отдѣленіе, но цѣлый міръ, который

Solemque suum, sua sidera norat.

По приказанію Минервы, показалаcя Додона съ храмомъ Юпитера, и оттуда выходитъ Секстъ: слышно, какъ онъ говоритъ, что онъ намѣренъ повиноваться божеству. И вотъ, онъ идетъ въ какой-то городъ, расположенный между двухъ морей, и похожій на Коринѣ. Онъ покупаетъ тамъ садикъ; обрабатывая его, онъ находитъ въ землѣ кладъ, дѣлается человѣкомъ богатымъ, любимымъ, уважаемымъ, и умираетъ въ глубокой старости, благословляемый во всемъ городѣ. Феодоръ видитъ всю его жизнь, какъ на ладони, или какъ на сценѣ въ театрѣ. Въ томъ же отдѣленіи находилась большая книга, и Феодоръ не могъ воздержаться, чтобы не спросить, что это значитъ. „Это — *исторія* этого міра, который мы навѣстили теперь, отвѣчала богиня: это — Книга судебъ. Ты замѣтилъ нумеръ на лбу Секста; поищи въ книгѣ страницу подъ тою же цифрою.“ Феодоръ нашель то мѣсто и увидѣлъ исторію Секста болѣе подробную той, которую онъ зналъ въ сокращеніи. „Положи палецъ на какую хочешь строчку, замѣтила ему Минерва, и ты узнаешь во всей подробности то, что строчка излагаетъ въ общихъ чертахъ.“ Онъ повиновался, и увидѣлъ всѣ подробности одной части жизни Секста. Они перешли въ другое отдѣленіе, и вотъ предъ ними другой міръ, другая Книга, другой Секстъ, который, выйдя изъ храма и рѣшась повиноваться Юпитеру, отправился во Фракію. Онъ женится тамъ на дочери царя, не имѣвшаго другихъ дѣтей, и наслѣдуетъ ему. Его обо-

готоворяють подданные. Они идутъ въ другія отдѣленія, и вездѣ видятъ новыя сцены.

„Отдѣленія шли пирамидою и дѣлались все болѣе и болѣе прекрасными, по мѣрѣ поднятія къ вершинѣ, представляя собою все болѣе и болѣе прекрасныя міры: наконецъ, они приходятъ въ самое высшее отдѣленіе, которое было прекраснѣйшимъ изъ всѣхъ, ибо пирамида имѣла начало, но конца ея не было видно. Это — какъ объясняла богиня — происходитъ оттого, что между безконечнымъ числомъ возможныхъ міровъ есть одинъ, лучшій изъ всѣхъ, или иначе Богъ не рѣшился бы создать ни одного; и ниже его нѣтъ міра, который былъ бы совершеннѣе его. Вотъ, потому пирамида спускается въ безконечность. Феодоръ, войдя въ это верхнее отдѣленіе, пришелъ въ такой восторгъ, что богиня должна была подать ему помощь: одна капля божественнаго напитка привела его въ чувство. Онъ не слышалъ себя отъ радости. „Мы находимся въ истинно дѣйствительномъ мірѣ, говорила богиня, и ты стоишь при самомъ источникѣ блаженства. Вотъ что готовить тебѣ Юпитеръ, если ты будешь вѣрно служить ему. Вотъ и Секстъ такой, какъ онъ есть, и какимъ онъ будетъ дѣйствительно. Онъ выходитъ изъ храма въ страшномъ гнѣвѣ; онъ презрѣлъ совѣтомъ боговъ. Ты видишь, возвратившись въ Римъ, онъ приводитъ все въ беспорядокъ причиненнымъ насиліемъ жены своего друга. Вотъ, его изгоняютъ изъ Рима, вмѣстѣ съ отцомъ, бьютъ и дѣлаютъ несчаст-

нымъ. Если бы Юпитеръ предпочелъ другого Секста, достигнувшаго благополучія въ Коринѣѣ, или получившаго царство во Фракіи, то міръ былъ бы другимъ. И между тѣмъ отецъ боговъ не могъ не выбрать именно этого міра, который совершеннѣе всѣхъ другихъ и составляетъ вершину пирамиды: ему пришлось бы отказаться отъ своей мудрости, и изгнать меня, его дочь. Ты видишь, что мой отецъ не сдѣлалъ Секста злымъ; Секстъ былъ такимъ прежде всякой вѣчности, и былъ совершенно добровольно; Юпитеръ далъ ему только существованіе, въ которомъ мудрость божества не могла отказать міру, которому Секстъ принадлежитъ: Юпитеръ только возвелъ этотъ міръ изъ его состоянія возможности въ состояніе дѣйствительности. Преступленіе Секста породило великія явленія: оно дало Риму свободу, оно произвело великое государство, которое сдѣлалось великимъ образцомъ. Но все это еще ничтожно по сравненію съ цѣною всецѣлаго міра, котораго красотѣ ты изумляешься теперь, когда, совершивъ твой счастливый переходъ изъ этого смертнаго бытія въ другое лучшее, боги сдѣлаютъ тебя способнымъ познать то.

„Въ эту минуту, Θεодоръ пробуждается, восхваляетъ богиню, отдаетъ справедливость Юпитеру, и, проникнутый всѣмъ видѣннымъ и услышаннымъ, продолжаетъ отправлять обязанности великаго верховнаго жреца, со всею ревностью истиннаго служителя своего бога, и со всею радостью, къ какой только

можетъ быть способенъ смертный человѣкъ. Мнѣ кажется, заключаетъ Лейбницъ, что мое продолженіе басни Валлы можетъ разъяснить затрудненія, которыхъ онъ не хотѣлъ коснуться. Если Аполлонъ хорошо изобразилъ собою способность божественнаго предвѣдѣнія (относительно *существующаго*) то, надѣюсь, Минерва не дурно выразила собою то, что называютъ наукою простаго смысла (относительно всего *возможнаго*), въ которомъ надобно искать причину всѣхъ вещей.“

Этими словами оканчивается *Теодицея* Лейбница, анализированная нами, въ качествѣ первой попытки, сдѣланной самимъ основателемъ новѣйшаго идеализма, объяснить исторію человѣчества, какъ результатъ врожденныхъ идей, и вмѣстѣ спасти свободу человѣка, которая, повидимому, должна пострадать, если идеи врождены намъ, а не добыты нашею самостоятельностью. Лейбницъ взялъ на себя трудъ сократить самымъ популярнымъ образомъ тотъ длинный рядъ отвлеченныхъ приѣмовъ, которые вели его къ теоріи оптимизма; и дѣйствительно, это ему удалось въ такой степени, что и достоинства, и недостатки его идеальной философіи исторіи, такъ сказать, лежатъ предъ глазами cadaго. Притомъ, приемы идеалистовъ въ философіи исторіи таковы, что, если по закону всякаго диспута, противники должны находиться всегда въ одной и той же области, то всѣ возраженія Лейбницу будутъ страдать тѣмъ же, чѣмъ страдаетъ самое уче-

ніе, противъ котораго возражаютъ. Мы согласны впрочемъ, что трансцендентальный характеръ философемъ, выходящій изъ трансцендентальныхъ наклонностей человѣческаго духа, породилъ въ мірѣ много великаго, возвышеннаго, и многое великое и возвышенное на землѣ было бы невозможно, если бы духъ человѣка не былъ способенъ къ тому, что называютъ метафизикою; но съ другой стороны, не должно забывать, что безъ медленнаго, кропотливаго опыта и наблюденія нельзя было бы сдѣлать ничего даже и самаго малаго, не говоря уже о великомъ. Лейбницу можно возражать тѣмъ же, чѣмъ онъ самъ возражалъ Лаврентію Валлѣ, считая его басню неоконченною. Лейбницъ продолжилъ эту басню, но онъ также ее не окончилъ. Положимъ, что Θεодоръ не проснулся, и видѣніе его продолжалось: послѣднія слова Минервы были прерваны появленіемъ новой тѣни Юлія Цезаря, который подслушалъ объясненія богини. „Хорошо, говоритъ онъ, Сексту Юпитеръ по крайней мѣрѣ сказалъ, чтобы онъ не ходилъ въ Римъ, и онъ все же пошелъ; онъ одинъ виноватъ; но предупредилъ-ли Юпитеръ меня въ моей молодости, какъ онъ предупредилъ Секста? А если бы онъ и предупредилъ, то, что случилось бы съ его лучшимъ міромъ, когда бы я, пользуясь своею свободою и желая избѣгнуть страшной участи, обратился на путь добра и пошелъ бы въ Коринѣъ или во Фракію? Положимъ, что лучший міръ, въ которомъ я долженъ совершить различныя преступленія и по-

страдать за то, состоитъ въ той пирамидѣ подѣ № 111, а другой міръ съ добродѣтельнымъ Цезаремъ въ Коринѣхъ будетъ носить № 99; въ такомъ случаѣ, отъ меня зависѣло бы, не смотря на то, что тебѣ, Юпитеръ, понравился № 111, перевернуть весь міръ и перевести его въ № 99, который ты не считаешь наилучшимъ? Или я осужденъ не нарушать предустановленной гармоніи, какъ ее впоследствии выразить Лейбницъ, и въ такомъ случаѣ освобожденъ отъ отвѣтственности за свои поступки, или ты, Юпитеръ, долженъ отказаться отъ своего всемогущества, отъ предпочтенія № 111, и дать мнѣ право перевести всю исторію въ № 99.“ Юпитеръ отвѣчаетъ Юлію Цезарю: „Твое возраженіе имѣетъ только одну видимость за себя: я тебя предупредилъ, какъ и Секста, въ самой ранней твоей юности; ты слышалъ мой голосъ, и тебѣ онъ казался голосомъ твоей собственной совѣсти, который постоянно внушалъ тебѣ, что безнравственность, вѣроломство, не приводятъ человѣка къ добру, а ты между тѣмъ настаивалъ на томъ, что ты «лучше хочешь быть первымъ въ деревнѣ, чѣмъ вторымъ въ Римѣ.“ Ты получилъ то, что ты самъ, а не я, желалъ; слѣдовательно ты самъ, а не я виновенъ.“ — „Но ты, Юпитеръ, уклоняешься отъ главнаго вопроса, возразилъ Юлій Цезарь: дѣйствительно, я слышалъ голосъ совѣсти, я живо припоминаю это, но я не повиновался ему не только вслѣдствіе того, что имѣлъ злую волю; меня увлекала общая безнравственность моего вре-

мени; предо мною носился также и образъ Силлы, который не былъ нисколько лучше меня и благополучно окончилъ свою карьеру; сверхъ того, ты знаешь, что я даже нѣсколько слѣдовалъ и твоимъ собственнымъ воззрѣніямъ на необходимость лучшаго изъ всѣхъ лучшихъ міровъ, и думалъ, какъ ты, Юпитеръ, что мои личные пороки и преступленія ничтожны съ благополучіемъ всего міра; Минерва же сказала, что преступленіе Секста было виною созданія свободы и великой римской республики; мои враги, какъ Цицеронъ и даже Катонъ, конечно, напоминаютъ собою Секстовъ изъ № 99 и другихъ нумеровъ, но они страстно понимали значеніе римскаго гражданина, и не хотѣли признать человѣческихъ правъ милліона римскихъ подданныхъ. Брутъ и Кассій въ моемъ лицѣ поразили мои личные пороки, но моя кровь искупила ихъ, и дѣло римскихъ подданныхъ было выиграно. Итакъ, я не руководился однимъ личнымъ удовлетвореніемъ своихъ страстей; я имѣлъ и великіе замыслы осуществить лучшей изъ всѣхъ лучшихъ міровъ, хотя бы то стоило мнѣ жизни и дало репутацію человѣка, который не пренебрегаетъ никакимъ средствомъ для достиженія своихъ цѣлей. Я смотрю даже на себя, какъ на твое орудіе; я твой избранникъ; безъ меня міръ № 111 былъ бы невозможенъ, а съ добродѣтельными Секстами и Цезарями міръ влачилъ бы жалкое существованіе въ № 99.“ — „Ты и послѣ смерти, отвѣчалъ Юпитеръ, также шутишь и надо мною, и надъ самимъ

собою, какъ ты шутилъ при жизни.“ — „Если ты не вѣришь мнѣ, возразилъ Юлій Цезарь, прочти Теодицею Лейбница, и ты увидишь, что не я одинъ смотрю такимъ образомъ на исторію.“

Предоставляемъ каждому, по своимъ соображеніямъ продолжить и наше продолженіе, напримѣръ, въ формѣ мнѣнія высказаннаго самимъ Юпитеромъ о теоріи Лейбница. Впрочемъ, какъ бы то ни было, мы обязаны признать большой прогрессъ, который обнаружился въ Теодицеѣ, по сравненію съ идеализмомъ, господствовавшимъ до нее: Лаврентій Валла заставляетъ своего Юпитера клясться Стиксомъ; Юпитеръ Лейбница посылаетъ челоуѣка къ Минервѣ, къ разуму, для разрѣшенія антиноміи, какую представляютъ въ философіи исторіи идеи міроуправленія и идея челоуѣческой свободы. Путь, указанный Юпитеромъ Лейбница, несравненно правильнѣе, хотя отвѣтъ Минервы можетъ вызвать не мало возраженій.

Преемникамъ Лейбница, которые пошли бы тою же дорогою идеализма, ничего не оставалось, какъ, или довести его ученіе до крайнихъ послѣдствій и такимъ образомъ дойти до совершеннаго отрицанія вещественнаго міра, что и сдѣлалъ Беркелей, или снова обратиться къ той же Минервѣ, но не съ цѣлью ожидать отъ нея новыхъ и лучшихъ отвѣтовъ, а съ тѣмъ чтобы подвергнуть критикѣ ея собственныя средства. Это и было сдѣлано въ первый разъ *Кантомъ*. Онъ первый вооружился противъ того догматизма, кото-

рый до него господствовалъ во всѣхъ философскихъ лагеряхъ какъ реального, такъ и метафизическаго направленія; съ Канта потому начинается новая эпоха въ жизни наукъ, которую можно назвать періодомъ критицизма, въ противоположность господствовавшему до него догматизму. Кантъ самъ сознавалъ все огромное значеніе своей философы, и справедливо сравнивалъ переворотъ, произведенный имъ въ области мысли, съ тѣмъ переворотомъ, который былъ сдѣланъ Коперникомъ въ области астрономіи: до Коперника думали, что солнце движется, а земля стоитъ; Коперникъ доказалъ, что гораздо удобнѣе и вѣрнѣе остановить все и допустить одно движеніе земли; до Канта утверждали, что наше познаніе опредѣляется и направляется его предметами; Кантъ предложилъ обратный законъ, а именно, что самые предметы направляются по законамъ нашего познанія, что природа остается неподвижною и неизмѣнною, и движется только одинъ духъ человѣка. Это новое начало положило основаніе новой школѣ идеализма, которая, по своему главному принципу, называется субъективнымъ идеализмомъ.

Если Кантъ сравнилъ свое открытіе съ открытіемъ неподвижности солнца, то жизнь самого Канта можно сравнить, не только по ея интеллектуальному значенію, но и по ея матеріальной неподвижности, съ тѣмъ же самымъ свѣтиломъ; родившись въ Кенигсбергѣ, въ 1724 году, онъ прожилъ безъвыѣздно въ его округѣ всѣ

восемьдесятъ лѣтъ жизни, до самой смерти въ 1804 г. Поѣздки въ ближайшія мѣстечки были самыми отдаленными его путешествіями; а между тѣмъ познанія Канта въ дѣйствительномъ мірѣ были такъ громадны и точны, что, можно сказать, весь міръ обращался около него и поучалъ его своимъ тайнамъ. Но при всемъ томъ философское ученіе Канта, какъ и всякая другая теорія, не было чуждо интересамъ дѣйствительности, и его направленіе, какъ мы увидимъ, явилось тѣсно связаннымъ съ тѣми вопросами, которые занимали современниковъ Канта, и потому исторія того времени можетъ столько же служить комментариемъ къ его философіи, сколько его философія можетъ намъ объяснить исторію того времени.

Кантъ, сынъ сѣдельнаго мастера, готовилъ себя въ университетѣ къ духовному званію; но, претерпѣвъ неудачу въ большой практической жизни, онъ принялъ мѣсто домашняго учителя у одного землевладельца, вблизи мѣстечка Гумбиннена, которое стоитъ по сосѣдству съ Кенигсбергомъ. Только въ 1755 г. онъ достигъ давнишней цѣли своихъ желаній и получилъ мѣсто доцента въ Кенигсбергскомъ университетѣ. Но и въ этомъ званіи его продержали 15 лѣтъ; всевозможныя обстоятельства являлись со всѣхъ сторонъ, чтобы вредить Канту въ его профессорской карьерѣ; въ 1758 г., открылась-было вакансія, но и при этомъ Канту помѣшала семилѣтняя война: наши войска овладѣли Кенигсбергомъ, и не только городское управле-

ніе, но и университетскіе вопросы шли на утвержде-
 ніе военнаго начальства. По интригамъ завистниковъ
 Канта, военный начальникъ, командовавшій нашими
 войсками, отказалъ Канту и утвердилъ его ничтож-
 наго соперника. Правда, по заключеніи міра въ 1763 г.,
 прусское министерство предложило наконецъ Канту
 профессорскую каѳедру, но каѳедру *поэзіи*. Въ то
 время, къ обязанностямъ профессора поэзіи относи-
 лась также обязанность писать стихи и оды на всякіе
 торжественные случаи, а потому министерство спра-
 шивало Канта, чувствуетъ-ли онъ наклонность быть
 профессоромъ поэзіи подъ этимъ условіемъ. Кантъ
 отказался, и только въ 1770 г. Кантъ былъ наконецъ
 назначенъ профессоромъ логики и метафизики. Этотъ
 годъ былъ поворотнымъ пунктомъ въ жизни Канта;
 въ его диссертации, которую онъ защищалъ по поводу
 своей профессуры: „О формахъ и принципахъ чув-
 ственнаго и умственнаго міра“, онъ далъ уже пред-
 чувствовать начала своей будущей философіи. Десять
 лѣтъ спустя послѣ того, въ 1781 г., Кантъ пользо-
 вался уже европейскою славою; но въ своей частной
 жизни онъ оставался вѣрнымъ своимъ скромнымъ при-
 вычкамъ, о которыхъ можно судить по его годовому
 окладу въ 400 талеровъ. Преподавательская дѣятель-
 ность его была изумительна: Кантъ читалъ отъ 3 до
 5 лекцій ежедневно. И вся эта дѣятельность была
 направлена къ одной мысли начертать критику чистаго
 разума; черезъ два года послѣ начала своей профессуры,

Кантъ возвѣстилъ, что его сочиненіе будетъ готово въ два, три мѣсяца; но его обѣщаніе было исполнено только 10 лѣтъ спустя, когда въ 1781 г. явилось наконецъ его знаменитая *Kritik der reinen Vernunft*, т. е. „Критика чистаго разума.“ Слѣдующія за тѣмъ 10 лѣтъ дѣятельности Канта были грандіознымъ развитіемъ его идей въ ихъ примѣненіи ко всѣмъ отраслямъ человѣческой дѣятельности и жизни: въ 1785 г. вышла въ свѣтъ *Нравственная философія* (*Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*); въ 1786, *Философія природы* (*Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft*); въ 1788, *Критика практическаго разума* (*Kritik der praktischen Vernunft*), которая въ особенности замѣчательна для насъ, какъ собственно изложеніе началъ философіи исторіи съ точки зрѣнія субъективнаго идеализма; и въ 1790, *Критика дара сужденія* (*Kritik der Urtheilskraft*). Вскорѣ за тѣмъ, въ 1797 г., Кантъ кончилъ свое литературное и профессорское поприще, и, какъ бы послѣ тяжкаго и изнурительнаго напряженія мысли, впалъ въ полное умственное безсиліе, такъ что въ 1804 году смерть Канта положила предѣлъ одному его физическому существованію.

Всѣ философскія ученія Кенигсбергскаго мудреца были направлены постоянно къ одной цѣли: строго и точно опредѣлить границы способностей человѣческаго разума, и такимъ образомъ примирить то, что было до того въ постоянномъ разладѣ, а именно *разумное* и *положительное* (*rationale* и *positive*). Дѣйстви-

тельная жизнь, окружавшая Канта, стремилась къ той же цѣли, но жизнь рѣшаетъ философскіе вопросы всякій разъ по поводу отдѣльныхъ случаевъ, а философія, возвышаясь надъ частнымъ, временнымъ, восходитъ къ общимъ началамъ. Но тѣмъ не менѣе жизнь немогла отнестись равнодушно къ теоріи Канта и почувствовала все ея вліяніе на судьбу рѣшенія своихъ частныхъ вопросовъ. Все, что въ практикѣ было положительнаго, вооружилось противъ Канта: и *вера*, въ ея формѣ положительной религіи, и *право*, въ его формѣ положительнаго права и положительнаго государства, и даже *наука*, въ своей положительной формѣ факультетовъ; послѣдняя борьба вызвала послѣднюю работу Канта въ его сочиненіи *Streit der Facultäten* т. е. „Борьба факультетовъ“. Но главное упорство встрѣтилъ Кантъ со стороны вѣры, въ формѣ положительной религіи. Впрочемъ, для нашей цѣли всего болѣе важна та борьба, которую возбудила „Критика практическаго разума“, вышедшая въ 1788 году. Историческія событія въ обществѣ, ближайшемъ къ Канту, мало благопріятствовали идеямъ автора этого труда: не задолго предъ его появленіемъ въ свѣтъ, умеръ великій Фридрихъ, творецъ прусской монархіи; его смѣнилъ Фридрихъ-Вильгельмъ II, мистикъ и піэтистъ, человѣкъ отрицательной силы, но годный служить орудіемъ реакціонныхъ людей. Сподвижники Фридриха II удалились или были удалены отъ дѣлъ; его преемникъ окружилъ себя людьми, которые указывали

на тучи приближавшейся французской революціи, и называли людей съ новыми идеями презрительнымъ въ ихъ глазахъ именемъ „просвѣтителей“ *Aufklärer*. Министръ Зейдлицъ, которому Кантъ посвятилъ свою „Критику чистаго разума“, былъ также удаленъ, и мѣсто его занялъ ортодоксальный и честолюбивый теологъ Вольнеръ. Онъ открылъ походъ противъ всякаго *Aufklärung* и противъ двухъ главныхъ его орудій: печати и кафедры. Въ одинъ годъ съ изданіемъ „Критики практическаго разума“, этотъ практическій разумъ, воплотившійся въ Вольнеръ, издалъ знаменитый указъ, изгонявшій всѣхъ проповѣдниковъ и учителей, заподозрѣнныхъ въ отступленіи отъ ортодоксальнаго протестантизма; для произведеній внутренняго и иноземнаго ума была введена строгая цензура. Вслѣдъ за тѣмъ было учреждено высшее управленіе цензуры изъ трехъ лицъ съ неограниченною властью надъ проповѣдниками и профессорами; на ихъ обязанности лежало составить новые учебники или поручить ихъ составленіе людямъ *gutgesinnten*, благонамѣреннымъ, избѣгая всѣми мѣрами „просвѣтителей“, какъ враговъ общественнаго порядка и атеистовъ.

Между тѣмъ философія Канта лежала въ основаніи ненавистнаго *Aufklärung*: она формулировала отрывочныя стремленія практической жизни и возводила ихъ до общихъ началъ. Отдѣльныя статьи Канта „О радикальномъ злѣ“, „О борьбѣ добраго и злаго начала“, еще болѣе встревожили министерство Воль-

нера, такъ что послѣднее сочиненіе было запрещено въ Берлинѣ. Но въ 1793 г., въ Кенигсбергѣ появилось, какъ дополненіе къ „Критикѣ практическаго разума“, новое сочиненіе подъ заглавіемъ: *Religion innerhalb der Gränzen der blossen Vernunft*. Канту было въ это время 70 лѣтъ; онъ сдѣлался уже героемъ не только нѣмецкой, но и европейской мысли, и министерству было трудно справиться съ нимъ такъ, какъ оно могло бы то со всякою другою личностью. Въ 1794 году, самъ король написалъ письмо Канту, убѣждая его посвятить свой геній на утвержденіе порядка, и одновременно съ тѣмъ министерство запретило профессорамъ ссылаться на сочиненія Канта. Кантъ скрылъ полученное имъ письмо, и ограничился одною бесѣдою съ самимъ собою: „Отказъ и отверженіе, писалъ онъ, отъ своихъ собственныхъ убѣжденій есть дѣло низкое; но въ настоящемъ случаѣ молчаніе составляетъ условіе моей безопасности; все, что мы говоримъ, должно быть правдой, но изъ этого не слѣдуетъ, что мы должны говорить всякую правду громко.“ Кантъ отвѣчалъ королю, что онъ „даетъ ему клятву подданнаго Его Величества“; и послѣднія слова были имъ присоединены съ невинною хитростью: онъ не хотѣлъ себя связать на случай смерти короля, что дѣйствительно и случилось: вскорѣ послѣ того умеръ Фридрихъ-Вильгельмъ II, и съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ III возвратился до нѣкоторой степени прежній толерантизмъ.

Если „Критику практическаго разума“ нельзя на-

звать строго систематическою философіею исторіи, то тѣмъ не менѣе вопросы, которыхъ она касается, имѣютъ непосредственное отношеніе къ нашему предмету. Этотъ трудъ Канта можно назвать тѣмъ же именемъ, какое далъ Лейбницъ вышеупомянутому нами своему труду: это — Теодицея, но съ тѣмъ различіемъ отъ Теодицеи Лейбница, что Кантъ успѣлъ открыть новый путь къ примиренію идеи міроуправленія съ свободнымъ разумомъ человѣка, и такимъ образомъ былъ критикомъ тамъ, гдѣ Лейбницъ ограничивался догматизмомъ.

Критика практическаго разума у Канта является результатомъ его же критики чистаго разума; точно также какъ Теодицея Лейбница есть примѣненіе къ исторіи человѣчества его теоріи предустановленной гармоніи. Идеи чистаго разума, говоритъ Кантъ, не вполнѣ обнимаютъ все наше существованіе: онѣ имѣютъ дѣло только съ тѣмъ, что логически необходимо; а потому такіе вопросы, какъ о свободѣ воли, о безсмертіи души, о провидѣніи, находясь внѣ логической необходимости, не заключены въ чистомъ разумѣ. Такіе вопросы составляютъ предметъ вѣры, убѣжденія, результата нравственной необходимости, и рождаются потому на почвѣ практическаго разума. — Вотъ, тѣ размышленія, которыя привели Канта къ мысли о неизбежности подвергнуть практическій разумъ особой критикѣ, и поднять такимъ образомъ вопросы о предметахъ, имѣющихъ чрезвычайную важность для философіи исторіи.

Задача критики практическаго разума должна быть прямо противоположна задачѣ критики чистаго разума. Критика чистаго разума изслѣдуетъ вопросъ: можетъ-ли чистый разумъ *a priori* познавать объектъ своего познанія? Критика практическаго разума заинтересована вопросомъ: можетъ-ли практическій разумъ *a priori* направлять нашу волю на объектъ ея желаній? Въ критикѣ чистаго разума дѣло идетъ объ отношеніи его идей къ внѣшнимъ предметамъ познанія; въ критикѣ практическаго разума важно знать отношеніе его къ волѣ, которая заключена въ насъ самихъ. Кантъ доказываетъ, что практическій разумъ можетъ непосредственно опредѣлять волю, и отсюда выводится имъ мысль о самостоятельности идей практическаго разума, о свободѣ, о безсмертіи души, о божествѣ, которыя не могутъ быть доказаны чистымъ разумомъ, дѣйствующимъ на основаніи одной логики. Однимъ словомъ, припоминая популярную форму Теодицеи Лейбница, мы можемъ сказать, что Кантъ, подвергнувъ критическому анализу Минерву Лейбница, рѣшилъ задачу Теодицеи тѣмъ, что раздвоилъ Минерву, и отдѣлилъ въ ней способность чистаго разума и разума практическаго.

Такимъ образомъ, существенная задача „Критики практическаго разума“ состоитъ въ томъ, чтобы доказать, что на нашу историческую волю дѣйствуетъ не одна чувственность, но и чистые принципы разума. Самое сочиненіе по своимъ приемамъ дѣлится на двѣ

части: *аналитику* практическаго разума, гдѣ доказы-
вается непосредственная связь нашей воли съ разу-
момъ, гарантирующая ея свободу; и *діалектику*, въ
которой рѣшаются всѣ антиноміи, противорѣчія, ко-
торыя возникаютъ изъ отношеній чистыхъ законовъ
разума къ эмпирическимъ опредѣленіямъ воли. Дру-
гими словами, Кантъ задаетъ себѣ вопросъ объ уча-
стіи разума въ исторіи и усиливается примирить про-
тиворѣчія въ нашей дѣятельности, опредѣляемой двоя-
кими и часто противорѣчащими требованіями разума
и практической жизни. Спрашивается: на сколько въ
исторіи участвуетъ разумъ, и на сколько эмпириче-
скія требованія внѣшнихъ обстоятельствъ, носящія
на себѣ характеръ случайности?

Аналитика практическаго разума у Канта имѣетъ
въ виду доказать, что нашъ разумъ можетъ *a priori*
управлять волею, и слѣдовательно въ исторіи ра-
зумъ имѣетъ свое мѣсто, помимо различныхъ эмпи-
рическихъ впечатлѣній на волю. Орудіемъ къ та-
кому непосредственному вліянію разума служитъ *Sitten-*
gesetz, нравственный законъ, который находится въ пря-
мой противоположности съ закономъ чувственно-пріят-
наго, и такимъ образомъ порождаетъ въ насъ идею
свободы выбора между двумя требованіями. Кантъ
формулируетъ этотъ нравственный законъ такъ: *Du*
kannst, denn du solst, т. е., „Ты можешь, ибо ты дол-
женъ.“ Этотъ законъ обусловливаетъ весь историче-
скій прогрессъ на землѣ: если моя дѣятельность есть

результатъ нравственнаго долга, то въ этомъ одномъ обстоятельствѣ лежитъ мое убѣжденіе, что мои силы достаточны къ исполненію требованій этого долга. Опираясь на вышеупомянутый нравственный законъ, Кантъ выводитъ изъ него два важныя понятія, которыя такъ часто смѣшиваются въ нашихъ сужденіяхъ объ общественной жизни и принимаются одно за другое, а именно, *Legalitat* и *Moralitat*, между тѣмъ какъ не все легальное бываетъ въ то же время и морально. Только повинуюсь высшему закону долга, равно обязательнаго для всѣхъ, мы дѣлаемся моральными; повинуюсь же временнымъ, эмпирическимъ выраженіемъ морали, которыя Кантъ называетъ *Maximen des Willens*, мы остаемся только легальны.

Діалектика практическаго разума, по Канту, состоитъ въ томъ, что мы, подъ видомъ условнаго блага, стремимся къ высшему благу. Это высшее благо есть цѣль жизни человѣчества; оно обусловливаетъ всякое другое благо, и называется доблестью, *virtus*, и блаженствомъ, *Glückseligkeit*. Но достиженіе такого высшаго блага возможно только при предположеніи безсмертія души и идеи Провидѣнія, которыя вытекаютъ изъ діалектики съ такою необходимостью, съ какою аналитика ведетъ насъ къ убѣжденію о свободѣ воли.

Оставаясь въ „Критикѣ практическаго разума“ слишкомъ отвлеченнымъ, Кантъ выразилъ болѣе осязательно всѣ тѣ свои идеи въ другомъ специальномъ изслѣдованіи религіозныхъ убѣжденій, которыя, по

его взгляду, всегда служатъ переходомъ къ убѣжденіямъ соціальнымъ и политическимъ. Мы уже назвали выше это сочиненіе, а именно: „Религія въ предѣлахъ чистаго разума“. Основная мысль его состоитъ въ томъ, что каждая религія должна быть построена на морали; между тѣмъ религія и мораль обыкновенно состоятъ въ двоякихъ отношеніяхъ другъ къ другу: или религія основывается на морали, или мораль основывается на религіи. Въ послѣднемъ случаѣ нравственные поступки людей бываютъ основаны на страхѣ и надеждѣ, а потому болѣе желательно, чтобы религія основывалась на морали. Религія въ исторіи, по взглядамъ Канта, бываетъ или признаніемъ нашихъ обязанностей заповѣдями, или наоборотъ, то-есть, заповѣдей нашими обязанностями. Въ первомъ случаѣ, мы достигаемъ до морали; во-второмъ — мы неидемъ далѣе легальности. Религія называется откровенною, когда мы прежде должны узнать, что предписываетъ или запрещаетъ заповѣдь, и уже изъ этого выводимъ содержаніе долга; религія называется естественною, когда мы прежде сознаемъ свой долгъ, и изъ этого заключаемъ о содержаніи заповѣди. На основаніи такого различія религіи въ ея двухъ противоположныхъ развитіяхъ, Кантъ изображаетъ происхожденіе двухъ церквей, невидимой и видимой церкви, которая является у него результатомъ стремленія людей общими силами осуществить на землѣ законы морали посредствомъ двухъ силъ: *Vernunftglaube* и *historisch-*

statutorische Glaube. Такимъ образомъ, весь процессъ исторіи съ точки зрѣнія морали представляетъ переходъ отъ исторически-неподвижной вѣры къ вѣрѣ разумной, и заключеніемъ котораго послужить царство божіе, какъ конецъ міра и прекращеніе всякой исторіи.

Не довольствуясь частнымъ примѣромъ религіи для объясненія своихъ общихъ положеній о законахъ дѣятельности практическаго разума, Кантъ дополнилъ свою „Критику практическаго разума“ другимъ сочиненіемъ, которое имѣетъ еще большую важность для философіи исторіи. Въ 1784 г., вышло въ свѣтъ новое его изслѣдованіе подъ заглавіемъ: „Идеи о томъ, чѣмъ можетъ сдѣлаться исторія въ глазахъ гражданина міра“.

Это послѣднее сочиненіе вводитъ Канта наконецъ въ область чистой философіи исторіи и вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ намъ крайность, въ которую долженъ впадать субъективный идеализмъ всякій разъ, когда ему приходится перешагнуть изъ отвлеченныхъ теорій къ опредѣленію законовъ дѣйствительной жизни: авторъ указалъ на эту крайность въ самомъ заглавіи своего труда, написаннаго съ точки зрѣнія „гражданина міра;“ и дѣйствительно, субъективный идеализмъ ведетъ насъ прямою дорогою къ историческому космополитизму, со всѣми его достоинствами и недостатками. Какъ въ религіи Кантъ указалъ на постепенный переходъ человѣка отъ откровенной къ натуральной

религіи, такъ и въ исторіи все ея развитіе направлено къ тому, чтобы народы соединились въ одну всеобщую федерацію. Вотъ главныя основоположенія, на которыхъ Кантъ строитъ всю исторію чаловѣчества:

1. Всѣ естественныя наклонности каждаго творенія направлены къ достиженію одной цѣли.

2. Всѣ естественныя наклонности чаловѣка, какъ основанныя на разумѣ, должны найти себѣ полное развитіе въ цѣлой чаловѣческой расѣ, а не въ томъ или другомъ недѣлимомъ обществѣ.

Эти первыя два положенія совершенно совпадаютъ съ предустановленной гармоніей Лейбница, и должны быть защищаемы всѣми послѣдователями идеальной философіи.

3. Средства, которыми природа достигаетъ своей общей цѣли, составляетъ антагонизмъ людей.

4. Антагонизмъ въ натуральномъ состояніи производитъ войну всѣхъ противъ каждаго, и дѣлаетъ необходимымъ общество, чтобы избѣжать такой войны и сдѣлать всѣхъ одинаково счастливыми.

5. Правительство рождается въ обществѣ для того, чтобы воспрепятствовать столкновенію индивидуальной воли, и лучшее правительство то, которое умѣетъ переломить дурную волю и принудить ее къ повиновенію волѣ одинаково выгодной для всѣхъ.

6. Война между народностями препятствуетъ имъ установить лучшее правительство; и надобно думать,

что со временем народы войдутъ въ общую федерацію, чтобы избѣгнуть войны междунаціональной, какъ нѣкогда люди вступили въ общество, чтобы избѣжать войны между частными лицами.

Но философія Канта не была послѣднимъ шагомъ философскаго идеализма, и потому оптимизмъ и космополитизмъ, порожденные имъ въ исторіи, послужили только ступенями къ тому послѣднему шагу, который сдѣлало идеалистическое ученіе *Гегеля* и вытекшій изъ него абсолютизмъ.

Въ послѣдніе годы жизни Канта, Іена была философскою столицею Европы; ея вожди, Фихте и Шеллингъ, довели ученіе Канта до крайнихъ послѣдствій и первые открыли дорогу къ абсолютной философіи. Въ эту самую эпоху явился и Гегель на кафедрѣ Іенскаго университета, и съ самаго начала помѣстился въ рядахъ послѣдователей Шеллинга. Впрочемъ, этотъ іенскій періодъ дѣятельности Гегеля, и послѣдовавшій за нимъ гейдельбергскій періодъ имѣютъ только посредственное значеніе для нашего предмета и принадлежатъ собственно къ области исторіи философіи. Для философіи исторіи Гегель пріобрѣтаетъ значеніе только въ третьемъ и послѣднемъ періодѣ своей дѣятельности, отъ 1818 до 1831 г., когда онъ оставался на кафедрѣ Берлинскаго университета. Но этотъ берлинскій періодъ тѣмъ не менѣе связанъ по своему внутреннему значенію съ первыми двумя періодами: еще въ Іенѣ и въ Гейдельбергѣ выработалась абстрактная си-

стема абсолютной философіи Гегеля, и произвела на свѣтъ два главныхъ его творенія, *Феноменологію* и *Логикъ*; съ 1818 г. Гегель облачается въ характеръ древняго мудреца, т. е. практическаго философа, который не только изслѣдуетъ, но и поучаетъ, примѣняя къ практикѣ жизни свою отвлеченную теорію абсолютнаго духа. И господствующее направленіе дѣйствительной жизни того времени, не только въ одной Пруссіи, но и въ цѣлой Европѣ, какъ разъ совпадало съ теоретическими воззрѣніями Гегеля: въ особенности прусская бюрократія и централизація могли найти для себя большое оправданіе въ абсолютныхъ теоріяхъ гегеліанизма. Послѣ страшныхъ усилій прусскаго общества въ борьбѣ съ императорскою Франціею, его либеральная партія, нѣкогда возбужденная всѣ силы Пруссіи, была утомлена, и какъ часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, впала въ оптимизмъ и квіетизмъ, состояніе безразличія и мертвящаго успокоенія. Въ гармоніи съ такимъ настроеніемъ старой либеральной партіи въ Пруссіи явилась и практическая философія Гегеля, опиравшаяся на его идеалистическое ученіе, по которому все существующее есть ни что иное, какъ развитіе абсолютнаго духа въ его стремленіи къ самопознанію. Такая теорія въ своемъ примѣненіи къ практической жизни должна была, какъ и предустановленная гармонія Лейбница, пойти по дорогѣ къ оптимизму; но у Гегеля дѣйствительный міръ не только лучшій изъ всѣхъ міровъ, который былъ только выбранъ Прови-

дѣніемъ, но даже этотъ лучшій міръ есть само божество, стремящееся къ самопознанію, а потому существующій порядокъ въ каждую данную минуту есть не только лучшій, но и абсолютно-необходимый.

Выходя такимъ образомъ изъ своихъ безусловныхъ теорій и видя практическое ихъ осуществленіе въ прусской бюрократіи и централизаціи, Гегель началъ свою прикладную дѣятельность съ того предмета, который опредѣляетъ собою всю нашу общественную дѣятельность, и, послѣ трехлѣтняго пребыванія въ Берлинѣ, издалъ въ 1821 г. *Rechtsphilosophie*, т. е. „Философію права“. Но ей недоставало заключенія, и потому съ 1822 г. Гегель открываетъ свой курсъ *Philosophie der Geschichte*, т. е. „Философіи исторіи,“ который и былъ собственно послѣднимъ его словомъ: въ 1831 г. холера убила Гегеля, почти въ то же самое время, когда іюльская революція нанесла чувствительный ударъ его такъ называемой „философіи Реставраціи“, *Restaurationsphilosophie*.

Въ „Философіи права“ мы можемъ наблюдать въ первый разъ ту связь, въ которой находилась абсолютная теорія Гегеля съ окружавшею его дѣйствительностью. Прусская бюрократія, прикрытая извнѣ либеральными преданіями, завѣщанными эпохою энтузіазма въ борьбѣ съ внѣшнимъ непріателемъ, представилась Гегелю изумительнымъ учрежденіемъ, совпадавшимъ вполнѣ съ его теорією абсолютнаго духа. Сама реакція 20-хъ годовъ въ глазахъ Гегеля была новымъ доказатель-

ствомъ, что онъ находится въ обществѣ, допускающемъ у себя полную свободу, и строгое Polizeistaat въ Пруссіи являлось ему оплотомъ противъ оргіи ложно понимаемой свободы, какъ она выразилась на извѣстномъ Вартбургскомъ праздникѣ. Воодушевленный окружавшею его дѣйствительностью, Гегель открылъ свою практическую или прикладную философію „Философіею права“, вступленіе къ которой есть ни что иное, какъ идеализированіе тѣхъ полицейскихъ мѣръ, которыя были приняты въ Карлсбадѣ для преслѣдованія *Aufklärung*. Одна литературная газета въ Галле осмѣлилась обличить Гегеля, и Гегель въ жалобѣ министерству народнаго просвѣщенія объявилъ, что „онъ, какъ королевскій чиновникъ, не долженъ быть оскорбляемъ въ газетѣ, которая пользуется благодѣяніями прусскаго правительства.“

Мы стали бы въ ряды тѣхъ мелкихъ враговъ Гегеля, которые приводятъ такіе факты изъ его жизни съ цѣлью очернить и уронить его память: такія натуры, какъ Гегель, не могли руководиться въ подобныхъ случаяхъ однимъ преувеличеннымъ и вмѣстѣ крошечнымъ самолюбіемъ; даже это не было минутнымъ порывомъ, ложнымъ шагомъ, на возможность которой намекаетъ и наша народная пословица, допускающая „на всякаго мудреца довольно простоты“. Гегель дѣйствовалъ съ глубокимъ убѣжденіемъ, что свое право должно преслѣдовать и въ самыхъ ничтожныхъ дѣлахъ, и что въ этомъ случаѣ его про-

тивники посягнули вмѣстѣ и на его честь, и на честь государства: газета въ Галле выдѣлилась изъ абсолютнаго духа и слѣдовательно покусилась на свободу его развитія.

Въ основаніи философіи права Гегеля лежитъ то знаменитое основоположеніе, которое онъ самъ приказалъ напечатать крупными буквами: *Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig*, т. е. „Что разумно, то и дѣйствительно, и что дѣйствительно, то и разумно“. А потому, заключаетъ Гегель, цѣль философіи права состоитъ не въ томъ, чтобы строить государство, какъ оно должно быть, но понять его такимъ, какъ оно есть. Послѣ того нисколько не можетъ быть удивительно, если философія права у Гегеля является самою косвенною защитою того дѣйствующаго права, которое господствовало въ Пруссіи въ 1821 году, и къ пониманію которой онъ стремится точно также, какъ Бэконъ стремился къ пониманію дѣйствительной природы. „Высочайшая цѣль, которую можетъ преслѣдовать философъ, по выраженію Гегеля, есть примиреніе съ дѣйствительностью, сердечный миръ съ нею.“ Но такая цѣль привела самого Гегеля къ платонизированію прусскаго государства въ его тогдашней дѣйствительности; самая система прусской полиціи и преслѣдованій обращается у Гегеля въ симптомы энергіи, живучести государственнаго организма, которая напоминала ему лучшія времена римской республики,

поработавшей другіе народы съ цѣлью сдѣлать ихъ современемъ свободными.

Нѣтъ сомнѣній, что отвлеченныя теоріи философіи Гегеля никогда не утратятъ своей важности и грандіозности; но за то его практическая философія останется всегда живымъ образчикомъ того, къ чему можетъ приводить идеализмъ, переносимый на почву практической жизни. Впрочемъ и самъ Гегель не дѣлалъ большихъ иллюзій въ этомъ отношеніи: „Задача философіи, говорилъ онъ, состоитъ только въ томъ, чтобы понять существующее; какъ индивидуумъ есть сынъ своего времени, такъ и философія есть извѣстное время, претворенное въ мысль. Потому глупо желать, чтобы какая нибудь философія пережила свое время; это значило бы тоже, если бы индивидуумъ захотѣлъ пережить свою эпоху; вотъ почему философія такъ часто опаздываетъ быть нашею учительницею.“ Лучше нельзя ничего сказать о философіи самого Гегеля: она было дитятею своего времени, и потому раздѣлила его участь.

Въ 1821 году, Гегель окончилъ свой курсъ философіи права, а съ 1822 г. приступилъ къ рѣшенію другой задачи, которая должна была послужить вѣнцомъ его практической философіи: такое значеніе имѣетъ его курсъ „Философіи исторіи“. Первое ея изданіе сдѣлано было Гансомъ въ 1837 г., а послѣднее сыномъ Гегеля, Карломъ, въ 1848 году.

Начнемъ съ анализа абстрактныхъ принциповъ фи-

лософіи історіи Гегеля. Вся історія, по его представленію, есть ни что иное, какъ самъ божественный разумъ, который на землѣ стремится познать самого себя. И такъ, философія історіи Гегеля, по своему основному началу, носитъ на себѣ еще болѣе чистый характеръ Теодицеи, нежели произведеніе Лейбница: історія у Гегеля дѣлается исключительно історією божества. Абсолютный духъ стремится освободить себя отъ матеріальныхъ опредѣленій, и потому съ другой стороны історія является медленнымъ прогрессомъ свободы, которая мало по малу обхватываетъ собою весь міръ. Наши матеріальныя цѣли, нужды, страсти, интересы, характеры, таланты, служатъ только средствомъ для абсолютнаго духа достигнуть своихъ цѣлей, и всѣ наши частныя цѣли входятъ въ эту общую цѣль. Такъ, идеализмъ въ своемъ прогрессивномъ развитіи переступилъ ту черту, которая нѣкогда затрудняла Лейбница: въ тождествѣ воли человѣка и божества примирилось противорѣчіе этой воли съ идеєю міроуправленія, и Минерва Гегеля отвѣтила бы человѣку на всѣ вопросы по этому предмету коротко: „Ты самъ частица божества“!

Религія, искусство, философія, государство являются у Гегеля общими идеями, которыя формулируютъ въ данную эпоху степень развитія абсолютнаго духа по дорогѣ къ самопознанію. Государство есть только временная форма, осуществляющая свободу позитивнымъ образомъ; тоже должно сказать о религіи, ис-

куществѣ и философіи; вслѣдствіе того, гражданинъ, повинуваясь законамъ государства, повинуется самому себѣ, своему разуму, и слѣдовательно, остается вполне свободнымъ.

При такомъ воззрѣніи на исторію, какъ на развитіе свободы абсолютнаго духа, Гегель исключаетъ изъ исторіи быть до-государственный, какъ представляющій полное отсутствіе свободы; точно также онъ исключаетъ изъ исторіи и цѣлыя страны, гдѣ человѣкъ живетъ для одной борьбы съ элементами природы, какъ въ Африкѣ и въ Новомъ Свѣтѣ. Затѣмъ театромъ развитія абсолютнаго духа къ его свободѣ остаются Европа и Азія.

Въ Азіи, три территоріальныя положенія, а именно, гора, долина и берегъ, произвели три степени свободы и три формы быта: пастушескій, земледѣльческій и торговый. Въ Европѣ нѣтъ такихъ рѣзкихъ различій въ мѣстности, и потому въ ней исторія абсолютнаго духа движется свободнѣе и разнообразнѣе. По той же причинѣ, исторія начинается на Востокѣ, и кончается на Западѣ. На Востокѣ, свобода въ своемъ развитіи успѣла дойти до сознанія свободы *одного* лица, которому подчиняются *всѣ*; такая степень свободы была уже нѣкоторымъ прогрессомъ въ исторіи. Въ Греціи и Римѣ поняли свободу *многихъ* вмѣстѣ, въ Европѣ — свободу *всѣхъ*. Первая форма породила деспотизмъ; вторая — демократію или аристократію; и наконецъ третья — монархію. Соответственно тому Ге-

гель вводитъ въ исторію человѣчества четыре возраста: дѣтство, юность, зрѣлость и старость; послѣдній возрастъ составляетъ германскую эпоху, намъ современную; но у недѣлимаго, замѣчаетъ Гегель, старость есть вялость, слабость; въ жизни же человѣчества, это — полная его зрѣлость, въ которой абсолютный духъ достигаетъ всецѣлости своего самопознанія.

Начнемъ, вмѣстѣ съ Гегелемъ, съ дѣтства человѣчества. Дѣтство, это — древній Востокъ; основной принципъ его жизни составляетъ *Substantialität des Sittlichen*, т. е. одни проблески нравственнаго, первая попытка уничтожить *всеобщій* произволъ установленіемъ произвола *одного* лица. Потому внѣшнее законодательство составляетъ отличительную черту Востока: предметомъ этого законодательства дѣлаются даже самыя затаенныя побужденія нашей совѣсти. Вообще, на Востокъ, абсолютный духъ не достигаетъ внутренняго самопознанія, и остается, по счастливому выраженію Гегеля, одною *natürliche Geistigkeit*, т. е., физическою духовностью. Соотвѣтственно такой степени развитія абсолютнаго духа сложились на Востокъ религія и государство. Въ основѣ ихъ лежитъ теократія, въ силу которой царство божіе есть вмѣстѣ царство земное, и наоборотъ. При такомъ состояніи абсолютнаго духа, человѣкъ не созерцаетъ своей воли нигдѣ, и видитъ только одну постороннюю ему волю.

Весь восточный міръ, какъ мы видѣли, дѣлится у Гегеля на четыре территоріи: 1) долина рѣкъ Синей

и Голубой съ ихъ плоскою возвышенностью, а именно Китаемъ и Монголіею; 2) долина Ганга и Инда; 3) долина Оксуса и Яксарта, возвышенность Персидская и долина Тигра и Евфрата; наконецъ, 4) долина Нила. Каждая изъ этихъ четырехъ территорій представляетъ столько же формъ развитія абсолютнаго духа, воплотившихся въ характеръ народовъ, которые жили на тѣхъ территорияхъ.

Исторія открывается въ Китаѣ и Монголіи; но абсолютный духъ не достигъ въ этихъ странахъ внутренняго самопознанія и сознавалъ себя, какъ нѣчто постороннее отъ себя; а потому законы морали въ Китаѣ сдѣлались внѣшними государственными законами; жизнь субъективная нашла себѣ мѣсто только въ лицѣ одного богдыхана и въ его воли; жизнь общественная была подмѣнена жизнью государственнаго организма, административною машиною, стоявшею и дѣйствовавшею внѣ общества.

Индія представляетъ въ этомъ отношеніи уже нѣкоторый успѣхъ: какъ ни дико еще учрежденіе кастъ, но въ немъ слѣдуетъ видѣть шагъ впередъ, по сравненію съ китайскимъ безразличіемъ. Но при отсутствіи сознанія внутренняго единства и слабости государственнаго объединенія, Индія живетъ одними безконечными переворотами, какъ Китай жилъ безконечною неподвижностью.

Такимъ образомъ, Китай и Индія, не смотря на различіе въ своей внѣшней фізіономіи, представляютъ

совершенно одинъ и тотъ же моментъ развитія абсолютнаго духа.

Третью и уже весьма важную степень развитія абсолютнаго духа представляетъ Персія, и важность ея состоитъ именно въ томъ, что въ Персіи абсолютный духъ сдѣлалъ первый ясный шагъ въ своемъ поступательномъ движеніи: въ Китаѣ онъ оставался совершенно неподвижнымъ, въ Индіи же, если и двигался, то на одномъ мѣстѣ и въ однихъ и тѣхъ же предѣлахъ. Сравнивая Китай и Индію съ Персіею, Гегель проводитъ параллель между ними съ одной стороны, и Греціею и Римомъ съ другой стороны: Китай носитъ на себѣ самый первобытный оріентальный характеръ; Индія была для Азіи Греціею, а Персія — Римомъ. Персидская монархія не представляетъ собою огромнаго семейства, какъ Китай, ни четырехъ кастъ одного семейства, какъ Индія; она была первою историческою попыткою соединенія разноплеменныхъ народовъ для абстрактной цѣли государственнаго существованія. Потому Персія и ея исторія являются настоящимъ введеніемъ въ Всемирную исторію. Но въ Персіи этотъ прогрессъ совершился въ однихъ наружныхъ формахъ; Египеть, въ долинѣ рѣки Нила, пошелъ далѣе въ своемъ развитіи и придалъ внутренній характеръ тому объединенію, которое въ Персіи ограничилось одною механическою связью. Въ этой долинѣ столкнулись всѣ главнѣйшія образованности Востока, и, послѣ долговременной борьбы, по пре-

красному выраженію греческаго міѳа, сложились въ загадку, которую предложилъ сфинксъ на разрѣшеніе греческому міру. Извѣстно, какъ Греція разрѣшила задачу сфинкса: Востокъ только спрашивалъ, что это за существо, которое утромъ ходитъ на четырехъ ногахъ, въ полдень на двухъ и вечеромъ на трехъ? Въ Греціи, гдѣ человѣкъ достигъ въ первый разъ самопознанія, человѣкъ узналъ въ задачѣ Сфинкса самого себя, и отвѣтилъ, что такимъ существомъ можетъ быть только *человѣкъ*.

Существенное различіе тѣхъ четырехъ образованностей древняго Востока ясно выразилось и въ различіи ихъ послѣдующей судьбы. Китай и Индія существуютъ и до сихъ поръ: самое покореніе ихъ чужеземцами не могло прекратить ихъ существованія; причина такой живучести въ этихъ народахъ походитъ нѣсколько на относительную живучесть индивидуальныхъ людей, которые долго влачатъ свое физическое существованіе вслѣдствіе ограниченности своихъ умственныхъ способностей, бѣдности мысли и воли; неопредѣленность, неподвижность Китая составляетъ въ своемъ родѣ залогъ продолжительности его существованія. Напротивъ того, Персія и Египетъ, какъ страны, гдѣ абсолютный духъ открылъ свое поступательное движеніе впередъ, могли быть потому самому только временными формами его существованія, и, отслуживъ свою службу, легли развалинами, уступая

свое мѣсто болѣе совершеннымъ формамъ историческаго бытія.

Вотъ тѣ общія черты, въ которыхъ Гегель характеризуетъ ходъ развитія древнѣйшей цивилизаціи, какъ рядъ первыхъ попытокъ абсолютнаго духа достигнуть на землѣ полноты самопознанія. Въ Китаѣ, абсолютный духъ остался на точкѣ равновѣсія; въ Индіи, онъ началъ броженіе, не трогаясь съ мѣста; на этомъ основана косность существованія индѣйской и китайской цивилизацій; въ исторіи Персіи и Египта обнаружилось прогрессивное движеніе, остановившееся предъ загадкою сфинкса; такимъ образомъ, Востокъ не узналъ человѣка: этотъ подвигъ самопознанія совершила греческая образованность.

Но мы не дали бы точнаго понятія о всей глубинѣ философскихъ идей Гегеля, если бы оставили ихъ въ той формѣ общей картины древней цивилизаціи Востока. Всмотримся ближе въ подробности развитія абсолютнаго духа, прошедшаго извѣстныя намъ четыре ступени своего прогресса.

Въ Китаѣ, абсолютный духъ пребывалъ въ совершенномъ равновѣсіи; въ Индіи, онъ, такъ сказать, колебался на мѣстѣ. Чтобы объяснить ближе китайское равновѣсіе, Гегель приводитъ краткій обзоръ исторіи самой страны, изъ котораго видно, что Китай можетъ быть названъ на столько же самымъ древнимъ обществомъ, какъ и самымъ новымъ, ибо онъ и теперь представляетъ то дѣтство абсолютнаго духа,

въ какомъ другіе народы могли находиться нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ. Всѣ учрежденія Китая, соотвѣтственно первоначальному быту абсолютнаго духа, носятъ на себѣ одинаковый характеръ, а именно, въ нихъ, по выраженію Гегеля все основано на *единство субстанціального духа и индивидуальнаго* (Einheit des substantiellen Geistes und des individuellen). Это значить: въ Китаѣ абсолютный духъ исторіи остановился на развитіи воли одного лица, какъ мы то видимъ тысячи разъ въ семейномъ быту, гдѣ воля отца, лица индивидуальнаго, имѣетъ субстанціальный характеръ и составляетъ общую волю семьи; сознаніе субъективности, т. е., сознаніе, что каждое нравственное повелѣніе, хотя бы оно исходило изъ другого лица, есть моя собственная воля, въ Китаѣ не существуетъ. Весь процессъ китайской исторіи приводится къ слѣдующему: воля одного есть общая воля, и только чрезъ то общая воля дѣлается волею каждого. Въ этомъ безвыходномъ кругу бьется мысль Китайца, и въ немъ успокоивается на вѣки. Но, всматриваясь ближе въ характеръ воли богдыхана, мы видимъ, что и эта воля не вполне свободна: надъ нею господствуетъ традиція, искусно эксплуатируемая окружающими его людьми, и богдыханъ въ свою очередь есть рабъ мертваго прошедшаго, которое потому не допускаетъ ни какой аппелляціи.

Въ древней китайской философіи всѣ отношенія людей приводились къ *пяти* рубрикамъ: отношеніе

богдыхана къ народу, отца къ дѣтямъ, старшихъ братьевъ къ младшимъ, мужа къ женѣ, и другъ къ другу. Число *пять* у китайцевъ завѣтное, и потому они считаютъ пять стихій: воздухъ, вода, земля, металлъ и дерево. Во всѣхъ тѣхъ пяти отношеніяхъ людей, отношенія отца къ сыну служили образцомъ: не говоря о внѣшнихъ знакахъ уваженія, какъ при жизни, такъ и по смерти отца, сынъ не имѣетъ личности въ своихъ поступкахъ, и его добрыя дѣла отнесаются не къ нему, но къ отцу. Гегель приводитъ по этому поводу слѣдующій случай изъ китайскихъ нравовъ: одинъ изъ министровъ богдыхана просилъ своего властителя за свои услуги дать титулъ не ему, но его умершему отцу, и богдыханъ наградилъ его отца титуломъ „благодѣтельнаго, вѣрнаго и мудраго“, между тѣмъ, какъ было извѣстно, что покойный не отличался ни однимъ изъ этихъ качествъ; но дѣятельность сына принадлежала отцу, и потому покойный былъ награжденъ за свои услуги. Такимъ образомъ, въ Китаѣ предки гордятся подвигами своего потомства, а не потомство прославляется подвигами предковъ, и китайскіе нравы, какъ противовѣсь другому увлеченію, не лишены своего достоинства. Но полное отсутствіе субъективности, представляя весьма почтенныя черты нравовъ, дѣлаетъ то, что нравственность, имѣя основаніе не въ духѣ челоуѣка, а въ однихъ внѣшнихъ обрядахъ, превращается въ ипокризію и пустую формальность. Строго говоря, въ Китаѣ не существуетъ

никакого государственнаго устройства, и мы видимъ повсюду одинъ процессъ управленія или лучше сказать расправы. Хотя богдыханъ стоитъ, повидимому, во главѣ государства, но собственно онъ не можетъ возвыситься надъ положеніемъ отца семейства, и подданные нейдутъ выше понятія дѣтей. Какъ отецъ, богдыханъ, долженъ быть разумнѣе, ученѣе и нравственнѣе всѣхъ другихъ; въ естественномъ семействѣ такое обстоятельство устроивается самимъ порядкомъ вещей, гдѣ отецъ для малолѣтнихъ дѣтей есть представитель и религіи, и науки. Но какъ достигнуть такихъ же отношеній въ искусственномъ семействѣ, какимъ остается Китай? Въ Китаѣ достигается это искусственными мѣрами и формальностями: будущій богдыханъ воспитывается самымъ строгимъ образомъ, какъ существо, которому предстоитъ быть умнѣе всѣхъ и ученѣе; его ежегодныя испытанія составляютъ предметъ величайшаго интереса для страны.

Выходя изъ той же идеи государства, какъ частной семьи, за богдыханомъ слѣдуетъ прямо понятіе подданнаго; между подданными нѣтъ различія, и въ Китаѣ всѣ равны предъ бамбуковою тростью. Только обширныя познанія и ученныя заслуги, засвидѣтельствованныя строгимъ экзаменомъ, даютъ право на возвышеніе въ государственныя должности гражданскихъ и военныхъ мандариновъ. Каждый долженъ самъ признаваться въ своихъ проступкахъ, такъ какъ каждому слѣдуетъ быть откровеннымъ съ своимъ отцомъ.

Намъ остается представить анализъ, приводимый Гегелемъ для китайскихъ понятій о правѣ, религіи и наукѣ; мы увидимъ вездѣ одинъ характеръ: отсутствіе сознанія субъективности, свободной мысли и мертвыя формы, въ которыя скована какъ моральная, такъ и интеллектуальная жизнь китайца, гдѣ абсолютный духъ оставался постоянно на точкѣ равновѣсія.

Въ Китаѣ не существуетъ *право* въ полномъ смыслѣ этого слова, ибо тамъ нѣтъ субъекта права, т. е., лица, или по крайней мѣрѣ лицо осуждено на вѣчное несовершеннолѣтіе. Потому же въ Китаѣ не можетъ быть сословіи и сопряженныхъ съ ними личныхъ интересовъ, борьбы, побужденія къ защитѣ. Въ то же время, въ Китаѣ всѣ равноправны, потому что всѣ одинаково безправны. Потому изъ китайскаго равноправія въ практикѣ проистекаютъ права продать не только жену, дѣтей, но и самого себя. Нарушеніе правъ въ Китаѣ влечетъ за собою одно тѣлесное наказаніе, свидѣтельствующее объ отсутствіи въ обществѣ понятій чести. Семейственная точка зрѣнія ведетъ въ Китаѣ за собою полное уничтоженіе всякихъ правъ: если сынъ окажетъ неуваженіе отцу или матери, младшій братъ старшему, за то, что они поступили съ нимъ несправедливо, то онъ получаетъ 100 бамбуковыхъ палокъ и изгоняется на три года, и то въ томъ случаѣ, если его жалоба справедлива, а иначе его ожидаетъ жестокая казнь. Для китайца такимъ образомъ были бы непонятны слова ап. Павла (къ

Ефес. VI, 4): „И вы, отцы, не раздражайте чадъ своихъ“. Отношенія подчиненнаго къ своему начальнику опредѣляются съ той же точки зрѣнiя, и никакой санъ не спасаетъ отъ бамбуковой трости; замѣчательно при этомъ одно, что богдыханъ, послѣ подобнаго исправленiя иногда одного изъ своихъ первыхъ министровъ, тѣмъ не менѣе остается съ нимъ въ наилучшихъ отношенiяхъ. Итакъ, строго говоря, въ Китаѣ равенство правъ сводится на отсутствiе всякаго права, и потому колоссальная мораль впадаетъ въ самую мелкую безнравственность: обманъ въ глазахъ китаецъ есть средство, а не преступленiе.

Таково же и религiозное состоянiе общества въ Китаѣ, гдѣ человѣкъ не доразвился до субъективности: во главѣ религiи стоитъ богдыханъ, какъ посредникъ между небомъ и землей; каждая провинцiя имѣетъ не только своихъ правителей, но и своихъ генiевъ, которые вмѣстѣ съ мандаринами подчинены богдыхану; и потому въ китайскомъ адрессѣ-календарѣ обозначены не только чиновники, но и генiи провинцiй: въ случаѣ несчастiя и тѣ, и другiе смѣняются одинаково и лишаются своего пдста.

Но ни въ чемъ такъ не поразительно отсутствiе субъективности, какъ въ научномъ развитiи китайскаго общества. Чрезвычайно много говорятъ о необыкновенной древности развитiя наукъ въ Китаѣ; въ Китаѣ наука получила даже политическое значенiе и пользовалась такимъ покровительствомъ со стороны вер-

ховной власти, какъ того нельзя встрѣтить ни въ одной образованнѣйшей странѣ Европы. Но на все это можно сказать только одно, что нужно безпримѣрное паденіе наукъ или даже полное ихъ отсутствіе, чтобы вызвать въ правительствѣ такое чрезмѣрное покровительство, какимъ науки пользуются въ Китаѣ. Въ китайскомъ искусствѣ тоже самое; но это искусство ограничивается рабскимъ копированіемъ природы, безъ всякихъ понятій о перспективѣ, о тѣняхъ; за то китайскій художникъ, по выраженію Гегеля, знаетъ точно, сколько счетовъ чешуи на той или другой рыбѣ. Все, что можно сдѣлать рабу, что даже рабу удобнѣе сдѣлать, для чего нужно одно терпѣніе, во всемъ этомъ китаецъ неподражаемъ.

Въ результатѣ анализа китайской цивилизаціи у Гегеля оказывается, что состояніе понятій о правѣ, религіи, наукахъ и искусствахъ изобличаетъ въ Китаѣ самую низшую ступень въ развитіи абсолютнаго духа; духъ въ Китаѣ не дошелъ ни въ чемъ до познанія себя: даже единственное лицо богдыхана, которое, повидимому, пользовалось свободою, находилось само въ рабскомъ состояніи, бывъ сковано вѣковыми преданіями.

Хотя въ Индіи абсолютный духъ дѣлаетъ нѣкоторый успѣхъ въ своемъ развитіи, но весьма ничтожный: въ Китаѣ, по выраженію Гегеля, онъ предался глубокому и спокойному сну; въ Индіи тотъ же сонъ сопровождается уже бредомъ. Тѣмъ не менѣе въ Индіи

совершился переворотъ весьма замѣчательный по сравненію съ Китаемъ: въ Китаѣ человѣкъ не могъ подняться ни до какого различія; въ Индіи мы встрѣчаемъ въ первый разъ касты. Но это различіе, первый признакъ жизни, тотчасъ послѣ своего появленія впадаетъ снова въ оцѣпенѣлое состояніе, и абсолютный духъ въ лицѣ индѣйской образованности является мертворожденнымъ. Причина того заключается въ томъ, что въ кастахъ мы не видимъ субъективности недѣлимаго, но цѣлыхъ массъ. Такимъ образомъ, различіе кастъ въ Индіи пріобрѣтаетъ такую же неподвижность, какъ равенство въ Китаѣ. Разсматривая устройство кастъ, мы замѣчаемъ, что они представляютъ собою первообразъ самаго древняго субъективнаго государства и его важнѣйшихъ отправленій: самое главное отправленіе въ государствѣ составляетъ религія, и потому брамины образуютъ собою первую касту; второе отправленіе основано на субъективной силѣ, храбрости: отсюда каста воиновъ; третье отправленіе составляютъ другого рода субъективныя силы, какъ знаніе и искусство, удовлетворяющія всѣмъ потребностямъ жизни: отсюда каста ремесленниковъ; наконецъ, субъективная служба лицу породила касту рабовъ. Только въ послѣдствіи, законъ раздѣленія труда породилъ много новыхъ кастъ, какъ-то ткачей, кузнецовъ и т. д. до презрѣнной касты, которая была осуждена носить мертвыхъ, казнить преступниковъ и вывозить нечистоты. Но въ кастѣ рождался не человѣкъ,

но вдругъ все его потомство, и потому абсолютный духъ тотчасъ же впадалъ въ прежнее безразличіе.

Соотвѣтственно такому общему характеру индѣйской образованности, понятіе о правѣ, объ обязанности не могло быть результатомъ внутренняго самознания, но было одною внѣшнею принадлежностью той или другой касты. Напримѣръ, мужество есть общечеловѣческое достояніе, но въ Индіи оно составляло привилегію касты воиновъ. Святость принадлежала кастѣ браминовъ,¹ и если она была достижима для другихъ, то не иначе, какъ при помощи полного перерожденія, процессъ котораго обыкновенно заключался смертію. Такіе неофиты назывались *jēgi*, и они были обязаны проходить нѣсколько испытаній до полного перерожденія; *jēgi* долженъ былъ сначала провести 12 лѣтъ на ногахъ, не садясь и не ложась; онъ привязывалъ себя веревкою къ дереву, чтобы не упасть во снѣ, а потомъ привыкалъ спать стоя; второе испытаніе состояло въ томъ, что *jēgi* 12 лѣтъ ходилъ съ руками, сложенными на головѣ, такъ что у него ногти вросали въ тѣло; третья степень была довольно разнообразна, но чаще всего будущій браминъ подвергался пыткамъ огнемъ и землею, чего почти никто не переживалъ. Такого рода движеніе, такой прогрессъ, заключавшійся смертію *jēgi*, служить лучшимъ изображеніемъ исторіи всей индѣйской цивилизаціи.

Каково могло быть политическое существованіе древняго индѣйца, при такомъ общемъ характерѣ его

образованности? Было ли у него государство въ томъ смыслѣ, какой придаетъ ему Гегель, называя государство осуществленіемъ въ законѣ свободной воли человѣка? Въ Индіи, какъ и въ Китаѣ, для образованія государственности недоставало самого существеннаго элемента, т. е. воли недѣлимаго лица, и потому нечему было превращаться въ законъ; законъ явился чѣмъ-то внѣшнимъ отъ человѣка и неизбѣжнымъ. И при всемъ томъ въ Индіи замѣчается большой прогрессъ по сравненію съ Китаемъ: въ Китаѣ не было государства, потому что тамъ все превратилось въ государство; въ Индіи, наоборотъ, мы встречаемъ на первомъ планѣ народную массу, и это обстоятельство выразилось лучше всего въ ея исторіи. Китай имѣетъ точную и опредѣленную исторію страны, лѣтописи, академіи, писавшія исторію государства; въ Индіи, при отсутствіи централизаціи, не могло быть никакой стройной исторической системы; факты народной жизни не объединяются такъ легко, какъ жизнь чисто-административная или политическая; если народная поэзія, народная эпопея выводятъ на сцену конкретныя личности, то какъ олицетвореніе эпохи. Вотъ, потому въ Индіи мы не находимъ сплошной исторіи, какъ *res gestæ*, дѣянія; и единственнымъ фактомъ остается одна народная мысль, народное чувство. Въ индѣйскихъ эпопеяхъ говорится о царяхъ; но какіе это цари? Они правятъ по малой мѣрѣ 70 тысячъ лѣтъ, а родоначальникъ индусовъ, Брама, господствовалъ

20 тысячъ миллионъ лѣтъ. Часто случалось, что цари послѣ нѣсколькихъ тысячъ лѣтъ правленія, удалялись отъ дѣлъ, и послѣ 10 тысячъ лѣтъ отдыха снова возвращались на престолъ. Очевидно, это не исторія дѣйствительнаго государства; въ Индіи самая идея о государствѣ была продуктомъ фантазіи, между тѣмъ какъ въ Китаѣ и самая фантазія была подчинена строгимъ формамъ разсудка.

Вотъ тѣ слова, которыми Гегель заключаетъ свой анализъ первобытнаго дѣтства абсолютнаго духа на берегахъ рѣкъ Синей, Голубой и Ганга:

„Въ Китаѣ мы находимъ разумъ безъ всякаго участія воображенія, и прозаическую жизнь въ окаменѣлыхъ формахъ дѣйствительности; въ индѣйскомъ мірѣ, напротивъ, нѣтъ точныхъ опредѣленій, и даже самая дѣйствительность обращается силою воображенія въ мечту. Въ Китаѣ, мораль составляетъ содержаніе закона и принаровлена ко внѣшнимъ строго разсчитаннымъ отношеніямъ; тамъ надъ всѣмъ паритъ патриархальная заботливость богдыхана, который, какъ отецъ, равно заботится о всѣхъ своихъ подданныхъ. Въ Индіи, напротивъ, не единство, но раздробленіе составляетъ сущность общественной жизни: религія, война, промыслы, торговля, разбиты до мельчайшихъ подробностей. Но и въ Китаѣ, и въ Индіи, человѣкъ одинаково не созналъ себя, какъ субъектъ, и потому на отдаленномъ Востокѣ, заключаетъ Гегель, одинъ опіумъ переносилъ человѣка въ мечтательный міръ и

доставлялъ ему счастье безумства; только упившись опіумомъ, восточный человѣкъ въ первый разъ существовалъ для себя и дѣлался субъектомъ. Персидская монархія вводитъ насъ наконецъ въ исторію; персы являются первымъ историческимъ народомъ: „*Персія была первымъ государствомъ, которое пало* (Persien ist das erste Reich das vergangen ist).“

Такъ выражаетъ Гегель переходъ абсолютнаго духа изъ того состоянія, въ которомъ онъ былъ осужденъ на безконечный покой или тревожное движеніе на одномъ мѣстѣ, въ новую форму, гдѣ онъ въ первый разъ началъ *жить*, и купилъ себѣ такое право на жизнь возможностью *отжить* (vergehen), чѣмъ не могли воспользоваться ни Китай, ни Индія, осужденные влачить свое существованіе въ безконечность.

Этотъ моментъ въ философіи исторіи Гегеля совершенно ясно указываетъ на то, какимъ образомъ историческій идеализмъ долженъ послѣдовательно привести къ крайнему космополитизму, въ глазахъ котораго жизнь націи не есть что нибудь существующее для себя и по себѣ, но только извѣстное проявленіе абсолютнаго духа, который переходитъ изъ одного своего временнаго вмѣстилища въ другое, оставляя за собою одни развалины, и эти развалины служатъ даже условіемъ его прогресса. Если въ Китаѣ пострадала жизнь недѣлимаго отъ отсутствія сознанія субъективности, то не подвергнутся ли той же участи и цѣлыя общества, которыя, по системѣ Гегеля, будутъ

видѣть въ своей жизни не собственную жизнь, но жизнь какого-то посторонняго для нихъ существа, хотя бы то былъ и абсолютный духъ? Не обратится ли тогда все человѣчество въ огромный Китай? Но мы увидимъ, что искусная діалектика Гегеля постарается вывести человѣчество изъ такого незавиднаго положенія.

Въ основѣ всей персидской цивилизаціи является *свѣтъ* Зороастра, который вызываетъ идеи равенства и единства, но не тѣмъ путемъ, какимъ онѣ были созданы въ Китаѣ: свѣтъ необходимо распространяется на всѣхъ, справедливыхъ и несправедливыхъ, богатыхъ и бѣдныхъ, сильныхъ и слабыхъ. Потому въ Персіи и въ политическомъ порядкѣ вещей является чистое равенство, при которомъ индивидуальное остается свободнымъ; свѣтъ не творить, но только оживляетъ, возбуждаетъ къ дѣятельности, а дѣятельность остается самобытною. Свѣтъ Зороастра поставленъ притомъ въ прямой противоположности съ тьмою, и потому въ персидской исторіи развитіе основывается на борьбѣ противоположностей. Все это послужило причиною того, что исторія персидская сдѣлалась настоящимъ началомъ всемірной исторіи, и Персія въ первый разъ постигла задачу абсолютнаго духа въ исторіи. Въ чемъ же состоитъ такая задача? Гегель отвѣчаетъ: „въ достиженіи того, что называется *unendliches In-sich-sein der Subjectivität*, т. е. безконечною самобытностью субъективнаго.“ Какъ такая самобытность

можетъ быть достигнута? — Чрезъ приведеніе абсолютныхъ противорѣчій къ полному примиренію!

Въ Китаѣ и въ Индіи такая задача не могла быть даже и поставлена, именно по отсутствію противорѣчія, какъ въ духовномъ мірѣ, такъ и въ физическомъ: въ мірѣ духовномъ, Брама, напрімѣръ, былъ какимъ-то безпредметнымъ существомъ, и потому борьба свѣта и тьмы, какъ ее постигли въ Персіи, была невысказана; въ мірѣ матеріальномъ, область Китая и Индіи, плоская возвышенность, могла породить однообразіе въ обычаяхъ, нравахъ, какое-то мертвящее равенство, граничащее съ ничтожествомъ, или окаменѣлое различіе, близкое съ безразличіемъ; въ персидской монархіи, мы встрѣчаемъ плоскую возвышенность, перерѣзанную горами, долины рѣкъ, и наконецъ береговую страну, какъ напрімѣръ, Сирія. На этомъ огромномъ пространствѣ живутъ два представителя двухъ главныхъ направленій нашей дѣятельности; они составляютъ духовное и матеріальное ядро персидской монархіи. Духовность представляется зендскимъ народомъ, который создалъ великую философію, служившую вмѣстѣ и религіею; другія народности, извѣстныя подъ именемъ ассиріянь, вавилонянь, мидянь, и наконецъ персовъ, обнаруживаютъ огромную практическую дѣятельность, колоссальныя развалины которой не исчезли и до настоящаго времени. И такъ, великая философія и великій практическій

смысль легли въ основаніе древней персидской монархіи.

Анализъ, приводимый Гегелемъ для началъ зендской философіи и религіи, и многія изъ ея идей укажутъ намъ, что эти идеи не остались безъ глубокаго впечатлѣнія на послѣдующія системы философіи и религіи человѣчества. Въ наше время колоссальная школа философіи древнихъ зендовъ имѣетъ своими представителями двѣ небольшія колоніи, одну въ Индіи, и другую у насъ, на берегу Каспійскаго моря. До самаго конца прошлаго столѣтія истинный характеръ этой философіи оставался совершенно неясненнымъ, и только со времени извѣстнаго открытія священныхъ книгъ Зендавесты Анкетиль-дю-Перрономъ можно говорить о ней положительно. Правда, еще и до сихъ поръ вопросы о народѣ зендовъ, о ихъ поселеніяхъ и т. п., остаются пока предметомъ спорныхъ изслѣдованій ориенталистовъ, но Гегель ограничивается одними вопросами, интересными для нашего предмета, и которые не представляютъ никакого сомнѣнія. Можно сказать положительно, что зенды составляли въ позднѣйшее время всю интеллектуальную силу персидской образованности; что у зендовъ мы встрѣчаемъ въ первый разъ понятіе о сословіяхъ въ нашемъ смыслѣ этого слова, какъ результатъ индивидуальнаго труда, а не осужденія челоуѣка на извѣстную касту; и что, наконецъ, въ жизни зендовъ обнаруживаются первые слѣды гражданскаго быта, потому

что у нихъ политическое единство не поглощало, какъ въ Китаѣ, индивидуальной жизни.

Но такія внѣшнія проявленія духа стояли въ тѣсной зависимости отъ внутренняго характера ученія зендовъ, которое легло въ основѣ всей ихъ государственной жизни и принесло потому соотвѣтственные себѣ плоды. Въ ученіи Зороастра, имя котораго распространилось на всю философію и религію зендовъ, общее, абсолютное, всеобъемлющее, выставляется главнымъ началомъ всякой жизни, какъ и въ ученіи Браны; но у персовъ это *общее* было — *Свѣтъ*; потому человекъ, познавая такое общее, тѣмъ не менѣе чувствовалъ себя чѣмъ-то положительнымъ въ отношеніи къ нему, между тѣмъ какъ у браминовъ онъ поглощался общимъ. Сверхъ того, понятіе свѣта вызывало идею о противоположномъ началѣ тьмы: человекъ, слѣдовательно, ставился въ положеніе выбора; отсюда, первый источникъ понятія о свободѣ и субъективности.

У зендовъ, добро и зло имѣли свое конкретное олицетвореніе въ фигурахъ Ормузда и Аримана. Ормуздъ, это — свѣтъ, огонь; чистота тѣла и души потому составляетъ главное условіе поклоненія зендовъ и основа всей ихъ высокой морали. „Если, говорить Зендавеста, человекъ осыпалъ тебя бранью, наругался надъ тобою и укротился, то назови его другомъ.“ Чистота поступка, слова, мысли, побуждала зенда вести вѣчную борьбу съ противоположнымъ началомъ, олицетворяемымъ въ Ариманѣ, оттого результаты зендской

религии и философии были чисто практические и положительные, и именно такими качествами отличались все последователи Зендавесты, ассирияне, мидяне и персы. Обязанность ихъ потому всегда состояла не въ томъ, чтобы неподвижно созерцать божество и истязать свое тѣло, но въ томъ, чтобы распространять господство Ормузда, поддерживать вездѣ живое, насаживать пустыни, отрывать ключи воды, проводить каналы и т. д. Зендъ стремился вездѣ разлить жизнь во все, ея блескъ и чистотѣ, и тѣмъ сокращать владычество Аримана. Въ персидской образованности, идея о господствѣ человѣка надъ матеріальною природою, при отсутствіи развитія прикладныхъ наукъ, должна была иногда приводить человѣка въ изступленіе, и потому многіе примѣры подобнаго изступленія, по замѣчанію Гегеля, несправедливо относятся къ области выдумокъ позднѣйшаго воображенія: Киръ, который цѣлый годъ наказывалъ рѣку, потопившую коня, впряженнаго въ священную колесницу, и наконецъ разлилъ ее на множество мелкихъ каналовъ; или, Ксерксъ, который высѣкъ море, разрушившее его плувучій мостъ, служатъ только образчикомъ того энтузіазма зендовъ, съ которымъ они преслѣдовали Аримана. Мы въ наше время построили бы прочный мостъ для наказанія рѣки, для побѣды надъ Ариманомъ; Киръ выходилъ изъ одной идеи съ нами о необходимости побѣды надъ природою, но средства той эпохи заставляли его прибѣгнуть къ другимъ мѣрамъ.

Уваженіе зендской цивилизаціи къ индивидуальному выразилось всего болѣе въ томъ обстоятельствѣ, что въ персидской монархіи отдѣльныя провинціи могли сохранять свои нравы, свои обычаи. Общіе законы въ Персіи не наносили ущерба мѣстнымъ постановленіямъ, и даже поддерживали всякую индивидуальность. Гегель указываетъ на это явленіе, какъ на результатъ той же религіозной теоріи персовъ: монархія, какъ солнце, даетъ всему жизнь, но не живетъ сама за другихъ; потому въ Персіи поклонники солнца сохраняли вездѣ самостоятельность національныхъ языковъ, привычекъ, даже предразсудковъ: „все это жило спокойно подъ лучами общаго свѣта“. Дѣйствительно, въ составъ персидской монархіи вошли самыя противоположныя интересы: восточные народы, сиріяне, іудеи, египтяне, греки; до того времени всѣ эти элементы жили въ состояніи хаоса, борьбы; завоеваніе Кира было потому скорѣе миромъ, нежели войною, если сравнить состояніе Передней Азіи послѣ Кира и до него, какъ то изображается пророками евреевъ.

Терпимость религіозная и политическая сдѣлалась отличительною чертою персидской эпохи и вытекала изъ характера ихъ философіи и религіи. Самъ царь былъ у персовъ только первымъ между равными, и всѣ дальнѣйшія его отношенія къ подданнымъ основывались на этой идеѣ. Каждая изъ провинцій, подчиненныхъ Персіи, сохраняя свою національность, развивала свободно прирожденные ей качества, и въ

этомъ отношеніи Сирія успѣла въ такой степени, что она, можно сказать, сдѣлалась настоящею колыбелью новѣйшей образованности: тамъ, въ береговой Сиріи явился первый алфавитъ, образецъ всѣмъ будущимъ алфавитамъ; тамъ же сдѣланы были многія другія важныя открытія; оттуда, изъ Финикіи, явилась первая колонія, давшая нашей части свѣта названіе Европы; наконецъ, оттуда же ведетъ начало и наша религія, сохранявшаяся въ сирійской долинѣ Иордана. Возможность существованія въ Персидской монархіи такой религіозной системы, какова была религія Иеговы евреевъ, исключавшая все, что было не-Израиль, есть самый поразительный примѣръ терпимости персидской образованности.

Но, съ другой стороны, такая безпредѣльная терпимость не могла сдѣлаться прочнымъ основаніемъ государственной жизни, и потому персидская образованность скоро уступила свое мѣсто Египту, который, по выраженію Гегеля, весь олицетворился въ сфинксѣ, предложившемъ задачу Греціи: сфинксъ былъ вполнину человѣкомъ, вполнину животнымъ, какъ духъ, вырывающійся изъ оковъ физической природы; такимъ получеловѣкомъ и былъ Египетъ, страна, въ которой и до сихъ поръ пирамиды стоятъ наполовину въ землѣ, и наполовину въ воздухѣ; мертвецы, въ видѣ мумій, живутъ вмѣстѣ съ людьми; свѣтъ солнца вызываетъ звукъ изъ статуи Мемнона, но это еще не голосъ человѣка. Надъ египетскою исторіею, заклю-

чаетъ Гегель, можно помѣстить ту надпись, которая была сдѣлана надъ однимъ древнимъ храмомъ: „Я есмь то, что я есть, былъ и буду; никто не извѣдалъ моей глубины!“ Аполлонъ, греческое божество, избралъ себѣ другой девизъ: „Познай самого себя!“

Такимъ образомъ, египетская образованность не была новымъ шагомъ въ дѣтствѣ абсолютнаго духа: она только постигла задачу исторіи, но рѣшеніе ея должно было перейти въ руки юношескаго возраста, въ который и вступилъ абсолютный духъ, достигнувъ исторіи грековъ. Персы исполнили то, что дозволилъ имъ возрастъ абсолютнаго духа, и самое паденіе ихъ времени, какъ мы уже видѣли, является въ глазахъ абсолютнаго идеализма, первымъ знакомъ ихъ чело-вѣческаго значенія: „Никто не предпочтетъ, заключаетъ Гегель, вѣчность существованія скаль кратковременному бытію благоухающей розы.“ Персія уступила Греціи, какъ дѣтство отдаетъ свое мѣсто юности, и юность подняла ту тяжесть, которая была не подь-силу дѣтскому возрасту. Персы достигли одного внѣшняго объединенія, и потому Персія была агрегатомъ разнообразныхъ индивидуальностей; если бы она вздумала придать этому единству внутренній характеръ, то у нея достало бы силъ на одинъ деспотизмъ, къ которому она и пришла. Греціи предстояло рѣшить ту же задачу объединенія чело-вѣчества, но силою внутренняго развитія, и она нашла къ тому средства въ самой себѣ, въ томъ возрастѣ, котораго до-

стигъ въ ея лицѣ абсолютный духъ исторіи. Въ этомъ видитъ Гегель тайну ея преимуществъ надъ персами и разгадку тѣхъ побѣдъ, которыя одержали греки при Мараѳонѣ, Саламинѣ и т. д.

Мы окончили теперь обзоръ первой части философіи исторіи Гегеля, гдѣ онъ характеризуетъ первую ступень развитія абсолютнаго духа въ исторіи человѣчества, его дѣтство, и показываетъ, какъ сообразно съ силами этого возраста слагались политическія, религіозныя и философскія идеи тѣхъ странъ, которыя послужили колыбелью абсолютнаго духа. Говоря языкомъ Гегеля, Китай и Индія достигли только *Fürsichsein*, т. е. бытія *для себя*; зачатки же бытія, какъ *Insichsein*, т. е. *въ себя*, обнаружили въ первый разъ только въ Персіи; персидскій *свѣтъ* былъ первымъ опытомъ соединенія людей безъ поглощенія ихъ индивидуальности. Но тѣмъ не менѣе именно Персія пала, и тѣмъ подтвердила свое преимущество надъ всѣми другими восточными цивилизаціями: очевидно, въ философіи исторіи Гегеля, жизнь народа является цвѣткомъ; лепестья опадаютъ, но субстанція цвѣтка продолжаетъ свое существованіе; народы сходятъ со сцены, но ихъ субстанція, человѣчество, абсолютный духъ идутъ впередъ. Мы читали у Гердера подобное же сравненіе: у него человѣчество является путникомъ, который давно уже поднялся на Востокъ, взялъ свой посохъ и пустился въ дорогу на Западъ; по временамъ онъ опускался на камень для отдыха; такъ,

онъ сидѣлъ на берегахъ Тигра и Евфрата; отсюда перешелъ на берега Нила; потомъ обошелъ все прибрежье Средиземнаго моря, поднялся къ берегамъ Рейна и т. д. Счастлива была та страна, которая успѣвала привлечь къ себѣ такого гостя, и та нація, которая умѣла помѣстить у себя человѣчество: она дѣлалась славною; но всякій разъ, когда путнику становилось тѣсно, безпокойно, когда на него поднимались гоненія, онъ убѣгалъ отъ такой націи и старался приискать себѣ новое пристанище.

Въ такихъ образахъ философіи исторіи есть конечно много возвышеннаго: задача жизни народовъ, хотя и въ иносказательной формѣ, является высокою; сдѣлать изъ себя удобное помѣщеніе для человѣчества, для человѣчныхъ идей — вотъ что поставляется на видъ каждому обществу, если оно желаетъ зазвать къ себѣ того путника и удержать его, какъ можно долѣе; бояться оскорбить человѣчество, притѣснить его — вотъ что должно избѣгать въ устройствѣ общественной жизни. Отсюда вытекаетъ слѣдующая задача для философа исторіи: онъ обязанъ изучать общество именно съ точки зрѣнія его годности для помѣщенія человѣчества, человѣчнаго. Персія возвысилась и пала по одному и тому же закону: она первая попыталась создать единство, щадя индивидуальность, но въ то же время она была способна къ одному механическому единству, и потому абсолютный духъ, найдя въ ней начало для себя, остался неудовлетвореннымъ при

дальнѣйшемъ своемъ развитіи. Въ Персіи началась истинная государственная жизнь, но она представила въ ней самую низшую степень и отличалась тѣмъ же свойствомъ, каковымъ отличаются низшія породы животнаго міра, какъ напримѣръ, пресмыкающіяся; разрубите червяка на части и каждая часть сохраняетъ способность самостоятельнаго движенія; такую жизнью жила и Персія представляя цѣлое, какъ организмъ червяка; но нѣтъ ничего легче, какъ разложиться всякому организму, и каждая часть будетъ обнаруживать свою самостоятельную жизнь. Это-то отсутствіе силы, чтобы духовно слить разнородное соединеніе обществъ въ одно государственное тѣло, и было причиною паденія Персіи; абсолютный духъ удалился отъ береговъ Евфрата, гдѣ онъ провелъ свое дѣтство, и для юности избралъ болѣе широкую натуру древняго грека и римлянина.

Такимъ образомъ, по системѣ Гегеля, въ Персіи кончилась только личная ея исторія, но въ исторіи человѣчества смерть ея была только шагомъ впередъ: въ отдѣльномъ человѣкѣ умираетъ ребенокъ, когда онъ дѣлается юношею, но умираетъ не человѣкъ, а одинъ возрастъ; точно также и съ Персіею человѣчество не погибло; оно пережило быть персовъ, чтобы сдѣлаться грекомъ, какъ недѣлимый перестаетъ быть ребенкомъ, чтобы сдѣлаться юношей.

Въ чемъ же состояла эта историческая юность, какое значеніе имѣетъ она для всего человѣчества?!

Отвѣтомъ на этотъ вопросъ Гегель начинаетъ вторую часть своей философіи исторіи, и однимъ оборотомъ мысли вводитъ насъ въ кругъ своихъ идей. „У грековъ, говоритъ Гегель, мы чувствуемъ себя *дома*: bei den Griechen fühlen wir uns *heimathlich*.“

Смыслъ этого „мы у грековъ дома“ весьма понятенъ; тамъ мы встрѣчаемся съ самими собою, тамъ родина нашихъ идей, потому что въ Греціи мы стоимъ въ первый разъ на почвѣ духовной. Если Гегель называетъ эпоху Греціи юностью, то это именно въ томъ смыслѣ, что Греція не знала тяжелой стороны дѣятельности, труда во всемъ его объемѣ, и не преслѣдовала опредѣленной узкой цѣли практическаго разсудка; Греція была въ одно время матеріальнымъ духомъ, и духовною матеріею (*der verkörperte Geist und die vergeistigte Sinnlichkeit*): въ Греціи, въ первый разъ человѣкъ искалъ *въ себѣ* содержанія своей воли и своего знанія. Гегель избираетъ двѣ личности въ судьбѣ Греціи, олицетворившія двѣ крайнія точки ея развитія: Ахиллеса, сына Пелея, или скорѣе сына Гомера, сына греческой поэзіи; имъ открывается юность человѣчества; другой юноша замыкаетъ собою исторію Греціи, это — Александръ Македонскій; въ первомъ юношѣ преобладала поэзія, въ послѣднемъ замѣтнѣе дѣйствительность, проза, переходъ къ римскому возрасту человѣчества, и къ эпохѣ его возмужалости. Первый начинаетъ борьбу съ дѣтствомъ человѣчества, съ Востокомъ, въ Троянской войнѣ; второй оканчиваетъ

эту борьбу въ Персидскихъ войнахъ, и эллинизируетъ Востокъ.

На этомъ основаніи Гегель раздѣляетъ исторію Греціи на три періода, по тремъ ея возрастамъ: 1) въ первомъ періодѣ является *das Werden der realen Individualität*, выработка реальной индивидуальности; 2) во второмъ — ея самостоятельность, сопровождаемая торжествомъ надъ міромъ отжившимъ; и 3) въ третьемъ — ея паденіе отъ столкновенія съ послѣдующимъ дѣятелемъ человѣчества, болѣе могучимъ, болѣе реальнымъ. На этотъ анализъ исторіи Греціи должно обратить все вниманіе, именно потому, что онъ даетъ намъ новый ключъ къ идеалистической философіи исторіи; мы видѣли выше, что, по взгляду Гегеля на отношенія отдѣльныхъ націй и ихъ судьбы къ судьбамъ цѣлаго человѣчества или абсолютнаго духа, достигающаго въ человѣчествѣ познанія самого себя, заслуга каждой націи предъ исторіею состоитъ не въ ея долговѣчности, но именно въ томъ, что она способна, такъ сказать, погибнуть на службѣ человѣчеству. Вотъ и другое основоположеніе философіи исторіи Гегеля; оно относится къ внутреннему развитію каждой страны, не только Греціи, но и всякой, которая имѣетъ притязаніе на историческое существованіе. Такая страна должна имѣть цѣлью своего существованія: 1) выработать реальную индивидуальность въ своемъ обществѣ, и 2) выдержать двоякую борьбу,

съ прошедшимъ — и побѣдить, съ будущимъ — и погибнуть.

Всмотримся ближе въ эти три періода исторіи Греціи, которые избраны Гегелемъ, какъ образецъ для развитія каждой страны: если какой нибудь исторической народъ имѣетъ предшественниковъ, какъ Греція имѣла Востокъ, то въ первомъ періодѣ является въ такой странѣ двойная образованность: собственная и наносная; соединить ихъ въ одно цѣлое составляетъ потому задачу перваго періода. Такъ было въ Греціи до начала Персидскихъ войнъ, такъ бываетъ и вездѣ; если народъ не погибнетъ въ этой борьбѣ двухъ образованностей, то онъ выработаетъ самостоятельную силу, которая прежде всего обращается противъ своихъ же источниковъ образованности. Второй періодъ, это — періодъ побѣды и славы извнѣ. Но въ такое время является всегда внутреннее распаденіе, которое усиливается тѣмъ болѣе по окончаніи внѣшнихъ войнъ; въ наукѣ и искусствѣ такое распаденіе выражается разладомъ между реальнымъ и идеальнымъ. Отъ распаденія одинъ шагъ къ паденію, и оно сопровождается всегда столкновеніемъ отживающаго народа съ новою національностью, въ которую переселяется абсолютный духъ исторіи.

Этотъ анализъ греческой исторіи, какъ образчикъ анализа судьбы cadaго народнаго духа, представляетъ особую важность, и мы обратимъ все наше вниманіе на то, какъ Гегель, выходя изъ своей точки

зрѣнія, обрисовываетъ намъ судьбу духа Греціи во всѣхъ его проявленіяхъ, по указаннымъ выше періодамъ.

Начнемъ съ перваго періода, гдѣ происходила только выработка реальной индивидуальности изъ смѣси двухъ образованностей, туземной и ориентальной, до той минуты, когда составила положительная сила, вступившая въ борьбу съ предшествовавшей образованностью, т. е. до начала Персидскихъ войнъ.

Гегель называетъ Грецію *субстанціей*, которая въ въ тоже самое время *индивидуальна*: Griechenland ist die Substanz, welche zugleich individuell ist. То-есть, въ Греціи, общее начало государственности не давило индивидуальность, какъ на Востокѣ, и громад-ная природа не пугала воображеніе: человекъ не то-нулъ въ природѣ, какъ то случалось въ Индіи. Самая форма страны, съ безчисленными бухтами и островами, не соединяла людей въ такую мертвую массу какъ въ Китаѣ или въ Индіи; и въ то же время, море, раздѣ-лявшее людей, еще болѣе соединяло ихъ, и притомъ безъ того, чтобы подчинить ихъ одной волѣ. Ко всему этому Греція въ своемъ населеніи представляла то, чего мы до сихъ поръ не видѣли на Востокѣ: Гегель называетъ эту особенность *Fremdartigkeit*, чужеземность. Греція была населена съ тѣхъ поръ, какъ она сдѣла-лась извѣстна въ исторіи, колонистами; 1500-й годъ до Р. Х. для Греціи былъ тѣмъ же, чѣмъ для Аме-рики 1500-й годъ послѣ Р. Х. Лучшие люди, отваж-

нѣйшіе, не уживаясь съ старымъ порядкомъ вещей на Востокѣ, стремились изъ Финикіи и Египта въ Грецію, какъ въ XVI ст. переселялись изъ Франціи и Англии въ Новый Свѣтъ; они приносили съ собою отвагу колониста, восточную науку, и пришли конечно не для того, чтобы быть рабами. И такъ, особенности страны, не представлявшія ничего обобщающаго, и населеніе ея случайное, свободное и разнородное, загли въ Греціи новую историческую жизнь и сообщили особый характеръ духу древней ея туземной образованности. Грекъ избѣгалъ обобщенія во всемъ, даже и въ самой религіи; восточныя божества съ общимъ характеромъ, какъ наприм., Діана, Цибелла, Астарта, воплощавшія цѣлую природу, не нашли себѣ гражданства въ Греціи. Грекъ обоготворялъ природу, но въ ея отдѣльныхъ частяхъ, какъ конкретное; такъ родились Нимфы, Музы, Наяды; Юпитеръ—глава боговъ, но и прочіе боги имѣютъ свою волю, и дѣйствуютъ отдѣльно, на свой страхъ.

Указавъ на такія два особенныя условія развитія греческаго духа, Гегель слѣдитъ за осуществленіемъ ихъ въ дѣйствительности, въ творчествѣ во всѣхъ его формахъ, начиная отъ статуи художника, до огромнаго государственнаго тѣла, котораго художникомъ является самъ народъ. Дѣятельность грека носить повсюду характеръ пластичности, именно потому что обобщенія ориентализма были чужды его духу; грекъ въ первый періодъ своей юности не создалъ Браммы,

но родилъ множество боговъ, полубоговъ, героевъ; по той же причинѣ онъ не создалъ огромнаго государства, но учредилъ множество городовъ — государствъ; потому же у грековъ явилось въ первый разъ демократическое начало, какъ самое пластическое изъ всѣхъ политическихъ началъ. Какъ духъ Востока былъ поглощенъ общимъ, всеобъемлющимъ, такъ духъ грека дробился подъ влияніемъ различія мѣстности и расы. Если житель Востока видѣлъ великое въ одномъ громадномъ, то грекъ понималъ великое подъ условіемъ красоты, прототипомъ которой у него явился самъ человѣкъ. Гегель называетъ такое явленіе *die schöne Individualität*. Но ни въ чемъ не высказалась, замѣчаетъ Гегель, односторонность такой красоты индивидуальнаго, какъ въ политическомъ творествѣ грека; демократія въ Греціи явилась также, какъ и пластическое искусство, подъ условіемъ прекраснаго, и была, говоритъ онъ, точно также *eine schöne Demokratie*. Этимъ-то требованіемъ, которое дѣлала греческая демократія на *прекрасное* въ своемъ существованіи, Гегель объясняетъ то, повидимому, ненормальное явленіе, которое поражаетъ насъ во всѣхъ пластическихъ юныхъ демократіяхъ, а именно, существованіе рабства, безъ чего греческая демократія была бы не мыслима. *Die Sklaverei war nothwendige Bedingung einer schönen Demokratie*. Греку было нужно имѣть много свободнаго времени, чтобы обдумать свою рѣчь, которую онъ произнесетъ, явившись на вѣче, присутствовать въ народ-

номъ собраніи, упражняться въ гимназіи, участвовать въ религіозныхъ процессіяхъ; гражданинъ не могъ заниматься ремесломъ, заботиться о послѣднихъ нуждахъ обыденной жизни; это былъ гражданинъ - художникъ. Впрочемъ, подобное явленіе мы встрѣчаемъ вездѣ, гдѣ рабство составляетъ политическое условіе государственнаго быта; въ средніе вѣка, та же пластичность вызвала одинаковое явленіе; чтобы построить готическій соборъ, чтобы вести жизнь рыцаря, совершающаго подвиги за даму сердца, чтобы посвятить себя созерцанію монаха, нужно было много рабскихъ рукъ, осужденныхъ работать для осуществленія прекраснаго немногими другими. Но въ такой односторонности, въ такой, такъ сказать, пластичности политическаго духа Греціи заключалась причина и быстрого его развитія и послѣдовавшаго затѣмъ паденія. Въ пластичныхъ греческихъ государствахъ легко практиковалось равенство гражданъ; самый патріотизмъ былъ пластиченъ: съ высоты акрополя, аѣинянинъ, спартанецъ, коринѣянинъ видѣли все свое отечество, и любовь въ родинѣ у грека была любовью къ опредѣленному, а не абстрактному; каждое государственное дѣло было близко къ интересамъ cadaго гражданина, и потому самое краснорѣчіе нигдѣ не имѣло такой пластичности, какъ въ Греціи. Эта-то пластичность грека, заключаетъ Гегель, и побѣдила весь восточный міръ во второмъ ея періодѣ; точно также, какъ эта же самая пластичность сдѣла-

лась въ третьемъ періодѣ исторіи Греціи причиною ея быстраго паденія.

Перейдя къ второму періоду греческой исторіи, какъ юности абсолютнаго духа, Гегель отправляется, какъ мы замѣтили уже выше, изъ той особенности, наблюдаемой въ развитіи юношескаго періода всѣхъ народовъ, и въ силу которой греки, достигнувъ сознанія своей 'реальной индивидуальности, немедленно вступили въ борьбу съ тѣми древними цивилизаціями, которымъ они были сами обязаны своею образованностью. Таковы были войны грековъ съ персами; въ борьбѣ съ ними греки достигли своей зрѣлости. Персидскія войны, разсматриваемыя съ этой точки зрѣнія, были торжествомъ индивидуализма надъ ориентальнымъ деспотизмомъ, и спасли не только грековъ, но и всю будущую образованность; онѣ послужили первымъ историческимъ примѣромъ того, какую силу имѣетъ развитіе индивидуальности. Но Гегель только ограничивается указаніемъ на этотъ фактъ и приводитъ за тѣмъ краткій рассказъ всего хода Персидскихъ войнъ до начала Пелопоннесской войны.

Между тѣмъ въ Персидскихъ войнахъ обнаруживается другое важное обстоятельство, которое не могло ускользнуть отъ наблюденія нашего философа. Греческая дѣятельность была чужда всякихъ обобщеній, а потому и самая индивидуальность въ Греціи не могла отлиться въ одной общей формѣ; Греція произвела два типа государственныхъ индивидуальностей,

а именно, *Аѳины* и *Спарту*. Эти два типа были такъ совершенны, каждый въ своемъ родѣ, что, не смотря на всю миниатюрность своихъ физическихъ размѣровъ, они и до сихъ поръ остаются прототипами индивидуальнаго; нѣтъ государства, въ которомъ допускается индивидуальное, и которое не представляло бы сходства или съ Аѳинами или со Спартою. Потому анализъ ихъ, приводимый Гегелемъ, представляетъ въ себѣ много замѣчательнаго, помимо тѣхъ основныхъ идей, на которыхъ у него построено все здание идеалистической философіи исторіи.

Спарта и Аѳины являются двумя юношами-государствами; отличительную черту ихъ обоихъ составляетъ политическая доблесть, но въ то же время характеръ ихъ различенъ до противоположности; одинъ юноша — веселый, безпечный, обладающій даромъ внѣшней привлекательности, и въ этомъ смыслѣ олицетвореніемъ Аѳинъ является Алкивіадъ; другой — угрюмый, сосредоточенный въ самомъ себѣ, такова была Спарта; ея устройство годно только для нея самой, въ то время какъ Аѳины употребляютъ всѣ усилія, чтобы популяризовать свои идеи, свою образованность. Соотвѣтственно такому ихъ характеру, процессъ деморализаціи совершился въ нихъ неодинаково: Аѳины ограничились внутреннимъ разложеніемъ нравовъ; Спарта пострадала отъ внѣшней деморализаціи: ея жадность, корысть были предшественницами римскихъ пропреторовъ и проконсуловъ. Таковы идеи Гегеля относи-

тельно двухъ типовъ греческой образованности, которые онъ на своемъ языкѣ выражаетъ слѣдующими терминами: въ Аѳинахъ, говоритъ онъ, выработалась преимущественно *freie Individualität*, въ Спартѣ напротивъ *Substantialität*, т. е., въ Аѳинахъ преобладало личное понятіе гражданина надъ понятіемъ государства; въ Спартѣ — наоборотъ.

Причины сложенія такихъ двухъ противоположныхъ типовъ Гегель ищетъ въ матеріальной обстановкѣ двухъ расъ Ионической и Дорической.

Въ Аѳинахъ и вообще въ Атикѣ народонаселеніе является смѣшаннымъ болѣе чѣмъ гдѣ-либо; самая страна своими качествами вызываетъ разнообразную дѣятельность въ человѣкѣ, земледѣльческую, торговую, промышленную. Съ самаго ранняго существованія Аѳинъ, въ нихъ такое разнообразіе выразилось въ формѣ трехъ сословій, или скорѣе трехъ партій, которыя положили начало тому, что мы нынѣ называемъ сословіями. Жители долинъ или Пэдіей, поземельные владѣльцы, составили богатую аристократію; жители горъ, Діакріи — образовали народную массу; между ними находились Паралы, т. е. Поморяне, жители береговъ, торговый классъ. Вся исторія Аѳинъ до начала Пелопоннесской войны была вѣчною борьбою между богатымъ меньшинствомъ и бѣдною многочисленностью. Законы Солона, тираннія Пизистрата, законы Клисеена были внѣшнимъ выраженіемъ торжества демократическаго начала, до тѣхъ поръ пока

Перикль не сдѣлался самымъ пластическимъ, самымъ нагляднымъ выраженіемъ реальной индивидуальности аѳинской демократіи; всякій признаетъ легко огромное различіе между Перикломъ, неограниченнымъ властителемъ Аѳинъ, ихъ Юпитеромъ, какъ называетъ его Аристофанъ, и какимъ-нибудь восточнымъ деспотомъ. Перикль былъ олицетвореніемъ самой толпы, а не какой-нибудь абстрактной силы; аѳинянамъ надобно было имѣть много свободы, чтобы вызвать изъ среды себя Перикла и быть годнымъ поприщемъ для развитія такого таланта; въ какомъ-нибудь оріентальномъ государствѣ Перикль не мыслимъ, потому что тамъ нѣтъ почвы для выработки такой личности. Въ Индіи, геній Перикла можетъ быть кончилъ бы тѣмъ, что онъ 12 лѣтъ простоялъ бы съ сложенными на головѣ руками, и изумилъ бы свое общество святостью своей жизни; въ Аѳинахъ, Перикль сложился въ государственнаго человѣка, и его можно назвать прародителемъ всѣхъ государственныхъ людей. Перикль былъ волею и сознаниемъ аѳинскаго народа; и нигдѣ это сознание не выразилось такъ хорошо, какъ въ той рѣчи, которую Фукидидъ влагаетъ въ уста Перикла (II, 35), по поводу погребенія убитыхъ. Перикль какъ бы сознавалъ, что онъ одинъ можетъ сказать аѳинянамъ, кто они такіе, и при этомъ онъ оставляетъ намъ самый лучшій и вѣрный образъ той индивидуальности, которой достигли аѳиняне: „Мы во многихъ возбуждаемъ всеобщее удивленіе, и прежде всего тѣмъ,

что мы любимъ прекрасное (*φιλοκαλοῦμεν γὰρ*) безъ хвастовства; мы философствуемъ, не дѣлаясь вялыми и недѣтельными; мы храбры и настойчивы, и при своемъ мужествѣ отдаемъ себѣ отчетъ въ томъ, что мы принимаемъ“. И такъ, красота и сознательность — вотъ два главныхъ атрибута пластической афинской демократіи.

Спарта имѣла общее основаніе съ Афинами, но отъ особенностей матеріальныхъ и иныхъ историческихъ условій выработала типъ противоположный; въ этомъ типѣ первое мѣсто занимаетъ абстрактная идея государства, которая отодвигаетъ на второй планъ свободу индивидуальную. Спарта напоминаетъ собою ориентальный складъ государства, но приведенный въ сознаніе, и потому, можетъ быть, еще болѣе неумолимо послѣдовательный въ выводѣ результатовъ изъ своихъ принциповъ; законодательство Ликурга было именно такимъ сознаніемъ, которымъ спартанецъ осуждалъ себя на вѣчную неподвижность въ равенствѣ; но это не было равенство духовное: оно относилось къ матеріальному порядку вещей, и потому Гегель называетъ спартанское равенство — *die geistlose Gleichheit*. Такого рода равенство имѣло отношеніе не только къ имуществу, парализованному равномѣрностью участковъ и желѣзными деньгами, но и къ однообразію нравовъ, однообразію пищи и т. д. Однимъ словомъ, это было то же самое восточное равенство и тотъ же восточный деспотизмъ, но съ тѣмъ отличіемъ, что онъ

былъ сознательнѣе, т. е., выходилъ изъ самого же человѣка; мы въ исторіи встрѣчаемъ не разъ примѣры такого сознательнаго деспотизма, вытекающаго изъ самого человѣка; подобную же картину представляютъ намъ средневѣковые монастыри съ своими спартанскими учрежденіями. Въ началѣ ихъ существованія, какъ и въ началѣ исторіи спартанскаго общества, мы находимъ ту же грубую льняную одежду, ту же суровую пищу; и дальнѣйшее развитіе монастырскаго общества, какъ и спартанскаго, приходитъ къ одному заключенію: спартанецъ временъ Лизандра, Павзанія, и католическій монахъ предъ реформаціею могутъ поспорить другъ съ другомъ въ отношеніи корыстолюбія и жадности. Во имя какихъ законовъ могла Спарта придти къ такому результату? вотъ, что составляетъ содержаніе дальнѣйшаго анализа, приводимаго Гегелемъ.

Въ то время, когда аѳиняне воспроизвели гражданина, какъ типъ политической красоты, и упустили совершенно изъ виду субстанцію, т. е. государство, Спарта въ противность тому стремилась къ идеалу государства, что явствуетъ изъ ея правильной организаціи съ двумя царями, эфорами, сенатомъ и народными собраніями. Но чрезъ это самое было утрачено внутреннее значеніе гражданина, и Спартанецъ является настоящимъ китайцемъ Греціи. Фукидидъ влагаетъ аѳинскому оратору слѣдующія слова, выражающія воззрѣніе самихъ грековъ на характеръ спартанцевъ:

„Вы имѣете законы и области, но они ни съ чѣмъ не имѣютъ общаго, и потому, когда вы являетесь въ другую страну, вы не умѣете поступать ни по своимъ законамъ, ни по законамъ общепринятымъ въ Греціи“. Внѣ своего отечества, какъ спартанцы сознавались сами, „одно пріятное одобрительно, и одно полезное справедливо“. Таковъ былъ результатъ цивилизаціи, которая принимала себя за челоѳчество: она была не-подражаема по своей нравственности у себя дома, и внѣ своего отечества годилась для одной тиранніи.

При такомъ одностороннемъ развитіи политической доблести, Аѳины оставались могущественными только тогда, когда они преслѣдовали внѣшнія предпріятія, Спарта—когда она оставалась дома. Персидскія войны измѣнили это положеніе: они дали аѳинянамъ все, что они могли получить, и аѳиняне, граждане-поэты, увидѣли себя въ необходимости позаботиться о внутреннемъ устройствѣ государства; тѣ же Персидскія войны вывели на сцену Спарту за предѣлы отечества; и то, и другое нанесло рѣшительный ударъ и Аѳинамъ и Спартѣ; оно деморализировало ихъ, но сообразно внутреннимъ качествамъ этихъ двухъ великихъ прототиповъ: въ Аѳинахъ пала общественная мораль, въ Спартѣ частная мораль; въ Аѳинахъ является политическое легкомысліе, въ Спартѣ корыстолюбіе, жадность, стремленіе нажиться, грабить. Такое двойное направленіе въ паденіи греческой цивилизаціи, въ формѣ, такъ сказать, аѳинской и въ формѣ спартанской, всего яснѣе

обнаружилось въ первый разъ въ Пелопоннесской войнѣ.

Очертивъ вкратцѣ фактическую исторію Пелопоннесской войны, Гегель останавливается на объясненіи ея внутренняго значенія, какъ борьбы за идеи, посреди которой въ первый разъ обнаружилия признаки деморализаціи и паденія греческаго общества, имѣвшаго все силы для того, чтобы продолжить развитіе абсолютнаго духа въ новомъ его возрастѣ, но безсильнаго для окончанія такой работы. Разсматривая съ такой точки зрѣнія Пелопоннесскую войну, какъ общественную революцію, Гегель ставитъ главными героями ея не полководцевъ, но софистовъ, борьба которыхъ имѣла болѣе глубокія послѣдствія для дальнѣйшей судьбы Греціи и вмѣстѣ съ нею всего образованнаго міра, нежели все битвы, приводимыя Фукидидомъ.

Для объясненія настоящаго характера Пелопоннесской войны, Гегель указываетъ на истинный ея конецъ. Военная ея исторія конечно заключилась взятіемъ Афинъ и разрушеніемъ ихъ стѣнъ; но то, что собственно составляло весь интеллектуальный и моральный интересъ Пелопоннесской войны, какъ общественнаго переворота, заключилось *смертью Сократа*, память котораго вскорѣ за тѣмъ была снова оправдана. Такимъ образомъ, послѣднимъ результатомъ Пелопоннесской войны было утвержденіе новой философіи, новыхъ общественныхъ началъ. Какая это была фило-

софія, въ чемъ состояли тѣ новыя общественныя начала, установившіяся вмѣстѣ съ нею въ Греціи, и, что самое важное, какъ все это было вызвано на наружу тѣмъ интеллектуальнымъ и нравственнымъ состояніемъ, къ которому пришло греческое общество, по окончаніи Персидскихъ войнъ—вотъ, рядъ вопросовъ, которые разрѣшаетъ Гегель въ своемъ анализѣ Пелопоннесской войны, исходя постоянно изъ своей идеалистической точки зрѣнія на исторію, какъ на постоянное требованіе абсолютнаго духа дать ему новыя и болѣе совершенныя формы, при посредствѣ которыхъ онъ могъ бы достигнуть полноты самопознанія.

Греція, какъ и всякое другое общество, вышедшее изъ примиренія различныхъ началъ, не могла оставаться долго въ совершенной гармоніи реальнаго и идеальнаго; Персидскія войны нарушили эту гармонію, представивъ Аѳинамъ и Спартѣ новыя идеалы, новыя положенія, для которыхъ реальность ихъ оказалась неудовлетворительною. А разрывъ реальнаго съ идеальнымъ есть первый симптомъ близости общественнаго паденія, отражающагося прежде всего на мыслительной способности человѣка, которая потому всегда выставляется причиною и средствомъ къ развращенію нравовъ. Потому же и въ Греціи, говоритъ Гегель, *das Denken erscheint, als das Princip des Verderbens, und zwar des Verderbens der substantiellen Sittlichkeit*, т. е., мышленіе явилось принципомъ порчи, и именно порчи *субстанціальной нравственности*. Субстанціаль-

ная нравственность есть ни что иное, какъ законъ, выработанный эмпирическимъ путемъ и потому годный для того времени, который извлекъ его изъ собственной практики. Но когда мысль идетъ дальше, она подвергаетъ изслѣдованію и самый эмпирическій законъ; она стремится отыскать лучшее и требуетъ, чтобы признанное ею за лучшее сдѣлалось основою жизни. Вотъ, почему, замѣчаетъ Гегель, всѣ великіе реформаторы обществъ, при началѣ своей дѣятельности, обвиняются въ покушеніи потрясти существующую нравственность. *Sittlichkeit*, нравственность, есть равновѣсіе между убѣжденіями и чувстваваніями, гармонія реального и идеального; но едва только свободная мысль рѣшается выйти изъ того очарованнаго круга гармоніи, какъ эта гармонія рушится, и мы говоримъ, что такое-то общество деморализировалось, пока между реальнымъ и идеальнымъ не будетъ заключенъ миръ на новыхъ условіяхъ.

Но ни при какомъ переворотѣ не нарушалась въ такой степени гармонія реального съ идеальнымъ, какъ именно, въ эпоху Пелопоннесской войны; на этомъ обстоятельствѣ и основывается весь ея интересъ, который не утратился послѣ цѣлыхъ тысячелѣтій, потому что никогда не могъ быть утраченъ интересъ къ тѣмъ внутреннимъ вопросамъ, которые волновали общество въ эпоху этой войны. Въ то время, среди шума военной брани, шла другая борьба: мышленіе, анализируя дѣйствительность, осталось вдовольно ею,

и даже въ своемъ чадѣ отъ первыхъ и легкихъ побѣдъ, само впало, такъ сказать, въ оргію; ея героями сдѣлались софисты, имя которыхъ обратилось теперь въ нарицательное, близкое къ имени лжеца. Аѳинскіе софисты, прародители всѣхъ будущихъ софистовъ, замѣчаетъ Гегель, не были ни учеными людьми, ни людьми науки; это были люди образованные и *Meister der Gedankenwerdung*, мастера оборотовъ мысли. Главный ихъ принципъ состоялъ въ томъ, что человѣкъ есть мѣрило всего; но спрашивается: былъ-ли человѣкъ ихъ времени, реальный человѣкъ, мѣриломъ истиннымъ? Въ этомъ-то и состоялъ ихъ софизмъ. Одинъ Сократъ разрѣшилъ такой софизмъ; на его честномъ языкѣ тоже выраженіе софистовъ получило опредѣленное значеніе; онъ училъ также, что человѣкъ только въ себѣ можетъ познать доброе и справедливое; но потому онъ и обратилъ вниманіе на изученіе человѣка и потому же онъ болѣе разошелся съ реализмомъ своего времени, нежели софисты; его ученіе было глубже и несравненно опаснѣе для дѣйствительности, нежели всѣ ухищренія въ полномъ смыслѣ безнравственныхъ софистовъ. Сократъ чувствовалъ себя гражданиномъ не столько Аѳинъ, сколько царства духа, которое было его истиннымъ отечествомъ, и вслѣдствіе того онъ казался измѣнникомъ государства и отечественныхъ боговъ. Сократа осудили на смерть; онъ дѣйствительно былъ преступникомъ, но преступленіе такихъ людей состоитъ въ томъ, что они

ставятъ сознательно какъ принципъ то, что въ обществѣ практикуется безсознательно. Уваженія, наприм., къ богамъ въ то время уже не было; аѳиняне въ отдѣльныхъ случаяхъ смѣялись сами надъ обрядами своей религіи, но они не могли вынести того, чтобы ихъ невѣріе было возведено на степень принципа; это родъ публичной ипокризиса: никто не вѣритъ въ отдѣльности, но всѣ вмѣстѣ вѣрятъ. При другомъ еще болѣе знаменитомъ случаѣ, подобное же общественное настроеніе вырвало у народа крикъ: „не Его, но Варавву!“ Смерть Сократа и послѣдовавшее за тѣмъ вскорѣ признаніе его невиннымъ служатъ доказательствомъ, какъ было распято аѳинское общество къ концу Пелопоннесской войны. Но и въ минуту своей политической смерти аѳиняне до самаго конца оставались вѣрными своему типическому характеру; они, какъ говоритъ Гегель, умирали весело, и на похоронахъ своей древней нравственности читали съ восторгомъ комедіи Аристофана.

Въ одно время съ Аѳинами умирала также и Спарта, но она обнаружила легкомыслія и безпечности Аѳинъ; въ ней деморализація выразилась въ видѣ грубой частной безнравственности, жадности, подкупа, сластолюбія, чѣмъ страдали всѣ отъ перваго полководца до послѣдняго гражданина. Въ Спартѣ не явились ни софисты, ни Сократъ съ доказательствами, что Юпитеръ не существуетъ; спартанцы не любили ни смѣяться, ни утонченно разсуждать; это были люди

практики, и потому они предпочли сдѣлать руками то, что аѳиняне дѣлали языкомъ: вскорѣ послѣ Пелопоннесской войны, они завоевали Фивы, а ихъ союзники, фокейцы, разграбили храмъ Аполлона, наполненный несмѣтными богатствами. Такимъ образомъ сдѣлалось несомнѣннымъ ничтожество Аполлона, этого по преимуществу греческаго бога; въ немъ воплощалось все національное: красота, искусство, самосознаніе; на вратахъ его храма была надпись: *ἴψωθι σεαυτοῦ!* Аполлонъ имѣлъ еще и другое значеніе: это былъ богъ солнца, и потому греки соединяли съ нимъ оріентальную идею единства; дѣйствительно, въ храмѣ Аполлона собирались депутаты отъ провинцій, выражавшіе собою единство Греціи на Амфиктіоновомъ судѣ; такъ называемыя священныя войны убили божество и вмѣстѣ съ нимъ подорвали и послѣднее единство греческой націи. Смерть Аполлона, какъ и смерть Греціи, произошла отъ того же разрыва реальнаго и идеальнаго: реальный Аполлонъ, какъ и реальная Греція не соотвѣтствовали идеямъ времени; поэтическаго единства было мало; нужно было болѣе дѣйствительное, болѣе прозаическое единство; человѣчество вступило въ болѣе зрѣлый возрастъ. Аполлонъ долженъ былъ найти себѣ преемника также болѣе дѣйствительнаго, болѣе прозаическаго; и такимъ преемникомъ Аполлона явился Филиппъ Македонскій. При первомъ своемъ выступленіи на сцену, Филиппъ выдалъ себя даже именно мстителемъ за оскорбленія божества, и

какъ бы во имя его покорилъ себѣ его враговъ. Но новая Македонская монархія является только послѣднею формою паденія Греціи. Она въ матеріальномъ порядкѣ вещей воплотила то, о чемъ мечтали мыслители еще со времени Пелопоннесской войны: она вооружилась противъ конкретнаго и ниспровергла его; монархія возстала противъ поэтической индивидуальности и поглотила ее. Такимъ образомъ, новая философія Греціи явилась въ тѣсномъ союзѣ съ деспотизмомъ и абсолютизмомъ: примѣръ впрочемъ безпрестанно повторяющійся въ исторіи, и сама философія Гегеля служитъ тому послѣднимъ подтвержденіемъ. Но это нисколько и не удивительно: абсолютизмъ философскій весьма близокъ съ политическимъ абсолютизмомъ; въ пластической Греціи, недовольный Аѳинами бѣжалъ въ Спарту, недовольный Минервой, обращался къ Нептуну; при господствѣ абсолютныхъ теорій, внѣ ихъ нѣтъ никакого убѣжища; въ логикѣ чистаго разума нѣтъ противорѣчій, все необходимо; того же требуютъ эти теоріи и отъ жизни. Олицетвореніемъ такого союза новой философіи и новой политики являются въ Македонской монархіи два лица, которыя стояли другъ къ другу именно въ томъ же отношеніи, въ какомъ находились въ то время философія и дѣйствительная жизнь; это были Аристотель и Александръ Великій. Одни эти имена показываютъ, что Македонская монархія, хотя ея внѣшность напоминаетъ собою восточный характеръ, была тѣмъ не менѣе прогрессомъ

въ исторіи развитія человѣчества. Македонская монархія стремилась достигнуть тѣхъ общихъ цѣлей, для которыхъ были слабы древнія республики, и потому эпоха Александра Великаго была вмѣстѣ съ тѣмъ эпохою развитія наукъ; это не значитъ, что появленіе просвѣщеннаго деспотизма въ общественной жизни благопріятно для науки; но тѣ абсолютныя теоріи, которыя въ жизни вызываютъ деспотизмъ, въ наукѣ поднимаютъ умъ человѣка на высшія точки зрѣнія и ведутъ его такимъ образомъ впередъ.

Къ сожалѣнію, Гегель не находитъ интересною ту эпоху, которая послѣдовала за смертію Александра: „эта эпоха, говоритъ онъ, *interessirt uns weniger.*“ Намъ кажется, что Гегель, какъ бы съ намѣреніемъ, отворотился отъ картины распаденія Александровой монархіи: абсолютному философу исторіи пришлось бы объяснять намъ, какимъ образомъ торжество абсолютныхъ началъ въ области мысли и въ области жизни, имѣя для себя такихъ представителей, какими были Аристотель и Александръ Великій, привело Грецію къ такому печальному положенію, въ какомъ она находилась въ эпоху Александрійской школы. Дѣйствительно, эта эпоха не могла воспроизвести изъ себя ничего великаго: въ дѣятельности интеллектуальной, все ограничивались переработкою и комментаріями на классическія произведенія предшествовавшаго времени; въ жизни практической, время Александрійской школы принадлежитъ, по выраженію Тита-Ливія, къ

такимъ ничтожнымъ эпохамъ, которыя не могутъ одинаково переносить ни своихъ пороковъ, ни средствъ къ врачеванію ихъ. Гегель не анализируетъ причинъ такой судьбы абсолютнаго духа, который, такъ сказать, самъ бываетъ не въ состояніи перенести своего торжества, и ограничивается однимъ заключеніемъ, а именно, что въ эпоху паденія какого нибудь общества всегда является какая нибудь новая могущественная національность, которая воплощаетъ въ себѣ будущность человѣчества, и въ данномъ случаѣ такую національностью былъ народъ римскій. Греціею закончилась юность абсолютнаго духа; въ римлянинѣ онъ находитъ достаточно силъ, чтобы достигнуть новой и высшей степени сознанія, которая пріобрѣтается въ зрѣломъ возрастѣ.

Съ вступленіемъ человѣчества, или абсолютнаго духа, въ періодъ зрѣлаго возраста, значеніе исторіи увеличивается, и въ той же мѣрѣ растетъ интересъ анализа Гегеля. Начиная съ Рима, гдѣ абсолютный духъ достигъ своей зрѣлости, мы можемъ считать себя еще болѣе въ собственной исторіи; въ Римѣ мы узнаемъ въ главныхъ чертахъ самихъ себя. Чтобы объяснить такое значеніе Рима, Гегель ссылается на любопытный разговоръ Наполеона съ Гёте о природѣ трагическаго, при чемъ императоръ выразилъ мысль, что новое время отличается отъ древняго именно тѣмъ, что мы не имѣемъ *греческой Судьбы*, которая давила людей; но за то у насъ мѣсто Судьбы занимаетъ по-

литика, которую потому мы можемъ принять за судьбу въ новой трагедіи; политика, это есть неотразимая сила обстоятельствъ, которая стираетъ волю личностей, какъ въ древней трагедіи тиранствовала судьба. Такое значеніе политики, управляющей нами, выработалось въ первый разъ въ римскомъ мірѣ; римскій міръ былъ по преимуществу политическій міръ, назначенный смять все индивидуальное и въ государствѣ и въ религіи, гдѣ и самые боги были заключены въ Пантеонъ, съ тѣмъ чтобы все довести до абстрактнаго и общаго. Въ этомъ отношеніи, римскій міръ, по видимому, стоялъ ниже персидскаго, гдѣ свободно жило все индивидуальное; въ Римѣ, индивидуумъ приносился въ жертву цѣлямъ государства; если Греція въ концѣ своей исторіи представляла возвращеніе къ ориентальному деспотизму, то Римъ какъ бы переноситъ насъ въ Китай. Но было огромное различіе между македонскимъ и персидскимъ абсолютизмомъ; точно также Гегель старается указать на огромное различіе китайскаго и римскаго обобщенія по тѣмъ результатамъ, къ которымъ пришло человѣчество въ Китаѣ и въ Римѣ: римляне подготовляли поле для христіанскихъ идей, въ которыхъ поправленіе чувственности и духъ нравственной свободы составляютъ отличительныя черты.

Но обратимъ прежде всего вниманіе на то, какъ Гегель рѣшаетъ вопросъ о различіи духа греческой и римской цивилизаціи, и о причинахъ, которыя дѣлали Грецію неспособною къ тому, что могъ взять на себя

Римъ. Чтò дало Риму особенное значеніе, не смотря на жесткую, сухую натуру римлянина, этого политическаго монаха, суроваго гражданина безъ сердца, безъ состраданія? Грекъ остановился на матеріальной личности; онъ потому произвелъ чудеса въ искусствѣ, въ поэзіи; но онъ никогда не могъ дойти до совершенной идеи государства, которая всегда требуетъ обобщенной личности, абстрактной; только въ Римѣ въ первый разъ является *свободное обобщеніе* (*freie Allgemeinheit*), абстрактная личность, абстрактная свобода, абстрактное государство. Оттого грекъ оставилъ намъ прекрасныя статуи, прекрасныя формы Паренона, однимъ словомъ, идею прекраснаго. Отъ Рима мы наследовали другого рода памятники: 1) кодексъ законовъ, осуществленіе идеи права, которое и могло выработаться въ обществѣ, гдѣ преобладала абстрактная личность; 2) идею всемірной монархіи, созданной политикою и силою. Вотъ памятники римскаго возраста человечества, которые и до сихъ поръ лежатъ въ основаніи новѣйшихъ обществъ и составляютъ великое, а иногда и тяжелое наследіе отъ римскихъ идей, которыми мы пользуемся, но съ которыми въ тоже время боремся непрерывно. Римляне поставили въ первый разъ высоко понятіе личности и собственности и опредѣлили ихъ точнымъ образомъ въ абстрактѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ они осуждали весь міръ на абстрактное существованіе. Въ этомъ-то и состоитъ трагическій элементъ римской исторіи: никто не ставилъ

такъ высоко идею свободы, и никто не долженъ былъ пролить столько крови, употребить столько насилія, какъ то сдѣлали римляне, чтобы осуществить эту свободу. Такимъ образомъ, Римъ первый стремился къ всемірному: это было именно то понятіе, которое Греція начала предчувствовать въ послѣднюю македонскую эпоху своего существованія; но духъ греческій былъ слишкомъ пластиченъ по своей натурѣ, чтобы имѣть силы къ осуществленію того, что стоитъ въ прямомъ противорѣчій съ пластичностью, и потому Греція была подавлена подъ тяжестью работы, несоответственной ея силамъ; аѳинянину, привыкшему видѣть весь міръ въ своемъ городѣ, пришлось бы признать своимъ отечествомъ весь міръ.

Съ Греціею случилось то, что нѣкогда было съ Персидскою монархіею: она пала оттого, что допустила конкретное существованіе недѣлимаго; Греція именно на этой идеѣ основала свое существованіе; за то она пала отъ стремленій къ абстрактной свободѣ, на которой опять Римъ основалъ свою славу и господство. Но и Римъ будетъ имѣть свою судьбу: его погубитъ идея духовной конкретности, которая обнаружилась въ немъ въ моментъ его паденія; а христіанство и германизмъ именно на этой духовной конкретности построитъ новый міръ.

Такимъ образомъ, вся исторія у Гегеля есть ничто иное, какъ переходъ отъ абстрактнаго къ конкретному; прогрессъ выражается именно въ томъ, что то

и другое каждый разъ понимается все болѣе и болѣе духовно, а слѣдовательно въ менѣе рѣзкомъ противорѣчii: въ Китаѣ, Индіи и Персiи господствуетъ абстрактное, но во всей своей грубости, какъ что-то матеріальное, массивное; появленіе конкретнаго въ такомъ обществѣ было причиною его смерти; именно на такой конкретности была построена Греція, хотя эта конкретность была еще весьма матеріальна: духовнаго въ немъ было только одно прекрасное. Въ концѣ своего существованія, Греція проникается абстрактнымъ, и потому падаетъ; Римъ стремится, какъ и Востокъ, основать себя на абстрактѣ, но въ Римѣ абстрактъ носитъ на себѣ уже духовный характеръ; въ концѣ исторіи Рима, человѣчество возвращается къ конкретному, и это убиваетъ Римъ; христіанство и германизмъ, подобно Греціи, ищутъ возстановить конкретное, но съ тѣмъ различіемъ, что у нихъ оно носитъ на себѣ чисто духовный характеръ и потому не отвергаетъ абстрактнаго; мы живемъ именно въ этой эпохѣ примиренія конкретнаго съ абстрактнымъ.

Но возвратимся къ Риму. Откуда Римъ почерпнулъ свой характеръ абстрактный и вмѣстѣ насильственный? Гегель, мы видѣли часто, не отвергаетъ участія естественныхъ данныхъ въ судьбѣ абсолютнаго духа; точно также и теперь онъ ищетъ особенностей римскаго характера въ физическихъ особенностяхъ Италіи, которыя, какъ замѣчаетъ Гегель, не представляютъ никакихъ данныхъ для централизаціи: сѣверная, средняя и юж-

ная Италия какъ бы случайно помѣщаются на одномъ и томъ же полуостровѣ; каждая изъ нихъ имѣетъ свой центръ, и ни одинъ изъ этихъ центровъ не можетъ быть общимъ центромъ безъ политическаго насилія. Римъ сдѣлался такимъ центромъ; оттого политическое насиліе легло въ основаніи древней исторіи, а чрезъ то и всего міра. Къ отсутствію географическаго единства присоединялось чрезвычайное разнообразіе расъ, населившихъ Италію: древніе пеласги, этруски, сикулы, оски, латины, сабины, греческіе всельники, галлы и т. д., не могли бы соединиться въ одно общее, абстрактное, безъ величайшаго насилія. Но это насиліе отличалось рѣзко отъ оріентальнаго и можетъ быть названо политическимъ. Такое насиліе должно было лечь въ основаніе римской исторіи, и, съ точки зрѣнія идеалистической философіи на необходимость успѣха въ новомъ развитіи абсолютнаго духа, оно было неизбежно. Гегель, сравнивая характеръ начала римской исторіи съ ея заключеніемъ, выводитъ изъ того слѣдующіе результаты: „общій принципъ всего римскаго міра состоитъ въ *субъективной замкнутости* (subjective Innerlichkeit); дальнѣйшее же развитіе этого принципа, т. е., все содержаніе римской исторіи, состоитъ въ томъ, что субъективно-замкнутое постоянно стремится къ *внѣшней реальности* (Aeusserlichkeit der Realitat).“ Другими словами, римская исторія, какъ она является намъ въ началѣ, носитъ на себѣ характеръ величайшей замкнутости, исключительности; между тѣмъ, разсматриваемая

по своей послѣдней цѣли, она выражаетъ собственно противоположное стремленіе, а именно обхватить какъ можно шире весь міръ. Но такой переходъ изъ одной крайности въ другую не могъ совершиться иначе, какъ путемъ страшнаго насилія и деспотизма; и этимъ характеромъ насилія отличаются одинаково всѣ три періода римской исторіи: республика не менѣ насильственна, какъ и царство, и имперія сохранила тотъ же характеръ, который отличалъ и царство, и республику. Въ Греціи, исторія была развитіемъ и расширеніемъ одного и того же принципа: въ Римѣ, въ первый разъ *человѣчество достигло внутренняго противорѣчія*, и потому могло легче придти къ самопознанію; въ Римѣ, исторія не имѣла того, такъ сказать, растительнаго характера, которымъ она отличалась на Востокѣ и въ Греціи, и духъ человѣчества стремился въ ней перейти изъ одного положенія въ другое, прямо ему противоположное, отъ внутренней замкнутости къ самой широкой внѣшней реальности. Вся эта эпоха, цѣлостная въ исторіи человѣчества, по отношенію къ самому Риму развивалась въ трехъ формахъ, послѣдовательно смѣнявшихъ одна другую и составившихъ такимъ образомъ три періода римской исторіи: въ первомъ періодѣ были заключены начатки Рима, когда противоположности его духа, по своей внутренней слабости, спокойно существовали рядомъ, какъ бы во снѣ; во второмъ періодѣ, выработанныя силы Рима обращаются на отжившій историческій міръ, и откры-

вають свою внѣшнюю дѣятельность второю пуническою войною; но уже въ этомъ періодѣ обнаружилось разложеніе римскаго міра, довершенное въ третьемъ періодѣ, въ формѣ римской имперіи, когда явилось въ то же время и будущее человѣчество въ лицѣ германцевъ.

Но при всемъ внѣшнемъ періодическомъ развитіи римскаго общества по тремъ его формамъ чисто внѣшняго характера, духъ римской исторіи остается постоянно неизмѣннымъ. Чтобы доказать такое положеніе, Гегель долженъ былъ предпослать анализу отдѣльныхъ періодовъ римской исторіи болѣе точное опредѣленіе ея общаго духа. Съ этою цѣлью онъ останавливается на самомъ миѣ о происхожденіи Рима; все равно, заключаетъ-ли этотъ миѣ въ себѣ историческія данныя, или является плодомъ позднѣйшей фантазіи; но и въ послѣднемъ случаѣ онъ изображалъ собою философію позднѣйшаго времени, претворенную въ лица: Ромуль и Ремъ, похищеніе сабинокъ, Горации и Куріаціи служатъ и въ послѣднемъ случаѣ олицетвореніемъ идей, которыя римлянинъ полагалъ въ основаніе своего государства. Что же выражаютъ всѣ эти миѣ? Въ самомъ началѣ своей исторіи, Римъ является врагомъ всей древней *Sittlichkeit*. До того времени, семейство, семейныя связи, семейная любовь лежали исключительно въ основаніи всѣхъ древнихъ обществъ. Ромуль и Ремъ, какъ они обрисованы въ легендѣ, съ самаго перваго шага своей дѣятельности

выступаютъ общественными отверженцами, врагами семейнаго быта. Появленіе женщины, обусловливающее семейный бытъ, было результатомъ не мирныхъ семейныхъ наклонностей, и выразилось въ формѣ похищенія сабинокъ. Итакъ, идея насилія, разрыва съ прошедшимъ, отнесена къ самому первому моменту исторической жизни римлянъ; вся послѣдующая ихъ исторія есть ни что иное, какъ продолженіе исторіи Ромула и Рема; весь остальной міръ, силою включенный въ государственную семью римлянъ, олицетворился въ сабинкахъ; внутренняя борьба патриціевъ и плебеевъ выразилась въ междоусобіи братьевъ; Ремъ убитъ, какъ были убиты плебеи; и дѣйствительно, авентинская гора, мѣсто погребенія Рема, была въ послѣдствіи мѣстомъ удаленія плебеевъ, тѣснимыхъ патриціями.

Такимъ образомъ, начатки римской исторіи въ своихъ легендарныхъ подробностяхъ являются въ оппозиціи со всею древнею нравственностью. Но это отрицаніе всей древности привело Римъ къ новому и положительному характеру: въ первый разъ въ Римѣ явилось *политическое* семейство, въ которомъ отецъ былъ вмѣстѣ и неограниченнымъ властелиномъ; но это была не китайская идея, основанная на религіозномъ преданіи, а результатъ фактической силы. Римлянинъ завоевалъ себѣ семейство, жену и дѣтей; они были его собственностью. Такой бракъ, обратившись въ абстрактъ, принесъ замѣчательные результаты для бу-

душаго и породилъ идею о неприкосновенности правъ частнаго семейства, и о томъ, что нынѣ называется гражданскимъ бракомъ, какъ договоромъ двухъ сторонъ.

Но всего болѣе духъ римскій отпечатлѣлся въ двухъ главныхъ своихъ произведеніяхъ, на которыхъ Гегель и останавливается преимущественно, а именно, въ положительномъ правѣ и въ религіи. Мы уже видѣли, что на Востокѣ нравственныя положенія въ формѣ заповѣдей дѣлались закономъ, правомъ; даже у грековъ мораль была юридическимъ закономъ; а потому у всѣхъ древнихъ право и обычай, нравъ, были тождественны. Римляне не имѣли естественной морали, вытекающей изъ натуральныхъ фамилныхъ отношеній, а потому у нихъ въ первый разъ совершилось раздѣленіе между нравомъ и правомъ; римляне создали абстрактное право, независимое отъ обычаевъ того или другого времени. Идея абстрактнаго права потому была развита у римлянъ до крайней степени, и составляетъ главную работу римскаго міра. Не менѣе замѣтно различіе между греками и римлянами въ характерѣ религіи. У грека религія была продуктомъ его фантазіи и подчинялась идеи прекраснаго; у римлянина религія была абстрактна въ высшей степени, и служила средствомъ къ достиженію государственныхъ цѣлей; однимъ словомъ, она была государственною религіею; и съ того времени религія и право носятъ постоянно характеръ государственный; самое

слово *religio*, связываніе, указываетъ на ея государственное назначеніе. Другая отличительная черта римской религіи состоитъ въ ея таинственности: каждая вещь у римлянъ имѣла двоякое значеніе и соотвѣтствующее тому двоякое имя. Такъ, Римъ кромѣ своего официальнаго имени имѣлъ таинственное названіе *Valentia* или *Amor*, Ромуль *Quirinus*, и т. д. Бывъ государственною религіею, религія служила у римлянъ только для государственныхъ цѣлей: Сибиллины книги содержали въ себѣ будущую судьбу Рима; жрецы были вмѣстѣ и государственными людьми; ихъ божества — прозаическимъ олицетвореніемъ различныхъ полезныхъ и вредныхъ качествъ: таковы были *Pax*, *Tranquillitas*, миръ, тишина; голодъ, язва, лихорадка имѣли свои алтари; греческая Юнона у нихъ явилась, какъ *Lucina*, богиня-акушерка. Римляне ввели первый обычай дѣлать обѣты богамъ; ни одинъ храмъ, ни одинъ жертвенникъ не были воздвигнуты римлянами безъ какого нибудь интереса.

Въ связи съ религіей у древнихъ стояли игры; и въ этомъ случаѣ греческій и римскій характеры выразились совершенно различнымъ образомъ. Грекъ участвовалъ самъ въ религіозныхъ процессіяхъ, въ олимпійскихъ играхъ, народныхъ танцахъ; римлянинъ оставался только зрителемъ; самое дѣйствіе предоставлялось рабамъ и вольноотпущенникамъ.

Вотъ тѣ главные черты, въ которыхъ Гегель изображаетъ намъ общій характеръ всей римской обра-

зованности, вмѣстѣ взятой, какъ переходъ отъ внутренняго я къ внѣшнему я. Эти черты остались неизгладимыми въ исторіи человѣчества и могущественно подѣйствовали на будущую судьбу міра; если грековъ можно назвать изобрѣтателями *прекраснаго*, то римляне явятся въ нашихъ глазахъ изобрѣтателями *государственности*, и этимъ изобрѣтеніемъ ихъ не переставали еще никогда пользоваться до настоящаго времени. И точно также нынѣ, какъ и въ римскую эпоху, идея государственности, выработанная въ Римѣ, служить поочереды то источникомъ прогресса жизни народовъ, то причиною ея паденія: по отношенію къ прежнему порядку вещей, оріентальному, греческому, эта идея была шагомъ впередъ, какъ эмансипація духа отъ безсодержательной и безпредѣльной абстрактности Востока, и отъ узкой конкретности эллинскаго міра; но, нося на себѣ характеръ освобожденія отъ прошедшаго, римскія идеи сдѣлались оковами для будущности человѣчества.

Объясняя фактами свою общую характеристику римской образованности, Гегель указываетъ далѣе на то обстоятельство, которое поражаетъ насъ въ самомъ началѣ исторіи древняго Рима; всѣ римскіе цари были чужестранцами: Нума былъ сабинянинъ; ему наследуетъ Тулъль, прозванный *Hostilius*, т. е. чужестранецъ; Анкъ-Марцій опять сабинянинъ; Тарквиній Прискъ и его домъ вышли изъ Греціи, изъ Коринѳа. Политическій характеръ и частныя нравы ихъ были направлены къ тому,

чтобы разрушить внутреннее я римлянина: распоряженія Сервія Туллія вызвали къ государственной жизни плебеевъ, и нанесли первый ударъ политическому я патриціевъ; личный характеръ членовъ семейства Тарквинія Гордаго произвелъ вторженіе даже во внутреннюю, домашнюю жизнь; когда цари пали, патриціи старались набросить тѣнь на всѣ прогрессивныя стремленія эпохи Тарквиніевъ, и въ объясненіе ихъ паденія приводили извѣстную легенду о цѣломудренной Лукреціи. Такимъ образомъ, Гегель рассматриваетъ извѣстный и прославленный фактъ изъ исторіи основанія римской республики, какъ выраженіе борьбы философскихъ идей *innerlicher* и *äusserlicher Realität*, т. е. внутренней и внѣшней реальности. Нельзя думать, что философія исторіи Гегеля въ этомъ случаѣ беретъ подъ свое покровительство преступленіе Секста; но Гегель справедливъ, указывая на то, что подобными легендами нельзя объяснять такихъ важныхъ историческихъ переворотовъ, какъ основаніе римской республики; и насиліе, испытанное Лукреціею, точно также мало могло создать вѣковую римскую республику, какъ похищеніе прекрасной Елены — быть единственною причиною троянской войны.

Паденіе царства въ Римѣ, рассматриваемое съ такой точки зрѣнія, не было эрою, положившею предѣлъ какой нибудь эпохи, и таже идея, которая легла въ основаніи римскаго общества при царяхъ, продолжала занимать его и во времена республики:

то, чего домогались цари, т. е. разрушенія внутренняго *я*, въ которомъ заперлись патриціи, тоже сдѣлалось задачею народныхъ трибуновъ. Ровно на половинѣ пути римской исторіи, въ 377 г. до Р. Х. и въ 376 отъ основанія Рима, Лициній Столонъ издаетъ аграрный законъ, поразившій окончательно внутреннее *я* патриціевъ. Въ силу этого закона плебеи получили тоже право собственности, какимъ пользовались до того времени одни патриціи. Гегель, исходя изъ своей точки зрѣнія на развитіе римской исторіи, не соглашается съ тѣмъ объясненіемъ, которое приводитъ Нибуръ, толкуя значеніе аграрныхъ законовъ въ Римѣ. Сообразно съ тѣмъ, Гегель видитъ въ этихъ аграрныхъ законахъ въ одно и то же время и большой историческій прогрессъ, и вмѣстѣ зачатокъ деморализаціи римскаго общества: аграрные законы въ первый разъ внушили толпѣ мысль объ обязанности государства кормить своихъ членовъ и заключились во времена имперіи извѣстнымъ крикомъ: *panem et circenses* т. е. „хлѣба и зрѣлищъ“.

Законы Лицинія Столона заключаютъ такимъ образомъ первый періодъ римской исторіи совершеннымъ торжествомъ внѣшней реальности, и съ того времени Римъ, какъ и Греція, по окончаніи внутренней задачи, ищетъ внѣ себя противорѣчій, къ которымъ и приводятъ его войны съ остатками отжившаго ориентальнаго и греческаго міра. Новый періодъ римской исторіи открывается собственно второю пуни-

ческою войною; до того времени, римляне, по выражению Гегеля, дѣйствовали, какъ мелкіе торговцы; начиная съ второй пунической войны, они являются колоссальными капиталистами. Результатомъ внѣшнихъ войнъ было раздѣленіе римскаго государства на римскихъ гражданъ и побѣжденныхъ; и такъ, Римъ увидѣлъ внутри себя новое противорѣчіе, разрѣшеніе котораго составило, какъ и разрѣшеніе перваго противорѣчія, и всю его славу, и источникъ окончательнаго паденія, посреди котораго явились новыя историческія силы въ лицѣ германской народности.

Къ сожалѣнію, эпоха второй пунической войны оканчиваетъ собою ту часть философіи исторіи Гегеля, которую можно назвать выработанною окончательно. Начиная же съ этой эпохи, чѣмъ болѣе мы приближаемся къ концу его труда, тѣмъ выраженія автора дѣлаются болѣе сжатыми и менѣе опредѣленными; мѣстами Гегель даже ограничивается краткимъ перечнемъ историческихъ событій. Причина того заключалась въ самомъ способѣ его преподаванія. Онъ началъ свой курсъ въ 1822 г. и кончилъ только въ 1831 г., не потому что этотъ годъ былъ послѣднимъ въ его преподавательской дѣятельности и самой жизни, но также и потому что въ $30/31$ г. онъ въ первый разъ довелъ свою философію исторіи до послѣдняго времени. Первые годы, онъ долго останавливался на Востокѣ и Греціи, и каждый годъ расширялъ кругъ своихъ идей, дѣлая общій обзоръ остальнаго. Съ каждымъ годомъ

Онъ спускался все ниже и ниже въ хронологическомъ порядкѣ исторіи; но уже въ послѣднихъ отдѣлахъ римской исторіи видна неполнота и чрезвычайная сжатость, за исключеніемъ того отдѣла, который относился къ христіанству; что же касается до исторіи среднихъ вѣковъ и новаго времени, то этотъ періодъ получилъ нѣсколько болѣе обстоятельное развитіе уже въ самый послѣдній годъ его дѣятельности; но все же его нельзя назвать окончательно обработаннымъ. Со времени пунической войны, Гегель ограничивается краткимъ рассказомъ однихъ событій римской исторіи и ея войнъ до паденія Коринѳа и Карфагена, бывшихъ послѣднимъ оплотомъ древняго міра противъ поглощенія его въ абстрактъ римской республики. Затѣмъ Гегель также кратко характеризуетъ новое состояніе Рима, достигшаго новой противоположности, которая вызвала Римъ на новую дѣятельность; но эта новая дѣятельность, въ силу необходимости, а не по одному честолюбію императоровъ, привела Римъ и вмѣстѣ съ нимъ весь древній міръ къ паденію: Римъ кончилъ тѣмъ, чѣмъ кончила и Греція; онъ задалъ себѣ великую задачу, но не имѣлъ въ своей природѣ другихъ средствъ, кромѣ деспотизма.

Вторичное противорѣчіе, котораго достигъ Римъ, по разрѣшеніи внутренней борьбы патриціевъ съ плебеями, и которое состояло въ пропасти, отдѣлившей побѣдителей и побѣжденныхъ, представляло высшія затрудненія, по многочисленности и сложности интерес-

совъ. Притомъ сами побѣдители распались между собою: явились люди, которые хотѣли отстаивать замкнутость понятій римскаго гражданина; это были патриоты, какъ Катонъ; съ другой стороны, явились другія мнѣнія, представители которыхъ, какъ Гракхи, Марій, Юлій Цезарь, стремились разбить ту замкнутость и впади въ другую крайность, называемую у Гегеля политическимъ партикуларизмомъ. Послѣдніе одержали побѣду, и съ того времени, въ силу того партикуларизма, легіоны принадлежали не республикѣ, но Цезарю, Лукуллу, или Помпею. Какъ ни было узко новое понятіе, но оно представляло болѣе жизни, чѣмъ прежнее абстрактное существованіе въ римской республикѣ: въ легіонахъ того или другого лица, римскіе подданные получали тѣ человѣческія права, въ которыхъ имъ постоянно отказывала республика. Въ этомъ и заключался секретъ торжества партикуларизма. Сообразно съ тѣмъ и самый переворотъ, называемый паденіемъ римской республики состоялъ не въ томъ, что республика прекратилась, но только въ томъ, что она сдѣлалась такъ сказать партикулярною, личною собственностью, и Августъ, возлагая на себя всѣ республиканскія должности, могъ сказать только одно: „римская республика, это — я!“ Гегель обращаетъ при этомъ вниманіе также и на то, что Августъ, въ качествѣ римской республики, старался въ своей частной жизни подражать всей простотѣ республиканскихъ нравовъ, и даже въ одномъ изъ писемъ къ Горацію

скромно упрекалъ его за то, что онъ не посвятилъ ему еще ни одной оды, какъ бы опасаясь, что посвященіе такому ничтожному человѣку можетъ уронить поэта въ глазахъ потомства.

Такимъ образомъ, имперія была успѣхомъ по той задачѣ, которую она взялась разрѣшить, но она не имѣла въ себѣ средствъ къ ея разрѣшенію, и впала въ партикуларизмъ.

„Партикуларизмъ, говоритъ Гегель, въ своей полной необузданности, не имѣетъ никакого внутренняго содержанія, ничего не видитъ ни предъ собою, ни за собою, для него нѣтъ ни сожалѣнія, ни надежды, ни страха, ни мысли. Онъ есть одно желаніе, наслажденіе, страсть, случайность, короче, произволь въ полной безпредѣльности. Въ волѣ другого онъ не видитъ себѣ предѣловъ... И при всемъ томъ, такое господство одного является всеобщимъ порядкомъ, потому что каждый моментъ существованія есть гармонія съ волею одного. Оттого, продолжаетъ Гегель, въ римской имперіи конкретный характеръ императоровъ не представляетъ большого интереса. Въ Римѣ были императоры благороднаго характера и возвышенной души, отличавшіеся превосходнымъ образованіемъ. Титъ, Траянъ, Антонины извѣстны именно какъ такіе характеры, строгіе къ самимъ себѣ, но и они не произвели никакого улучшенія въ государствѣ; они были счастливою случайностью, которая проходила безслѣдно

и оставляла въ томъ видѣ все, въ какомъ было оно прежде“.

Состояніе лица, при господствѣ партикуларизма, идетъ въ уровень съ общимъ государственнымъ бытомъ; въ римской имперіи были всѣ равны: уже послѣ союзнической войны всѣ жители Италіи были сдѣланы римскими гражданами, а при Каракаллѣ даже всѣ подданные имперіи. Но всѣ они были лишены политическихъ правъ, которыя были замѣнены величайшимъ развитіемъ частнаго права, составившаго недосыгаемую славу римской цивилизаціи. Жизнь частнаго человѣка развилась въ Римѣ потому со всѣмъ блескомъ, но этотъ блескъ былъ обманчивъ: „живой государственный организмъ и римское чувство, одушевлявшее его прежде, по словамъ Гегеля, было сведено на мертвенное частное право“. Такимъ образомъ, съ Римомъ случилось то же, что бываетъ съ физическими тѣлами, послѣ ихъ смерти: „Подобно тому, замѣчаетъ Гегель, какъ, когда физическое тѣло начинаетъ гнить, каждый его атомъ получаетъ свою отдѣльную *частную* жизнь; но эта частная жизнь, не смотря на свой оживленный характеръ, есть не больше, какъ жизнь замогильныхъ червей; точно также государственный организмъ разлагается на атомы лицъ, обладающихъ однимъ частнымъ правомъ“.

И такъ, положеніе двухъ главныхъ моментовъ государственной жизни Рима, въ послѣдней формѣ его существованія было слѣдующее: съ одной стороны

абстрактная власть, возложенная на конкретное лицо, могущество котораго не принадлежало ему, но тому абстракту, которое онъ представлялъ собою; съ другой стороны, абстрактная личность, которая чувствовала себя живою только потому что эта жизнь была дарована ей абстрактнымъ правомъ; такимъ образомъ, дѣйствительной жизни не было ни во власти, ни въ лицѣ; и когда такая власть, безграничная въ своемъ абстрактѣ, и такая личность, правильно выработанная въ частномъ правѣ, столкнулись съ реальною властью предводителя ничтожной германской дружины и съ здоровою личностью германца, онѣ не выдержали борьбы. Борьба, повидимому, была не равна для германской дружины, но на дѣлѣ она была не равна для колоссальной тѣни имперіи, ибо, по мѣткому выраженію Гегеля, *der römische Kaiser herrschte nur, und regierte nicht*, т. е. „римскій императоръ только господствовалъ, но не правилъ“, и въ Римѣ не было ни политической, ни нравственной почвы, на которой могли бы встрѣтиться повелитель и его подданные, не было той связи, при которой жизнь провинціи развивалась бы свободно, содѣйствуя тѣмъ общей жизни государства, и чтобы жизнь государственная дѣлала успѣхъ, не раздавливая тѣмъ жизни мѣстной.

Такое состояніе лица и государства могущественно отразилось даже на самыхъ высшихъ сферахъ дѣятельности человѣческой мысли, и такому положенію лица и государства должна была соответствовать извѣстная

философія. При отсутствіи политической жизни, человекъ всегда дѣлается равнодушнымъ къ дѣйствительности и создаетъ себѣ искусственный міръ или въ области мысли, или въ области чувства, предаваясь вполнѣ или уединенію, или разгулу чувственныхъ наслажденій, смотря по личному темпераменту. Такимъ образомъ, человекъ или совершенно удаляется отъ физическаго міра, или дѣлается его рабомъ. Во времена имперіи, всякій унижался передъ высшимъ себя, чтобы этимъ получить средства къ наслажденію, и потомъ, чтобы искупить свое униженіе минуты, избиралъ средствомъ для своихъ цѣлей все, что стояло ниже его. Эпиктетъ выразилъ превосходно современное ему настроеніе общественнаго духа въ разговорѣ съ вельможею имперіи: „Ты, ничтожный философъ, говорилъ мнѣ знатный вельможа — такъ пишетъ Эпиктетъ — ты, который думалъ быть свободнымъ и независимымъ, какъ ты смѣешь называть рабомъ меня, предки котораго были свободны, меня, сенатора, который былъ консуломъ, и теперь считается любимцемъ императора?—Великій сенаторъ, отвѣчалъ я, докажи мнѣ, что твои предки не были въ такомъ же рабствѣ; конечно, я согласенъ, твои предки были по крайней мѣрѣ великодушнѣе, а ты — трусъ, робкій интриганъ; они были воздержны, а ты живешь въ отвратительномъ развратѣ.—Но развѣ все это вредитъ свободѣ?—Весьма много; развѣ тотъ свободенъ, кто дѣлаетъ не то, что онъ хочетъ.—Но я дѣлаю все, что я хочу, и никто не можетъ меня ни

къ чему принудить, кромѣ императора, моего господина, и господина всего міра.— Великій консулъ, ты признался, что ты имѣешь господина; положимъ, что онъ — властелинъ міра; но это представляетъ тебѣ одно утѣшеніе быть рабомъ въ большомъ домѣ и между множествомъ другихъ рабовъ.“

Такъ наполняли пустоту своей жизни одни; другіе искали утѣшенія въ отвлеченной области философіи, гдѣ человѣкъ примирался съ искусственною дѣйствительностью, но тѣмъ не менѣе чувствовалъ весь гнетъ практической дѣйствительности. И ни одинъ Эпиктетъ, вольноотпущенникъ, но и такія лица, какъ Маркъ-Аврелій, сознавали себя вмѣстѣ съ рабами въ какомъ-то тяжеломъ подчиненіи. Однимъ словомъ, философія того времени, мысль въ своихъ высшихъ сферахъ, дѣлала предметомъ своихъ изслѣдованій сама себя, и потому опять примиралась только съ собою.

Это отсутствіе дѣйствительной силы и во власти и въ личности было причиною паденія имперіи; потому и будущее принадлежало тому, кто и въ теоріи и въ практикѣ осуществилъ бы личную свободу, и такимъ образомъ искупилъ бы недѣлимое. Таково значеніе христіанства и германской образованности: они сдѣлали и то, и другое.

Мы опускаемъ въ анализѣ, приводимомъ у Гегеля для христіанства, всю ту часть, которая относится къ объясненію его догматовъ, какъ-то: объ откровеніи, грѣхпаденіи, искупленіи, чудесахъ и т. п. Мы огра-

ничимся въ этомъ анализѣ только тѣмъ, что относится къ христіанству, разсматриваемому по отношенію его къ политическимъ судьбамъ міра. Христіанство поставило идеаль для нашей жизни не только за гробомъ, но и здѣсь на землѣ дало практическій образецъ возможности соединенія людей въ одно цѣлое. Таково значеніе церкви; вся ея сущность выражена глубокими чертами въ Нагорной проповѣди: „Блаженны чистые сердцемъ;“ чистота сердца кладется въ основу общественной жизни; кому принадлежитъ хотя частица на этой почвѣ общественнаго поля, тотъ дѣлается независимымъ и полноправнымъ гражданиномъ міра. Гегель съ любовью останавливается на каждомъ выраженіи Нагорной проповѣди, гдѣ каждое слово есть камень новаго общественнаго зданія; это одно изъ самыхъ высокихъ и вмѣстѣ поэтическихъ мѣстъ въ философіи исторіи Гегеля; философъ какъ бы чувствуетъ, что онъ стоитъ на самой вершинѣ новаго міра. Новое общество, созданное христіанствомъ, не дѣлаетъ никакихъ договоровъ, ни сделокъ съ прошедшимъ: „Оставьте мертвымъ погребать мертвыхъ, и послѣдуйте за Мною“. Гдѣ же прошедшее для этого общества? „Гдѣ Моя мать и гдѣ Мои братья?“ спрашиваетъ новое ученіе и указываетъ на своихъ послѣдователей.

Большаго переворота, заключаетъ Гегель, мы не встрѣчаемъ нигдѣ, какъ только въ христіанствѣ; этотъ переворотъ принимаетъ еще болѣе грандіозный ха-

рактерь при сравненіи христіанскихъ идей съ римскими идеями; христіанство противопоставляетъ языческому колоссу свою древнюю общину, нравственное значеніе которой и сила выразились въ словахъ: „Гдѣ двое или трое соберутся во имя Мое, тамъ и Я посреди ихъ.“ Въ этомъ немногомъ высказался принципъ самый противоположный началамъ всепоглощавшаго древняго Рима. Потому христіанскія идеи не могли найти для себя осуществленія въ умиравшемъ римскомъ обществѣ, и германская цивилизація послужила для нихъ въ этомъ отношеніи болѣе годнымъ орудіемъ, нежели Римъ. Въ доказательство своей мысли, Гегель ссылается на Византію, гдѣ исторія показала, чѣмъ могло бы сдѣлаться христіанство, если бы оно осталось при однихъ силахъ Рима. Византія, сохранившая въ себѣ римскія преданія и римскій характеръ болѣе, нежели то было возможно для самого Рима, была также оживлена христіанствомъ, но это оживленіе выразилось скорѣе въ области абстрактной мысли и слова, нежели дѣла и жизни; а именно, исторія Византіи наполнилась одними словопреніями и спорами о догматахъ. Иногда вопросъ объ одной буквѣ могъ стѣдить жизни цѣлымъ тысячамъ. Гегель въ подтвержденіе своего мнѣнія приводитъ большое мѣсто изъ Григорія Назіанзена, рисующее весьма ярко картину византійскихъ нравовъ: „Византія наполнена ремесленниками и рабами, глубокомысленными теологами, которые проповѣдуютъ въ своихъ мастерскихъ и на улицахъ. Если

ты придешь къ мѣнялѣ размѣнять серебряную монету, то онъ не пропуститъ случая объяснить тебѣ, чѣмъ въ Троицѣ отличается Отецъ отъ Сына; если ты у булочника спросишь, что стодитъ фунтъ хлѣба, онъ тебѣ отвѣтитъ, что Сынъ стоитъ ниже Отца; а на вопросъ, спеченъ ли хлѣбъ? отвѣтитъ, что Сынъ сотворенъ изъ ничего.“ Но за этими спорами о словахъ исчезалъ высокій интересъ христіанскаго ученія, какъ великаго общественнаго и нравственнаго переворота.

Все это приводитъ Гегель въ оправданіе того, что онъ, исключивъ изъ философіи исторіи византійскій міръ, ограничился въ дальнѣйшемъ развитіи абсолютнаго духа судьбою одной западной образованности, которая составляетъ четвертую и послѣднюю часть его курса.

Эта послѣдняя часть анализируетъ послѣдній возрастъ человѣчества, который въ недѣлимомъ составляетъ его старость, а въ исторіи всего человѣчества служить эпохою его полной зрѣлости. Въ эту эпоху, германская народность переработала въ себѣ все, что въ ученіи христіанскомъ было конкретнаго, точно также какъ арабская народность почерпнула изъ того же источника все, что въ немъ было абстрактнаго. Вотъ тотъ общій взглядъ, которымъ Гегель обнимаетъ всю новѣйшую образованность въ ея двухъ главныхъ формахъ. Но, какъ мы замѣтили выше, этотъ отдѣлъ составляетъ послѣднюю часть курса, и потому мы имѣемъ его совершенно въ необработанномъ видѣ

и съ большими пробѣлами: такъ, напримѣръ, о значеніи магометанской образованности говорится вскользь; славянскій міръ также исключенъ Гегелемъ изъ философіи исторіи, какъ міръ, который до сихъ поръ служилъ однимъ историческимъ средствомъ для защиты германскаго міра отъ азіятскаго Востока, матеріальнымъ барьеромъ для образованности. Гегель находитъ, что „вся эта масса (т. е. славянскій міръ) должна быть исключена изъ философіи исторіи именно потому, что она до сихъ поръ не представляла собою ни одного самостоятельнаго момента въ ряду развитія міроваго разума.“ Впрочемъ, Гегель спѣшитъ вслѣдъ за тѣмъ смягчить свой приговоръ замѣчаніемъ, „что до него не касается то, что можетъ быть въ послѣдствіи, потому что исторія занимается только прошедшимъ.“ Итакъ, Гегель говоритъ только мимоходомъ о магометанскомъ мірѣ, потому что для него не предвидится будущаго, и совершенно исключаетъ славянскій міръ, потому что онъ не имѣетъ ничего, кромѣ будущности.

За тѣмъ, остается одинъ германо-христіанскій міръ. Первое и существенное его отличіе отъ всей предыдущей исторіи человѣчества составляетъ особенность самаго его раздѣленія на періоды. До сихъ поръ Гегель находилъ въ исторіи каждой образованности три неизмѣнныхъ періода: періодъ внутренней выработки національныхъ силъ, и затѣмъ два періода внѣшней борьбы: борьба съ прошедшимъ и слава,

борьба съ будущимъ и паденіе. Но германская образованность вступила во внѣшнюю борьбу еще въ первомъ періодѣ, когда развитіе ея внутреннихъ силъ не совершилось, и потому Гегель находитъ себя принужденнымъ раздѣлить исторію германскаго міра на періоды не по отношенію его къ внѣшнему міру, но съ точки зрѣнія тѣхъ внутреннихъ переворотовъ, которые совершились самостоятельно въ самомъ духѣ германской образованности. И вотъ, каковы были важнѣйшіе изъ такихъ внутреннихъ переворотовъ.

Германскій міръ началъ свое историческое существованіе съ того, что принялъ въ себя готовую римскую образованность; христіанство успѣло уже къ тому времени выработаться на соборахъ; языкъ латинскій сдѣлался готовымъ языкомъ литературнымъ и религіознымъ; философія Аристотеля послужила готовою философіею для германцевъ; ихъ короли приняли администрацію и титулы римскіе; такъ что исторія германской образованности въ своемъ началѣ является чисто продолженіемъ римской исторіи. Но, тѣмъ не менѣе, германцы сохранили въ чуждыхъ формахъ національное содержаніе характера, и это-то обстоятельство породило противоположность элементовъ въ исторіи новаго времени, которая выразилась въ двухъ главныхъ формахъ, обнявшихъ собою всѣ проявленія общественной жизни новѣйшей цивилизаціи, а именно *церковь* и *государство*. Церковь олицетворила абсолютную истину, недопуславшую никакого уклоненія и ви-

доизмѣненія, какія могутъ требоваться конкретностью жизни; съ другой стороны, государство выступило представителемъ конечныхъ цѣлей, субъективныхъ видоизмѣненій. Развитие этихъ двухъ противоположностей и въ связи съ ними всѣхъ прочихъ интересовъ общественной жизни, до ихъ примиренія, составляетъ все содержаніе исторіи новаго времени, революціи которой поочередно и взаимнообразно выражались то въ формѣ религіозной, то въ формѣ политической. Сообразно съ тѣмъ, Гегель раздѣляетъ исторію новаго времени на три внутренніе періода.

Первый періодъ обнимаетъ собою обширную эпоху отъ перваго движенія германскихъ народовъ до Карла Великаго; въ этотъ періодъ, германо-христіанскій міръ представляетъ безразличную массу, въ которой церковь и государство являются двумя сторонами одной и той же образованности. Во второмъ періодѣ, эти двѣ стороны развиваются до самостоятельной противоположности: церковь является теократическимъ учрежденіемъ, а государство—феодальной системой. Этотъ періодъ заключается временемъ Карла V и реформации, и только этимъ періодомъ Гегель ограничиваетъ исторію среднихъ вѣковъ. Наконецъ, третій періодъ — наше время отъ XVI стол.; его задача состоитъ въ томъ, чтобы довершить начатое средними вѣками; средніе вѣка выработали формальное мышленіе, но содержаніе ему дали въ первый разъ реформация и послѣдовавшіе политическіе и соціальные перевороты.

Эти три періода, Гегель называетъ тремя царствами: *Отца, Сына и Духа*. Царство Отца представляетъ состояніе одной субстанціи, безразличной массы, движеніе которой ограничивалось простыми пережѣнами; до Карла Великаго, это — вѣкъ Сатурна, который поглощаетъ своихъ дѣтей. Царство Сына, періодъ средневѣковой исторіи, гдѣ божеское и человѣческое находятся въ совершенной противоположности; наконецъ, царство Духа — примиреніе того и другого.

Гегель находитъ еще и другую отличительную черту въ развитіи германо-христіанской образованности: она представляетъ не только четвертую ступень въ общемъ ходѣ образованности человѣчества, но вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ въ ней краткое повтореніе всѣхъ предъидущихъ эпохъ. Вѣкъ до Карла Великаго напоминаетъ въ своихъ массивныхъ данныхъ колоссальныя перевороты изъ древняго быта Китая и Индіи; первый періодъ заключается монархіею Карла Великаго, какъ и исторія Востока заключилась Персидскою монархіею; это было дѣтство европейской образованности. Второй періодъ соотвѣтствуетъ греческой исторіи, по необыкновенному развитію недѣлимаго; средніе вѣка также пластичны, какъ и греческій міръ; вѣкъ „Возрожденія“ былъ вѣкомъ Перикла, и даже имѣлъ своего Сократа въ Лутерѣ. Третій періодъ, то-есть, наше время соотвѣтствуетъ такимъ образомъ римской эпохѣ, ибо единство составляетъ и нашу задачу, но единство основанное не на насиліи одного надъ другимъ, а на го-

сподствѣ самосознательности мысли. Однимъ словомъ, европейская исторія, открывающаяся паденіемъ з. р. имперіи, служитъ буквальнымъ повтореніемъ предшествовавшей ей всемірной исторіи, по всѣмъ ея возрастамъ, но съ тѣмъ различіемъ, что абстрактное и конкретное, понимаемое въ древнемъ мірѣ матеріально, въ Европѣ получаетъ духовное значеніе и такимъ образомъ достигаетъ полного примиренія.

Въ первомъ періодѣ, Гегель ограничивается почти однимъ краткимъ перечнемъ важнѣйшихъ фактовъ, которые выплывали на поверхность хаоса эпохи великаго переселенія народовъ, и опредѣленіемъ духа древней германской образованности, которая представила намъ образецъ индивидуальной личности, поражающей своимъ дикимъ величіемъ. Римскія идеи и христіанскія вызвали въ этой личности стремленіе къ прямо противоположному, а именно, къ государственному порядку, котораго нельзя было достигнуть безъ пожертвованія прежнею личною свободою; и имперія Карла Великаго является стремленіемъ положить предѣлъ необузданной личной свободѣ созданіемъ церкви и государства. „Ядъ ищетъ себѣ противоядія — говорилъ Гизо почти въ одинъ годъ съ Гегелемъ, объясняя происхожденіе Карловой монархіи и быстрое ея паденіе—но въ свою очередь противоядіе дѣлается снова ядомъ: общественная власть давить; давленіе влечетъ за собою безпорядокъ, правда, отличный отъ прежняго, но тѣмъ не менѣе глубокой и невыносимый.“ Замѣча-

тельно, что почти въ томъ же самомъ году Гегель, выходя изъ своей точки зрѣнія на монархію Карла V., и почти въ тѣхъ же выраженіяхъ объясняетъ причину ея паденія. Монархія Карла V., бывшая противоядіемъ въ отношеніи хаоса, господствовавшаго въ западной Европѣ со времени паденія римскаго міра, сдѣлалась сама ядомъ и породила новый хаосъ, правда, отличный отъ прежняго, и какимъ былъ именно феодализмъ. Объединительныя идеи эпохи Карловинговъ вызвали во всѣхъ сферахъ жизни сильную реакцію, которая продолжалась до крестовыхъ походовъ и кончилась торжествомъ національностей надъ притязаніями космополитической имперіи, созданіемъ феодальнаго права, какъ торжества недѣлимой личности, и побѣдою Григорія VII Гильдебранда.

И опять повторяется прежній законъ: торжество антикарловингскихъ идей обратилось въ тираннію, и вызвало реакцію противъ прежней реакціи, но въ иномъ духѣ, на который оказали большое вліяніе крестовые походы. Такимъ образомъ, крестовые походы, служа реакціею противъ феодализма, какъ бы возвратили Европу ко времени Карла Великаго, но возвратили въ иной формѣ, болѣе широкой и гуманной: они не были продуктомъ воли какого нибудь отдѣльнаго, хотя бы и великаго лица, но выходили изъ массъ, воодушевленныхъ одною идеею, и сверхъ того по своему результату должны были произвести на умы людей самое рѣшительное впечатлѣніе. Крестоносецъ, какъ го-

ворить Гегель, шель ко Гробу съ чувствованіями средневѣковаго характера, а именно пластичными; съ ними онъ подходилъ къ самому Гробу; наконецъ, послѣ тяжкихъ усилій и борьбы онъ достигалъ цѣли своихъ желаній, и находилъ Гробъ *пустымъ*. Пластичность его чувствованій была оскорблена тѣмъ, и надъ крестоносцемъ какъ бы вторично прогремѣли слова, которыя нѣкогда поразили слухъ апостоловъ, искавшихъ, подобно крестоносцамъ, Спасителя во Гробѣ, и нашедшихъ Гробъ пустымъ: „Что ищите живого съ мертвыми!“ Тогда крестоносецъ понялъ въ первый разъ, что Палестина не въ Палестинѣ, а въ немъ самомъ, что человекъ въ себѣ носить все то, чего онъ искалъ въ Палестинѣ. Это была первая минута въ исторіи человечества, когда человекъ увидѣлъ себя направленнымъ въ область духа и чистаго самопознанія, когда онъ понялъ, что въ немъ самомъ находится источникъ всего, что до того времени вносилось въ него извнѣ, и было ничѣмъ другимъ, какъ „исканіемъ живого съ мертвыми.“

Чтобы опредѣлить точнѣе состояніе общественнаго духа до крестовыхъ походовъ, Гегель создаетъ новый философскій терминъ, и такимъ образомъ избѣгаетъ необходимости повторять тѣ общія мѣста, которыми обыкновенно характеризуются подобныя эпохи, и которыя собственно весьма мало объясняютъ самое дѣло. Говорятъ обыкновенно, что до крестовыхъ походовъ западная Европа была погружена въ невѣріе, невѣжество и варварство; но этими же выраженіями опре-

дѣляютъ и многія другія эпохи; а потому Гегель старается выразиться точнѣе и указать, въ чемъ видна особенность варварства до крестовой эпохи. Гегель называетъ такое варварство состояніемъ „этости“ т. е. *Diesheit*.

Въ чемъ же состояло подобное состояніе *этости*? Оно выразилось всего нагляднѣе въ религіозномъ настроеніи западнаго общества, потому что изъ всѣхъ реакцій, произведенныхъ противъ Карловингскихъ идей, самая сильная реакція принадлежитъ католической церкви. Католичество объявило себя неизмѣннымъ; для него ничто не могло быть названо прошедшимъ; оно всегда оставалось „этимъ“, какъ нѣчто вѣчно присущее и осязаемое. Всѣ католическія мистеріи направлены къ тому, чтобы поддержать въ обществѣ вѣру въ ея „этость“; отсюда же родились убѣжденія, что всего полезнѣе для души умереть въ Палестинѣ; но высшій примѣръ этости мы видимъ въ тѣхъ случаяхъ, когда изъ Европы начали отправляться цѣлыя флотиліи, чтобы привести въ Европу палестинскую землю, и такимъ образомъ доставить возможность, не ходя въ Палестину, быть погребеннымъ въ Палестинѣ. Крестовые походы нанесли ударъ такой „этости“ религіознаго чувствованія, а потому съ этой эпохи начинается время довѣрія человѣка къ самому себѣ и слѣдовательно самостоятельности.

Все XII и XIII столѣтія были первыми попытками воспользоваться новою самостоятельностью мысли: че-

ловѣкъ даже пришелъ въ восторгъ отъ того открытія, которое онъ сдѣлалъ въ собственной своей природѣ, и потому все движеніе той эпохи носить на себѣ слѣды какой-то чрезвычайной восторженности: примѣромъ тому можетъ служить рыцарство, монашескіе ордена съ своими суровыми обѣтами, нищенствующіе ордена, въ которыхъ человекъ дошелъ до полного презрѣнія ко всему матеріальному. Францискъ-изъ-Ассизъ сдѣлался божествомъ своихъ современниковъ, которыхъ можно было назвать скорѣе францисканами, нежели христіанами; католическая легенда, чтобы не поставить Франциска ни въ какомъ отношеніи ниже Спасителя, изображаетъ его съ язвами на рукахъ и на ногахъ. Въ эту же эпоху являются университеты съ своими схоластическими турнирами мысли, и городскія общины съ своею ежедневною борьбою на площадяхъ; наконецъ, монархія, которая наноситъ самый тяжелый ударъ политической этости феодализма. Мы видѣли, что феодализмъ разрушилъ нѣкогда монархію; но новое торжество монархіи вовсе не было возвращеніемъ къ старому порядку вещей, и только ограниченность нашего языка заставляеть насъ употреблять одинъ и тотъ же терминъ для явленій существенно различныхъ между собою. Въ лицѣ Карловой монархіи феодализмъ разрушилъ послѣдніе отпрыски римскихъ идей, стремившихся къ сліянію всего разнообразнаго въ одно абстрактное цѣлое; напротивъ того, монархія, разрушившая феодализмъ, является съ со-

вершенно иными атрибутами и прямо противоположными цезаризму: новая монархія сдѣлалась знаменемъ національностейъ противъ притязаній римскаго объединенія; поразивъ феодализмъ, она въ то же время неслала на себѣ всѣ слѣды своего феодальнаго происхожденія, а именно въ парламентаризмѣ; римскія идеи продолжаютъ прельщать и новую монархію, но сословія, корпораціи, однимъ словомъ, духъ ассоціаціи, сдерживаютъ монархію въ предѣлахъ новыхъ идей.

Гегель видитъ три формы перехода отъ феодальныхъ идей къ идеямъ народныхъ монархій: 1) или феодальные князья освобождаются отъ ленныхъ притязаній верховнаго сузерена, какъ-то случилось въ Германіи и какъ-то было въ современной Гегелю Италіи; 2) или верховный сузерень уничтожаетъ ленныя привилегіи князей, какъ-то случилось во Франціи; 3) или наконецъ, верховный сузерень и ленные князья сливаются въ одну монархію на основаніи обоюдныхъ трактатовъ и договоровъ, примѣръ чего представляетъ Англія.

Но Гегель и ограничивается такимъ внѣшнимъ очертаніемъ трехъ формъ новѣйшей монархіи; этотъ важный отдѣлъ не доведенъ имъ до полнаго развитія, точно также какъ и другой отдѣлъ о новомъ направленіи наукъ и искусствъ, какъ онъ обнаружился въ Германіи съ происхожденіемъ новѣйшей монархіи. Состояніе этости сдерживало до крестовыхъ походовъ не только успѣхи политическаго быта, но также и

успѣхи интеллектуальные и художественные. Искусство средневѣковое въ особенности носить на себѣ слѣды религіозной этости: кусокъ дерева или камня съ условными атрибутами, говоритъ Гегель, былъ бы священнѣе въ глазахъ средневѣковаго человѣка, нежели мадонна Рафаеля. Паденіе этости вызвало новыя и духовныя условія какъ для искусства, такъ и для наукъ, а потому оно сопровождалось весьма важными открытіями; изъ такихъ открытій особенно замѣчательны два: одно изъ нихъ относится къ прошедшему, а именно западная Европа открыла древній міръ, какимъ онъ былъ на дѣлѣ, и изученіе греко-римской литературы положило начало новому отдѣлу наукъ, которыя получили знаменательное названіе *humaniora*, человѣчныхъ наукъ; другое открытіе относилось къ будущему и включило въ исторію Новый Свѣтъ. Такимъ образомъ человѣкъ въ первый разъ обнялъ все свое бытіе и во времени, и въ пространствѣ.

„Три явленія (новыя искусства, новыя науки и открытія) такъ называемаго возрожденія наукъ, эпохи процвѣтанія искусствъ, открытія Америки и морского пути въ Индію, говоритъ Гегель, могутъ быть сравнены съ *утреннею зарею*, которая, послѣ продолжительной бури, въ первый разъ возвѣщаетъ снова о наступленіи прекраснаго дня. Этотъ день есть день обобщенія; онъ проглянулъ послѣ длинной, богатой своими послѣдствіями и страшной ночи; это день, ко-

торый обозначилъ себя науками, искусствами, то-есть всѣмъ, что есть высокаго и благороднаго, что духъ человѣчества, освобожденный христіанствомъ и искупленный церковью, считаетъ своимъ вѣчнымъ и истиннымъ содержаніемъ.“

Третій періодъ четвертаго и послѣдняго возраста въ развитіи человѣчества, названный у Гегеля *царствомъ духа*, а именно три съ половиною послѣднія столѣтія новой исторіи, составляетъ заключеніе курса. Но мы уже замѣтили выше, что Гегель не имѣлъ времени окончательно обработать конецъ своего курса, и потому послѣдній и вмѣстѣ самый важный періодъ, какъ современный намъ, дошелъ до насъ въ видѣ краткаго и весьма неполнаго очерка. Третій періодъ, переживаемый нами въ настоящее время, раздѣляется у Гегеля на три эпохи: 1) реформаціонная эпоха, 2) эпоха примѣненія идей реформаціи къ государственной и общественной жизни до конца прошедшаго столѣтія, и 3) эпоха революціи.

Реформацію представляютъ результатомъ испорченности нравовъ католическаго духовенства, и потому цѣлью ея является возстановленіе нравственности. Гегель, считая такую причину поверхностною, старается подняться къ тому принципу, который до реформаціи лежалъ въ основѣ общественной жизни западныхъ народовъ и послужилъ источникомъ испорченности нравовъ. Мы видѣли, что *этотъ* была именно тѣмъ принципомъ, на которомъ средневѣковое като-

лическое духовенство строило всякую нравственность, и результатомъ чего было суевѣріе, любовь къ чудесному. Такого рода нравственность должна была придать духу всего католичества матеріальный, чувственный характеръ, и слѣдовательно совмѣщала въ себѣ рѣзкое противорѣчіе, которое рано или поздно возбудить въ духѣ стремленія сбросить съ себя наложенную на него матеріальность. Самымъ высшимъ выраженіемъ такой матеріальности духа католичества были индульгенціи; дѣло внутренняго примиренія человѣка съ самимъ собою при помощи церкви обратилось въ самую матеріальную спекуляцію. Правда, этой спекуляціи, т. е. продажѣ отпущенія грѣховъ, была поставлена высокая цѣль, а именно построеніе собора св. Петра въ Римѣ, но и она носила на себѣ весь характеръ средневѣковой эстости и была чисто-матеріальною, говорила одному физическому глазу. Гегель сравниваетъ мимоходомъ построеніе собора св. Петра папскою гегемоніею съ построеніемъ Парѣнона, олицетворявшаго въ себѣ политическую гегемонію Аѣинъ; оба эти зданія были выстроены на одинаковыя средства, оба имѣли одинаковое значеніе. Соборъ св. Петра отстроился на счетъ религіознаго суевѣрія; Парѣнонъ на счетъ политическаго суевѣрія аѣинскихъ союзниковъ; Аѣины кончили Парѣнономъ исторію своего могущества; соборъ св. Петра остается надгробнымъ памятникомъ павшаго величія католичества.

Такимъ образомъ, главная задача реформаціи, господ-

ствовавшая надъ другими, состояла въ томъ, чтобы разрушить матеріальную духовность среднихъ вѣковъ въ лицѣ главныхъ ея представителей. Но, замѣчаетъ Гегель, по собственному характеру германской народности, она нашла себѣ полное развитіе въ одной Германіи; другія западныя національности, при своей пластичности, стремились выйти изъ средневѣковой эстости болѣе внѣшнимъ образомъ; и потому въ результатѣ ихъ было открытіе пути въ Индію и Новаго Свѣта. Въ Германіи человѣкъ углубился въ самого себя и сдѣлалъ открытіе въ области духа; реформація и была такимъ открытіемъ новаго свѣта въ царствѣ духовномъ; Колумбомъ его былъ Лутеръ. Лутеръ напалъ не на самую сущность католической вѣры, но на одну ея матеріальную оболочку. Эта вѣра состояла въ томъ, что она подчиняла самыя возвышенныя вопросы нашей духовной природы вѣрованію въ дѣйствительность той или другой матеріальности; по идеѣ католичества, какъ выражается Гегель, „если бы оказалось что израильтяне не прошли по морю, какъ по суху, если бы стѣны Іерихона не развалились отъ трубнаго звука, какъ разрушаются крѣпости отъ нашихъ пушекъ, тогда наше познаніе о божествѣ будетъ менѣе полно“. Но Гегель сознается, что въ ученіи Лутера есть еще много католическаго, и потому неудивительно, „если оно, вытѣснивъ древнюю ортодоксію, явилось впослѣдствіи само новою ортодоксією“. Однако при всемъ томъ лютеранизмъ сдѣлалъ рѣшительный шагъ

впередъ, уничтоживъ рѣзкое различіе между свѣтскимъ и духовнымъ сословіями, и допустивъ, что церковь построена въ сердце каждаго человѣка, и что не внѣ человѣка, но внутри его лежитъ истинное примиреніе человѣческаго съ божескимъ.

Такимъ указаніемъ на это особенное значеніе реформаціи и ограничивается Гегель; все остальное затѣмъ въ его разсужденіи распадается на частные вопросы, вызываемые по поводу реформаціи тою или другою ея стороною; эти вопросы не имѣютъ почти никакой связи между собою, и по всему видно, что философъ предоставлялъ себѣ впоследствии доразвить ихъ окончательно. Такъ, Гегель дѣлаетъ сначала эпизодъ о значеніи перевода Библии, и настаиваетъ на томъ, что это—единственная до сихъ поръ книга, которая вполне пригодна для народнаго чтенія. Затѣмъ онъ внезапно переходитъ къ разсмотрѣнію значенія Тридентскаго собора, который былъ чѣмъ-то въ родѣ реформаціи католичества, но такой реформаціи, которая заранѣе сказала себѣ *non plus ultra*, и ограничилась искорененіемъ того, что причиняло стыдъ католичеству, не прибѣгая къ радикальному измѣненію началъ, служившихъ вѣчнымъ источникомъ зла. Тридентскій соборъ явился какъ бы для подтвержденія того взгляда Гегеля, что въ реформаціи дѣло шло болѣе нежели о нравахъ духовенства. Отъ Тридентскаго собора Гегель обращается внезапно къ вопросу: отчего реформація ограничилась только нѣкоторыми западными

народностями, и именно чисто-германскаго происхожденія: Германією, Англією и Скандинавією? Романскія и славянскія національности не поддались духу реформаціи. Гегель объясняетъ это явленіе тѣмъ, что славяне не приняли участія въ реформаціонномъ движеніи по своему исключительно земледѣльческому состоянію, которое сильно привязываетъ человѣка къ почвѣ и дѣлаетъ для него мало интересными отвлеченные вопросы. Но всѣ эти положенія Гегеля выражены слишкомъ обще; философу конечно была извѣстна роль чешскихъ славянъ въ реформаціи, но онъ умалчиваетъ о томъ, и точно также не объясняетъ обстоятельнымъ образомъ, почему въ южной Германіи, не смотря на ея національность, реформація не сдѣлала ни малѣйшаго успѣха. Уклоненіе отъ реформаціи романскихъ народностей Гегель приписываетъ особенному ихъ качеству, которое всегда располагаетъ жителей юга къ тому, что говоритъ внѣшнему чувству, а потому, замѣчаетъ Гегель, даже самый образованный французъ всегда будетъ считать протестантизмъ тѣмъ-то печальнымъ, педантскимъ, мелочною моралью; въ религіи есть много труда для духа и мысли; между тѣмъ католическая месса и другіе обряды говорятъ глазамъ, слуху, избавляютъ отъ необходимости думать, и даже дозволяютъ въ церкви болтать, при чемъ то, что считается существеннымъ, то-есть физическое присутствіе въ храмѣ, оказывается выполненнымъ.

Такимъ образомъ Гегель излагаетъ эпизодически

свои взгляды на различныя стороны реформациі, болѣе въ формѣ замѣтокъ, нежели систематическаго изслѣдованія. Въ заключеніе первой эпохи онъ говоритъ о вліяніи реформациі на государственный бытъ, утратившій свой средневѣковый характеръ, и на общее состояніе умовъ въ обоихъ мірахъ, и въ католическомъ и протестантскомъ.

Послѣднее обстоятельство служить у Гегеля новымъ доказательствомъ, что въ злоупотребленіяхъ играетъ роль не одно честолюбіе и корыстолюбіе людей: ихъ источникомъ служить также и извѣстный общественный градусъ цивилизаціи; а потому реформациа и въ самой реформѣ принуждена была сохранить печать стараго времени. Когда протестантизмъ разрушилъ вѣру въ индульгенціи, и продажа ихъ была уничтожена, оказалось, что легче истребить форму злоупотребленія, нежели измѣнить общественный духъ, служившій ихъ источникомъ. Общество начало искать другого исхода тому нравственному настроенію, которымъ обуславливалась возможность существованія индульгенцій. Прежде человекъ хотѣлъ за деньги купить блаженство; въ XVI столѣтіи обратились къ злему духу, чтобы купить у него цѣною души все блаженство земныхъ наслажденій. Злой духъ подмѣнилъ собою католическаго монаха; олицетвореніемъ такой новой жажды общества XVI столѣтія явился Фаустъ и Мефистофель; но въ дѣйствительной жизни она вызвала

даже и въ протестантизмѣ безобразное господство колдуній, и еще болѣе безобразное преслѣдованіе ихъ.

Вторая эпоха, а именно эпоха развитія государственности подѣ влияніемъ реформаціонныхъ идей, рассмотрѣна Гегелемъ еще въ болѣе общихъ чертахъ. Философъ имѣеть въ виду главнымъ образомъ свое отечество, Германію, и старается прославить Пруссію и вѣкъ Фридриха II. До появленія Пруссіи въ системѣ первоклассныхъ европейскихъ государствъ, реформація была отвлеченною силою; въ Пруссіи наконецъ, она приобрѣла матеріальную руку, и Фридрихъ II является героемъ протестантизма. Патріотизмъ берлинскаго философа слишкомъ очевиденъ; онъ заботился даже о томъ, чтобы сдѣлать Семилѣтнюю войну войною чисто-религіозною, между тѣмъ какъ какъ ее можно назвать религіозною на столько, на сколько Фридрихъ II былъ ортодоксальнымъ протестантомъ.

Отъ реформаціи и дальнѣйшаго развитія ея идей въ государственной области, Гегель переходитъ къ третьей эпохѣ, которую переживаемъ мы въ настоящее время, и направленіе которой было опредѣлено большою французскою революціею. Реформація, говоритъ Гегель, была одною чистою дѣятельностью внутренняго человѣка, абстрактомъ его духа, и потому она развила процессъ мысленія (*das Denken*), какъ оправданіе разума въ немъ самомъ и внѣ его, въ окружающей природѣ, которая имѣеть своимъ основаніемъ тотъ же разумъ. Вслѣдствіе того результатомъ

реформація для Германіи была эпоха такъ называемаго „просвѣщенія“ (Aufklärung). Но это „просвѣщеніе“, ограничиваясь однимъ процессомъ мышленія, выставило одни формально-абсолютные принципы — „последній стадій исторіи, стадій нашего міра, нашихъ дней“. А потому реформація, заключаетъ Гегель, и добытые ею формально-абсолютные принципы, остались у нѣмцевъ невозмутимою теоріею (ruhige Theorie). Романскіе народы, изъ которыхъ философъ указываетъ именно на французовъ, пожелали осуществить эту теорію на практикѣ. Причина такого явленія заключалась не только въ томъ, что, какъ говорится, французы имѣютъ горячую голову (ils ont la tête près du bonnet); эта причина лежитъ гораздо глубже, а именно: какъ ни абстрактно было примиреніе внѣшняго и внутренняго чловѣка подѣ влияніемъ реформаціи, но въ земляхъ протестантскихъ уменьшилось противорѣчіе грубой дѣйствительности и мыслимаго идеала, а потому радикальный переворотъ въ Германіи былъ такъ необходимъ, какъ во Франціи.

При самомъ изслѣдованіи развитія французской революціи, Гегель обращаетъ вниманіе на два момента: 1) ходъ революціи въ самой Франціи, и 2) ея всемірно-историческое значеніе. Относительно перваго предмета, обыкновенно поставлялись абстрактно-философскія основы, замѣчаетъ Гегель, и не обращалось никакого вниманія на религію и состояніе общественнаго убѣжденія (Gesinnung) относительно этого пред-

мета, которое составляет одинъ изъ главныхъ элементовъ всякаго живого государственнаго организма. Католическая религія, стремясь стать выше всякаго государственнаго обобщенія, потому самому дѣлала революцію неизбѣжною и напередъ опредѣлила ея ходъ. „При этомъ должно на отрѣзъ сказать, какъ говоритъ Гегель, что при католической религіи невозможно никакое разумное государственное устройство.“ Затѣмъ философъ дѣлаетъ краткій фактическій обзоръ хода французской революціи, съ точки зрѣнія права и религіозныхъ идей, и въ заключеніе курса своей философіи исторіи останавливается на изслѣдованіи значенія французской революціи въ общемъ ходѣ исторіи человѣчества.

Этотъ послѣдній отдѣлъ, при своей краткости и вмѣстѣ чрезвычайной важности самого предмета, можетъ быть приведенъ нами цѣликомъ.

„Намъ предстоитъ теперь, говоритъ Гегель, разсмотрѣть французскую революцію, какъ *всемирно-историческое* событіе, и по своему содержанію оно дѣйствительно было такимъ событіемъ; въ ней рѣшилась окончательно борьба съ феодализмомъ. Относительно внѣшняго распространенія ея, замѣтимъ, что почти всѣ новѣйшія государства путемъ завоеванія были открыты одному и тому же принципу, или этотъ принципъ былъ введенъ туда силою; либерализмъ овладѣлъ всеми романскими народностями, а именно составляющими римско-католическій міръ — Францію, Италію, Испанію.

Но онъ обанкрутился повсюду: сначала пала главная его фирма во Франціи, потомъ въ Испаніи и въ Италиі; и притомъ по два раза въ тѣхъ государствахъ, гдѣ онъ былъ введенъ насильственно. Такъ было въ Испаніи, въ первый разъ вслѣдствіе наполеоновской конституціи, потомъ вслѣдствіе учрежденія кортесовъ; въ Піемонтѣ, когда сначала онъ былъ присоединенъ къ Франціи, а потомъ вслѣдствіе внутренняго возстанія; то же случилось дважды въ Римѣ, въ Неаполѣ. Абстрактъ либерализма изъ Франціи обошелъ кругомъ весь римскій міръ, но этотъ міръ вслѣдствіе религіознаго рабства остался прикованнымъ къ политическому подчиненію. Ибо несправедливо полагаютъ, что узы права и свободы могутъ быть расторгнуты безъ освобожденія совѣсти, что революція возможна безъ реформаціи. Такимъ образомъ, всѣ эти страны погрузились въ свое прежнее состояніе, и только въ Италиі произошли нѣкоторыя видоизмѣненія въ ея внѣшнемъ политическомъ бытѣ. Венеція, Генуя, эти два древнихъ аристократическихъ государства, которыя были по крайней мѣрѣ легитимистическими, исчезли, какъ заржавѣвшій деспотизмъ. Внѣшнее насиліе не могло привести къ продолжительнымъ результатамъ: Наполеону также мало удалось принудить Испанію къ свободѣ, какъ Филиппу II не удалось подчинить рабству Голландію.

„Другія народности и особенно протестантскія представили противоположное народамъ романскимъ. Аѳ-

стрія и *Англія* остались внѣ круга внутренняго движенія, и дали собою великій и огромный примѣръ твердости. *Австрія* не есть королевство, но имперія, т. е. агрегатъ различныхъ многихъ государственныхъ организмовъ. Главнѣйшія ея земли не германскаго характера, и до нихъ не коснулись идеи. Ея подданные, не будучи возвышены ни образованіемъ, ни религіею, отчасти остаются въ крѣпостномъ состояніи, а магнаты угнетены, какъ въ Богеміи; отчасти же, какъ въ Венгріи, утвердилась свобода бароновъ, при томъ же униженномъ состояніи подданныхъ. Австрія, вслѣдствіе принятія императорскаго достоинства, перестала быть въ тѣсномъ соединеніи съ Германіею и отказалась отъ многихъ владѣній и правъ въ Германіи и Нидерландахъ. Она сдѣлалась съ тѣхъ поръ политическою державою въ Европѣ сама для себя. — *Англія* также вслѣдствіе величайшихъ усилій сохранила свои старыя основы; англійское *устройство* устояло при всеобщемъ потрясеніи, хотя, при ея публичномъ парламентѣ, при привычкѣ къ общественнымъ собраніямъ всѣхъ сословій, при свободѣ печати, ей было гораздо легче пропустить во всѣ классы народа французскія начала свободы и равенства. Можно ли утверждать, что англійская нація была тупа въ своемъ развитіи для того, чтобы воспринять общія начала? Но ни въ какой странѣ такъ публично не разсуждали и не обсуждали вопросовъ о свободѣ. — Или, быть можетъ, англійскія учрежденія были до того свободны, и тѣ

общія начала нашли себѣ такое въ нихъ осуществленіе, что они не вызвали никакой оппозиціи и даже утратили всякій интересъ? Англійская нація, конечно, одобрила освобожденіе Франціи, но она была горда своими учрежденіями и своею свободою, и потому даже стала скоро въ привычное ей враждебное отношеніе къ Франціи и вступила съ нею въ популярную войну.

„Англійскія учрежденія сложились исключительно изъ *партикулярныхъ* правъ и особенныхъ привилегій: правительство въ сущности только управляетъ, то есть, наблюдаетъ за сохраненіемъ интересовъ особенныхъ сословій и классовъ; и всѣ эти особенные приходы, общины, графства, общества заботятся сами о себѣ, такъ что, собственно говоря, нигдѣ нѣтъ такъ мало заботы для правительства, какъ въ Англии. Въ этомъ-то главнымъ образомъ и состоитъ то, что англичане называютъ своею свободою, и что служитъ противоположностью централизованнаго управленія, которое мы видимъ во Франціи, гдѣ, до послѣдней деревни, мэръ назначается министерствомъ или его подчиненными. Нигдѣ не допущено меньше, какъ во Франціи, чтобы другой могъ что нибудь сдѣлать: министерство соединяетъ тамъ всю власть по управленію, на которую опять дѣлаетъ притязаніе палата депутатовъ. Въ Англии, напротивъ, каждая община, каждый незначительный кружокъ и ассоціація, завѣдываютъ своими дѣлами. Такимъ образомъ, обобщен-

ный интересъ тамъ остается конкретнымъ, и все партикулярное сознается и дѣлается желательнымъ. Подобное устройство партикулярнаго интереса не допускаетъ никакой всеобщей системы; а потому абстрактные и общіе принципы не говорятъ англичанину ничего и проходятъ мимо его ушей. — Эти партикулярные интересы имѣютъ свое положительное право, которое вытекаетъ изъ стараго времени феодальнаго права и удерживается въ Англии болѣе нежели въ какой либо другой странѣ. Это положительное право, по своей величайшей непослѣдовательности, есть вмѣстѣ величайшая неправда, и нигдѣ не можетъ быть такъ мало рѣчи объ учрежденіяхъ дѣйствительно свободныхъ, какъ въ Англии. Въ отношеніи частнаго права, свободы собственности, англичане отстали удивительнымъ образомъ: стоитъ вспомнить о майоратѣ, при чемъ младшіе сыновья покупаютъ или достаютъ себѣ мѣста въ военной службѣ или въ духовномъ званіи.

„Парламентъ управляетъ, если бы англичане даже не обращали вниманія на то. При этомъ слѣдуетъ однако замѣтить, что въ парламентской жизни Англии является именно то обстоятельство, которое во всѣ времена принималось за знакъ испорченности республиканскаго народа: выборы въ парламентъ сопровождаются подкупомъ. Но у нихъ право покупать голоса и покупать мѣсто въ парламентѣ считается свободою. — Но это непослѣдовательное и извращенное состояніе дѣль

имѣть однако то преимущество, что на немъ основывается возможность правительства, т. е., образуется въ парламентѣ большинство людей, людей государственныхъ, которые съ молодыхъ лѣтъ были посвящены въ государственныя дѣла, работали надъ ними и жили въ ихъ атмосферѣ. И народъ имѣетъ на столько здраваго смысла и разсудка, чтобы признавать необходимость правительства и съ этою цѣлью питать довѣріе къ собранію людей, которые опытны въ дѣлѣ управленія государствомъ; чувство партикуларизма признаетъ также общую партикуларность знанія, опыта, ловкости, которыми обладаетъ аристократія, исключительно посвященная такого рода интересамъ. Все это стоитъ въ прямомъ противорѣчій со смысломъ принциповъ и отвлеченности, которыя доступны каждому и встрѣчаются во всѣхъ конституціяхъ и хартіяхъ. — Это еще вопросъ, на сколько будетъ возможно правительство, при предложенной нынѣ (т. е. около 1830 г.) реформѣ, если только она будетъ послѣдовательно проведена.

„Матеріальное существованіе Англіи основано на торговлѣ и промышленности, и англичане взяли на себя великую работу быть миссіонерами цивилизаціи во всемъ мірѣ; торговый духъ побуждаетъ ихъ изслѣдовать всѣ моря и всѣ земли, завязать сношенія со всѣми варварскими народами, разбудить у нихъ потребности и промыслы, и прежде всего наложить на нихъ условія необходимыя для сношеній, а именно

истребленіе насилія, уваженіе къ собственности и гостепріимство.

„Германію“ прошли изъ одного конца въ другой побѣдоносныя французскія войска, но нѣмецкая національность свергла съ себя это иго. Главное явленіе въ Германіи составили законы права, которымъ поводъ подало конечно французское завоеваніе, обнаружившее недостаточность прежнихъ учрежденій. Дожь существованія какого-то единого государства совершенно исчезла. Оно распалось на множество верховныхъ государствъ. Ленныя связи рупились, такъ какъ начала свободы собственности и лица сдѣлались главными началами. Каждый гражданинъ получилъ доступъ къ государственнымъ должностямъ, но умѣнье и пригодность явились необходимыми условіями. Правительство покоится на чиновническомъ мірѣ (*ruht in der Beamtenwelt*), и личное выраженіе воли монарха стоитъ надъ всѣмъ, а такое послѣднее выраженіе воли, какъ было замѣчено выше, необходимо. Конечно, при прочномъ законодательствѣ и опредѣленной организаціи государства, то, что предоставляется личному выраженію воли монарха, составляетъ маловажную часть, по отношенію къ сущности дѣла. Конечно, должно считать большимъ счастіемъ; если какому нибудь народу достается благородный монархъ; но въ великомъ государствѣ и это обстоятельство уменьшаетъ свое значеніе, ибо такое государство сильно своимъ разумомъ. Малыя государства болѣе или менѣе обезпечены

относительно своего существованія и спокойствія; они собственно не самостоятельныя государства, и не имѣютъ надобности подвергаться случайностямъ войны. Принимать участіе въ управленіи страной, какъ было сказано, можетъ всякій, кто обладаетъ къ тому познаніями, опытомъ и нравственною волею. Править должны знающіе, *oi áristoi*, а не невѣжество и не тщеславіе моего „лучше знаю“ (*Eitelkeit des Besserwissens*). Что же касается до общественнаго мнѣнія, то было уже высказано, что протестантскія войны привели религію къ примиренію съ правомъ. Нѣтъ такого святого и такого религіознаго убѣжденія, которое могло бы отдѣлиться отъ свѣтскаго права или даже быть ему совершенно противоположно“.

Читатель замѣтитъ самъ, безъ всякаго указанія, что вся послѣдняя часть курса философіи исторіи Гегеля, и въ особенности послѣдній періодъ новѣйшей исторіи остались далеко не обработанными; самое заключеніе ограничивается почти отрывочными замѣтками, не всегда связанными другъ съ другомъ, подобно канвѣ, которая подготовлялась для будущаго. Смерть Гегеля во время холеры 1831 года, остановила дальнѣйшую разработку этой канвы, и его трудъ остался недоконченнымъ. Но быть можетъ именно это обстоятельство и дало средство вѣрно оцѣнить внутреннее достоинство философіи исторіи Гегеля и указать главныя ея недостатки. Первая заслуга историко-философской системы берлинскаго философа со-

стоитъ конечно въ томъ, что онъ первый съ такою строгою послѣдовательностью примѣнилъ законы абстрактной *логики* къ законамъ историческаго развитія челоуѣчества. Онъ указалъ новый и весьма важный путь для философа исторіи, какъ то сдѣлалъ и Вико, заговоривъ въ первый разъ о природѣ *общей* всѣмъ народамъ. Въ дальнѣйшемъ можно ожидать большихъ результатовъ для философіи исторіи отъ системы Гегеля, какъ и система Вико въ свое время принесла весьма важные плоды. Но, какъ Вико, Гегель слишкомъ очевидно отдалъ свою систему на службу современнымъ ему интересамъ, которые занимали его общество и были его преходящею потребностью. Такимъ образомъ, при оцѣнкѣ философіи исторіи Гегеля, необходимо строго отличать достоинство чистыхъ и абсолютныхъ ея началъ и практическое примѣненіе этихъ абсолютныхъ началъ для достиженія цѣлей весьма не абсолютныхъ. Его соотечественникъ и биографъ Гаймъ*), упустивъ изъ виду это обстоятельство, произнесъ слишкомъ строгій, хотя не лишенный правды, приговоръ, объявляя, что „гегелевская философія не имѣетъ собственно будущности: абсолютный духъ, пройдя чрезъ историческую жизнь Востока, грековъ и римлянъ, трудился въ своемъ развитіи только для того, чтобы обратиться въ „германскую имперію“. Въ этой имперіи онъ достигъ своей

*) *Наум*, Hegel und seine Zeit. Berl. 1857, стр. 448.

высочайшей цѣли и сознанія о своемъ собственномъ существѣ и о своемъ собственномъ содержаніи. На зло всему историческому, благополучіе теоріи Гегеля совпало съ утомленіемъ Реставраціи (т. е. времени, послѣдовавшему за Вѣнскимъ конгрессомъ)*. И именно такую-то философію реставраціи является философія исторіи Гегеля, стремясь оправдать логикою современной ему порядокъ вещей. Въ этомъ отношеніи, теорія Гегеля, съ точки зрѣнія своего содержанія, дѣйствительно не имѣетъ будущности: она вступила на службу временному явленію, реставраціи, и приняла ее за цѣль развитія абсолютнаго духа въ исторіи, а потому достаточно было нѣсколькихъ дней іюльской революціи, чтобы показать всю тщету практической стороны философии Гегеля. Она прошла вмѣстѣ съ своимъ временемъ, и о ней справедливо можно сказать словами самого же Гегеля, приведенными нами выше, гдѣ мы представили взглядъ самого философа вообще на практическое значеніе философскихъ системъ: „философія, говоритъ Гегель, часто опаздываетъ быть нашею учительницею“*). Причина того понятна: становясь выше жизни, она тѣмъ не менѣе учится у жизни. Но въ философскомъ ученіи важно не одно его практическое значеніе; и философія исторіи Гегеля можетъ быть именно разсматриваема, какъ новый методъ, новый приѣмъ, новое орудіе мысли.

*) См. выше, на стр. 399.

Было бы несправедливо отвергать значеніе всякаго новоизобрѣтеннаго орудія только потому, что первое его примѣненіе къ дѣлу даже самимъ изобрѣтателемъ было неудачно и почти не одобрительно. Точно также будетъ еще большею несправедливостью не признавать великаго значенія системы Гегеля только потому, что самъ же философъ въ своемъ примѣненіи ея къ дѣйствительности свелъ ее на печальную философію реставраціи. Введеніе въ философію исторіи логическихъ началъ останется надолго весьма важнымъ моментомъ въ общихъ судьбахъ этой науки; послѣ Гегеля метафизическая школа исторіи, можно сказать, не сдѣлала ни одного шага впередъ, ожидая для себя новаго генія. Но новый геній долженъ будетъ ждать новой почвы, когда въ общественномъ умѣ явится къ тому болѣе благопріятный строй, когда пытливый духъ преобладающаго нынѣ реальнаго направленія наукъ накопитъ такое богатство фактовъ и наблюденій, что явится новая возможность приступить къ болѣе вѣрному ихъ обобщенію и открыть дорогу болѣе надежнымъ метафизическимъ воззрѣніямъ.

Такимъ образомъ, мы заключаемъ нашъ трудъ тою же мыслью, которую мы высказали въ самомъ началѣ его: идеальная философія исторіи, пригодная для всѣхъ временъ и народовъ, не мыслима, какъ не мыслимо такое идеальное развитіе общественнаго разума, для котораго не оставалось бы сдѣлать никакого новаго шага впередъ; каждое время имѣетъ свою фи-

лософію исторіи, свой способъ объединять прошедшее и въ настоящемъ приискивать тѣ цѣли, для которыхъ будто бы жило и умерло это прошедшее. А потому мы не должны никогда забывать, что, философствуя въ исторіи, мы не столько являемся судьями прошедшаго, сколько подготавливаемъ матеріалы для суда надъ нашимъ собственнымъ интеллектуальнымъ развитіемъ и надъ нашею нравственною зрѣлостью. Такіе наши приговоры въ рукахъ грядущихъ поколѣній послужатъ имъ основаніемъ для произнесенія приговора надъ нами.

КОНЕЦЪ.



Съ наступающаго 1866 г. начнетъ издаваться

СПЕЦІАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЬ

ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ,

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ВОЗОВНОВЛЯЕМЫЙ

Н. Костомаровымъ и М. Стасюловичемъ

по слѣдующей программѣ:

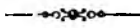
Отдѣлъ первый. Критическія изслѣдованія важнѣйшихъ вопросовъ исторической науки и жизни, монографіи, біографіи и историческая бѣльлетристика.

Отдѣлъ второй. Анализы лучшихъ новѣйшихъ историческихъ произведеній и вновь издаваемыхъ памятниковъ.

Отдѣлъ третій. Общій обзоръ хода ученой исторической литературы и дѣятельности ученыхъ историческихъ обществъ и Академій.

Отдѣлъ четвертый. Педагогическая литература и преподаваніе исторической науки.

Отдѣлъ пятый. Историческая хроника.



ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ будетъ выходить четыре раза въ годъ, въ первыхъ числахъ мѣсяцевъ: МАРТА, ІЮНЯ, СЕНТЯБРЯ и ДЕКАБРЯ, книжками отъ 500 до 600 страницъ каждая, большого формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА въ С.-Петербургѣ и Москвѣ на годъ 8 рублей, съ пересылкою и доставкою 9 рублей.

ПОДПИСКА принимается въ С.-Петербургѣ въ конторахъ Редакціи, при книжныхъ магазинахъ: Д. Е. Кожанчикова (Невскій проспектъ, 54), Я. А. Исакова (Гостинный Дворъ, 24), и А. Ф. Базунова (Нев. просп., 30), куда могутъ обращаться и Гг. иногородные съ своими требованіями, или прямо, или чрезъ корреспондентовъ конторъ Редакціи (въ Москвѣ, въ кн. маг. Н. Г. Соловьева (быв. Базунова); въ Кіевѣ, въ кн. маг. Литова; въ Одессѣ, въ кн. маг. Бѣлаго; въ Харьковѣ, въ кн. маг. Баллиной; въ Казани, въ кн. маг. Д. Е. Кожанчикова; въ Варшавѣ, тамъ же; и за границею, у корреспондентовъ Я. А. Исакова: въ Парижѣ, Ch. Reinwald, 15, rue des Saints Pères; въ Лондонѣ и Берлинѣ, Ascher & Co; и въ Лейпцигѣ, Baensch & Fries).

РЕДАКЦІЯ журнала номѣщается въ Галерной улицѣ, въ д. № 20.



Отъ Редакціи. Новый журналъ, предпринимаемый нами съ будущаго 1866 года, будетъ носить имя одного изъ нашихъ старыхъ журналовъ, который былъ основанъ Н. М. Карамзинимъ въ 1802 г., и, сначала подъ редакціею самого основателя, а потомъ Жуковского и Каченовскаго, продолжался до 1830 года. Прежде всего, мы желали самымъ выборомъ такого названія почтить память нашего достойнѣйшаго отечественнаго историка въ тотъ годъ, когда время открытія новаго историческаго журнала совпадетъ съ первымъ столѣтнимъ юбилеемъ рожденія Карамзина. Такимъ образомъ, возобновляемый нынѣ „Вѣстникъ Европы“ вступитъ въ тридцатый годъ своего существованія, но будетъ дѣйствовать по другой программѣ, которая хотя и отступаетъ отъ первоначальной его же задачи, какъ журнала главнымъ образомъ политическаго, но за то, можетъ быть, ближе подойдетъ къ настоящему значенію самого своего основателя, который, оказавъ сначала Россіи услугу, какъ публицистъ, приобрѣлъ потомъ безсмертіе, какъ историкъ. Н. М. Карамзинъ перешелъ скоро отъ политики къ исторической

наукъ; пусть послѣдуетъ теперь за своимъ основателемъ въ ту же область и самый его журналъ, посвящаемый нынѣ историко-политическимъ наукамъ, какъ главной основѣ всякой политики.

Соотвѣтственно такому преобразованію, цѣль „Вѣстника Европы,“ съ настоящаго времени, въ новой его формѣ спеціальнаго журнала историко-политическихъ наукъ, будетъ состоять прежде всего въ томъ, чтобы служить постояннымъ органомъ для ознакомленія тѣхъ, которые пожелали бы слѣдить за успѣхами историко-политическихъ наукъ, съ каждымъ новымъ и важнымъ явленіемъ въ ихъ современной литературѣ. вмѣстѣ съ тѣмъ нашъ журналъ имѣетъ въ виду сдѣлаться со временемъ и для отечественныхъ ученыхъ спеціалистовъ мѣстомъ для обмѣна мыслей и для сообщенія публикѣ своихъ отдѣльныхъ трудовъ по частнымъ вопросамъ, интереснымъ для науки и полезнымъ для живой дѣйствительности, но развитіе которыхъ не могло бы образовать изъ себя цѣлой книги.

Самая программа „Вѣстника Европы,“ въ своихъ отдѣлахъ, показываетъ тѣ стороны, которыхъ Редакція намѣрена коснуться, служа вышеупомянутымъ цѣлямъ. Первый ея отдѣлъ допускаетъ въ себя не только критическую и описательную форму историко-политическихъ произведеній, но и форму художественной отдѣлки, т. е., такія произведенія изящной литературы, гдѣ творчество подчинило себя условіямъ даннаго времени и мѣста; Гизо, въ своемъ отзывѣ по поводу „Пуританъ“ Вальтеръ-Скотта, хорошо указываетъ на значеніе, которое могутъ имѣть въ исторической наукѣ произведенія творчества, основаннаго на исторической почвѣ; ту же мысль хотѣла выразить и наша Редакція, отрывая первый отдѣлъ своего журнала также и для исторической беллетристики.

Второй отдѣлъ посвящается исключительно наблюденію за тѣмъ, какъ разрабатываются въ настоящее время лучшими умами важнѣйшіе вопросы историко-политическихъ наукъ, и какъ относятся историческая критика и историческое искусство къ совершившемуся.

Третій отдѣлъ служить только дополненіемъ второго, обзрѣвая

общій ходъ исторической литературы, и указывая вкратцѣ на важнѣйшія изъ ея произведеній, съ тѣмъ чтобы въ слѣдующихъ книжкахъ представить о нихъ обстоятельный отчетъ во второмъ отдѣлѣ.

При томъ вліяніи, которое оказываетъ на будущіе успѣхи историческихъ наукъ ихъ педагогическая литература и устное преподаваніе, „Вѣстникъ Европы“ удѣляетъ и этому предмету особый, а именно, четвертый отдѣлъ; туда войдутъ разборы новѣйшихъ произведеній педагогическаго характера, извѣстія о состояніи исторической каеедры у насъ и за границею и т. п.

Пятый и послѣдній отдѣлъ посвящается исключительно описанію тѣхъ событій современной исторіи, въ которыхъ главнымъ образомъ выразился духъ нашего времени; современная историческая жизнь представляетъ много случаевъ для научныхъ наблюдений надъ живыми общественными организмами, и служить вмѣстѣ съ тѣмъ средствомъ для провѣрки тѣхъ общенсторическихъ законовъ, которые выводятся изъ опытовъ надъ отжившими обществами и народами.

Отношеніе нашего журнала къ духу современной намъ образованности опредѣляется легко само собою ея господствующимъ нынѣ направлениемъ. Мы являемся предъ публикою, оставляя позади себя мало выгодное время вообще для всѣхъ гуманитарныхъ наукъ: естествознаніе, какъ вслѣдствіе внутренняго достоинства своего точнаго и наблюдательнаго метода, такъ и вслѣдствіе крайней слабости у насъ гуманнаго образованія, заняло первое мѣсто въ ходѣ нашего умственнаго просвѣщенія. Никто болѣе насъ не радовался бы этому, отдавая всю справедливость просвѣтителъному значенію естествознанія, если бы мы не сознавали вмѣстѣ съ тѣмъ, что у насъ въ той же мѣрѣ ослабло изученіе явленій нашего духа, каковы философія, филологія, исторія; между тѣмъ такое изученіе должно было бы сдѣлаться еще болѣе настоятельнымъ, именно вслѣдствіе успѣха естественныхъ наукъ. Послѣднія могутъ остаться безцѣльными, если, продолжая постоянно стремиться изъ себя, во внѣшній міръ, мы никогда не захотимъ вернуться отъ внѣшней

природы въ самимъ себѣ, съ тѣмъ чтобы сдѣлать новый шагъ въ самопознаніи и подвести общіе итоги своимъ опытнымъ свѣдѣніямъ. Въ этомъ отношеніи, историческая наука способна оказывать намъ большую услугу.

Мы не подраздѣляемъ въ своемъ журналѣ cadaго отдѣла на рубрики, по предметамъ отечественной и всеобщей исторіи, уже и потому, что у насъ всеобщая исторія займетъ главнымъ образомъ мѣсто на столько, на сколько она, такъ сказать, является сама второю отечественною исторіею, или, какъ выразился Жанъ-Батистъ Вико, говоря, что всеобщая исторія называется *всеобщею* потому, что она предполагаетъ во всѣхъ народахъ *общую* человѣческую природу. Нѣтъ такого великаго народа, который не считалъ бы челоуѣчества своею второю родиною; и чѣмъ выше предназначеніе какого-нибудь общества, тѣмъ родство его съ челоуѣчествомъ ближе и живѣе. Никто не имѣетъ притязанія считать, напримѣръ, христіанства явленіемъ, принадлежащимъ исключительно какому-нибудь одному изъ великихъ современныхъ народовъ; то, что называется классическою стороною въ настоящей европейской образованности также не есть исключительная принадлежность какой-нибудь новѣйшей европейской національности; феодализмъ, монархія, парламентаризмъ, цезаризмъ и многія другія явленія государственной жизни вытекаютъ скорѣе изъ общей природы всѣмъ народамъ, нежели изъ духа римскихъ учрежденій и древней германской образованности, ибо вліянію тѣхъ идей подчиняются не однѣ германскія и романскія, но и вообще всѣ народности. Выходя изъ такой точки зрѣнія, мы не отдѣляемъ у себя искусственно вопросовъ отечественной исторіи, въ собственномъ смыслѣ этого слова, и вопросовъ всеобщей исторіи, но въ послѣднихъ, какъ мы сказали выше, обратимъ преимущественное вниманіе на тѣ ея стороны, которыя дѣлаютъ всеобщую исторію родною всѣмъ образованнымъ народамъ, а слѣдовательно и намъ. Наконецъ, научные приемы, разработка матеріаловъ, ихъ художественное воспроизведеніе, если бы и носили на себѣ извѣстные слѣды

національнаго характера, тѣмъ не менѣе они должны быть общи и для отечественной, и для всеобщей исторіи. А мы не можемъ не сознаться, что историческая наука сдѣлала во всѣхъ отношеніяхъ болѣе успѣха на западѣ, нежели у насъ; а потому знакомство съ историческими произведеніями западныхъ писателей необходимо для успѣховъ и отечественной исторіи. Имѣя въ виду это послѣднее обстоятельство, мы будемъ стараться вводить въ нашу литературу не только результаты новѣйшихъ трудовъ западныхъ ученыхъ, какъ то мы обѣщали выше, но обратимся иногда и къ прежнимъ произведеніямъ, которыя послужили основаніемъ новыхъ историческихъ школъ, и которыхъ извѣстность у насъ иногда ограничивается однимъ частнымъ обращеніемъ въ обществѣ именъ ихъ основателей, хотя подробное и обстоятельное знакомство съ самымъ содержаніемъ и научными приемами этихъ школъ далеко не соответствуетъ громкой извѣстности имени ихъ основателей.

Если русская исторія и вообще исторія славянъ будутъ у насъ отдѣлены отъ всеобщей, то только въ силу закона о раздѣленіи труда. Всѣмъ тѣмъ, что относится къ исторіи Россіи и исторіи славянъ вообще, будетъ завѣдывать нашъ постоянный сотрудникъ-учредитель, Н. И. КОСТОМАРОВЪ, при главномъ содѣйствіи котораго мы возобновляемъ нынѣ „Вѣстникъ Европы.“

Причины, побудившія Редакцію ограничиться четырьмя книгами въ годъ, понятны сами собою: и новость дѣла, и самый его характеръ, требуютъ возможно болѣе продолжительныхъ сроковъ приготовленія. Но Редакція, желая имѣть время своимъ союзникомъ, рассчитываетъ еще болѣе на то, что наши ученые дѣятели по отдѣлу историко-политическихъ наукъ не оставятъ ея безъ своего содѣйствія, и своими трудами помогутъ придать новому журналу то научное значеніе, котораго онъ желалъ бы достигнуть, оставаясь вѣрнымъ выставленной имъ программы и вышеизложеннымъ убѣжденіямъ.

Издатель и отвѣтственный редакторъ

Спб. 1 декабря 1865.

М. Стасюлевичъ.

afuy



32101 073203737

151

